

Георгий Тачев

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗЫ
МИРА**

**КОСМО
ПСИХО
ЛОГОС**

Георгий Тачев

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА

КОСМО
ПСИХО
ЛОГОС



Москва

Издательская группа «Прогресс»

«Культура»

ББК 87
Г 24

Редактор Э.В. Расшивалова

Гачев Г.

Г 24 Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. — М.: Издательская группа «Прогресс» — «Культура», 1995. — 480 с.

В ядре своем каждый народ остается самим собой, пока сохраняется особенный космос, климат, пейзаж, пища, этнический тип, язык, культура — ибо они непрерывно питают и воспроизводят национальный склад мышления и бытия. Эпиграфом к этой работе взято изречение Гераклита: «Для бодрствующих существует единый и всеобщий Космос. Из спящих же каждый отвращается в свой собственный». Так что национальные образы мира — это сны народов о Едином. Зачем же нам эти сны знать? Да чтоб не принимать их за действительность, отдавать себе отчет в ограниченности и локальности наших самых общих представлений. Но через сопоставление разных снов есть надежда понять истинную реальность.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда согласно проекту № 95-06-31843.

Г $\frac{4402000000-015}{006(01)-95}$ без объявл.

ББК 87

Фирма «Культура»

Художник В.А. Пузанков
Художественный редактор В.К. Кузнецов
Технический редактор Н.А. Галанчева
Корректор И.В. Леонтьева

ИБ № 20028

ЛР № 060775 от 25.02.92. Подписано в печать 26.12.94.
Формат 84×108 $\frac{1}{32}$. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Условн.печ.л. 25,2. Усл.кр.отт. 25,2. Уч.-изд.л. 26,66.
Тираж 3000 экз. Заказ № 422. С 015. Изд. № 49418

А/О Издательская группа «Прогресс».
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.
Можайский полиграфкомбинат
Комитета Российской Федерации по печати
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

ISBN 5-01-004430-7

© Георгий Гачев
© Издательская группа
«Прогресс», 1995

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	5
-----------------	---

Часть первая. ГИПОТЕЗЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА	11
БЕСЕДЫ ПО ФИЛОСОФИИ БЫТА РАЗНЫХ НАРОДОВ. УРОКИ ЧТЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ ..	32
Дом	37
Дом (внутренность)	45
Национальная еда (беседа первая)	49
Национальная еда (вторая беседа)	57
Национальная еда (третья беседа)	68
Тело человека — «тело отсчета» в национальном космосе	73
Национальные телодвижения. Танец	85
Национальная музыка	98
Национальные игры	110
Земледелие — как миропонимание	125
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗОДИАК: ЖИВОТНЫЕ — МОДЕЛИ МИРА	132
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ.	153
ЯЗЫК КАК ГОЛОС НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ	182

Часть вторая. АНАЛИЗЫ

БОЛГАРСКИЙ И РУССКИЙ ОБРАЗЫ ПРОСТРАНСТВА И ДВИЖЕНИЯ	209
КОСМОС ДОСТОЕВСКОГО	224
1. Отлучение от природы. Город — что есть?	224
2. Человек — недоволощенный воз-дух.	228
3. Диалог Петербурга и России на языке стихий ..	231
4. Воплощения стихий в персонажей Достоевского	233
РУССКИЙ ЭРОС (Художественное рассуждение)	242
«Попугай!», Черномор и сон Татьяны	242
Русский космос и любовь русской женщины	250

Белые ночи и любовь	261
Эрос — в природе, секс — в городе	266
Человек — дерево и человек — животное	270
Любовь словом	279
Культ Татьяны	287
Мужи России	287
Столб Катерины	292
Земледелие как любовь	296
ПАНОРАМА ЕВРАЗИИ	303
ОБРАЗЫ ИНДИИ	
(эллинский, русский, французский, германский)	311
I. Эллинское восприятие Индии (по «Географии» Страбона)	311
II. Русский образ Индии	321
III. Французский образ Индии	333
IV. Германский образ Индии	342
КОСМОС ИСЛАМА	355
Гений наслаждения	361
Драгоценный камень	365
Верблюд	378
ГРОЗДЬ И ГРАНАТ. КОНЬ И КОВЧЕГ	395
КОСМОСОФИЯ ГРУЗИИ	415
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОБРАЗ МИРА	426
АНГЛИЙСКИЙ ОБРАЗ МИРА	430
АМЕРИКАНСКИЙ ОБРАЗ МИРА, ИЛИ АМЕРИКА ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ЕЕ НЕ ВИДЕЛ	439
КОСМОСОФИЯ РОССИИ, ПОЛЬШИ И БОЛГАРИИ	450
Космософия России	450
Что же мы найдем для Польства?	456
Духовная жизнь в Москве в эпоху болгарского возрождения	466
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	476

ОТ АВТОРА

Все хорошее в жизни я испытал: любовь, природу, культуру, свободу творчества... — только вот мира не видел, а сильно манило. Но кто ездил-то у нас? Товарищи ответственные, а я — человек самочинный и вольнодумец («неуправляемый», как сказал директор одного моего института). И во удовлетворение этой потребности видеть свет и разные страны, представить иные типы жизни и мысли — принялся я исследовать и описывать **НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА**. Это мой способ путешествовать: умом и воображением. На год, другой я погружаюсь в ту или иную страну: окружив себя книгами о ее природе, истории, религии, кухне; язык, литературу и науку ее изучаю, музыку слушаю, живопись, кино, театр глазею — в итоге этого проникновения вырабатывается некая картина сего мира, и я пишу очередной национальный портрет.

Занимался я этим делом с увлечением уж почти 30 лет — на свой страх и риск, заранее отрекшись от печати (тема-то запретна была: не подкармливаю ли национализм?), в полной зато свободе мысли, воображения и слова, и полное свое удовольствие в процессе работы над сим трудом поимел. И вот целое собрание сочинений на эту тему накопилось: томов шестнадцать. Описаны следующие образы мира (перечисляю в хронологической последовательности написания): русский, болгарский, киргизский, эллинский, индийский, германский, итальянский, французский, английский, американский, эстонский, еврейский, китайский, грузинский, литовский, польский, казахский, азербайджанский, Космос ислама...

В последние годы вдруг национальная проблема вспыхнула — и мои интеллектуальные головоломки на эти темы понадобились людям: даже во избежание физических головоломок полезны быть могут. Вышла пер-

вая книга «Национальные образы мира» (Советский писатель, 1988) — и мгновенно исчезла. И когда-то мне удастся издать всю эту многотомную серию?.. Вот почему имеет смысл предложить книгу, где объяснить свой метод, представить разные аспекты проблемы и дать сжатое описание некоторых национальных моделей миропонимания, своего рода «дайджесты». Таково назначение настоящей книги. Она именно — калейдоскоп, «Ноев ковчег», где от каждого мира помалу и от каждой темы и метбды дано вкусить.

Мое главное понятие: Космо-Психо-Логос, что значит: тип местной природы, характер человека и национальный ум находятся во взаимном соответствии и дополнительности. Труд и Культура в ходе истории восполняют то, что не дано стране от природы. КОСМОСОФИЯ — так бы я обозначил свой подход. Ею исследуется мудрость Природы: те идеи и цели, на которые она наводит свой народ. Ибо народ-горец имеет иные ориентиры, чем народ-мореход или степняк-кочевник. Горы, море, степь, лес предрасполагают к особому рода построениям в мировоззрении и даже в логике.

Как посреднический между Материей и Духом «метаязык» я принимаю древний натурфилософский язык ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ: «земля», «вода», «воз-дух», «огонь». Он (этот язык), казалось бы, преодоленный научным развитием, обретает ныне новое звучание в связи с проблемой экологии, с необходимостью считаться с природой и понимать ее как смысл и язык, читать ее текст и завет нам. Национальные картины мира, что я пытаюсь реконструировать, не могут обойтись без образного мышления, которым я широко пользуюсь наряду с рационалистическим.

Естественно, что такой преоборот Бытия и сдвиг понятий не мог совершаться в нашем оказаненном языке, в том числе и научном, с его требованием «однозначности» и проч. Привычно линейный ум тут будет на каждом шагу спотыкаться, испытывать сопромат странного сочетания слов, неологизма, инверсии; дразнить будет смешение высокого с низким, стилистическая «какофония». «Ту же мысль да не так бы молвить!» — захочет таковой пай-мальчик, отличничек правильного мышления, меня откорректировать. Да в том-то и суть, что НЕ ТА же то будет мысль, если иначе молвить! Как сказать = как увидеть. Освежать видение мира и понятия нельзя, не свежую язык.

И еще я — жанровый преступник и нарушаю границы разделения труда: в одном часто ходе мысли ассоциирую образ поэта и понятие физики и т.п. Как-то в годы «застоя» на семинаре у Вл. Ник. Турбина на филфаке МГУ докладывал я его студентам про «Космос Достоевского» и посетовал:

— Раньше меня не печатали за идеи, что находили крамольными, а теперь за форму, жанр и стиль: «ненаучно!» — говорят.

— А это одно и то же и одни и те же люди! — объяснил мне мудрый Турбин. — Только раньше они за чистоту идеологии, а нынче за строгость научной формы, стилистами-эстетам обернулись, адептами чистого вкуса... Но лишь бы — не пущать!..

Под какой же эгидой нынешние «перестроечники» запреты расставлять станут? — вот в чем вопрос сегодня и его злобы...

В последние годы я получил возможность съездить в некоторые из стран, чьи национальные образы мира описывал. Конечно, я получил массу впечатлений и узнал множество новых фактов, однако основные концепции, что были выработаны дедукцией воображения в Эросе угадывания, подтвердились.

*Национальный калейдоскоп*¹ — это, конечно, забавно, весело. Однако сверхзадачей в исследовании множества образов мира, вариантов миропонимания является докопаться до Единого (в роскошестве и щедрости его многообразий), почуять, взвидеть Абсолют.

22 ноября 1989

¹Таковым предполагалось название этой книги, когда писалось предисловие. — 27.X.94.

Часть первая

ГИПОТЕЗЫ

Национальные образы мира

Для бодрствующих существует единый и всеобщий Космос (из спящих же каждый отвращается в свой собственный).

Гераклит (фр. 95)

Сначала — несколько тезисов (в жанре «ИДУ НА ВЫ»).

1. Проблема касается Целого. Оно постижимо лишь совместными усилиями рассудочного и образного мышления, и потому работа здесь идет «мыслеобразами».

2. Исследование одушевлено пафосом интернационализма и равноправия: в оркестре мировой культуры каждая национальная целостность дорога всем другим и своим уникальным тембром, и гармонией со всеми.

3. Каждый народ видит Единое устройство Бытия (интернациональное) в особой проекции, которую я называнию «национальным образом мира». Это — вариант инварианта (единой мировой цивилизации, единого исторического процесса).

4. Всякая национальная целостность есть Космо-Психо-Логос, то есть единство национальной природы, склада психики и мышления.

5. Природа каждой страны есть текст, исполнена смыслов, сокрытых в Матери-и. Народ = супруг Природы (Природы + Родины). В ходе труда за время Истории он разгадывает зов и завет Природы и создает Культуру, которая есть чадородие их семейной жизни.

6. Природа и Культура находятся в диалоге: и в тождестве, и в дополнительности; Общество и История призваны восполнить то, чего не даровано стране от природы¹. С этой точки зрения национальное — и позади и впереди и Пушкин более разветвленно и совершенно русский, чем князь Игорь.

¹ Одни и те же слова (космос, природа, история, культура...) выступают то как имена нарицательные, то как собственные (в роли символа, олицетворения, как субъекты) и потому пишутся то со строчной, то с прописной буквы. — 21.03.94.

7. Национальное (как и этнос, и язык) подвержено социальным, классовым дифференциям, растяжениям и расколам («две культуры в каждой национальной культуре»), но это проблема второго этапа и высшего пилотажа; сперва же нужно выяснить, что может стать раскалываемо.

8. Национальный образ мира сказывается в пантеонах, космогониях, просвечивает в наборе основных архетипов-символов в искусстве. Ближайший к нам путь анализ национальной образности литературы и рассмотрение чрез нее всей толпы культуры, включая и естествознание как тексты научной литературы.

1

О национальных «особенностях», о национальном «своеобразии» давно и много мыслилось во человечестве. Для первобытных народов «люди» это их племя, остальные же племена это «нелюди», «природа». Человек, с одной стороны, отличает себя от природы, животных, а с другой от себе подобных. У других «все не как у людей». Для эллинов остальные народы «варвары». «Немец» = «немой», «не мы» тут слышится. «Мы» всегда ближайшая мерка и эталон «человека» вообще.

С развитием народонаселения Земли и учащением контактов начинается работа сравнения. В ее ходе вытесывается как образ других народов, так и свой собственный. Национальное самосознание неотделимо от работы познания других народов. Своя мерка умаляется, видится уже не как всеобщая, а особенная, подобно тому как герой Горького, попав на «дно», убеждается: «все люди, все человеки». Познание учит терпимости, расширяет кругозор.

Особенно остро задача национального понимания встала в XX веке. Тут парадокс: с одной стороны, народы мира максимально сближаются по образу жизни, быту, производству, культуре, а с другой обостряется национальная чувствительность. Странно? Но уж по истории развития национальных чувств видно, что дело не в резкости различий, а в частоте контактов: будь одни о трех ногах, а другие как лунно-машинные марсиане, если они ни разу не встречались, то и не знают о других и о своих особенностях. Но даже

близнецы в семье как резко различные индивидуальности чувствуются.

Так что единый диалектический процесс ассимиляции—диссимилиации народов и национальных культур идет и в наше время.

Задача познания национальных особенностей тройко важна: и практически, для взаимопонимания народов при контактах; для самопознания народа: что есть «я» в отличие от «другого»; наконец, теоретически: что есть «мы», человек вообще, по истине и существу, и что ему подлинно нужно, то есть через варианты познать Инвариант. Он не дан нам в прямом опыте, а даны конкретные народы, так что добираться до него приходится косвенным путем.

И человечество целостность, и народ целостность. Каждый видит всю Вселенную, материальные и духовные в ней явления, но в особом аспекте, повороте. Возникает спектр национальных пониманий мира и представлений о «человеке вообще». Логика, философия исходят из точки О и дедуцируют части Единого Целого, «атрибуты» «субстанции». Но эта точка О нам не дана. Она невольно сдвигается и сливается у каждого народа со своим центром. Уразумение этого факта и было для меня исходным — я наткнулся на проблему национальных логик: что даже великая немецкая классическая философия, претендующая на универсальность мирообъяснения, локальна и носит отпечаток германского образа мира. И стал я искать определителей его.

Итак, начал я с утонченнейших духовных явлений: стал сравнивать философские и художественные системы, национальные стили в поэзии — и ничего достоверно уловить не мог: чувствуется некий «русский дух», «немецкий дух» пахнет, а уловить ясные отличия, тем более выразить в словах и терминах не удастся.

И тут стало ясно, что нельзя понять национальные отличия в линейном ряду: сравнивая поэзию с поэзией, язык с языком. Наблюдения отличий добываются, но каждый раз встает вопрос: «ну и что из того?», «а смысл-то каков тут?». И вот когда о смысле наблюденного встает вопрос, то уж никуда не деться, один путь: на выход к целостности национальной Вселенной. Ибо от нее свечение в каждой детали: в позе,

в жесте при «да» или «нет», в космогонической гипотезе, в музыке, в изображении времен года в поэзии...

Как же схватить национальную целостность?

Когда в науке исследуются национальные особенности чего-то одного — например, славянского романтизма в литературе, всегда совершается выход к не-литературе: привлекаются обычаи старины, психики, картины природы: горы, леса, степи... отсюда черпают материал для «особенностей». Но такие частичные соображения раздражают случайностью утверждений, необязательностью. Ум ищет, домогается до первоисточника. И он в национальной целостности, которую составляют: природа, этнос, язык, история, быт и т.д. Ее надо понять как особую систему взаимоотношений элементов. Элементы бывают разные, а если сходные с другими народами, то все равно выступают в особых сочетаниях.

Целое — это по крайней мере объем. А логика — это линейность последовательного движения, блюдет строгость уровней и плоскостей анализа, требует сопоставлять однородное с однородным. И вот ее инструментарий, оказывается, проскакивает через целостность, не зачерпывая ее. И в ходе многих попыток прорисовалось: нарушение рядности — как принцип познания целостности, объема; что логика типа «в огороде бузина, а в Киеве дядька» тут лучше работает. Надо выскакивать из монотонии как можно к более отдаленным друг от друга проявлениям национальной жизни — тогда дыхание целостности сильнее проявляется и улавливается.

Танец вальс и система Коперника однажды ослепительно просветили мне друг друга — как конгениальные образования в культуре Нового времени: двойное вращение особи (Земли, «плоти единой») вокруг своей оси (= «я») и в поле-зале социума вокруг его центра (Солнца) — наиболее адекватно соответствовало мироощущению «доброго старого» Нового времени Европы от Ренессанса до XIX века включительно. И недаром в XX веке с появлением теории относительности и вальс отошел в старомодность, уступив место квантово-волновым, фазовым биениям современных танцев.

Наш принцип: всё во всём! Каждая деталь национальной целостности соотнесена с другой, далекой, и они объясняют друг друга. Потому здесь, в познании целостности, не могут действовать запреты сравнивать

разноуровневые вещи, как это принято в строго тектоническом структурализме. Именно перескок с этажа на этаж (как электрона с орбиты на орбиту) и дает силовое поле Целого испытать-измерить. Все же перебраться нельзя, потому и приходится прыгать с отсека на кусок. Никогда строгой логике не удавалось зачерпнуть национальные отличия, дать их строгое описание (именно потому, что она не в силах работать с разнородным и разнорядным материалом), а вот анекдот пожалуйста, берет курьез, а из него Целое просвечивает.

Образ, способный связывать разнородное, оказывается адекватной гносеологической формой для познания национальной целостности. Но тогда исследователь сам в первую голову должен снять с себя строго логические заклания и запреты и позволить себе самому прибегать к образному мышлению.

Но тогда он теряет логическую обязательность, формальную принудительность выводов своих и положений.

Да но зато выигрывает в содержании. Он показывает, а не доказывает, и убеждает не «де-юре», а «де-факто»: тем, что как можно в более разнородных элементах национальной целостности обнаруживает связь и взаимное лицезрение. Тем больше полнота и резче глубина изображения, чем смелее проложенные там просеки и борозды.

И главный элемент, и фокус, и инструмент такой работы это мгновенный перенос (= мета-фора) от subtilно-духовных явлений к грубо материальным вещам, минуя опосредствующие звенья, в которых велит увязнуть логика. Хлоп бабочку духа сачком климата! Приведение к Природе. Материализм.

Например, чтобы понять Эрос и Психею, любовные сюжеты в русской литературе, к русскому Космосу надобен привод: «Здесь, где так вяло свод небесный // На землю тощую глядит...» вертикальный Эрос между Небом и Землей тут ослаблен, зато усилены горизонтальные напряжения (простор, пути-дороги, разлуки). Целостность России слагается в ходе исторического диалога (или полилога) действующих в ней сил: Мать сыра земля (таков тут тип матерински-женского начала) имеет на арене своего тела, протяженного во Времени и Пространстве, поединок двух главных сил, ее любящих: Народ-СВЕТЕР (Свет + Ветер мой не-

ологизм), шальной, удалой возлюбленный, привольный дух Востока; и Кесарь — Государство, строй, порядок, форма принцип Запада. Меж ними и распялена душа (Психея) русской женщины. Онегин и Гремин при Татьяне, Обломов и Штольц при Ольге, Вронский и Каренин при Анне и т.д. Но более полный вариант являет, так сказать, «комплекс Марии» из «Гавриилиады»: чтобы в трех ипостасях выступало мужское начало: «лукавый», «архангел» и «Бог», то есть демонское, человеческое и ангельское. Таковы при Настасье Филипповне: Рогожин, Ганя Иволгин и князь Мышкин. Да еще кесарево начало Тоцкий (высокий сановник). При Грушеньке: демонски-хтонический, inferнальный Федор Павлович, человечный Митя, ангельский Алеша — главные. А на втором плане как в музыке «втора» и тень несколько пародийно-комические: байронический поляк первой любви (передразнивается демонское начало им), порядочный купец Самсонов, содержащий ее ныне (кесарево, «в законе»), и мелкая умненькая человечинка всякая, вроде рассудочного Ракитина (передразнивающего Разум Ивана). В русской литературе восхитительно расцвела поэзия НЕОСУЩЕСТВЛЕННОЙ ЛЮБВИ: «в разлуке есть высокое значение», разводя влюбленных в разные точки российского пространства-времени, она препоясывает космос России путями-дорогами любовных тяготений и создает животворящее силовое поле русской Психеи, русской душевности. Отсюда и провоцирующее: притягательно-отталкивающее держание русской женщины в любви... Тут жертвоприношение не только русскому Космосу, но Всецелости русского бытия, включая и будущее, и Культуру.

Что самое стабильное в национальной целостности? Этнос? Язык? Психика? Обычай?.. Все подвержено изменению. Главное же, что постоянно питает и расширенно воспроизводит национальную целостность, это природа, где совершается история данного народа. Она Природина ему. На-род ей и сын и супруг (как Уран-Небо для Геи-Земли). Народ и страна при-сути друг другу, составляют «плоть едину», меж ними взаимно однозначное соответствие. Природа это не «географическая среда». Это Матерь(я). Было и есть такое направление «географизм» в описании народов и их свойств. Этот подход плосок, потому что сами элементы природы трактуются в нем плоско в рядности

науки географии, и объяснение получалось механично. Но если Природу понимать так, как ее толкуют народ, и фольклор, и поэзия, тогда она Великая Матерь(я) и, как мать-кормилица и заботница, излучает душу Психею, ее явления сочатся смыслом. Природа это заповеди, скрижали и письмена самого Бытия, в которые надо вникнуть и расшифровать данному народу. Природа источает волю быть и на то идет история народа. Так мы выходим на решающий узел проблем: соотношение в национальном природы, народа, истории, культуры. И начнем тут лучше с примера.

В повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» герой вспоминает, как «раскулачили» юрту и предложили взамен брезентовую палатку... «Но что это за жилье? Ни встать, ни сесть, ни огня развести. Летом невозможная жарища, зимой собаку не удержишь от холода. Ни тебе вещи расставить, ни кухню устроить, ни убрать покрасивей. А гости появятся не знаешь, куда их приткнуть.

Нет-нет! отказывалась Джайдар. Как хочешь, а в палатку я жить не пойду. Палатка для бес-
семейных разве, и то на время, а мы с семьей, у нас дети. Купать их надо, воспитывать, нет, не пойду».

Тут полный дан анализ юрты как явления Культуры и в хозяйственно-экономическом («а потом оказалось, что отгонное животноводство немыслимо без юрт»), и в семейно-бытовом (как очаг), и в нравственном аспектах (детей воспитывать). «Как он мог не видеть в юрте удивительное изобретение своего народа, где каждая мельчайшая деталь была точно выверена вековым опытом поколений?» Брезентовая ж палатка элемент другой культуры, не на этот космос рассчитанный.

Ведь что есть Культура? Это совершенство в своем роде. Янки при дворе короля Артура бескультурен, как и Ахиллес в эпоху пороха и свинца: здесь оба они попадают в чужой род-огород, и каждый из них, который есть совершенство в своем роде, в своем отечестве пророк, в чужом оказывается нелепостью.

Жизнь долгой работой естественного отбора создает высокую культуру животных и растений, идеально прилаженных к данному космосу: саксаул = аксакал пустыни, карликовая береза = мастер Севера и т.п. Но подобно и люди-племена, поселившиеся на тех или иных пупырях или вмятинах Земли, среди лесов или среди снегов, в ходе труда-производства из здешних

материалов развивают совершенную по данному месту породу культуры.

Культура есть прилаженность человека, народа, всего натворенного ими, выплетенного из себя за срок жизни и историю к тому варианту природы, который ему дан (к которому он придан, человек и народ, как соответствующая ему порода существ) на любовно-супружескую жизнь и на взаимопроникновение в производстве, которое тоже род Эроса (недаром в «производственных» романах 30-х годов сцены трудового подвига структурно аналогичны кульминациям страсти в классическом любовном романе). И как жена не перчатка, не скинешь, так и природа народу: нельзя ее произвольно сменить без потери народом своей субстанциональной сути. Труд есть возделывание своей природы. Техника производства, орудия труда это и инструментарий любви, объятий Народом Природины своей. Народ сверху, как и небо. В нем духовность. В мифологиях Небо Отец, Народ Сын, Природа — Мать. Вещи и произведения культуры в этом контексте все читаются.

К. Маркс усматривал в вещах материализованную психологию народа: «Мы видим, что история промышленности и сложившееся предметное бытие промышленности являются раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией»¹, в том числе и национальной, добавим.

А история что есть? Уход или приход к национальной сути? Если по горизонтали-плоскости смотреть, то уход: возникает единая мировая цивилизация. Ее эпицентр в сердце человечества, в заводе всемирной истории: отсюда распространяются волны и импульсы на периферию разных культур = семей народов с природами. Прилетает вертолет, звучит транзистор в киргизском аиле Куркуреу, на плато Аксае и это уже руки другого супруга протягиваются обнимать и ласкать Природину, данную в жены именно данному народу, киргизскому. Миграции народов, обмен вещей и идей, разрушение экологической среды обитания.

Если ж на историю по вертикали смотреть, то она приход народа к тождеству с природой своей. За

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 123.

время истории народ всю землю свою вылюбывает, внедряется шахтами в недра ее, постигает и низ, и небо: особый календарь свой по звездам составляет; приноравливается к Природе и в одежде, и в вещах быта, и в красках живописи, в песнях; телодвижениями в танце очерчивает структуру национального пространства-времени... История в утробе национального Космоса, меж небом и землей, силами народа совершается.

Так получает свое разрешение антиномия национального и исторического. История — реализация потенциалов национального Космоса в браке с Социумом народа, в порождении-творчестве материальной и духовной Культуры. Значит, предметы быта тоже сочатся содержанием национального бытия, суть тело-идеи, являют *духовенство вещества*, и из этой материи тоже надо научиться вычитывать смыслы.

Национальный мир растет сразу с разных концов: и из земли и из неба, из прошлого (происхождения) и спереди из цели-призвания, что чутся в мечте, идеалах, в зове-тяге вперед. Так что нами ищется *энтелехия* («целевая причина» — термин Аристотеля), или идея-призвание каждой национальной целостности.

Занимаясь Грузией, Космосом гор, я был поражен обычаем, о котором рассказывает Акакий Церетели. Обычай «отдавать детей на воспитание в семью крестьянки-кормилицы [не просто на грудь: это и русские баре делали. Г.Г.] издавна повелся в Грузии: царские дети и дети владетельных князей воспитывались в семьях эристапов», эристапы в семьях дворян и т.д. Возникали молочно-побратимские узы...

Тут мне видится некий закон обратной связи. Гора (князь) добровольно идет вниз на поклон в долину, склоняется на смирение—отождествление—породнение с ней, с низами общества, с народом простым тем, что самое свое дорогое, наследника, доверяет долине, народу, женщине-кормилице, Матери-Земле на на-полнение соками и смыслами вещими. И потом, когда воздымается вверх княжич и становится властителем, он уже никогда не будет жесток к народу, ибо там его молочные братья и сестры, побратимы, и узы эти сильнее даже родственных в Грузии. И грузин-простолудин от этого же обычая так гордо смотрит аристократом, высокое самочувствие имеет, и нет в нем униженного чинопочитания и челобития («Ведь я червяк

в сравнении с Ним! ... Лицом таким!») и той изумительно тонкой шкалы заискивающих улыбок и поклонов, многократно превышающей 14-классную этажность табели о рангах, которую отмечал Гоголь в психике чиновничества. В равнинном же космосе, например в России, действует естественная тяга к поравнению и сглаживанию разного и отличного. И для того, чтобы возникло здесь творчество культуры, истории пришлось искусственно создавать разность потенциалов, сословные перегородки, барьеры. Тут история воздвигала каскады, на равнине космоса строила горы социальные, духовные; чтобы возникла напряженность магнитно-силового поля в духе, надобно было вызвать искусственный динамизм страстей, яростей, что утепляет космос матери-сырой земли... «Уровни энергетических состояний» (термин физика-атомщика Ферми) пришлось на Руси искусственно воздвигать... В Грузии ж совсем иное: самой природой, естественными условиями хребтов все партикуляризовано в ее космосе. И противоположное природе движение истории должно было быть направлено на склеивание сословий в общей жизни.

И тут важный закон всеобщей истории обнаруживается: вектор Социума (тип граждански-общественного устройства), его строительства и склада, не просто гармоничен и в резонансе с национальной Природой, но направлен и дополнительно к ней: противоположно к складу местной Природы образуется.

2

Самое трудное — понять логику мышления другого народа, национальный Логос. Некий ключ к сему мне подкинула болгарская народная притча «Уделы разных народов». «Когда делил Господь участи людям, первыми пришли к нему турки. По своей воле Бог дал им ГОСПОДСТВО («агалък»). Прослышали болгары, что Господь одаряет народы. «Так чего же хотите в дар?» спросил их Господь. «Хотим господства», ответили болгары. «Господство я дал туркам, пожелайте что-нибудь другое!» сказал им Господь. «Ах, что же ты НАДѢЛАЛ, Господи?» («Каква РАБОТА си направил?») «Благословение мое на вас, болгары, сказал Господь, я своих слов назад не беру. А как раз вам я и дам в дар РАБОТУ. Стушайте и будьте здоровы». Прослышали евреи: «Господства хотим». «Господство взяли дру-

гие». «Как же ты проСЧИтался, Господи!» «Так пускай СЧЕТЫ будут вашими». Прослышали французы и те запросили господства. «Господство взяли другие». «Ну же и ИСКУСНИК ты, Господи!» «Так пусть тогда ИСКУССТВО будет за вами». Пришли цыгане и так посетовали, узнав, что господство отдано другим: «Эх, что за БЕЛНЯГИ мы! ЧУЖИМ, что ли, нам пробавляться?» «Так будьте БЕЛНЯКАМИ и ищите ЧУЖОЕ!» сказал Господь».

Эта притча обнажает механизм выхода коллективного бессознательного в сознание. Все народы хотят одного: власти, богатства, но, получив отказ, выражают досаду разными словами, в которых невольно проговаривается сама суть данного народа: что у него на душе проникает в ум. Эту подсказку сразу схватывает Владыка в сфере Логоса и возвращает собственное волеизъявление данного народа ему уже как свой дар. (О, тут еще один историко-культурный сюжет Предопределение и Свобода воли просвечивает!) И каждый получает именно свое не то, чего бы он хотел по зависти: чтобы быть «как все» («интернациональное»), но ту ценность, что ему присуща специфично: себе в у-часть получает ту часть Бытия, которой он заведующий (уже не завидующий).

Значит, обиняк, оговорка, косвенное оказывается для нас прямее путь, чем сшибка Логоса с Логосом; и начал я упражнять некое боковое зрение: вслушиваться не в сказ, а в под-сказ. Это помогло мне снять и чары немецкой классической философии. Помню, как, грызя ее Канта и Фихте, Шеллинга и Гегеля и чувствуя, как скрежещет все мое существо, когда я эту систему и язык мышления, как протез на живые зубы, всаживаю в себя, и боль, и уныние, и неверие в свою способность разумения стали охватывать, вскипел мой ум, и в нем бунт и мятежное сомнение зародились. А так ли уж обязательно по таким колеям-рельсам уму ходить? Так ли уж всеобща и универсально-обязательна эта претендующая быть таковою логика и систематика? Не лежит ли на ней отпечаток именно германского склада ума, языка и типа мышления, так что мне, выросшему в России, совсем не обязательно по таким же орбитам двигаться, чтобы миропонимать?.. А так ли уж чист Чистый Разум?.. И в качестве гипотезы возникло предположение, что у каждого народа, культурной целостности, есть свой склад мышления, который

и предопределяет картину мира, что здесь строится, и сообразуясь с которой и развивается история, и ведет себя человек, и слагает мысли в ряд, который для него доказателен, а для другого народа нет.

Но как обнаружить-проникнуть в эти особенности? Когда ринулся в лоб и принялся сравнивать логику с логикой: систему Канта с построениями Платона, Юма с Лидро, Декарта с Ньютоном, Вундта с Джемсом... ничего не вышло, никакой убедительности, ибо все вроде однотипной формальной логикой работают, доказывают свои положения и строят систему; отличия ж могут быть объясняемы разностью и исторических эпох, и индивидуальных мирозерцаний и т.п. Тогда я стал выискивать образы и интуиции, наглядные примеры, к каким прибегают философы, поясняя свои логические построения. Этот путь уже кое-что дал. Расслышал я, что две «субстанции» в философии Декарта, которые у нас переводят как «протяжение» и «мышление», по-французски от одного корня *tendre* (= «тянуть»): *extension* (= «вытяжение») и *entendement* (= «втяжение») так просто, как выдох и вдох, и вот где интуитивная основа их единства! Дом выступает как модель мира у Канта (он закладывает фундамент и строит здание Разума постоянны эти образы у него), Шар-Сферос у эллинов (Платон, Плотин, Архимед...), Путь-Дорога, Даль у русских мыслителей, Крест декартовых координат, Корабль и ковчег у англосаксов (Бэкон, «Моби Дик»...) все эти архетипы многое скажут... Значит, есть некий образный априоризм, что залегает под рассудочным и понуждает в своем силовом поле опилки рассудочных выкладок так или иначе располагать. Но это силовое поле уже сверх или под логикой: оно истекает из всего бытия данного народа, включая и особый склад природы (материю, вещество), быт, язык и историю (культуру) и этнос и характер (психику). Так я вышел к понятию: КОСМО-ПСИХО-ЛОГОС как единства тела (местной природы), души (национального характера) и духа (языка, логики). Следовательно, чтобы проступила особая логика, надо целостность бытия одного народа сравнивать с аналогичной целостностью другого. На этом фоне и национальные логики, как верхушки сих айсбергов, отличимы и понятны станут.

И вот начались мои интеллектуальные путешествия (моя кругосветка), что вылилось за четверть века работы

в серию художественно-научных сравнительных описаний духа разных народов в связи с природой, историей и культурой. Да, это мой способ путешествовать умом и воображением. На несколько лет я погружаюсь в изучение той или иной страны (Германии, Индии, Эллады, Италии, Франции, Англии, Америки, Болгарии, Киргизии, Эстонии, Грузии и проч. и всегда России), проникаюсь всеми ее особенностями: от кухни, игр и языка до картин мира у писателей и ученых, до национальных вариантов религиозного чувства, просвечиваю одно другим и обнаруживаю соответствия элементов из разных уровней внутри каждого образа мира¹. При этом размываются рубрики и не в привычных своих рядах рассматривается поэзия с поэзией, механика с механикой, а все глядится во все: нисходящие дифтонги итальянского языка в теорию свободного падения Галилея; круги Данте аукаются в уровнях Ферми; немецкое блюдо «шницель» (от *schnitzen* резать, кромсать) откликается в представлении германских ученых о дискретности вещества (квант Планка) и т.п.

Предпосылка всего исследования такова: всем очевидно, что в ходе истории, и особенно в XX веке, сблизились и унифицировались все народы по быту (у всех телевизоры и авто...) и мышлению (интернационализм и математизация наук), и тем не менее в ядре своем каждый народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняются особенный климат, времена года, пейзаж, пища, этнический тип, язык и проч., ибо они непрерывно цитируют и воспроизводят национальные склады бытия и мышления. Соответственно и о Едином материальной Вселенной (Космос) или Духа (Логос) у каждого народа складывается свой образ. Инвариант бытия видится каждым в своем варианте, в особой про-

¹ См. мои книги: Ускоренное развитие литературы (На материале болгарской литературы первой половины XIX века). — М., 1964; Образ в русской художественной культуре. — М., 1981; Чингиз Айтматов и мировая литература. — Фрунзе, 1982; а также статьи: О национальных картинах мира // Народы Азии и Африки. — 1967. №1; О русском и болгарском образах пространства и движения // Поэтика и стилистика русской литературы. — Л., 1971; Космос Достоевского // Проблемы поэтики и истории литературы (сборник к 75-летию М.М. Бахтина). — Саранск, 1973; Гроздь и Гранат. Грузия и Армения (О национальной символике в кино) // Литературная Грузия. — 1979. — №7 и др.

екции, как единое небо сквозь атмосферу, определяемую разнообразием поверхности Земли. Эпиграфом ко всей работе взято изречение Гераклита: «Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос (из спящих же каждый отвращается в свой собственный)» (фр. 95), так что национальные образы мира это как бы сны народов о Едином. Зачем же заниматься снами? А чтобы не принимать их за действительность, отдавать себе отчет в ограниченности и локальности наших даже самых общих представлений. В то же время через сопоставление и взаимную критику разных «снов» есть надежда и до образа истинной реальности докопаться... Так что национальная особенность это и подмога, и помеха, плодородящая почва для творчества и миропонимания, и сбивающий «шум», как в эфире...

Наши опыты в ряду тех построений, что делали Монтескьё, Гердер, Гегель, А. и В. Гумбольдты, Шпенглер, Тойнби; у нас Н.Я. Данилевский и Л.Н. Гумилев (см. также работы Д.С. Лихачева, В.В. Иванова, В.Н. Топорова, С.С. Аверинцева, А.Я. Гуревича и др.). Подход к национальной логике со стороны языка намечен в гипотезе Сепира—Уорфа. Но у нас сам язык опущен в целостность национального бытия, выступает как ее глагол Логос. Мысль нашего века узрела резкое различие между цивилизацией, которая едина и универсальна и есть механизм, и культурой, которая непременно натуральна и есть живой организм. И если в будущем культуры могут быть залиты и снивелированы цивилизацией, то пока они в высшем цветении, и наша задача: описать их в том состоянии, когда народы и культуры, быть может, поют свою лебединую песнь...

Национальный образ мира есть диктат национальной Природы в Культуре. Только ее вливание в дух, своего рода космофизику, надо суметь прочесть. Для этого разработана тут своя методика и метаязык. В качестве такового принимается древний натурфилософский язык четырех стихий. «Земля», «вода», «воздух», «огонь», понимаемые расширительно и символически, суть слова этого языка, его «морфология», а его «синтаксис» это Эрос («Любовь—Вражда» Эмпедокла, «притяжение—отталкивание» Науки). Сам акт наложения древнего языка четырех стихий через головы двух-трех тысячелетий на современность, заарканывая и отождествляя концы и начала духовной истории человечества,

есть фундаментальная метафора (= пере-нос) и образует метафорическое поле, с которого посредством дедукции восбражения и воображением (или «имагинативной дедукции») означим это дело так для любителей иностранных терминов: тогда оно пребудет в «научном законе») снимается богатый урожай образов и ассоциаций. Очень емким оказался этот метаязык: на него переводима и поэзия, и естествознание (4 стихии = 4 агрегатных состояния вещества, например), и духовные и бытовые явления, и можно Природу читать духовно, а духовные явления осмыслить в контексте Природы, материально. В свете обострения в XX веке проблемы экологии такая работа имеет особо актуальное значение расширяется этика человечества: в ее диапазон включаются взаимоотношения с природными существами и стихиями. Да, для разворачивающегося во всем мире движения защитников окружающей среды, для Green Peace Movement, развиваемое здесь мирозерцание вполне родное.

Неожиданные подходы к национальной логике дает фонетика стихий. Естественные национальные языки трактуются как голоса местной Природы в человеке. У звуков языка прямая связь с пространством естественной акустики, которая в горах иная, чем в лесах или степи. И как тела людей разных рас и народов адекватны местной природе, как этнос по космосу, так и звуки, что образуют плоть языка, в резонансе находятся со складом национальной Природины. Рот и есть везде такой резонатор, микрокосм по Космосу. В нем небо = небо; язык = человек, индивид, единица, стихия огня; губы = мягкое, женское, влажное, волнообразное, Двоица, стихия воды; зубы = кость, твердь, горы, множество, стихия земли; дыхание = воздух. Гласные = координаты пространственно-временного континуума: «а» = вертикаль, верх-низ, открытое пространство; «е» = ширь; «и» = даль; «о» = центр; «у» = глубь, внутреннее. Согласные заполняют чистый космос разнообразием, причем глухие смычные = мужское начало огнеземли; звонкие и сонорные носовые = женское, вода; фрикативные = воздух и т.д. Выясняя удельный вес всех этих элементов в фонетике языка (есть еще и передне-, задне-, верхне- и нижне-язычные звуки), удастся в лаборатории рта прочитать иерархию ценностей в данном пространственно-временном конти-

нууме, что здесь важнее: верх/низ, даль/ширь, перед/зад, зенит/надир, мужское/женское и т.п.

Во рту совершается таинство перетекания Космоса в Логос, материи в дух: язык еще веществен (звуки), но уже и спиритуален (смыслы). В фонетике каждого языка имеем портативный Космос в миниатюре: именно переносимый, так что можно и не ездить в чужую страну («ума искать и ездить так далеко!»), чтоб постичь ее менталитет, а вслушиваться в язык... Вот, например, берусь я выяснять польский Космос. Потрясающее преобладание шипящих мне подсказ: загашение стихии огня влаговоздухом, драма человеческого факела. Проверяю Шопеном. Клубление волнующегося вокруг мелодии, темы пространства: фигуры, пассажи, овеивания, мелизмы, дух, дышащий в «аккомпанементе», это тоже активность посреднических стихий: ВОДЫ и ВОЗДУХА. Пассажи Шопена, фактура трепещущая его, рокотание и дрожь это аналог шипящим в фонетике. Даже «р» превращается в Польше в «ж»: то оженствление мужского, ургийно-гордынного начала огнеземли... Еще и носовые гласные польского, как и французского, языка соответствуют роли женщины: дамы и пани там. Ибо носовые это влага + воздух = пена (состав Афродиты, «пенорожденной», хотя там та еще пена...).

Или возьмем феномен Мирового Древа. Везде вроде оно есть как модель. Но важны акценты. Например, во германстве это Stammbaum мы переводим: «родословное древо», но тут «ствол» «штамм» задает смысл: сила осевой опоры, голая вертикаль и ее этажи, откуда сучья: уровни, балки и перекрытия. Само Древо читается по модели Дома. Stammbaum что Haus. Да и само Baum от bauen «строить», «созидать», так что «крестьянин», во германском сознании, это не земледелец, а тоже «строитель»: -ургийность подчеркнута и в том человеке, что среди -гонии матери-природы вроде живет.

А в польскости в той же модели Древа ЛИСТВА важнейша ствола. Вон знаменитая «Липа» Кохановского: от листвы и шелест-звук, и пенье птиц, и тень, и цвет-мед, и прохлада от собираемых листвою веяний с поля. То же и у Шопена: вертикали аккордов (стволы), хоральность в диалоге с волнующимся виением фигураций, в чем Логос влаго-воздуха воит и глаголет. Липа округла, романска, как и галльский Дуб (друидов).

А между ними готическое древо Fichtenbaum Ель. И философ в Германии Фихте Логос Ели, тогда как во Франции поэт Шенье от Дуба. В Польше же Липе такое почтение, что даже месяц целый в году поименован ею: «липец» (июль).

В России же не одиночное древо, но Лес будет моделирующим. Артель и собор дерев. Если липа Кохановского это Древо как Лес: в Дереве богатство Леса, то одиночное дерево, в русском сознании, это сиротство, как и личность отдельная малозначимость, и потому Кольцов, когда ему надо аналог Пушкину взвидеть, рисует «Лес».

Исследуются национальные варианты Пространства и Времени. Под латинским *spatium* (откуда английское *space* и французское *l'espace*) лежит интуиция шагания: глагол *spatior* шагать, ср. немецкое *sprazieren*, то есть пространство мыслится рубленным, дискретным. Немецкое же *Raum* (от *räumen* очищать) есть «чистое», «пустое». В картине мира здесь приемлема пустота, тогда как романский гений преследуем «страхом пустоты» (*horror vacui*), и здесь внятен континуум и полнота (такова космогония по Декарту и Лапласу). В русском же «проСТРАНство» явно слышится «страна» ширь, бок, край, родимая сторона...

Чувствуя, начинает несколько озадачиваться читатель шибко вольными ассоциациями. И верно: ничто, ни одно утверждение здесь нельзя принимать в полный и однозначный серьез и каждая мысль здесь на правах образа: присваивает себе его «пиитические вольности» так что без чувства юмора, без игры ума и даже некоторого легкомыслия не сдвинешься в постижении главных сутей: оцепенен будешь. Да вы что, Платона не читали? А как там морочит-дурачит всех Сократ и не поймешь, всерьез или шутит? и это при самом глубокопаниии мыслью!..

Итак, работа идет прямыми отождествлениями элементов и явлений из разных сфер и уровней внутри данного Космо-Психо-Логоса, и в этих бесчисленных ассоциациях и уравниваниях всего со всем главный азарт и вкус этих исследований. Тут смешение рубрик и чехарда рядов. Дифференцировка же производится путем сравнения Космоса с Космосом, когда сходный феномен: романтизм в литературе, космогоническая гипотеза, тип жилища и проч. в его вариациях по разным странам проявляется. Вся серия непрерывно-

сравнительная: каждый уже описанный образ мира становится далее зеркалом и орудием для просвечивания другого, очередного (при этом и сам еще уточняется), так что именно как панорама национальных образов мира этот труд имеет свой полный смысл. Но возможны, конечно, и относительно самостоятельные выпуски-портреты.

Вот, например, набор основных элементов, по которым французский образ мира отличается от германского, причем в каждой оппозиции (в духе пифагорейских пар) французский акцент подчеркнут. *Иерархия четырех стихий*: вода, огонь, земля, воз-дух (германский вариант: огонь, земля, воз-дух, вода), причем огонь как свет или жар; мужское или женское; -ургия (трудом сотворенность) или -гония (рожденность естеством) всего в бытии; прямая или кривая; вертикаль или горизонталь; даль или ширь; зенит (высь, полдень) или надир (глубь, полночь); *иерархия времен года* лето, весна, осень, зима; *иерархия чувств* осязание, вкус, обоняние, зрение, слух (германский вариант: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус); музыка или живопись; рисунок или цвет; свет и вещество это частица или волна; время или пространство; дом или среда; форма или материя; Труд или Жизнь; происхождение или назначение; история или эволюция; причина или цель; лекция или беседа; система или афоризм; мысль как здание или мысль-пробег (discours); доказательство или очевидность; рефлексия или авторитет; опосредствование или достоверность; внутреннее или связи-отношения; индивид или социум; необходимость и свобода или судьба (предопределение) и случай; пустота или полнота; дальноедействие или близкоедействие; интравертность (психики) или экстравертность; внутреннее или внешнее; объем или поверхность, «тяги» или «толкai» как причина движения и т.п. Для французского Логоса характерна фигура баланса, или симметрии (а не антиномия)...

Конечно, все эти и другие параметры (в частности, важно еще соотношение животной и растительной символики, и какой именно...) наличествуют во всех национальных образах мира. Но при том, что везде все есть, есть оно в разных пропорциях и акцентах. Это и надо выявлять.

Все исследование написано в научно-лично-художественном жанре, методом привлеченного мышления.

Наблюдая за собой, я давно заметил, что те ходы, которые проделывает на уровне абстракции моя теоретическая мысль, связаны с ситуациями и переживаниями моей текущей личной жизни. Так что, «у кого что болит; тот о том и говорит» — и даже на наисублимированнейшем уровне логико-научных конструкций. Следовательно, имеет смысл сделать рефлексию на это и привлечь свое отвлеченное мышление, так сказать, к ответственности перед собой как человеком живущим. Это не только для честности мысли полезно, но и для ее глубины, ибо такая, отчетная мысль проникает вещи, которых не зрит мысль безотчетная. Как в экспериментальной науке надо учитывать прибор, его устройство и возможные помехи, так и в теоретическом мышлении, где «прибором» является вот этот живой человек с особой траекторией жизни и складом души и характером, субъект должен быть внесен и учтено его присутствие в объекте исследования. Тогда одновременно совершаются: познание предмета и Сократово познание самого себя. Возникает жанр жизнемысли, мышления-исповеди, просто как честно экспериментального репортажа. А то в науке хорошим тоном считается безличное мышление-поучение других: пишут так, чтобы втолковать другим то, что ясно им самим; я же принялся писать как бы внутрь: пытаюсь понять-оживить по-своему то, что дано в виде готового отвлеченно-безличного знания, информации, и фиксирую эти опыты уразумения своего. Мой текст — «всебяти-на». Описания национальных образов мира включены в дневник жизни, и эти пласты перекрепчиваются в повествовании. Вот, например, как я понял, отчего Англия — страна техники:

«Вчера, когда надвигаться стало время тамаса (сумерек), душа начала испытывать стеснение, муку, тоску, бесприютность и «что делать буду я?» (как возопил странник Бэньяна в переводе Пушкина), чем же я спасся? А тем, что принялся домашние дела делать, мастерить — и так перемог опасную полосу: меж 6 и 8 вечера... И вот утром сегодня, это вспомня, как я вчера справился с тамасом: «Ба! воскликнул. Да ведь это ж тебе явилась модель Англии: почему в ее космосе преимущественного тамаса (тьмы, тумана), где фог и смог, так развилась техника». Ну да, именно мелкое руководящее спасительно отводит душу от безнадеги созерцания и задачи разрешения мировых отвлеченных проблем: это

в Элладе, в ее свете чистом на море лазурном естественна теория = созерцание идей. Здесь же не идеи (= виды!), а хмари, тени, призраки, кошмары, туманности вот что только увидишь, если положишь ум на зрение как на ставку ва-банк. Нет, здесь, в невидали-то окружающей, божественно задвигаться рукам под лампой ума = своего солнца на столе = торшере головы.

Ум отвернут от небосвета и повернут на выделку: как что делается, понять... Ну да: вот абстракция, к которой призвана Англия: отвлечение от открытого пространства океана и неба, и, следовательно, техника есть именно абстрактное мышление Англии... Потому смог Ньютон напасть именно на абстракцию Всемирного тяготения, что небо *sub specie tergae* рассматривать стал... И недаром англоамериканец Франклин определил человека как существо (животное), изготавливающее орудия труда...» (11.XII.70).

Таким образом, в век разделения труда и узкой специализации наша мысль о Целом, стремление жить как целостный человек, а жанр тоже целостный: научно-художественно-личный. Конечно, взявшись за такую большую задачу с малыми силами краткосрочного человека и ограниченным запасом знаний, жизненных опытов и внешних впечатлений, и погрешаешь иногда против фактов: отсутствие прямых сведений пытаешься восполнить на путях воображения и домыслов и, бывает, попадаешь впросак. Но я и не претендую дать абсолютно точные характеристики национальных образов мира (да это и невозможно), но живописать как бы свои образы об образах и такой опыт, безусловно, поучителен, как в своих удачах, так и в провалах. А как чтение это в любом случае интересно. Азарт и пафос тут в Эросе угадывания: не зная многого, не видя, но по некоторым известным деталям проникнуть в суть и реконструировать, как палеонтолог по одной челюстной кости весь скелет, такая задача увлекает. В этой работе как бы платоново припоминаешь из себя и Индию, и Италию, и Америку... Наше видение научно-художественное, с той особенностью, что материалом образного мышления служат не люди и случаи из жизни (как в собственно художественной литературе), а страны, народы, эпохи, культуры, идеи, научные теории и проч. в них художественным образом вживаешься, они тут персонажи, и меж ними разыгрываются разные сюжеты и перипетии. Это

художественная философия культуры, веселая наука. Или интеллектуальный детектив — так бы можно обозначить этот жанр художественного исследования. Тогда те моменты, что мне обычно инкриминируются: что я на основании малых фактов делаю большие выводы (а это является минусом для строго научного исследования), могут раскрыться как достоинства. Специалист как участковый инспектор: знает все о людях и делах своего околотка-поселка, но, не имея обзора и перспективы, не усматривает ту связь, что очевидна для принципиального дилетанта, странствующего детектива-космографа.

Беседы по философии быта разных народов. Уроки чтения национальной предметности

6.X.68 г.

Осенью 1966 года среди аспирантов Института мировой литературы из национальных республик возникла идея: устроить семинар по национальному пониманию мира в литературе. Зная, что я уже несколько лет занимался этим предметом, они предложили мне вести его. Мы стали собираться в аспирантском общежитии Академии наук, в комнате у Мурата Ауэзова, располагаясь на 4—5 стульях вокруг стола и на двух кроватях. Я ожидал от этих бесед проверки некоторых своих идей, поднабраться материалу и расширить свои представления; они собирались поднаучиться у «старшего товарища» уму-разуму. Но получилось нечто совсем иное и гораздо лучшее: на этих беседах совершалось действие совместного мышления. Часа два-три мы все напряженно думали, развивали и разветвляли взятую на вечер проблему, открывая в ней на ходу неожиданные повороты. Так праздничен был этот жанр сократических бесед, что мы очень полюбили наши встречи. Это было как общее сочинение музыки, импровизация — но не в одиночку, а квинтетом, октетом: больше восьми нас не бывало — так что соблюдался античный принцип застольной умной беседы: чтоб гостей было не менее числа граций (трех) и не более числа муз (девяти).

Когда такой оказалась уже первая беседа, я понял, какая это редкость, и хотя возникала у меня мысль как-то фиксировать разговоры, но я ее отгонял: что это за привычка все отчуждать в письмена! Ведь отпечатывается беседа в наших душах — неужто этого мало? И душа — хуже ли бумаги? Сократ в разговоре с Федром прекрасно разбирает вопрос: «Годится ли записывать речи или нет, чем это хорошо и чем плохо?» *«В этом, Федр, ужасная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения*

стоят как живые. а спроси их они величественно молчат. То же самое и с сочинениями. Думаешь, будто они говорят, как мыслящие существа, а если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда твердят одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде и у людей понимающих, и, равным образом, у тех, кому вовсе не пристало читать его, и не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо ругают его, оно нуждается в помощи своего отца, а само не способно ни защищаться, ни помочь себе... А то, что по мере приобретения знаний пишется в душе того, кто учился, оно способно защитить самое себя, умеет говорить с кем следует, умеет и промолчать... Такие занятия, по-моему, станут еще лучше, если овладеть искусством собеседования: встретив подходящую душу, такой человек со знанием дела насаждает и сеет в ней речи, полезные и самому сеятелю, ибо они не бесплодны, в них есть семя, которое рождает новые речи в душах других людей...»¹

А особенно боялся я духа всякой фиксации в форме протокола ли, магнитофона ли, так как это могло окостенить мысль, лишить беседу непринужденности. И жанр сократических бесед был бы убит. А им мы дорожили более всего. Так прошли три беседы. На следующий день после третьей, проснувшись, я понял, что хоть для отдачи отчета самому себе что я понял, насколько со вчера стал умнее, стоило б восстановить ход беседы. И я записал, что припомнил.

Подумал я было о том, чтобы и каждому участнику после беседы записывать, что он говорил, и так вместе сложить книгу. Но тут опасность была в том, что каждый стал бы радеть не об общем мышлении, а чтоб самому больше и умнее сказать, и явилась бы натянутость. Так что решил я ничего не менять в беседах и записывать постфактум сам для себя; может, когда кому и пригодится. Такое записывание и Сократ одобрял: «...Ради развлечения он засеет сады письменности и станет писать: ведь он, когда пишет, накапливает запас воспоминаний для себя самого на то время, когда

¹ П л а т о н. Избранные диалоги. М.: Художественная литература, 1965. С. 248-251.

наступит возраст забвения, да и для всякого, кто пойдет по тем же следам: к тому же он сможет полюбоваться их нежными ростками»¹.

Так я и записывал: лихорадочно быстро, что успевал припомнить, опуская подробности, заботясь о географии самого мышления в ходе беседы русло и извивы его реки на карту нанести. И поскольку писал я и припоминал я, мой голос в записи занял непомерно большое место, заглушая голоса собеседников: не хватило мне и времени, и художественной памяти, чтоб любовно восстановить речи участников в их характерах и характерности. Так что получился в итоге суховатый пересказ, где беседа чуть ли не целиком переплавилась в монолог.

Открыв эти записи сейчас, почти через два года после бесед, я понял, что даже в таком суховатом монологическом пересказе беседы эти общелюбопытны. Оттого и рискую предлагать их на общий глаз, ум и суд.

Читателю стоило бы быть снисходительным к некоторым заносам мысли, гипотезам, фантазиям, ибо в возможности прибегать к ним прелесть живого умозрения: мысли и слова надо воспринимать отчасти как голоса персонажей в художественном произведении, видя в них образ мысли, а не однозначный тезис автора. Так же не придиричивым стоило бы быть читателю и к некоторым возможным неточностям в моей передаче фактов из быта разных народов, которые упоминали участники бесед.

Не записана здесь последняя беседа «О национальном Эросе».

Присовокупляю к беседам несколько своих рассуждений, исполненных в таком же жанре толкования национальных предметов, обычаев.

Большинство участников наших бесед принадлежало к представителям восточных народов, и потому разговор чаще всего шел о вариантах восточных видений мира.

Участники ж наших бесед вот они:

Мурат Ауэзов казах, Ораз Дурдыев туркмен, Борис Гургулиа абхаз, Константин Цвинария абхаз, Джура Бако-заде таджик, Альгис Бучис ли-

¹ П л а т о н. Избранные диалоги. М.: Художественная литература, 1965. -- С. 251.

товец, Белецкий молдаванин, Михаил Чиремпей
буковинец.

Это постоянные. Иногда приходили: Болатхан Тай-
жанов казах, девушка-калмычка, латыш-эстетик и
иные.

Я с ними говорил об этом предприятии издания¹, и
они против оглашения наших бесед не возражают. Прав-
да, я не смог выверить с ними точность моей передачи
высказываний собеседников, поэтому, если что не так,
заранее прошу у них прощения, и вся вина на мне, а
им лишь моя признательность за пиры духовные.

Попробую восстановить мое вводное слово на пер-
вой беседе.

«Исходим мы из следующих предпосылок: каждый
народ видит мир особым образом. Зависит это от того
участка мирового бытия, который достался, доверен на
жизнь каждому народу: от особого сочетания перво-
стихий земли, воды, воздуха, огня, которое от-
лилось и в составе человека (этническом и духовном),
и в быту, и в слове. История народов меняет, сближает,
перемешивает, однако работает она на добротном, сло-
жившемся тысячелетиями национальном субстрате, и
все изменения суть именно его изменения. Оттого и
история народов своеобразна, и особы в ней извивы
и сочетания общей миру цивилизации и исконно вы-
росшей у народа каждого культуры.

Все это, допустим, так. Но как установить осо-
бенность каждого народа в видении мира? Для этого
надо научиться читать книгу бытия каждого народа,
которая написана на его земле: в горах иль равнинах,
в небе северное сияние иль убивающий, огненный
столб Шивы, в воздухе, в воде, в вещах быта, в
языке, в музыке и т.д. Я недаром просил вас к первому
занятию почитать Гиппократу, книгу его «О воздухах,
водах и местностях», на которую меня надуумил Бах-
тин в книге о Рабле. Там как раз прекрасно выво-
дится характер, нрав народов в зависимости от соче-
тания стихий, где он произрастает, как порода расте-
ния, и, главное, дан прецедент духовно-философ-
ского толкования, казалось бы, только природных яв-
лений. Ан нет: нет просто природы как вещества,
она вся сочтена смыслами и переливает их в состав

¹ Удастся — почти через тридцать лет. - 27.X.94 г.

человека, истекая уже его мыслями. Помните у Тютчева:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Но не это трудность подозревать смысл в существах природы, в вещах обихода. Трудность научиться их читать конкретно. Маркс говорил, что в предметах, созданных трудом человека и окружающих его, застыла книга человеческой психологии. Так вот: надо выработать искусство и умение читать эту книгу, и каждую вещь обихода, и инструменты труда что они нам глаголют, какое стихотворение из них шелестит? Мы и будем заниматься толкованиями природы, вещей: уяснять, что они нам говорят.

Для этого восстановим в правах древний жанр умозрения. Людям-то искусства художникам, поэтам к нему позволено прибегать мол, какой с них спрос: воображение, вымысел, фантазия все это несерьезно и не претендует на истину! Но вершине истины все равно, как мы до нее добираемся: по уступам и стенкам горы научно двигаясь и видя только эту гору, или на вертолете умозрения взлетая и имея возможность обозреть контекст этого утеса среди долины ровная, иль горы в системе Тянь-Шаня. Так что, да будет нам почтенен ковер-самолет умозрения и отнесем к нему всерьез: то не блажь, но инструмент откровения истины в ее общих очертаниях, а там уж подведите научный аппарат опытов, доказательств.

Наш предмет **национальный Космос** в древнем смысле как строй мира, миропорядок: как каждый народ из единого мирового бытия, которое выступает в начале как хаос, творит по-своему особый Космос. В каждом Космосе складывается и особый Логос национальное миропонимание, логика. Это самое тонкое, до чего нам добраться и постигнуть. Уловимо оно еле. На верхних этажах духа: поэзия, литература запутаешься, не разберешь, где свое, а где уж заемное переработанное. Потому нельзя нам начать прямо рассматривать национальный Логос, а нужно его пуповину с национальным Космосом восстановить. Последний нам не сам по себе интересен (как его описывают науки о природе: география, биология, антропология), но натурфилософ-

ски: именно в его перерастании в национальный Логос, национальный склад мышления. Так что наш предмет национальный Космо-логос.

Нам надо начать работу с рассмотрения и толкования нижних этажей национальных Космо-логосов: природа, быт, дом, одежда, пища как из них источаются, как бы сами собой наружу просятся определенные мирозерцательные мысли каждому у своего народа уловить их, прочитать и нам доложить. А мы будем сопоставлять, и в итоге прояснятся каждому и всем его народа особенности как реализованные возможности и вариант бытия мира как целого.

Еще и потому нам следует работать на низовом, так сказать, этнографическом, уровне, что этот язык вещей всем очевиден и понятен, тогда как займись мы сразу поэзией тут надо язык знать, историю, произведения, что другим непонятно, неизвестно, и время уйдет на осведомительство и просветительство, а не на мышление. Так когда-нибудь и до верхних, собственно духовных этажей национального Космо-логоса доберемся.

На первую беседу предлагаю: «Низ национального Космоса». Это земля, поверхность, ее склад, воды, реки, леса или степи, горы и к какому направлению умов такой склад бытия предрасполагает».

Была эта беседа. Потом еще одна: в ней, в частности, о национальных болезнях говорилось как о типичных для данного Космоса аномалиях, то есть что в нем особенно ложь (нездоровье в плане Логоса уже ложь, а в плане морали зло), и это по-своему оттеняло нормальный Космос, его невоспаленный строй, истинное в нем бытие.

Беседа третья

ДОМ

20.I.67 г.

Собеседники шестеро: Ауэзов Мурат казах, Костя абхаз, Борис абхаз, Джура таджик, Белецкий молдаванин и я.

Пока ждали может, еще кто придет, Мурат заговорил:

А вот цвета: в русском мире, очевидно, красный главный положительный: «красная девица»,

«красное солнышко», красный = красивый. А у нас в Казахстане белый: белый человек, белое лицо хороший человек.

И у нас в Абхазии белый.

А в Китае в театре маска белого цвета отрицательный персонаж.

Я. А я думал, что России присущ белый цвет, и проглядел, что «красный» нарицательное слово для «красивый». Но что здесь раньше: «красивый» или «красный»? Если «красивый» то и при слове «красный» бесцветная хорошесть имеется в виду: ведь красный цвет крови и огня, а нутро в России стыдливо спрятано¹.

...Видно, больше никого не будет, а подойдут включатся...

Рассудим сегодня о доме так наметили. Дом макет мироздания, национальный Космос в миниатюре. Здесь земля (пол), небо (крыша), страны света (стены) и т.д. Как мир (природа) храм, дом Бога, так дом храм человека; человек творит дом, как Бог мир по своему образу и подобию. Как в нашем теле заключена душа и просвечивает сквозь тело, так дом тело на нас; человек во плоти как душа в доме.

Устройство жилища, с одной стороны, есть отпечаток, отражение Космоса: дом строится как схема того, что человек видит вокруг, так что по дому можно изучать воззрение народа на мир как он его понимает. А с другой стороны, дом не готовым берется, а строится и есть выражение нутра человека, невидимого устройства его души, проекция сокровенного микрокосмоса. Значит, дом обоюдопосредник, как бинокль: оборотим его на грандиозный мир вокруг и он предстанет в уменьшении, доступным и обозримым для нас. Оборотим его внутрь оно, невидимое «я», выступит в проявлении (как на светочувствительной пластинке) и увеличении.

Итак, рассудим о доме, обращая внимание на вещь (из чего: камень, дерево и т.д.) и форму.

Ну, начнем с горцев. Давайте.

¹ Кстати, о цветах: еще на первой беседе туркмен Ораз говорил, что в туркменском языке одно слово для обозначения синего и зеленого.

Костя (абхаз) описывает: Конус, плетенный из рододендронов теплый ведь климат, чтоб продувался дом. На зиму обмазывается глиной. Пол земляной. Очаг в центре, дым в отверстие вверху, в центре...

А как же в дождь?

А над отверстием поднята крышечка, так что тяга под ней в стороны.

Я. А! это как ноздри. Ведь нос тоже двускатная крыша, конек над нашей тягой, оберегает ее от залива.

Вообще, дом это голова. Ведь голова в нас стяжение, макет всего тела: а дом уже тело выражает, как оно обобщено и абстрагировано в устройстве головы. Недаром в «Руслане и Людмиле» Голова как дом, а русская изба и есть голова под шлемом.

В доме вход рот. Двери губы: где раскрыты, где сжаты. Окна глаза.

Костя (абхаз). Окон у нас нет, но сквозь щели в плетеных стенах видно.

Я. Это как поры в теле: через них свет-огонь проходит, но еще не сконцентрировался в глазе-солнце. Точнее, там, где нет окон здесь и в юрте, рот и глаз совпадают. Это как доглазые животные кишечно-полостные с одним универсальным, синкретическим отверстием. Или как младенец родившийся сосет, а еще не видит. То, что пол земляной, тоже о вельности земляной говорит.

Вообще тенденция жилища какова? Первое жилье пещера (пещерные люди), то есть рот, зев земли, ее полуоткрытая утроба. Пещерные люди в пазухе земли, как детеныш кенгуру в сумке. Это еще утробный период человечества и по жилью. Когда человек рождается, он выходит голым на Божий свет, на открытое пространство. То же самое и собственно человеческая история, и жизнь начинается с того момента, когда человек рискнул выйти на открытое ристалище. И тут же узрел, что он наг и гол. Ведь новорожденное животное сразу одето шкурой и может ходить. А человек гол и кожей нежен, и как ему надо добавлять к себе шкуру одежду, так и второй слой шкуры дом строить, и именно строить. Как первая одежда фиговый листок, так первый дом плоскость (накидка) крыши (из листьев ли, камня на подпорках, шкуры ли растянутой). Хотя здесь уже различия наступают от чего больше оберегаться: от верха (дождя и солнца) или бока (ветров). Юрта оберегает больше с боков, а

вверху отверстие. А в Африке главное покров, уберечься от палящего солнца, а бока открыты, стен почти нет.

Общая тенденция жилища вознесение, вавилонский столп как нынешний городской дом, где человек не на земле, а на голове человека стоит. Притом есть соответствие между позой человека и устройством дома. У избы пол поднят над землей, стоит на камнях, есть и подпол и недаром здесь человек не на полу, а на скамье или на стуле сидит. А юрта соответствует сидячей позе кочевников верхом прямо на земле. Всякая одноэтажность село от слова «сесть» (на землю). Город начинается с двухэтажности: с отрывом от земли человека-Антея, и возникает мир искусственных ценностей, цивилизации, к чему и огород городить затеяли.

Борис (абхаз). Это верно про пещеры. Но и у нас в Грузии были пещерные города и не в первобытности, а и в X веке, когда расцвет цивилизации и уже христианство. Это, верно, от врагов в горе рыли пещеры, связанные переходами: там и церкви.

Я. Да, но здесь важно направление труда: если человек равнины строит стены, одевает веществом пустоты, то жителю гор надо добыть пустоту, полость, а земля и так уже человеческой вертикалью поднята. Если там город вверх городится над землей, то здесь город в утробе земли.

В Индии тоже пещерные города «Пещера тысячи будд»...

А еще на равнине от врагов добавляется ров перед стенами.

Ну да усиливается вертикаль: вверху через воздвижение земли, внизу через опускание пустоты. Вообще такой пещерный город напоминает муравейник, а город воздвигаемый улей.

Борис (абхаз). Самые древние жилища у нас дольмены: большой камень на двух других.

Я. Это пещера, но уже воспроизведенная, повторенная построенный рот.

Ауэзов. Вот я хотел...

Я. Ну да, давайте перейдем к другим типам жилища богаче будет сравнение, а потом опять к горскому жилью вернемся.

Ауэзов. Юрта круглая...

Я. А изба четырехугольная, и «не красна изба углами, а красна пирогами», и есть в ней «красный угол»: кстати, почему святителище в углу, а не в центре или на фасаде? Раз святителище, значит «Свет невечерний» не нуждается в окнах, как ум светоч под тьмой черепа не нуждается в глазах.

Но это в сторону. Итак, юрта круглая, и кочевник круглоголов, а северянин, славянин с более квадратной, угольной головой.

Ауэзов. Юрта круглая, видимо, от равномерной открытости пространства во все стороны и необходимости быть готовым к нападению с любой стороны. Строится так. Нижний ряд перекрепчивающихся жердей идет вертикально, как стены, следующий ряд образует скос, и вверху еще скос.

Я. Ага! В России в избе две грани: стены-щеки и череп-крыша. Здесь три грани: ближе к шару не только по сторонам, но и вверху.

Ауэзов (*рисует*). Юрта покрывается кошмой: войлок из животного.

Я. Значит, кочевник в юрте как в шкуре животного, как в его сумке, за пазухой у своего стада.

Ауэзов. Окон нет. Один вход с пологом.

Что бы это значило, что окон нет?

Ауэзов. Это, верно, от степи: там ландшафт не дифференцирован, зато каждый звук разносится далеко, так что из юрты ориентируются по слуху. Если кто скачет и по содроганию земли слышно.

Я. Значит, связаны друг с другом силячая восточная поза и беззаконность усиливается восприятие колебаний земли (прямо туловищем) и воздуха как слепых и даже как глухие слышат телом.

Ауэзов. Даже обычай такой: за пятьдесят шагов от юрты спешиться, а то стук копыт становится невыносимым для слуха.

Вообще, кому слух, а кому зрение нужны? Птицам зрение на что им слух: они в открытом пространстве, где свет и воздух; а слух нужен кому?..

Да тем, кто в лесах или в густой, мелко дифференцированной местности.

Ну да, где воздух заполнен воздвигшейся разнообразной землей чтобы в ее дебрях не затеряться.

Костя (абхаз). Притча у нас есть: плыли лебедь-зоркий и бобер-слепой, но с острым слухом по извилистой реке. Лебедь за поворотом не увидел охот-

ника и был убит, а бобер заранее услышал его и нырнул под воду.

Ауэзов. Так вот, в юрте при нападении врага все члены семьи имеют в бою четко определенные функции: и дети, и старики.

Вообще интересна тактика кочевников в бою. Когда они нападают на строй оседлого врага, они налетают волнами: пускают стрелы, а сами тут же врассыпную, в стороны.

Я. Лучами-радиусами, как шар юрты.

Ауэзов. Вслед вторая волна налетает и тоже рассыпается: заходят с тыла. Я удивился, когда котел под Сталинградом называли новшеством военной стратегии. Кочевники именно так, в котлы, и брали противников.

Я. А! Теперь понятно, почему татаро-монголы били русских и всех оседлых в открытом поле. Земледельцы малоподвижны, угловаты (ср. углы избы и всесторонность юрты); когда лицом к лицу сильны, но кочевники ускользают, выются выюном, надо на все стороны поворачиваться и тут у земледельцев, привыкших к четким различиям переда-зада и сторон в пространстве, голова идет кругом, они теряют ориентировку как в игре, когда, завязав глаза, раскручивают человека и он должен восстановить направление. Значит, то, что земледельцы глазаты (у них окна), а кочевники слу-хаты, проявляется при кругообращении: глаз привык и приучает человека к сторонам света, дает одностороннюю ориентацию только спереди, а слух круговую оборону развивает. Земледельцы прямосторонни. Значит, кругообращение, повороты головы для слуха ничего не значат: в любой момент при остановке слух находит направление в пространстве, а глаз теряется: ему сначала надо восстановить, где раньше, вначале, был зад и перед, что к чему. А пока земледельцы сообразят, кочевники, слутывая их ориентацию, нападая спереди, и сзади, и с боков, быстро бьют неповоротливых и неуклюжих земледельцев, прежде чем те успевают очухаться. И характерно, что на Куликовом поле русские победили Мамая, применив именно татаро-монгольскую тактику: заманив на себя и ударив из засады в бок им, а те, татары, уже от долгого оседания на Руси, земледельчески окостенели и утратили свою кочевую суть времен Чингисхана и Батю.

При такой круговой ориентировке в пространстве и тактике боя, очевидно, для кочевников не имеет нравственного различия, убит ли спереди или стрела в спину вошла то, что так важно для земледельческих народов.

Борис (абхаз). А у нас позор, если сзади убит. Верно, это с нашей оседлостью связано.

Костя (абхаз). Черт возьми! Вот до чего дойти можно, исходя всего лишь из устройства дома.

Я. Но в бою какую цель преследуют: занять место или людей истребить?

Ауэзов. Конечно, война кочевников направлена на истребление или похищение живой силы.

Я. Ну да, а земледельцу важно просто отгеснить: грудью или плечом (как русский народ при нашествиях на Россию). А для кочевника важно живое тело, а не земля или растение, и враг видится как животное, как тело; а его дома, город, земля, посев это все не имеет значения. Недаром курганы из черепов насыпал Тимур-кочевник.

Ауэзов. Вот еще важно, что у кочевников нет двора.

Борис (абхаз). А у нас двор большой, и в нем очень дифференцированное, членораздельное пространство...

Я. Как дом макет мироздания, так двор модель вселенной, пространства.

Борис (абхаз). У нас дом так строится. Два здания: рабочее (там и едят) и второе спальня.

Ауэзов. Интересно поселение узбеков: когда кочевники перешли к оседлости словно по контрасту, совсем огородились от мира. Вы были в Ташкенте в старом городе? Там на улицу глухие стены, ни одного окна.

Джура (таджик). И у нас окна на улицу не выводят, а лишь во двор: чтобы женщин не видели и они на чужих не смотрели.

Я. Но это же опять юрта только навечно поставленная. Ведь в юрте тоже окон нет, вовне она не направлена, а все внутрь себя. Отсюда и глухие дувалы и всяческое разнообразие во внутренних дворах у узбеков и таджиков.

Интересно, что русские окна чтоб глазеть на улицу, по сторонам, выражают любопытство как экстравертность духовного пространства в человеке: направленность вовне, выход из себя.

Костя (абхаз). И у нас «дом — моя крепость» (так, кажется англичане говорят?). И могилы, родовые склепы внутри двора.

Борис (абхаз). Вот недавно у нас один умер; перед смертью построил дом, а наследников не имел. Так его, по настоянию родных, в центре дома, под полом похоронили — и дом ему стал как мавзолей.

Ауэзов. Да, а вот в Китае национальная проблема: кладбища — на лучших землях; и новая власть решила снести — так со всего Китая старухи легли на могилы — и пришлось отменить.

Я. Вообще тип захоронений очень важен. Вот Борис говорит, что двор строился с расчетом на прием гостей — на свадьбу или похороны, — и тут же склепы. Это значит: дом (Космос) построен для прибытка, прибавления к бытию, к расширению — и к сужению, к выделению из себя.

Ауэзов. Наши захоронения — курганы. Разбросаны по степи. На них — каменная баба.

Я. Но как же узнают своих?

Ауэзов. Кочевья — это уходы и возвращения, значит, те же места проходят. Но вообще, если другие народы в войнах могут осквернять могилы друг друга, то у кочевников этого нет: уважают курганы и тех мест, где враги.

Я. Ну да: может, там и мои предки зарыты — откуда я знаю? Ведь и мы там некогда кочевали.

Ауэзов. Интересно, что вот это уважение вообще к могилам, неразличение вражеских и своих — сопряжено с тем, что особого культа мертвых у кочевников нет: умирает — и к нему теряется интерес, словно к нам уже отношения не имеет.

Борис (абхаз). А у нас чтут могилы, и, если кто хочет прекратить кровную месть, он ложится спать у могилы предков своего врага — значит, к корню вражды восходит и ее отменяет. Это замечают — и мирятся.

Костя (абхаз). А другой способ прекращения кровной мести: поцеловать грудь матери врага — и стать молочными братьями.

Я. В захоронениях у оседлых народов чтится именно этот мертвый — мой предок: род, значит, дифференцирован на личности. У кочевников чтятся вообще мертвые: нет меж них личностной дифференциации — значит, и меж живых она неразвита. Но все же, раз у кочевников нет стойких мест погребения

ния, память о мертвых должна как-то переноситься с собой — как и их жилье, юрта и вообще все свое носят с собой. Может, от умерших остаются какие-нибудь вещи?

Ауэзов. Да, точно, вещи умершего распределяют и сразу носят.

Я. Значит, память о нем не сосредоточивается на нем самом — как в погребении, не выделяется в особый предмет, а распределяется, дробится меж живыми — как тело Господне при причастии.

Ауэзов. И издавна старики в каждом роду содержат родословную книжечку, где арабскими буквами заносят всю последовательность колен. И часто старики разных родов встречаются и выясняют степени родства. Так что вот она — переносная память, как и эпос «Манас», сказительство...

Я. Но это мы все о захоронениях, то есть в землю — в утробу — возвращениях. А ведь есть и сжигание трупов. Что это значит?

Молдаванин Белецкий. В Индии прах развеивают над Гангом или просто в воздухе.

Я. Постойте, да и греки гомеровские — гекатомбы на кострах — трупы сжигали. Значит: восприимчивыми уходящей жизни становятся огонь и воздух, они особенно насыщаются жизнью. Недаром это мировая душа — Брахман, атман, прана — жизненная сила, и у йогов техника дыхания — как род мышления разработана...

Ну, сегодня прервемся.

В следующий раз продолжим о жилье — о внутренности теперь: что там значат части дома и вещи. И одежда — как дом на человеке.

Нам не хватает собеседников — знатока русского быта и индуса. Еще бы африканца и западноевропейца. Как бы найти?..

Беседа четвертая

ДОМ (внутренность)

27.I.67 г.

Ауэзов. Юрта — пола нет: войлок, ковры, одеяла, подушки — в приданое.

Я. Значит, и снизу, и сверху, и с боков кочевник — в шкуре животного, животным окружен.

Ораз (туркмен). Чувалы подвешивают к жердям тесемками, чтобы перевозить.

Я. Как шкафы и комоды. Только, если у земледельцев предметы стоят так, что низ — фундамент, то здесь — опора сверху. То же и очаг: котел висит или на тагане — провисает.

Обратим внимание, как дифференцирован низ! Разные ковры, подушки. У земледельца низ — нейтрален, пол — не разрисовывается, разнообразие — на стенах, возвышено. А здесь подушки — как мягкие внутренние ткани нашего тела: пленки, мышцы; ковры слизью обволакивают.

У земледельца всё более жёстко — к телу не ластится, как кошка, тело содержится в суровости и спартанстве (стул, стол — поза угловата, как и изба — углы, да стул); кочевник сидя, свернут комочком — в мягкости бедер своих ног, ягодиц утопает, а не отрешается жесткой гранью.

Болатхан (казах). Круг юрты — равноправие: на окружности нет места более важного, нет иерархии. Отсюда демократизм кочевой семьи. Но всё же старейший сидит против входа.

Я. В русской избе тоже стенка против входа — главная, как и во храме. Лучшее место — красный угол.

Итак, в юрте нет внутрипространственной дифференциации.

Ауэзов. Если женится сын, ставят ему особую юрту, а не делят внутреннее пространство. Юрту ведь поставить просто.

Я. Значит, происходит не развитие, не создание более сложного многоклеточного организма — дома целого, но умножение одного и того же — как грибы, то есть не как выведение новой породы животного, а размножение одной и той же.

У земледельца же — дифференциация внутреннего помещения отражает утверждение различий и рост личности: как тело — стенка нашего внутреннего мира от других, так и стенка, создавая особое помещение в доме, обеспечивает сгущение и оформление «я», особой жизни и интересов. А в юрте обособление личности невозможно.

Ораз (туркмен). У нас до сих пор даже в городах входят без стука.

Я. Ну да: в другом не предполагается особой жизни, в которую бы я не мог проникнуть. Значит, и при переезде в город бывший кочевник переносит с собой юрту, как внутреннее пространство, психическое.

Ауэзов. У нас извещают о приближении голосом.

Я. То есть через воздух. А стук — через стенку-землю. Там воздух, здесь земля — основное место жительства и стихия.

Ораз (туркмен). У нас дверь важна — на ней узоры. Ставится новый дом, а дверь старая — от предков.

Я. Это как щит с гербом. И дверь, верно, — щит от инородного пространства.

Итак, у юрты монолитное внутреннее пространство — единое и неделимое. Этим она производит впечатление монументальности. Она не может расти внутрь и вверх без предела (как храмы горожан — и в том их монументальность: внешняя). Юрта есть целостная идея и имеет внутреннюю форму, изнутри положенную границу.

Болатхан (казах). Когдаходишь в русскуюизбу — изолируешься от пространства, в юрте же человек ощущает себя более соединенным с природой.

Я. Ну, с природой любое жилье связано. Важно точно выявлять, с какой природой. Ведь в русской избе стены-то из дерева: лес вовнутрь введен, прямо с лесом живут.

Болатхан (казах). У нас, значит, с воздухом, с открытым пространством больше связь.

Альгис (литовец). У нас основа всего — земля. Ее делят. Хутора — предел индивидуализации: живут в лесу — и не видно, невозможно зайти так, как в любую юрту кочевого рода. Чтобы дружбу сохранить, надо отделиться; соседи же — конфликты.

Болатхан (казах). У нас делят не землю, а скот, но при этом не столько количество важно, а единицей выступают жеребец или матка с табуном.

Альгис (литовец). Земля — твердая форма, отсюда меры, и числа, и счет развились у нас.

Я. Значит, кочевники делят плодородящую силу (жеребца, кобылу) — то есть потенцию, и в их жизни расчет на время; а земледельцы — вот это место, пространство, данное, факт, сейчас.

Но вернемся к внутренности дома. Итак, в основе жилья — костер (люди вокруг него) и покров (над

огнем и людьми). Значит, тип огня, очага — тип жилища. Огонь! Это как сердце — наш очаг, так и очаг — сердце жилья.

Альгис (литовец). У нас простейшая — дымная изба.

Болатхан (казах). А у нас выходит дым — вертикально тяга. И если дождь и ветер, то верхний колпачок так устанавливали, чтоб тяга была.

Я. Это как парус.

Ауэзов. Ну да, как на яхте нужно мастерство, галсы, чтобы и против ветра плыть, используя его силу.

Я. Но курная изба возможна, верно, оттого, что горение дерева не дает такого чада, как горение масла, жира. Очаг с видом горючего материала связан.

Ораз (туркмен). У нас не сало, у нас саксаул горит.

Ауэзов. А у нас кизяк — навоз животный, и прямо мешочек под хвост подставляют.

Я. Значит, и огонь из животного добывают: задний проход «огнем пышет» (как на скаку пламя изо рта у коня).

Ораз (туркмен). Саксаул — очень плотен и жарко горит, мало его надо — и тепло.

Я. А на севере дров много нужно, и строится печь — как дом для огня. Русская печь — целое архитектурное сооружение, храм с отсеками: приступки, окна, лежанка. Печь — дом в доме.

Вот разница: очаг открытый или закрытый. В юрте огонь открыт — на виду, как и вся внутренняя жизнь на глазах у всех. В избе — стыдливость: сердце (огонь) скрыто, нет такой наивной обнаженности. Камин — городской очаг: в стене наполовину, а наполовину открыт. Это — очаг как барельеф (тогда как голландская печь-очаг = статуя, а русская печь-очаг = собор).

В следующий раз еще поговорим об очаге-огне и рассмотрим национальную еду. Еда — тоже микрокосмос, это Космос, что внутрь нас входит; из каких стихий еда состоит, как здесь земля проходит огонь, воду и медные трубы; вареная и жареная — разница: жареная — без воды, соединение огня и земли. И время важно, и разделенность или смешанность частей пищи. Мы начали с Космоса; потом рассмотрели дом — как его уменьшение; человек — как еще большее стяжение; и вот еда — совсем сгусток национального мироздания. Когда до семени дойдем, тогда национальному Эросу предадимся — и восходить начнем: к духу, и Богу, и слову — к духовной культуре.

24.II.67 г.

Национальная еда (беседа первая)

Собеседники: Мурат Ауэзов, Борис Гургулиа, Джура (таджик), Болатхан (казах) и я.

Мурат поставил чай, заварил, набросал хлеба, баранок, сахару и банку варенья поставил. Мне пиалу дал.

Начали.

Я. Национальная еда — это та часть внешнего Космоса, что переходит к нам внутрь и становится частью микрокосмоса. Еда — это посредник между внутренним и окружающим мирами. Так что давайте приглядимся, точнее — придумаемся к тому, что выражает ее состав.

Рассудим. Что из природы может входить внутрь в готовом виде — не проходя через огонь?

Плоды, фрукты, овощи, корни, ягоды...

Они на деревьях, стеблях, вознесены над землей, напитаны водой (дождями и соком ствола) и солнцем. Значит, самой природой проделано то крещение огнем и водой, которое должно претерпеть всякое вещество, чтоб попасть к нам внутрь. У врат эдема нашего — нутра, словно как бы два херувима стоят: один — с огнем, другой — с водой.

Плоды, фрукты — сладки, а сладость есть огневодá (сок Эроса).

И если в земле — морковь, свекла тоже: коли сладко — красновато, огненно; а менее сладко — сыро, водяно — репа, капуста. Корнеплоды, в отличие от фруктов (притом что и те и другие — огневоды), имеют крен к воде, ибо в женщине — матери-сырой земле залегают; а фрукты — более огненны, мужские: в воздухе и солнце над землей вознесены — как фаллосы торчат (тогда как овощи — влагалищны). Очевидно, и слова, их обозначающие, разный род в языке имеют. Все, что корнево, — женского рода: морковь, капуста (лишь хрен — фалл старый — горек). А фрукты — лимон, виноград, апельсин, яблоко — *der Apfel* (нем. яз.), *le pomme d'or* (франц. яз.), помидор — он, баклажан и т.д.

Вознесенное — мужского рода или среднего (яблоко).

Но в России мать-сыра земля, как преобладающая идея, агрессивует и на сферу мужскую и заполняет фрукты женским родом: ягода, груша, земляника и т.д.

Так что по языкам надо проследить, и здесь выявится национальное соотношение мужского и женского.

Итак, в готовом виде до человека восходит растительная природа, и человек обнаруживает себя как травоядное животное.

Ну, а из животного мира есть ли что готовое для нас?

? (Думаем.)

Ведь человек равно ест растительную пищу и животную как свинья, которая и картошку, и курицу, и ненароком ребеночка или своего поросеночка сгрызет. Человек животное и травоядное, и хищное: и корова, и тигр одновременно. И отсюда ясно, что у кочевых народов, поглощающих животную пищу, больше черт хищных животных: вспыльчивость, рывок, мягкая кошачья походка (даже лицо прищур косых глаз и приплюснутый нос), а у северных, русских например, больше сходства с травоядными, мирными животными: круглые коровьи глаза, лошадиная голова и терпение, медлительность.

Болатхан (казах). А молоко! Ведь вот что в готовом виде из животного мира до нас доходит. Молоко мы отбираем питание у животного потомства, и это русло на себя отводим.

Я. Прекрасно. Но что есть молоко? Это как в яблоке сладость огневода: сквозь туловище дерева пропущенные и переваренные вода дождей и свет солнца, так и молоко тоже огневода, эротическая влага, пропущенная и переваренная за нас в живой топке теле животного. И вот еще сходство: молоко как семенная жидкость, и фрукт плод: в яблоке, в винограде, арбузе семя.

Значит, в готовом виде для нас из природы доносятся семена всех существ (то есть их идеи энергии, кванты). И мы в своем питании как бы перекрываем плодородящую силу природы, встаем у ее границ и обрубаем головы гидры-природы, а потом и сознательно (в земледелии и скотоводстве) оседываем семяпроизводящую работу природы.

Да, и орехи и ягоды тоже семена. И семечки подсолнуха. И зерна злаков они же семена.

И из рыбы готова в сыром виде к нашему употреблению икра опять семя.

Итак, на идеях природы мы вскормлены, ибо семя это потенция формы, энтелехия, но вида не имеет, а все капли круглы: и икринка, и зерно, и капля молока.

Или, пожалуй, еще лодочка: семя это зерно (пирожок), значит, имеет цель: нос и корму направлены лучики, и их уже не все равно как сажать: есть верх или низ солнечная и земная стороны.

Ну, а сырое мясо?

Ведь предки ели. Да и сейчас рыбу мороженую на севере едят. Или соленую: да и свинину посоли сырую вот бекон.

Ого! Значит, соль играет роль обработки сырья огнем, значит, она сгусток огненной энергии: не даром света, бела, солнечна, она есть представитель солнца в земле «соль земли». (Недаром и корень один: соль — солнце.)

Да, еще кровь вот что из животного готово в нас идти, и, когда животное режут, иные присасываются к горлу и кровь пьют.

Но кровь тоже вид огневоды, красная, как плод.

Итак, везде даже в естественной пище через горнило стихии огня должно пройти вещество природы, прежде чем станет пригодным для вхождения в нашу нутрь пищей.

В яблоке, молоке, соли, икре снизошедший огонь таится. Естественно поэтому, что, когда сами люди стали приносить дары основной животворящей силе, представляя ее как бога, они предавали даруемое огню: пропускали через огонь и, когда огонь насытится мясом, например, или клубнем (картошки), то есть бог возьмет свое, свою долю, огнем обрезанную, тогда уже может и человек остатки с божьего стола доедать.

Всякая варка, жаренье, печенье (то есть пропускание через огонь) есть воздание, и это жертвоприношение мы совершаем в современных газовых и электроплитах. Ведь после огня масса уменьшается, и «тук» лучшее возносится дымом, паром и чадом в ноздри богов. Сгорает ведь жир бело-огненное: богу боггово, огню огнево возносится, свое он забирает. Но

зато и боги благословляют, одобряют после этого пищу, и она, хорошо проваренная и прожаренная, идет нам впрок: усваивается нашим микрокосмосом как одухотворенная, обожествленная материя: в нее вдохнута огненная душа-луч то есть то, что и представляем мы сами собой.

Болатхан (казах). Значит, огонь это всеединое, всеуравнивающее для всех народов.

Вообще, начинается питание у всех народов с материнского молока, и в этом все одинаковы. А потом начинается дифференциация в пище, в идее и в характере.

Я. Но в этой дифференциации через огонь и выравниваются травоядность и хищность в народах. Если бы так и ели сырое: травоядные овощи, фрукты, ягоды, орехи, а мясоядные сырое мясо и молоко, то это еще не люди, а лишь человекоподобные существа разных видов. Лишь начав пропускать сырую ткань плодов и тел через огонь, травоядные народы обретаю необходимую энергию, огненность-мысль (а не только рыхлую массу и силу), форму, а бывшие хищные мясоядные обретаю умиротворяющую кротость, уравнищенность, лишаются ярости и неистовства (что пробуждает запах сырой крови) и получают мягкость, рассудительность, сове[с]тливость.

И все это дарует огонь: одним уделяет от своей энергии, жара, другим от своей светлости, чистоты и меры.

Но до сих пор (в нашем рассмотрении) люди пасутся как травоядные (бортничество) или хищники (охота), завися от случайностей и сезонов.

Человечество начинается с обособления и независимости от природы. Переход к управляемому процессу создания пищи земледелие и скотоводство.

И в том, и в другом варианте человек оседлывает порождающую деятельность природы у ее корней и плода, встает стражем на двух рубежах: у причин (посев, случай) и целей (жатва, забой). То есть из аморфного потока жизни природы выделен отрезок, форма, часть, но такая, которая представляет за целое. (Ведь именно такими повторяющимися отрезками и проходит жизнь целого: она не нарушается, как было бы, если б часть была выделена неверно: ну, например, не от зерна и до зерна, а от зерна до ростка.) Такая часть всего есть суть, истина, смысл.

Уловлена закономерность, повторяемость. В сознании возникает идея устойчивости, стабильного, того, что жизнь не только течет, но и есть пребывает, есть «естина» истина, покой.

В чем отличие пищи как продукта земледелия от пищи натуральной? Сеется зерно. ЖдетсЯ. Значит, оседлывается время оно впрягается в работу. Зачем? Чтобы, собрав зерно (= имея стадо), иметь возможность есть не когда плод подвернется, а всегда: не по дару извне, а по позыву изнутри собственный ритм жизни нашего существа становится законодателем. Зерно лежит сколько угодно и удобно, и пища всегда под руками. Идея «всегда», вечности. Сначала в посеве-жатве работаетсЯ на время и через время. В итоге же завоевывается независимость от времени. Но важно, что обе идеи: временнй и вечности входят парой.

Вот сколько метафизических идей таится в простом захоронении зерна и земледелец их в себе уж имеет и носит и непрерывно из своего быта получает и узнает.

Зерно, конечно, главное в земледелии. Есть ли народы, без хлеба обходящиеся?

В Японии мало едят.

Кочевые мало.

В Западной Европе англичане, германцы.

Но есть ли народы, которые вообще без злаков обходятсЯ?

Ауэзов. Даже кочевые весной сажали, а осенью возвращались на то же место: вель были установленные маршруты.

Я. Хлеб как солнце, скот как планеты, светила передвигающиеся (недаром созвездия Зодиака по животным, а не растениям названы). Недаром и хлеб пекут круглой формы как солнце. И колос лучист, и солнце колосится лучами.

Зерна на стебле между небом и землей: как птицы, плоды и светила. В злаке белок, огнистое вещество.

Болатхан (казах). Земледельцы много труда в пищу вкладывают, а у кочевых само собой стадо растет, потому они более ленивы, не энергичны. Чувство собственности чувство личное: моя земля продолжение моего тела.

Борис (абхаз). Зато, когда ударят по лошади, если человек верхом, значит, оскорбили его самого.

Болатхан (казах). И в психологии: кочевые не знают того, чтобы в драке пырнуть ножом, ибо жизнь живого существа священна.

Я. Но, с другой стороны, в войнах кочевые нападают, а земледельцы держат оборону, то есть блюдут форму, ограду, «я», идею границ, пределов, определенностей в мире, покоя и истины; кочевые идею движения, перемен, смерти.

Обратимся, однако, к пище, ее составу. Что есть основная, ординарная еда, а что праздничная, это видно по запретам, которые обычно налагаются на то, без чего, значит, можно обойтись.

Ну, давайте посмотрим кочевую еду.

Ауэзов. Молоко и мясо. Утром выпивают молоко с лепешкой, в обед тоже молоко, а основная пища ужин до позднего вечера варят, едят, разговаривают еда с шуткой и приговоркой, не как в России: ем глух и нем, а как заговорит ложкой по лбу. В вечерней еде сначала кумыс.

А кумыс как делается?

Сначала в деревянных кадках кобылье молоко бродит, потом в кожах в землю зарывается.

И вина тоже в дереве киснут, а в бурдюках выдерживаются.

Значит, и кумыс и вино сначала крещение растительным миром проходят: ведь от того или иного состава дерева дуба или бука особый вкус, в коньяке, например; потом в чреве животного, как его новая кровь, выдерживается.

После кумыса мелко нарезанные почки и мелкие кусочки мяса как салат.

Ага! Значит, хоть состоит вся пища из мяса, но в теле животного разные места разный вкус имеют. И как у земледельца на одном участке земли огород, на другом сад, на третьем сенокос, на четвертом злак, так и тело животного имеет свою топографию, и почки подаются как блюдо с огорода салат из овощей, филе как каша, а части головы делятся как сладкое, на закуску то, что из сада.

Ну да: особенно важно распределение головы. Уши отрезают, дают с шуточками детям, женщинам или о ком слух какой идет с намеком. Это веселая часть еды.

Самое важное когда глаз делится; но без зрачка: зрачок нельзя.

Интересно, почему.

Очевидно, зрачок — это жизнь, семя — божье или бесовское. И опять же дурной глаз — в зрачке.

Народы Севера, делая статую, отказываются ставить зрачок, ибо тогда она оживет и станет опасной.

Язык тоже, когда делают, кончик нельзя.

На кончик языка попадать опасно?

Кончик языка, видно, как зрачок — кончик глаза: средоточие и истечение, седалище духов.

Ну, а чем запивают?

Кумыс, шурпа — бульон с мукой.

А пьяные напитки?

Вот кумыс.

Болатхан (казах). Но вообще кочевые не пьют, нет потребности. Вот у земледельца — другое: тяжелый труд требует расслабления. И говорят, водка растворяет какие-то соли. Усиливает их обмен. Потому, когда пьют, закусывают соленым и кислым. И так приводится в равновесие нарушенный трудом и сверхусилием состав. А у кочевника день течет ровно.

Я. Когда больше пили в мире: сейчас или раньше?

Сейчас.

Очевидно, городская жизнь, и трудовое и бытовое напряжение, и увеличившиеся соли и грязи в человеке требуют вымывания и растворения...

А что значил запрет на вино в исламе?

Мухаммед хотел иметь народ воинов, а вино расслабляет.

Но почему же так легко привились запреты? Ведь, может быть, и запрет на свинью привился оттого, что ее просто нет.

Ауззов. Ну да, мы и раньше говорили: запрет на свинью был наложен, чтобы отличить себя от иноверных гяуров («кяфыров»), просто как знак отличия, чтобы говорить о других: вон они поганые, свинью, нечистую пищу едят.

А конь, кстати, очень разборчив в пище и грязную воду пить не станет.

Зато свинья на Севере привилась. И вообще жир у якутов: из него огонь, свет и тепло. Жир — сгусток огня в животном (как и соль в земле); то, чего недостает северянам в окружающем Космосе неорганической природы, они компенсируют поглощением органического огня и тепла. И как в огне осуществляется уравнение растительно и животного едящих наро-

дов, так и для северян сало всеядной свиньи есть уже обожженная, процеженная через огонь природа.

А как же сохраняется мясо у кочевых?

Да, не во всякое время можно забивать.

И молоко сухое, как творог, сбивается и сушится на солнце. А мясо кусками в кишки набивается, и висят они над очагом и копятся так мясо огнем сохраняется.

Ага! Значит, высушивается. Сырое = живое: молоко, продолжая жить, бродит и уходит за пределы человеческой съедомости. Чтобы удержать, его убивают, прекращают его жизнь для себя, в себе, но зато сохраняют вечную его жизнь для нас, как возможность воскреснуть. В самом деле: когда мы оживляем высушенное, мы его размачиваем, хотя бы только во рту, и так выпускаем. Так же и со злаками. Если хранить в воде зерно оно может продолжать жить, прорасти и стать негодным. Тогда его сушат, убивают, растирают в муку (муку зерно принимает). А когда надо оживить белок, белый огонь, смешивают опять с водой, осыряют в тесто...

Еще важно: кислое, сладкое, острое.

Болатхан (казах). Острое огненность, перец...

Человек как сквозная труба, многое сквозь себя пропускает ежедневно. Но и сам он из земли и в землю. Так вот: если наше тело живет благодаря тому, что выпускает и выпускает, то Земля живет, тоже выпуская в мир и забирая опять в себя людей.

Да, и постройка городов, цивилизация, промышленность это для жизни Земли?

Это уж, видно, связано не только с Землей, но и с участием человечества и Земли в жизни Вселенной. А результаты как мы можем видеть?

Ауззов. Быть может, к моменту, когда мы убьем плодородие Земли, человечество призвано изобрести новую форму Бытия, не Жизни?

И верно: ведь уже издавна родилась идея вечной жизни в духе, параллельно телесной: Бог, Царство Божье, Культура. Всё это копилки вечной жизни.

Я. Вот как через пищу мы к духовности перешли. Но я еще боюсь за это братья за национальный образ Бога. Надо еще закрепиться на анализах материально-телесных вещей.

В следующий раз продолжим философию еды и питья.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДА (вторая беседа)

3.III.67 г.

Собеседники: Мурат Ауэзов, Альгис Бучис, латыш-эстетик (Бучисом приведенный), девушка-калмычка, туркмен Ораз и я.

Я. Напоминаю ход мысли о еде.

Еда посредник между макро- и микрокосмосом. Заглатывание освоение бытия, как и мышление. Каждое блюдо это мысль и суждение о мире. В самом деле: если мясо, вода, хлеб это субстанции, сущности, категории, идеи, то щи, котлета с картошкой это уже соединение нескольких понятий, субъекта с предикатом и определениями и обстоятельствами (гарнир, подлива, соус вводные слова, модальность выражают и т.д.) и все это образует целое предложение, высказывание о бытии. Только надо суметь это прочитать. И в этом смысле хозяйки, женщины, на кухне, не ведая того, делают глубинно-духовное дело, непрерывно изготавливают, вырабатывают и питают нас самыми фундаментальными идеями и суждениями о бытии, которые залегают в плоть, и кровь, и сок наш под сознанием и мужским духом... Итак, через вкушение внушение кардинальных идей творится.

Ну, начнем. Давайте с севера с Литвы, так как прошлые занятия мы все с кочевыми возились.

Бучис. Ну, у нас главное картошка, молоко, яичница, сало.

Я. Кстати: яйцо тоже в готовом виде из природы усваемо человеком. И обратите внимание тоже семя, зародыш.

Бучис. Летом выходим на работу и лишь через два часа завтракать приходим, и вместо понятия «есть вкусно» у нас «есть крепко». Сало с хлебом. А мясо не часто в праздники.

Я. Давайте разберем состав еды и его приуроченность к стихиям: земля, вода, воздух, огонь.

Литовец земледелец, поэтому важен низ земли и ее глубина: ибо там все богатства и плоды; недаром в средневропейской земледельческой полосе так развиты предания о зарытых в земле кладах и даже есть притча о том, как некто в поисках кла-

да перерыл и взрыхлил, т.е. перепахал, всю землю вокруг себя, и она дала урожай вот тебе и клад из земли. И это поистине так: земля кормилица. И в нее дар зарывается: ведь посадка зерна, клубня это жертвоприношение земле. Ее украшают: обрабатывают, возделывают орнаменты-узоры по ней вышивают; ведь пашня это вышивание линий по земле, и, когда едешь по земледельческому краю, вся земля изукрашена и вышита разными линиями (межами, бороздами) разнонаправленными фигурами и разными цветами: зеленыя, озимь, коричневая гречиха, черные пары, красные маки, солнечные подсолнухи; разная фактура и высота «ниток»-стеблей и узор: то высокие, пушистые с ворсом как конопли и кукуруза, то приземистые, плотные в простой горошек как картошка и ее цветки и т.д.

Кочевая же земля безуходная, неухоженная: вообще взор кочевника вниз не обращается, точнее в низ земли лишь как на поверхность смотрит: что растет? травы какие в корм скоту? Но глубже не заглядывает: в подкорм, в подоснову, в фундамент и причины вещей. (Вот уже и выход к возможной философии: кочевнику интереснее устройство и описание н а л и ч н о г о бытия и верха, может быть, ц е л е й что к чему? но не устремлен взор на п р и ч и н ы, корни вещей. А как раз в этом непрерывно и копается взор и ум упорного земледельца-среднеевропейца: немца, литовца и т.д. Русский же, у которого простор земель, не очень был радивый земледелец и, при неприхотливости, тоже как и кочевник, не склонен докапываться до причин, не въедлив а любит чудесное, вязь, сплетение, досужное...)

Итак, у кочевника взгляд устремлен поверх земли. И источник его жизни, его пища скот отделен, приподнят над землей. Кстати, земледелец, в землю въедливый, в ее низу и глуби копающийся, вне работы любит сидеть н а д землей возвышенно: на стуле, за столом, подняв таз, полусогнув, расслабив ноги и выпрямив спину (поза, противоположная его трудовой, где он на прямых ногах с согнутой спиной, все поклоны земле отбивает). Кочевник же, у которого на дню и в труде ноги свешиваются и весь он взбалтывается на волнах хребта бегущего животного, любит ощутить всем телом твердую почву, и как моряк после палубы любит прогуливаться по твердой земле ногами, так и

кочевник любит сидеть, задом к твердой не колеблющейся опоре прижаться, а ноги, свешивавшиеся, приятно ему расстелить (как американским золотоискателям, непрерывно бродящим, ноги на стол накинута).

Итак, вознесенный в пространстве в доме приземляется; приземленный в поле в быту и отдохновении возвышается.

Далее, кочевнику, поскольку из земли ему важнее поверхность, видятся д а л ь и ш и р ь. Для земледельца же стороны света мало интересны, зато важна в е р т и к а л ь: глубь земли, солнышко чтоб обогрело, дождик полил (см. «Лира» из поэмы Межелайтиса «Человек»).

Ауэзов. Пища вообще различается по зонам. На Севере ведь: у якутов, чукчей тоже пища не из земли, а поверх нее: моржи, олени, как у кочевников. Потом начинаются плодородные земли пища внизу. С пожарчением пища поднимается от земли: на Юге на деревьях. Потом степь, сушь, уже кочевники мясо. Еще южнее тропики: там совсем земля заросла, буйная. Пища тоже вознесена на деревья: плоды, как и обезьяны, на них. А потом все опять повторяется.

Я. Теперь по составу того, что производит земля. Клубень картошки, капуста, огурец, свекла, морковь. Это всё водо-земля, мать-сыра земля, с легким дополнением огненности: морковь, свекла. И большинство в земле или непосредственно над нею, как капуста эта своеобразная чаша для сбора воды: чаша в чаше, лепесток в листе как матрешка в матрешке или как многоюбочность земледельческих женщин.

Плод Юга даже земледельческого более приподнят над землей: бахчи, арбузы, дыни уже более солнечно-огненное мясо: сладкое, красное, желтое, оранжевое.

И сады: в них плоды приподняты над землей, на деревьях. И виноград: солнце-вода, огненный сок недаром пьянит: в воздух от земли человека взбрасывает в пляску...

Итак, и там и тут пища в основном из воды (и это, естественно, вода = жизнь). Но северная вода мясисто-земна, меньше огненна, не сладка (и яблоки, и другие садовые более кисловатые и мясистые на Севере антоновка!). Южные же плоды менее мясисты (земельны), зато более огненно-влажны. В самом деле, земля здесь не мясистость, то есть не пронизывает

все пространство плода насквозь, а скорее сосредоточена вокруг, как внешняя форма, ограда, одежда, стена: корка, кожура арбуза, апельсина, винограда. В самом деле, северная земле-вода: картошка, морковь, кожица тонка, мягка (как и на теле северной женщины) и тут же переходит в более твердую материю тела овоща. На юге же кожа арбуза, апельсина, лимона, даже винограда панцирь (жестка смуглянка!), а внутри текучая мякоть. Значит, земля здесь концентрируется на поверхности, как в центрифуге, у экватора-то размах больше, тяжелое отбрасывается на края, а внутри мягкое.

Но это же мы видим и в составе человека: литовец, северянин, тонкокож, сквозь кожу проступают жилки голубые, и лицо-то (цвет его) может быть кровь с молоком, кожа влагу вбирает и отдает: пот проступает, обмороку доступны. А южанин сух, лицо дубленое, смуглое, кожа крепкая, жилок не видно. Зато внутри более мягко, жидко, огненно, гибко (кости гибки, а литовец костист, неуклюж, деревянен: «Крестьянин крепок костями» — стих. Н. Рубцова), страстно-эротично, но не чувственно. Чувственность — свойство оседлых, земледельческих, которые сидят, неподвижны и могут вслушиваться в нюансы и оттенки (в Индии, во Франции). У кочевников же страсть, напор. Эрос — воспаленное нутро, но при относительно толстой и грубоватой поверхности тела, так что трения кожей не доставляют таких наслаждений, зато острота, когда нутрь в нутрь проникает и через факел огонь одного с огненными реками другой сопрягается.

Северянин же нежнокожий чувственен поверхностью: милуются, глядя друг друга. Но внутри нет такой огненной влажности и напора Эроса, как у южан. В любви там преобладает не страстность, а нежность.

Такой состав плода и человека разъясняет и следующую загадку: почему на Севере, где и так воды много, пища сырая, водянистая, кислая (кисель, щи, квас, ржаной хлеб), а на Юге, где сухо, выжжено и так бы надо влаги для утоления, пьют немного и пища более суха?

Очевидно, в том дело: южный человек, как верблюд, сей живой ходячий термос: под жгучим солнцем многослойной корой ограждает свой запас влаги, несет его как драгоценную скинию завета, жизненную силу, семя жизни. Да, вода здесь сто-

кратно повышена в цене именно как семенная влага (как на Севере, где воды прорва, девальвация, поддерживается огонь в очаге, священный огонь). Так я, уже северянин, попав в Бухару летом в 45-градусную жару, пил поначалу газированную воду, и ее хватало от перекрестка до перекрестка. Узбек же пил утром чайничек (пол-литра) зеленого чая и его хватало на весь день, и не потел был сух в жару.

Северянин тонкокож, и в нем вода не удерживается, а непрерывно сочится (недаром в холод позывы на мочеиспускание чаще) и непрерывно обмен течет между внешней водой, сыростью мира, и сырой внутренней рыхлостью: нет рубежей, открыты границы.

Но вот вопрос: что к чему стремится сродное ли друг к другу или полярное друг к другу?

Конечно, сродное.

Конечно, противоположное притягивается.

Ну, например: капля к капле притягивается? Это сродное к сродному. Но ведь когда я сух, во рту горит, мне не огня еще надо, а воды значит, к полярному тянусь. Это старый вопрос о первосилах: если, по Эмпедоклу, Любовь и Вражда всё соединяют и разводят, то что любится и что враждует: сходное или разное?

Здесь диалектика: для развития нужно противоположное. Оттого и внутриродственные браки запрещены.

А еврейство? Там чем теснее кровь родная сохраняется тем гуще и страстнее: браки между двоюродными дозволены, а дочери Лота, чтобы продлить сема рода, подлегли под отца своего. А как сохранился народ в семени, крови, духе!

Но именно сохранился. Мало развивался.

Видимо, для сохранения чего-либо в своем качестве (воды как воды, красного как красного) нужно притяжение многих частиц сходного.

Для жизни же, процесса, развития (которое есть изменение и самоукрепление и потом новое самопорождение в ходе отгалкивания) нужно притяжение полярного.

Латыш-эстетик. Все это интересно, но вот возникает вопрос: мы латыши, рядом литовцы, вроде в одном Космосе живем, да и пища у нас сходная, а сами мы разные. Значит, дело не в пище, а в других факторах в истории, культуре. Потом: сей-

час уже пища меняется, становится общая во всем мире, привозится.

Я. Конечно, сейчас цивилизация всех выравнивает. Но, хоть быт у людей (и города, и телевизоры везде) сходится, но лица, тела литовцев и казахов в основном сохранились неизменными: устойчива плоть и кровь национальный ген. А он поддерживается определенным набором соков, особым стечением стихий, что непрерывно воспроизводится в пище. И самый разбогатый литовец, хоть на его столе возможны и кофе, и бананы, все это поглощает как раритет и сопутствующие обстоятельства; субъект же и предикат его пищи, то, чего требует его организм, это простой, основной набор. И недаром эмигранты богатые болгары где-нибудь в Австралии сохраняют кухню: самую простую, деревенскую пищу. Как священный огонь болгарские политэмигранты в СССР помню, в 30-е годы при отце переносили друг к другу закваску кислого молока. Организм требует своего родного набора иначе зады-хается.

Альгис. Да, вот в Литве и богатый кулак, а неприхотлив в пище то же сало и картошку ел. Значит, мог бы лучше и разнообразней, да состав существа не требовал.

Латыш-эстетик. Вот у нас сейчас рыбы едят много, а литовцы гусей. 10 ноября, в праздник Св. Мартина, или когда равноденствие¹ ездят в Литву за гусями, любят, чтоб жирное.

Я. Ну вот и отличие, хоть в сходном Космосе: для литовцев дусь пища будничного упроя, а для латышей праздничного. Вообще это важно: что естся повседневно, что есть будни и проза еды, а что на праздниках как редкость, самое дорогое еда изукрашенная. Праздничный стол это как ода, поэма, стихи в еде. И надо пригладываться, какая пища, какие блюда у каких народов составляют стол будничный, а какие праздничный.

Калмычка. У нас накануне весны в феврале-марте праздник, и тогда пекут только мучное, «борсаки» пирожки такие форм разных животных: жаворонки, верблюды, овцы...

¹ Пища следует за солнцем: солнцевороту сопутствует особый обряд и блюдо.

Я. Ну вот: у кочевых калмыков редкость зерно, мука, а мяса изобилие. Значит, торжественная пища из хлебушка то, что так буднично у земледельцев. Но при этом из сего драгоценного материала формуруют образы своих кормильцев животных: в преддверии весны и лета формой еды пирожков как бы заклинают плодородие стада: и это праздничное съедение как жертвоприношение тотемам животных, только сами их, как боги, съедают.

Ораз (туркмен). А у нас, как весна: март апрель «новруз», переходят на травы стараются их есть, доставать растительную пищу, и горожане за большие деньги все равно пучок к столу везут.

Я. Это похоже на северный пост: когда в те же месяцы март апрель не едят мяса, молока, яиц, то есть животной пищи, а лишь растительную или водяную рыбу. И у туркмен это религиозный обычай: есть зелень. Но здесь ее едят оттого, что вот она пока свежая, еще не выжжена летним солнцем: растения, зелень паритет, *vita-min* живительная сила. И оттого, что мясо надоело, оттого скот не колют. А на Севере постятся оттого, что в это время мяса нет съедено или ягнятся, телятся: молоко самим животным нужно, топи они...

Вообще, чтоб докопаться до смысла еды, чтобы прочесть предложение, суждение о бытии, что таит в себе то или иное блюдо, надо тщательно приглядеться, какие блюда сопровождают какие религиозные праздники, обряды. Вот здесь зона, где телесное (пища) переходит и смыкается с духовным и начинает источаться сокрытый в материи вещей (здесь яства) смысл. Недаром, например, причастие чрез преломление хлеба—«тела Господня» и питье красного вина—крови. Здесь совершается предельная абстракция: из вещей и яств выбирается самое первое и главное. Хлеб и вино здесь обнаруживаются как первосущности бытия: как мужское и женское (твердь и влага), причем хлеб кругл, светел, солнечен (булка так печется: калач кругл, и бел, и лучист), а вино = кровь темна, густа, терпка это ночь, бездна, женщина, тайна.

Надо приглядываться и к более частным разным праздникам и блюдам. Как каждый праздник летнего солнцестояния, весеннего равноденствия, зимнего солнцеворота космичен и имеет миф духовное о себе сказание, так и сопровождающая его еда, блюдо есть

миф во плоти: когда едят, смысл мифа поглощают, внимают, усваивают. Все блюда народной кухни имеют своих духовных патронов и покровителей, и наоборот, каждому особое блюдо по вкусу. Надо приглядеться, какое кому, и так сможем прочесть то особенное предложение, суждение, что сказано о мире именно в этом блюде, в отличие от другого.

И недаром те или иные блюда в определенное время именно предписываются обычаем и религиозно закрепляются. Это предписание крепить и содержать в чистоте свой ген, этнос, национальную плоть и кровь, сущность преподавать ей в последовательности весь комплекс опытов, восприятий (= яств), понятий (= взятий) вещества из мира.

Для различения слов о бытии, какие говорятся блюдом, важна форма блюда образ мяса, и того, что вокруг, «гарнира», и сопутствующих обстоятельств и т.д.

Ауэзов. Казахи и киргизы живут в сходном космосе и те и другие кочевники; правда, казахи ниже, больше простора, а киргизы к горам ближе; пища же у них сходна. Но вот, например, бешбармак. Казахи просто крупные куски мяса отваривают и едят, киргизы мелко-мелко строгают, нарезают.

Я. Этим выполняют работу зубов: резня ими передается ножам. Значит, полость рта и зубы у киргизов слабее: соли, может, разъедают (горная вода). Ведь полость рта, устройство зубов и пищевода в резонанс к космосу через пищу настроено. К тому же более drobный рельеф земли у киргизов: клочья, разрезы гор все это питает идею рассечения, дифференциации.

Ауэзов. Верно: у казахов, особенно в Сибири, совсем простая пища подают вареное мясо вместо хлеба, кумыс. Вот и все.

Я. Интересно, что северная пища, пища земледельца, рубленая, размельченная. словно, сам сырой, любую твердость до капельности доводит. Не цельные куски мяса, а котлеты; много протертого, щипки измельченные овощи, каши. Земледелец, видно, привыкнув твердое крошить: пахать землю пласты отваливать, боронить крошить, автоматически эту операцию вносит в любое действие: словно запрограммирован идеей расчленять, разделять, мельчить, а потом из раскрошенного преобразовывать, новое создавать, искусственное.

И это неизбежно и в логике мышления должно сказываться: а н а л и з, расчленение целого предмета на составные части, четкое разграничение терминов и определение понятий составляет силу немецкого мышления типично земледельческого народа.

Ауэзов. А у нас, кочевых, нет особого приготовления как преобразования естественного «сырья». Разные блюда это разные части, органы животного: сердце, почки, ребро, глаз и т.д.

Я. То есть священное животное в целостности и сохранности разбирается по частям, но не деформируется, а вновь собирается как целое в желудке народа, в семье поевших. Нет посягательства на форму.

Ауэзов. Или колбаса у нас ее крупными кусками, ломтами мяса наполняют.

Альгис. У нас мелко крошат. Ветчинно-рубленая.

Я. Вот даже по типу колбасы можно национальные идеи выявить.

Итак, приготовление в отличие от готовых плодов или даже сырого продукта, вырабатываемого в национальном космосе, есть уже внесение народной идеи в пассивный материал природы так же, как и труд: из того же дерева, в зависимости от внутри носимой идеи, можно делать стол прямоугольным и круглым, посуду той или иной формы. Вот кочевники не особенно дробно готовят пищу зато долго и ритуально едят. А земледельцы готовят сложно, а съедают быстро, в немоте... Кочевники, значит, как и в своем быту и работе не преобразуют, а воспринимают готовое вещество (существо) природы, так и в кухне не очень-то над ним работают. И видимо, в мышлении созерцают целостное и естественное, а не стараются живой организм убить и заменить составным механизмом, воссоздать из выпрямленных частей как круг через бесконечный многоугольник. А именно это свойственно трудягам-земледельцам в мышлении: не оставлять и не вкушать готовым, а заменять своим, вновь созданным, точнее: воссозданным и воспроизведенным. То есть сначала разрыть, разломать живое существо, как игрушку, а потом составлять по частям из разных и взаимозаменяемых существ. Котлета, например, и есть такая смесь неразличенного, где все кошки серы; оттого говорят «сделаю из тебя котлету». Недаром котлета самое выгодное для поваров-воров блюдо общественного питания: в нем утверждается свинство че-

ловека он, как свинья, все съест, и не только в животе не видно, но и на столе передо ртом и глазами не видно, все равно, безразлично.

Альгис. Литовец вообще неприхотлив, ест быстро. У нас даже говорят: «Будь как соловей всякую мушку ест, а поет как!» то есть ешь что угодно, зато трудись хорошо. Вообще важно, для чего едят. У нас едят, чтобы силу на работу набрать: покрепче да поскорей. Долго за столом не засиживаются.

Ауэзов. А у нас средоточие дня вечерняя еда, долгая, допоздна, с обрядом, шутками, медленная, продленная. У нас хозяин в пиалу на донышко наливает, и чаша по кругу ходит, и все по капле отпивают. Все для того, чтобы продлить время и чтобы хозяин каждому побольше и поразнообразнее слов мог сказать.

Я. Ну вот опять кардинальные принципы народов в этом просвечивают. Цель еды, для чего именно так для земледельца. Еда между делом и для дела. Главное содержание его жизни поле, труд. В еде ему надо кость наесть так что он, кряжистый и угловатый, с лопастями лопаток, сам как плуг по земле идет. Ест после главного работы и поскорее ко сну: ложатся ведь земледельцы рано, с курами и встают с петухами. Еда промежуточна. Не в еде проявляет литовец свою человеческую субстанцию, но в работе.

У кочевников же еда ритуал.

Что же, кочевники люди, а другие животные? Просто земледелец проявляет свою человеческую сущность в производстве, в работе полевой, а житель Востока, кочевник, проявляет свою человеческую сущность в потреблении: в том, как божественно, артистично, какими церемониями и красивыми речами, тостами (грузины) он может сопровождать священный акт съедания бытия, заглатывания мира. Вечерняя еда здесь сердцевина суток. Она не для чего, а самооценность. И если «для чего», то для соития ночного и предутреннего (как принято у мусульман), то есть еда как приуготовление к торжественному религиозному акту зачатия, продления живота рода. Потому допоздна сидят и поют и допоздна утром спят.

Ауэзов. Вообще разнообразие пищи ни у собственно земледельцев и ни у кочевников (пища их проста и лапидарна), а у смешанных. Вот узбеки, таджики в прошлом кочевые, потом осели у них стык кухонь,

разнообразие. А что изменение пищи и климата влияет на ген и этнический тип, видно по туркам-сельджукам: они в XI веке вышли из монгольских степей и были раскосы, а потом осели в Средней Азии, и в итоге такой физический тип, как Назым Хикмет почти европеец, грек.

Я. Да, разнообразны наиболее какие кухни? Греческая, французская, болгарская, средневосточная, еврейская (фарши, смешения, кисло-сладкое мясо). Греки народ и земледельческий, и скотоводческий, и промышленный (ремесла), и торгово-морской. У них самый расчлененный Космос: действительно, «в Греции все есть», как говорит герой Чехова. Оттого и культура, и мысль греческая всемирна и всем говоряща: всевозможные изгибы духа, мысли там проявились.

Ауэзов. У китайцев тоже разнообразная кухня. И из моря моллюски, рыба, трепанги, капуста; потом всё, что на земле; змеи, насекомые (саранча)...

Я. Да вот тоже особенность: кто из народов насекомых ест?

Ауэзов. Верно, это оттого, что там тесно живут: всё живое, что попадает, используют.

Я. Да, интересно, а влияет плотность населения на состав пищи?

Влияет.

Ауэзов. У китайцев угощают 16 блюд подают, мелкими порциями. А есть еще блюдо «Танец дракона с тигром» из змеи и кролика.

Я. Ну, это явно тотемическое блюдо. Разнообразие мифов и тотемов должно и в разнообразии блюд проявляться.

Ауэзов. А то еще: самое изысканное у них блюдо мозг живой обезьяны. Ее привязывают, затем трепанируют череп, берут мозг, поливают специями и теплый едят.

Я. Ну, что ж: обезьяна ближайший родич человека, ближе всего ему по составу. Так что ее съесть словно с собой отождествиться. Так что вообще-то каннибализм: есть человека самое естественное: близлежащий и совершенно готовый продукт, наиболее подходящий к моему составу как человека.

Латыш-эстетик. Ни одно животное не ест себе подобных.

Альгис. А свинья? Детенышей сжирает своих.

Еще о китайцах: это разнообразие блюд у богатых, а простые что едят горсть риса?

Я. Конечно, это разнообразие блюд — пища праздничного уровня.

Ауэзов. А мозг живой обезьяны, верно, только сам император ел.

Я. Ну да! Он, как живой Бог — ему и пристало прямо тотемами и мифами питаться.

Вообще, еда богатых — это представительственная еда, так же как мысль, философия, поэзия — представительственная, рафинированная культура народа. И как мысль есть чистейший сок, квинтэссенция бытия, и она, ничтожно малая часть, капля, а должна отражать и понимать все, так и отборный стол содержит самые сложные воплощенные понятия национального Космоса.

Итак, мы вновь перед задачей — с у м е т ь п р о ч и т а т ь б л ю д о, какая мысль выражается той или иной пищей. Возьмем для этого стык духовной и телесной зоны: как в народных пословицах, поэзии, религии — какие виды пищи с какими идеями, духовными представлениями ассоциируются. Например:

Не хлебом единым жив человек.

Пуд соли съесть.

Твоими бы устами да мед пить.

Надо теперь подобрать этот материал и просмотреть, с каким пищевым набором основной национальный комплекс духовных ценностей связан.

Это будет предмет следующей встречи.

Беседа седьмая

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДА (третья беседа)

10.III.67 г.

Собеседники: М. Ауэзов — казах, абхазы: Борис и Костя, молдаванин Белецкий, буковинец Чиремпей, туркмен Ораз, девушка-калмычка и молчавшая красotka неизвестной (но восточной) национальности.

(Беседа бедна была мыслительным содержанием: много эмпирии разношерстной — и я был слаб, не мог вести.)

Я. Сегодня еда в связи со словом: через пословицы проследим соединение абстрактных идей с теми или иными видами еды. Рот зона, объединяющая пищу и слово: пищей внешний Космос входит в нас, словом внутренний наш микрокосмос выходит вовне. И все через единый канал рот: там пища и слово смешиваются «Твоими бы устами да мед пить»...

Ауэзов. Я смотрел казахские пословицы. «Когда есть мясо нелепа застенчивость». Презрительно о рыбе: «Когда нет мяса, тогда уж рыба».

Я. У русских: «На безрыбье и рак рыба»: рыба здесь положительное. У кочевников рыба на месте рака в России. Что нельзя смешивать? Вот: «Ни рыба ни мясо»: их не варят вместе, и человек такой недотепа.

Абхазы. У нас не смешивают свинину с мясом.

Я. А я был у поляков в гостях там шапшлык: ломоть мяса, ломоть сала, ломоть свинины.

Теперь чем едят? Вот русская пословица: «Тит, Тит, иди молотить!» «У меня голова болит.» «Тит, Тит, иди есть!» «А где моя большая ложка?»

Вот ложка. Она соответствует типу еды русских: «щи да каша пища наша». Это жижка с гущей и каша-размазня. Все это равно земле с водой и соответствует принципу русского Космоса: «мать-сыра земля». И соответственно ее иначе не возьмешь.

Абхаз. У нас пища либо только твердое, либо молоко, вино.

Ауэзов. У нас бульон, и мясо, и кумыс.

Я. То есть нет смешения жидкого с твердым все в своей чистоте.

А средневропейская кухня именно в смешении: супы, рагу, мясо с гарниром.

Костя (абхаз). У нас предание: французы в гостях у абхазов вилкой мясо ели, а абхазы руками. Те удивились: «Они руками едят!» А абхазы: «А вы что, ногами?»

Я. Есть руками это без посредника, тело человека к телу мира (земли, животного) нет отъединения и закупоренности личности, телесные контакты человека с миром. У тех же, кто пищу через посредника принимает (руки «замарать» боятся), брезгливость, тело более отъединено от тела мира: через одежду ли, через орудие ли в пище. И это европейский принцип труда: орудие труда и в еде.

Еще, чашка и пиала — разные пространственные идеи: пиала берется в ладонь снизу — как сидит кочевник на полу; пиала и есть ладонь. А чашка, стакан — цилиндрические: предполагается, что сами должны стоять вне человека, без его поддержки и на столе. То есть опять отъединенность, большая самостоятельность вещи (части); а у кочевников слитность: пиала не стоит без руки...

Ауэзов. Китайцы палочками, каждую рисинку отдельно, и быстро-быстро, и близко ко рту. А в угощении много блюд, но помалу.

Я. Это миниатюризм китайского и японского образа жизни и мышления. Как они каждую малость обрабатывают — и в искусстве: шарики в шарике резные!

Ауэзов. Есть резьба по рисовому зернышку.

Я. Вообще, почему много и мало едят? Ведь не только оттого: есть пища или нет. Все зависит от того, как настроить организм. Вот Иван-бедняк в одной повести¹. (Что сейчас ест Иван? А работает — ого!) И христианские аскеты-отшельники акридами питались.

Калмычка. У нас 10 коров — бедный, 100 коров — тоже небогатый. И водку-арак из молока гонят. (Удивление молдаван и абхазов.)

Я. Действительно, куда девать избыток? В пищу ведь есть своя иерархия и пирамида. Внизу — просто молоко, его больше всего. Выше — кислое. Еще выше — сметана, сливки, творог. (Уже отделилось твердое и жидкое — два ствола генеалогического древа попли.) Твердое — в масло, сыр. Жидкое — в водку перегоняется. Чем выше по пирамиде — тем независимее от времени. А водка, хранимая сколько угодно, есть вечность пищи, ее сок. И эта пирамида параллельна социальной пирамиде: кто что (какой уровень) ест — на таком и сам стоит в иерархии общества. Молоко бедняк (ибо это всеобщее — материнское). А чем выше — там перегоняется масса, количество переходит в качество и энергию: жертва числом ради умения = ума, который вкладывается пищей.

И здесь строение пищи = социальное строение. Вообще — важна социальная роль пищи как средства общения и связи людей. Гостеприимство.

¹ Имелся в виду Иван Денисович из повести Солженицына. Но в записи 1968 г. приходилось его имя уже шифровать. — 15.XI.89 г.

Борис (абхаз). У нас обильно угощают: и если ели вместе, то стали близкими.

Я. Ну да: ведь телами соединились я в твоём доме ел продолжение твоего тела (твоя хлеб-соль), мы побратались на крови и теле (господнем-хозяйском).

Костя (абхаз). И потом вспоминают, у кого что ел.

Я. И это как характеристика личности человека: каков его характер и состав.

Борис (абхаз). Есть легенда: когда враги окружили абхазов, защищавшиеся выложили круг из крошек хлеба и соли и враги не могли перейти черты и стали друзьями.

Я. Гостеприимство уловление человека в сети, стремление завербовать в друзья и кровно родные.

Понятно, что с развитием цивилизации и чувства личности отъединенности гостеприимство падает. В Европе, в Германии не угощают, разве что кофе и вина предложат.

Борис (абхаз). Когда пир свадебный у нас, то, как говорят старики теперь: «Всё тебе тут и радио, и газета, и телевидение». Сидят долго обряд. Тамада жрец за отдельным столом-пульт, дирижер священного действия. Целая культура сидеть за столом, есть, пить, говорить.

Я. Как человек ест настолько он социален. Люди за столом это общество, государство, люди на площади, в храме. Это вече, агора, форум. И здесь главная жизнь.

А в России скорее поесть, попить и перейти к песне, к пляске, к драке (бывало) на вынос: выйти из-за стола в мир, в пространство и махать руками и ногами как птица взлететь.

Вообще напитки это «огневода» (жженка, brandy (англ.) от brand гореть): они поднимают, облегчают человека, делают его более воз-духовным, помогают преодолеть рамки тела и грудной клетки выходит он из себя.

В пьяных напитках язык пламени скрыт, и, выпив, человек взвизгивает.

У горцев культура усидеть за столом, сколько ни ешь, ни пьешь, и, взвизгивая, удержаться на земле среди гор, что вверх и так оттягивают.

То же относится к социальной культуре поведения за едой: все съесть хорошо? или оставить немного? или слегка прикоснуться?

А спрашивают ли: «Будешь есть?»

Молдаванин Белецкий. Не спрашивают, а сразу предлагают. А если спрашивают, то отвечают: «Я не большой» значит: «Давай».

Я. Тем самым гость доброжелателен и открыт отдает себя хозяину, хотя кажется, что хозяин отдает от себя угощает. На самом деле, хозяин за малое пищу добывает большее: душу, преданность человека. Поэтому понятно: большую услугу оказывает тот, кто приходит и соглашается есть не брезгует. И если брезгует то обида: потому что отказ отдаться на милость хозяину.

Из моих заметок к беседе: Состав-вещество. Что родно и допустимо? «Все полезно, что в рот полезло». Время сутки, времена года, посты. Запреты излишнее, значит, противопоказано в данном космосе. В какой стихии: шашлык горцев на огне, в воздухе, бешбармак кочевья в воде и потом уж на огне. Способ изготовления жарить, варить, печь. Смеси: субстанции и атрибуты что с чем. Сладкое, соленое = солнечное; острое = огне-земля; кислое = водяное. Еда горячее: мы топка, огонь. Голод = огонь внутри. Жажда от огня: залить надо.

Русская еда. «Щи да каша пища наша». Каша = артель зерен, русский собор. Не мясо, а растения. Не жареное вареное = вода. От нее и кислое. Хлеб ржаной, кислый (квашеное тесто). Южный хлеб белый, пресный, без соли. Пьют кисель: «молочные реки в кисельных берегах». Итак: в русское нутро требуется кислое. Кислое это мать-сыра земля, это земля в воде, земноводность. Посоли капусту, а она не соленая = огне-солнечная становится, но кислая, земно-водная. Русские варенья есть кислые: брусничное, смородинное. Горькое (водка) требует кислого (капуста). Для русского чужды: терпкое, острое, сладкое все это более огненно-жаркой природы. В Этимологическом словаре Преображенского про щи-щавель: «Потebня... роднит щав-с кыс- (с) кыс- (киснуть, квас, простокваша и проч.)».

Итак, щи и квас одно. Квас народный напиток, кислый. Щи хлебают: хлеб-хлябь. Но в общем случае хлеб мужское начало. Злак солнечен; верх стебля колоса крона, и печется круглым солнце: каравай, калач, блин, оладьи. Через хлеб солнце съедается. «Хлеб-батюшка, водица-матушка» (опять космос земноводы получается). Пирог уже продолговатый: не про-

сто еда, а пир: пир-пить (вода); пирог = хлеб лодкой по воде пускается. (Кстати, «пир» как «симпозиум» = соление; как *convivium* сожительство.)

В рифмах пословиц национальные идеи содержатся: капуста-пусто, каша-наша, тесто-место, оладьи-ладно, ни куска-тоска, черствый-честный. В пословицах Даля нет мяса, но есть рыба и рыбка. Картошки нет: это уже пища внесенной цивилизации, городская.

Беседа восьмая

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА «ТЕЛО ОТСЧЕТА» В НАЦИОНАЛЬНОМ КОСМОСЕ

17.III.67 г.

Собеседники: М. Ауэзов, Болатхан, молдаванин Белецкий, девушка-этнограф, специалист по Африке.

Я. Тело наше первый, «подручный» арсенал членов частей мира, понятий, идей, форм с чем что сравнивать, к чему что примерять.

Национальный этнический тип везде разный.

Тело человека точка опоры, к нему стяжение всех силовых линий в национальном космосе. И если оно кругло и космос кругл; вертикально и мир таков; косогазо и мир прищуренный.

Мир, по индуизму, создан из тела Пуруши: голова = небо, глаз = солнце, волосы = леса и т.д. Давайте разберем тело вообще и смысл его частей.

Ауэзов (казах). У нас нет, как у русских, чтоб большой это хорошо. Казах плотно сбит, сухощав, чтоб как птица беркут на седле и глаза зорки.

Я. Как птица: отделен от земли конем, более житель надземного пространства, чем земли. Земледелец же кряжист, крепок костями.

Ауэзов. Казах, напротив, гибок, ловок, изворотлив. Хитрость положительное качество.

Я. У земледельца хороший человек детина, косая сажень в плечах, грудь колесом (то, что по земле, к земле прижато колесо, а не беркут воздух).

Ауэзов. Случай был: переводили Маяковского, там идеал бабы:

Что за баба, что за чудо!
В каждой груди по два пуда!

И перевели по-казахски:

Вот какое страшилище,
с двухпудовыми грудями.

•

А русские любят дебелых, пышных женщин. У нас же вон у калмычек груди перетягивают, чтоб меньше были.

Я. Итак общий склад: земледелец как ствол с ветвями, крепок костью, широк и ветвист, крепко в землю врос как Святогор ногами. Крепко вколочен как гвоздь, плуг и сруб в это место. Важна прямоугольность чтоб крепить и взрывать.

Кочевники же животным ближе кошач, гибок, кости хряпци, кругл и овален, чтоб по земле катиться как колобок. Отсюда и тело: нет выступов и углов, а все более сглажено: плечи покаты, нос приплюснут, нет выступов лопаток и костей таза. Ноги кривоваты, полусогнуты; у земледельца узловаты, разлапистые стволы. Вот нос, например. Нос = перед, угол, самая выдающаяся вперед часть тела. Острые, длинные носы выражают напор, энергию, однолинейно вперед направленную, как у немцев, например. Но зато жестянность, отсутствие гибкости: как завелся шаблон так уж и идет, и таранит, пока не тюкнут.

Нос кочевника-монголоида приплюснут, обтекаем, прижат к лицу: перед в пространстве для человека здесь не важнее бока и зада: человек должен быть повсеместно ориентирован.

Нос самочувствие личности выражает, меру «я»: задирать нос гордость. Длинные носы у народов энергичных, с развитым чувством личности и волей, пробивной силой: семиты (евреи, арабы), римский нос, на Кавказе грузины, армяне. У кого нос картошкой или курносый впадиной, те добряки и не выпячиваются, а, напротив, женственны: курносый нос продавленный фаллос, фалл-влагалище. Ла: нос заместитель фалла, они гомологичны (симметрия туловища по вертикали). И когда гоголевский Нос бегаёт это субститут фаллоса: майор Ковалев кастрирован.

Молдаванин Белецкий. У нас нос обрезали, укорачивали побежденным господам еще три века назад. И пословица: кто задается тому нос его отрежут да в зад сунут.

Болатхан. А вот губы: пухлые добрый человек, сжатые эгоист, хитрый.

Я. Ну да: губы это чуть приоткрытая внутренность наша: наружу выворочена как сапоги подвернуты. У кого больше открыто тот открытый, доверчивый, расположенный к миру человек; у кого стиснуто тот закрытый, угрюмый, замкнутый, с развитым самочувствием своей личности то есть особенности, отъединенности от мира.

Ауэзов. У нас про красавицу говорят, что у нее три черного, три белого, три красного: три черного волосы, брови, глаза; три белого лоб, зубы, шея; три красного две щеки и губы.

Болатхан. Губы тоже парны две красных полосы. И вообще всего по двое: глаза, уши, губы. А вот нос один.

Я. Две ноздри.

Вообще парность это расколотость, как ореха на две половинки. Парность в нас и симметрия это выражение пола того, что мы половинки.

А каждый глаз и каждое ухо это уже как четвертушка целостного видения (недаром мы говорим о трех измерениях, что нам доступны, четвертое же «внутренним зрением» видимое). И четыре стороны света для нашего уха это четвертушки мирового слуха (слух и музыка, по индийским упаниадам, соотносятся не с внутренностью нашей, с ритмом внутренней жизни души, как по Канту и европейской мысли, но со странами света: дают ориентировку в пространстве).

Интересно: какой из органов чувств более развит у каждого народа? Подумаем.

Болатхан. У казаха-кочевника осязание мало развито.

Я. Да, мал его контакт (касание) с внешним, вещным миром: вещей мало в мире.

Болатхан. Вообще, я думаю, с развитием и историей роль осязания уменьшается: не абстрактное это чувство; а больше глаз, слух то, что на расстоянии и отъединении от человека.

Я. А в Эросе? В соитии все уходит в осязание: глаза закрыты (тьма), слуху тоже нечего слушать внешнего, а все переключено в остроту и сладость касаний наших нежнейших тканей внутренних. И это неотменимо в человеке, как нет ему другого пути продолжения рода.

Болатхан. Глаза у нас небольшие, раскосые, зоркие. Зато уши большие, и слух и нюх важен.

Ауэзов. Мать, лаская ребенка, нюхает его, а не столько глядит и любит, и, в отъезд собираясь, берет не карточку, а пеленки.

Болатхан. Сквозь ноздри-теснину ветер идет, струя.

Я. Ну да это связано с телесностью, животностью. Нюх развит на телесные запахи различать приближение, удаление, ритм жизни живого тела; его испарения = его слова: что ему надо.

У земледельцев же носы сырые, часто заложены, мало функционируют. Зато глаза широко раскрыты: дивуются разнообразию Божьего мира: столько разных травок, цветов, растений, рек, птиц такая разнообразная природа! Да и сами непрерывно пребывают в трудовом через осязание руки контакте с разными вещами и их делают: умножают разнообразие вещей и форм.

Потому земледельцу надо иметь широко раскрытые глаза, чтобы вмещать разнообразие вещей, его окружающих, то есть то, что близко. И мысль его соответственно о разном, о дифференциации бытия, об описании разных признаков вещей, классификации...

А у кочевников мир, его окружающий, разными предметами не обилен, природа однообразна; глаз нужен чтоб лишь вдаль смотреть, не появится ли на кромке горизонта враг. А вблизи смотреть не на что. Потому глаз зорек и маленький, как у орла и ястреба: собран в узкий фокус, чтобы дальше проникать. (Недаром и сравнение кочевника с беркутом, орлом, а земледелец вол, лошадь, конь и т.д.)

Зато слух развивается для принятия разнообразных и неожиданных сигналов с разных сторон пространства: весть глаз так же прямолинейно направлен, как и нос, и его контакт с бытием односторонен. А через слух внимание ко всему кругу: топот ли всадника, ржанье ли отбившегося коня и т.д.

То же и в жилище мы видим: юрта безглаза = без окон, а дом земледельца широко- и многоглаз.

Потому и в понимании красоты земледельца уши должны быть маленькие.

Молдаванин Белецкий. Если большие ослиные, дурак, значит.

Я. А что значит: «дурак и уши холодные»?..

Итак: как кочевник косоглаз косит, т.е. размыт перед и фокусировка глаза: вбок глазом; так же и нос у него приплюснут, не выдается вперед: перед мира сам по себе мало значит; лишь когда ухо заслышит с какой стороны, туда должен глаз повернуться и сфокусироваться, туда взгляд направлен то есть служба глаз временна, а слуха постоянна.

Потому дремлют, качаясь в седле, а слух насто-роже (как у кошачьих, когда спят).

А у земледельца постоянно: «гляди в оба» широко раскрывай глаза, не спи, не зевай...

Болатхан. Глаз сам движется, ходит, как солнце, при неподвижном теле небе. А ухо с головой и телом поворачивается. Вообще шея коротка, голова приближена к туловищу и они вместе реактивны.

Я. Ну да, а у земледельца так: стоит на одном месте и туловище в одной позе, а шея длинна, и на шарнире этом может голову туда-сюда вертеть и глазеть. Значит: меньшая собственная подвижность головы взыскует за счет этого в кочевнике большей подвижности туловища: гибкости членов, ловкости; в теле его функции умной головы: оно не подпорка лишь, но и мыслитель.

Девушка-этнограф. А в Африке уши оттягивают, они висят, как у слона, а шею кольцами поднимают и вытягивают вверх.

Я. Уши как у разнопородных собак разное назначение: у торчащих, у вислоухих; видно, и разный тип звука из космоса улавливают как разные инструменты: труба (торчком) или скрипка (вислоухая).

Но давайте еще в глаз вникнем. Глаз = солнце, дыра в нас и из нас в мир.

Девушка-этнограф. И глаз тоже, как солнце, спит, отдыхает, закрывается, затуманивается. А слеза из глаза оттуда реки, светлая вода.

Белецкий (молдаванин). Предание у нас: как озера из глаз-слез образуются.

Я. И обратно, глаза озерные.

Итак, поразмыслим.

Глаз свет. Слезая святая вода буквально (из света сочится).

Девушка-этнограф. Как дождик с неба из света, с солнца.

Я. Слеза = семя света, слеза горячая, как Эрос огневода. Форма глаз: круглые на севере озерные; и на юге, в Африке у негров выпуклые, налитые, как плод наружу прыскают, словно солнцем притянутые (и губы выпуклые: вообще нутро у негров более открыто доверчиво в мир; потому нутряно-телесная жизнь: половая, пиршественная там более на виду и священна, не стыдна).

А на севере глаза круглые, озерные, но не выпуклые, а скорее вогнутые, чтобы вбирать лучи рассеянные (мало их) и в себя фокусировать не вовне влиять; отсюда и психика: восприимчивость европейцев и фокусировка света внутрь, в душевную глубину. Тютчев:

Пуcкай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи,
Любуясь ими и молчи.

Боятся северянин дневных лучей.

Отсюда идея внутреннего света ума души. У негров же, напротив, глаз не вбирающ, а производителен, активен, фокусирует из себя в мир лучеиспускание волн происходит. Отсюда развитие магии.

Девушка-этнограф. За дурной глаз большое вено (выкуп) в Африке 4 коровы, а за убийство 10 коров. Дурной взгляд очень большое преступление.

Я. И глубина (нутро тела) у африканца телесна: недаром и в вывороченных губах и в выпуклых глазах наружу прет, сочитяся.

Итак, глаз средство познания (вбирания) бытия на севере. И средство воли, влияния на бытие на юге. Вспомним каменящий взгляд Медузы Горгоны эллинов. И это идет от змеи южного существа: цепенит. И развитие гипноза недаром на юге, в Индии факиры и т.д. И гипнотической силой обладает именно черный, налитой глаз, а не синий, серый... Таковы глаза и в «Портрете» Гоголя.

Белецкий (молдаванин). Вот телепатия, опыты по передаче мыслей на расстояние из Москвы в Новосибирск: один описывал мысленно ручку и тот брал, описывал стакан то же самое.

Я. Но это не тот путь: это предметы, а глаз и наше существо как воля что-то жизненное может

передавать: боль, радость, страх, а не описательно-информационное лишь.

Белецкий. Но тем больше важность опыта даже информация телепатией передается.

Я. Да, это верно.

Болатхан. Косой глаз, прищур хитрость. Она у нас не грех, а доблесть.

Я. Космос кочевника, желтой расы вообще это горы и степи, от-кос получается, и глаз здесь рас-кос, ориентироваться в оба бока должен. Затаен, коварство косой глаз. И когда мы, северяне, на юг попадаем щуримся: не надо столько света.

М. Ауэзов. А вот цвет: у тюрков синий цвет глаз признак злых сил, отрицательный смысл. Верно, оттого, что вся прежняя история тюрков в борьбе с северянами, Русью синеглазыми. Значит, не только самозарождение из космоса идей, связанных с цветами, но и из истории.

Я. Но это бы не укоренилось, если бы не имело основы в гене, космосом созданным, то есть в независимом представлении, имманентно возникающей ценностной шкале.

Белецкий. Брань та же, что и на Руси: в мать, но еще и в бабушку прамать.

М. Ауэзов. А у нас бранятся и в потомство в дочь.

Я. А ну-ка, в брань вдуваемся это же священные слова «божба».

М. Ауэзов. В верх, в рот это у русских, верно, заемное от тюрков.

Я. Верно: не пристало русским вертеться волчком на прямоугольной двуспальной кровати: уж как устанет, где верх, где низ, так и шпарь.

А кочевник на ковре, в округлой юрте, катанье: «сплестись, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей», перекручивая и меняя верх-низ: свой верх на низ своей половины и т.д.

Но вот то, что кочевники бранятся и в прошлое (в родителей) и в будущее (в потомство), что-то очень важное означает. Давайте вдуваемся. Это ж с какой-то особенностью в чувстве времени связано. Значит: у проклятого отсекается причина (зад) и перед будущее, цель.

М. Ауэзов. И в войне: кочевники ее на истребление населения ведут, поголовно вырезают. Говорят: убив

верблюда, но оставив верблюжонка, будешь скоро вновь врага иметь в силе.

Я. Ну да: ведь, живя со стадом и его имея в качестве модели, надо у врага остановить семя, род, размножение тела самих людей. Для земледельца же и в его войнах цель: земля, города, урожай, салы то, что создано. А тела людей, население нечто более проходное: сквозная труба для пропускания ежегодных урожаев. В сознании же кочевника все до конца утопает в теле человека. А рабы: труд, руки им не нужны (кстати, о роли рук как части тела еще надо): стадо само плодится. И по отношению к нему нужен не труд, а власть.

Болатхан. Ну да: Чингисхан шел установить власть «до крайних берегов» чтоб другой силы не было.

Я. Ведь скот требует только приручения: не в смысле воздвигания его «руки приложить», но именно руки наложить власть над ним приобрести.

М. Ауэзов. И когда в войне земледельческих народов водружен на городе флаг, то война окончена, и победа, и население покорено.

Я. Но вернемся к брани в зад (прошрое) и в перед (будущее). У земледельца только в мать.

М. Ауэзов. А у нас и в дочь твою.

Я. Если только в мать, то взор обращен в причины вещей их порождение, начало, сотворение (а не в продолжение и будущее), к предкам, а не к потомству.

И в самом деле, труд земледельца это причинение, положение начала. Хотя у него полностью и конец: сев жатва. И мир ходит ходуном, круговыми циклами. Время в ощущении земледельца кружится, повторяется.

Необратимость и однонаправленность времени возникает уже в ощущении горожанина. Цивилизация ведь от слова *cives* город. Ну да, у земледельца: что вырастил, то поел то же снова количество, те же вещи и изба... Жизнь на круги своя ходит и возвращается. Весной ту же землю, верную жену, вспарывают. Моногамия.

А у горожанина путь назад отсекается: все, им созданное, не пожирается, а остается жить собственной жизнью, как предметная самость: вещи как «я» становятся. И за ним окаменевают, не растворяется культура (как агрикультура), но надвигается все мощнее ему в спину и оставляет выход только

вперед, вверх и выше: изловчиться среди окаменевших громад юлить, новые маршруты, комбинации прокладывать, новые интересы и деятельности словно игра с собой же созданным: оно, как Молох, тупо надвигается¹, а человечество ускользает, рассыпается по порам: люди открывают новые виды деятельности, формы приложения сил (разделение труда) и так человечество еще более совершенствуется и наращивает улей свой, окаменевающий позади и внизу, который и сзади и снизу все вперед и вверх нас подталкивает в эфемерность, во все большую невесомость и бестелесность.

Потому и цивилизация автор духовных религий. В самом деле: когда перекрывается земля камнем и асфальтом и теряется ощущение ее живого лона и теплотой груди, тогда материя выглядит не как мать, а как нечто жесткое и внешнее, не как живое тело, а как вещество и масса мертвая, от которой мы не дыхание нутром воспринимаем, но импульсы отражаем («теория отражения»).

Естественно, что при этом мертвящем перекрытии между живым человеком и природой единственно живое человек видит не внизу (земля) и не по сторонам (где не деревья, а стены и трубы), а вверх, где небо и свет, солнце единственно и стократ теперь живые, ибо за всю жизнь и природу представляющие родные, божественные, живительные.

Вот почему в цивилизации развиваются спиритуалистические религии с идеей не жизни текущей и ее радости, но со стремлением все вперед и выше, в прекрасное будущее (загробная жизнь), с идеей цели и прогресса жизнь ради чего-то; и возникает представление о себе как лишь посреднике между прошлым и будущим, а не как об увесистой жизни.

И главное необратимое, однонаправленное, только вперед уходящее (или остающееся позади) течение, то есть одностороннее движение времени (история-течение).

У земледельца же в его мироощущении время не течение, но как дождь пролился, солнышко испа-

¹Так, в сказке герой проходит в пещеру или замок сквозь разные двери и залы а за ним тотчас ворота и стены смыкаются: путь назад отрезан, и возврата нет.

рило — облака образовались, в тучки слились, и опять дождь пролился — то есть не течение, а круговорот воды.

Теперь — что у кочевника? Есть ли его ругательство в дочь и вырезание потомства, «верблюжонка» — ориентированность на будущее или это скорее владение временем и удержание **вневременья**? Ведь в самом деле — самая стабильная и непрменная была жизнь кочевников.

Вот во что надо вникнуть: сопряжено ли размножение стада с сезонами или нет? То есть посев-урожай земледельца — жестко связан с сезонами и годом-оборотом земли, то есть с внешней жизнью космоса, и его ощущение времени годом внешней природы определяется.

У кочевника же зачатие и рождение стада имеет цикл и такт **внутренне животный**: течка и охота самки, а это вот у собак два раза в год бывает — так что животное несет в себе **независимый** от внешнего космоса такт времени (потому, кстати, по **животным** знаки Зодиака названы: дополняют что-то к году).

М. Ауэзов. Но и у нас рождения приурочены к весне — к выгонам на свежие пастбища.

Я. Но это уже приуроченность — для удобств, более внешняя, а можно бы и иначе — будь теплые помещения. Какой точно срок вынашивания коня, овцы?

— Не знаем.

Я. Тут вот что важно: как женщина является в человечестве, в отличие от мужчины, носителем **собственного такта времени**: месячные циклы, 9 месяцев беременности — все это иной ритм и пульс времени, **независимый** от времени оборота земли, внешнего открытого космоса, — так и животные несут в себе эти **независимые временные измерения** и оси, и кочевник обитает уже среди **разновариантных тактов времени**. Хотя в теплом климате и земледelec снимает несколько урожаев в год. С другой стороны, есть и многолетние растения, и разные культуры в разное время успевают. Значит, всем этим и у земледельца заход за годовой сезонный цикл совершается.

Болатхан. Может быть, вот в чем дело: в стаде одновременно верблюжиха, годовалый, трехлетка — и пока-то вырастет до целого верблюда! Тогда как у земледельца все в основном в год оборачивается.

Я. А сады?

Болатхан. Да, сады — сколько надо лет, чтоб яблоною вырастить?!

Я. Значит, в садах тоже заход времени земледельца за годовой цикл совершается. Но в стаде, как вот Болатхан описал, словно сразу несколько потоков времени идет: верблюд разложенный (на поколения) — как целая солнечная, планетная система бытийствует.

М. Ауэзов. У кочевников цикл более широкий: 12 лет — примерно жизнь коня. И так это и вошло в восточные календари, китайские, например: год обозначается тем или иным знаком Зодиака.

Я. Во всяком случае, недаром на Востоке — и среди бывших кочевников — так развита культура пророчества, звездочетов, гороскопов, предсказаний будущего.

Болатхан. И библейские — пророки.

Я. А взор земледельца — средневропейского человека все вспять устремлен: в начала и причины всего сущего. И в литературе все — жизнеописания, любовь к воспоминаниям, память.

Так что же мы о Времени выведем?

Наверное, так: ось сезонов (год Земли) — для всех существенная, но с разными акцентами и поворотами. Земледелец имеет дело с растениями, деревьями. А те — с тела Земли прямо открыты в космос, так что время земледельца, его такт — в открытом мировом пространстве, более экстравертно. Время же кочевника — как смерть Кашеева в яйце — ввернуто в нутро животного: оттуда бьет пульс Времени, а не с неба, и гадание больше по внутренностям животных (а не по полету птиц). И время лоним животного само бродит и пасется. Кочевник, следовательно, меж двух осей времени: внешнего Космоса (года и сезонов Земли) и внутреннего Космоса (цикла зачатий и рождений животного).

Болатхан. Можно еще и так сравнить: земледелец — это как женщина: по циклам времени живет и определяется. Она — оседла, основа покоя, гнезда и дома. А кочевой народ — мужчина, все время в движении и более волен выбирать меж ритмами Времени, не так обусловлен ими.

Я. Хорошо!

Ну, хватит сегодня.

На следующий раз рассмотрим тело как шкалу, только уже без головы: то, что ниже — руки и т.д.

Вот рука — как важна у земледельца, все меры от нее: «локоть», «пядь» и т.д.

Болатхан. Кстати, меры кочевников очень расплывчаты. Если скажут: до того стойбища один... — то будет и четыре, и пять, или коль скажут «день перехода» — будет три. Вообще — более обобщенное у них мышление, абстрактное.

Девушка-этнограф. Ну как же: ведь абстрактное позднее, отвлеченное уже от многих вещей?

Я. Видно, Болатхан имеет в виду то, что кочевник, чей мир не засорен так предметностью, как у земледельца и горожанина, проницательнее видит сразу главную силу и суть, энергию бытия.

М. Ауэзов. Рука. Недаром на Севере говорят: «Глазам не верят, пока не пощупают» — осязание очень важно.

Я. Работяги ведь — рукой все: она микровещи должна воспринимать и делать: например, китайский миниатюризм в искусстве — резьба по зерну риса — без тончайшего осязания не сделаешь. И это — от плотности населения, от осязаемости тела к телу не на глаз, а на ощупь.

Ну ладно, в следующий раз обдумаем тело в пространстве — телодвижения, позы: национальные игры, борьба.

— И танец.

— И позы молитв, асаны.

— Надо индолога пригласить.

— И медика.

(Перед тем как разойтись.)

М. Ауэзов. А что больше поддается ассимиляции — язык или быт?

Я. Вот у евреев — язык растерян, а быт остался, и психика, и ген.

— Это благодаря религии.

— Не только.

Язык ведь — средство общения, и если люди рассеяны среди других — то с ними в общении и теряют язык.

А дом остается своим, большей крепостью. Но это — если развита мощная своя культура быта, которая может своим богатством противостоять соблазнам унифицирующей цивилизации. Чтобы язык сохранился, надо, чтоб хоть ядро земли было, где б внутри язык был обращен, то есть чтобы внутреннее общение не в доме, но и вне дома было, а то растаскают вовне душу по клочьям.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ. ТАНЕЦ

31.III.67 г.

Собеседники: М. Ауэзов, Альгис Бучис, латыш-эстетик, Костя Цвинария, Ораз Дурдыев и женщина — специалист по Бразилии.

Я. До сих пор национальный космос рассматривали статически: через дом, через голову, как в прошлый раз. Но тело (и его части) не было бы так создано, если б его назначение было — пребывать на месте. Тогда зачем ноги, да еще и две? Достаточно прилепить человека к земле пирамидой. Собственно, в теле человека эта пирамида есть — когда сидит на зад: зад — широкое основание пирамиды нашего туловища, и недаром в индийской ступе (что есть форма храма) тоже скошенная пирамидность воплощена: ведь это Будда, созерцающий в позе лотоса. И такая поза есть отрицание движения, есть мысль, что человек — полип, растение, лотос. Собственно, в вертикальности своей: в позиции стоя или сидя — человек равен и осуществляет принцип растения. В движении — животного.

Итак, каждая поза, положение рук есть определенная мысль о мире, мировоззрение: мир по-одному поворачивается, когда человек сидит, и по-другому — когда стоит. Потому позы, асаны индийских йогов — это целые философы, каждая — система мировоззрения: человек встраивается через позу в определенную фигурацию мирового пространства, а оно ведь по-разному представимо: растяжимо, сжимаемо, сплющиваемо — в зависимости от летящего (и как) «тела отсчета» — как показал Эйнштейн.

Но о чем мыслим мы позой, телодвижением — о каких стихиях и как? Похоже, что в позе, телодвижении мы общаемся в основном с двумя стихиями: землей и воздухом (пространством). Ведь в позе человек наиболее виден как существо срединного царства — между небом и землей: над землей мы возвышены и пребываем не в ней — как корни дерева, — не связаны с ней так, а можем пружинить, отталкиваться, отлетать и тем заявлять о себе как о жителе воздуха, неба. Так что в позе и телодвижении мы обращаемся с тем, что над землей, то есть с мировым пространством — его

осваиваем, захватываем, обнимаем (все слова — от действий наших рук = крыльев для захвата воздуха). И смысл каждой позы и телодвижения можно определить, исходя из того, сколько в ней земности, какая в ней с землей соединяемость и сколько воздушности: какой отлет в пространстве (и какой фигурой и какую конфигурацию пространства описывая) в ней совершается.

У нас — конечности и формы: руки, ноги, голова.

Пространство — бесконечность, аморфно.

Благодаря выбросу (и именно такому) руки, шагу ноги пространство обретает вид (эйдос = идею) и форму. Танец — тот вообще есть игра идеями, перебрашивание конфигурациями мирового пространства, жонглирование измерениями бытия. Ибо танец все слова нашего тела использует, сплетает в предложения и романы. А слов у нас: возможных поворотов, жестов — неисчислимо количество. Вот голова: может — вверх-вниз, вправо-влево, наперекос, крутиться, вбираться, ходить от плеча к плечу, покачиваться и т.д. У рук вообще — энциклопедия движений: от плеч до пальцев, и каждый род труда — особый набор движений рук имеет.

Но главное — научиться читать смысл каждого телодвижения. Начнем с простейших жестов. Кстати, ж е с т — от латинского *gestus* — деяние, дело, поступок. А дело, поступок есть какое-то третье образование из соединения «я» с миром. Вот в языке глухонемых: описываются фигуры в пространстве. То же и у слепых — буквы выпуклыми делаются: везде объем, все три измерения пространства участвуют: слово — пластично, скульптурно. В нашем же «нормальном» написанном на листе или в книге слове — плоскость: как в живописи три измерения стянуты в два. Зато усиливается роль глаза, света, как и в устном слове — звука, ритма, тембра — всякого рода внутренней духовности (воздушности). Упрощение в одном отношении ведет к усложнению в другом — изыскивает его богатства (как симфонизм в Европе на упрощенном круге гармонии T-SD-D-T¹ мог сложиться).

Итак, жест — на осязание (а не на зрение) рассчитан (хотя он и зрением видится). В телодвижении мы

¹ Тоника-субдоминанта-доминанта-тоника.

прежде всего осязаем землю и воздух (ветры его, дуновения на себя вызываем, накликаем — крыльями рук шаманы заклинают). От ходьбы и танца испытываем радость, упругость, силу свою, увертливость, поворотливость, ловкость: кубарем кувыркаемся, крутимся — здесь все контакт с открытым космосом.

В трудовом танце — контакт с предметом труда (как в туркменском танце изображают, как шьют, нитку рвут, втягивают). В социальном европейском и эротическом африканском — контакт с человеком, так что везде осязания: земли, пространства, другого тела (существа предмета).

Словом, ноги, руки = наши плавники и крылья, и как, плавая, мы тем или иным протягиванием и взмахом навлекаем на себя волну и ощущаем тело и грудь воды — так и в воздухе: в ходьбе, беге, танце мы испытываем себя (каковы мы на миру?) и мир, каков он на наш «телесный» взгляд (осязание) оказывается. В плаванье мы наслаждаемся музыкальной координацией движений своих членов. Но ведь ребенок начинает с того, что в воздухе загребает ножками и ручками, лежа на спинке: он к воздуху как к влаге относится — той влаге тех вод, среди которых он плавал в утробе матери — в мировом (для него) Океане (отсюда и естественные, врожденные для всех народов представления, что землю окружает и она плавает в мировом Океане — в «Окиян-море»).

Но поскольку мир для телодвижения очень беден: по сути дела, есть лишь твердая опора (препятствие, тяжесть) и пустота, — все разнообразие от самого тела нашего продуцируется и из него вычитывается. Когда узбечка бисерно поводит кистью и пальчиками, как бы втягивая иголку, — здесь же игра сухожилий, мускулов, ощущение их гармонической тряски и послушности внутри нас (танец ведь первоначально не на обозрение для другого делался, а для осязания самочувствия себя). В танце так или иначе встряхиваются наши внутренние и внешние органы (как в гимнастике йогов они массируются неподвижной позой и дыханием), и мы становимся способны устраивать перебор-перепляс наших внутренних органов, их начинаем слышать — познавать самих себя: что там у нас внутри, когда не болит, а просто живет. Ведь слышим мы, что внутри, лишь по нужде: когда болеть начинает, — а обычно нутро наше для нас глухо, тупо и немислимо. Так вот,

в танце, в гимнастике йогов мы задаем нутру усиленную жизнь — и оно начинает ощущаться и познаваться, читаться нами.

Итак, телодвижение, оказывается, есть равно наше соединение, освоение внешнего нам космоса (земли, пространства), как и способ прочесть, познать, освоить, овладеть нашим нутром — тем, что сокрыто от глаз. В самом деле: внешнее пространство, если даже мы не движемся, еще глазом и слухом может быть осваиваемо (хотя вопрос: человек, который отродясь не двигался, а лишь смотрел и слушал, — какое представление и понятие может иметь о дереве, кошке, улице, машине, солнце — да, даже о нем: ведь сам, не двигаясь, как можешь со-чувствовать движение солнца?). А ведь познание ума основывается на со-чувствии «объекту» познания всем нашим существом: постановкой на его место — благодаря тому, что в нашем теле Вселенная заключена: мы были амебой, есть и трава на нас — волосы, и чувство черепахи (от панциря) живет у нас под ногтями, и участь солнца: в самочувствии и обращениях наших глаз и т.д., — благодаря всесоставности нашего существа мы всему можем со-чувствовать в окружающем нас бытии.

Нутро же наше для глаза непроницаемо, для слуха — мало (урчанье какое-нибудь), и лишь тончайшие осязания-касания внутренних органов знают друг о друге. Но как нам знать о них? «Нам» — это «голове»? Но она, ум наш в этом смысле столь же удалены от нутра нашего, как от этого дерева перед глазами и солнца (если не больше: ведь как раз умом и зрением совокупно мы очень тесно облизываем видимые предметы. А какую идею — а «идея»-то есть эйдос, то есть вид, от глаза зависит — можем мы иметь о жизни нутра, которая до смерти невидима, а когда становится видима на трупe под ножом анатома — тогда не живет? И потом, это опять будет мысль и зрение о вне меня находящемся предмете: кишки трупа для мыслящего анатома — это не е г о внутренности, а то же, что для него дерево или солнце, то есть то, что вне его — и опять непознаваемо оказывается мое нутро — без-идейно).

Йог же, пропуская струю дыхания внутрь, словно щупальце и язык в себя запускает (как глаз бросает луч на предмет и обходит им его) и там замирает, задерживает дыхание (словно перебирает им диафраг-

му, печень, сердце, живот, каждую кишку) и всем существом¹ вслушивается, в-ощущается в неслышную игру внутренних касаний, гармонию их согласований — как тишайшую музыку мира — как атман (внутренняя душа), равный Брахману (мировой душе — где она? вне? внутри нас? — везде).

Таким образом, те народы, у которых развита культура поз, телодвижений, через эти средства с невидимым, внутренним, самым глубоким, сущностью (она, по-индийски — *gasa* — сок) и сердцевиной мира пытались войти в контакт и их понять, и понимали то, что для ума, света, слова — непроницаемо: вещь именно в себе, трансцендетное = непереступаемое (для Кантова рассудка).

Ну, конечно: ведь если та или иная поза дает нам конфигурацию мирового пространства, внутри которого мы ощущаем себя пребывающими, — то не по внешней фигуре своей (сидим, лежим, бежим, локоть на колено — кулак под подбородок и т.д.) можем мы знать внутренние орбиты и силовые линии, расположение частей — стран света в этом пространстве, — но по той композиции, что обретают внутренние органы наши в данной позе; а это нам ведомо либо через замершую позу тела и дыхания, вслушивание (воздух внутрь нас внедряется), либо через жест (поступок, дело) — внедрение телом в воздух как во внешнее нам. В обоих случаях воздух и тело — главные агенты, разница лишь в том, что внутрь чего входит, что фалл, а что влагалище в данном акте. В дыхании йогов струя воздуха — фалл, а тело моё — утроба, влагалище. В телодвижении (молитвы, ходьбы, танца) тело — фалл, воздух — влагалище. Но в обоих случаях мы координируем, созвучию внимаем; тот строй единый, что имеют между собой так поставленное тело: сидя, лежа, стоя, ходя, — и так настроенный на него мир (мировое пространство). Это именно так: ведь каждый музыкальный инструмент — это полость, туловище, наше тело: чистое,

¹ Именно всем существом, а не частью: умом, глазом — можно и «идею» целости своей и бытия «охватить». «Идея» Целого не есть идея, ибо идея — вид, а Целое — все: и касание, и музыка сфер — струи дыхания и т.д. — так что лишь общим самочувствием Целое нам постижимо, в нас внедряется. Недаром «целое» в языке в сочетании: «цел и невредим» — значит просто «здоров».

как барабан, или с тем или иным внутренним органом: жилой-струной, бронхом с дырочкой (как в духовых деревянных), или с заворотом большой кишки, откуда пук исходит (в перекрученных медных: валторна, тромбон, туба), или целым кишечником органа. Тело музыкального инструмента тот или иной образ пространства в себе создает, в нем то или иное устройство, фигура мира обитает и делается нам ведомым — через строй и звук: мир — как брюхо; пространство — как круглое; мир — как тростник; пространство — как столп; мир — как концентрические круги; пространство — как завихрение и т.д.

И танец есть так же выверка внешнего пространства, рисование своим телом письмен и орнаментов в нем, как и выверка внутреннего нашего пространства, состава и строя: какие повороты, позы, кручения, какие перегрузки может выдерживать: чтоб не зашло сердце и дыхание (недаром к ним, внутренним, термин внешнего передвижения-ходьбы применен), чтоб не закружилась голова, чтоб все равно не был потерян верх-низ, право-лево, то есть изнутри продуцируемая ориентировка в мировом пространстве.

Танец — перепляс: всегда состязание на спор и на «слаб!» — нашего внутреннего пространства с внешним: кто кого? И через верткие телодвижения мы, как черпаком (наше тело складывается в разного рода захватывающие инструменты и короба), загребаем не только внешнее, но вычерпываем и внутреннее свое пространство, хлебаем его, пока не исчерпается. Потому после танца такое же опустошение и годность к обновлению испытываем, как и после соития: словно на ветрах утробу свою, как бурдюк, наизнанку вывернули, проветрили и просушили.

Фригидность балерин, танцоров, спортсменов и спортсменок как раз и вытекает из того, что танец или бег, гимнастика — для них есть и соитие с мировым пространством, и опустошение, ощущение и гармонизация своего нутра.

Итак, движение той или иной частью тела есть очерчивание в пространстве внешней линии, что имеет внутреннее человеческое и мирское значение. Попробуем читать этот язык. Начнем хотя бы с приветствия.

Костя (абхаз). Ну вот протягиванье руки...

М. Ауэзов. А у нас «селям» — рука к груди, где сердце, и поклон.

Я. Ну да: нелепо, входя в помещение, где много людей, перебирать поочередно у всех руки, как это делается. Ведь рука к руке — это образование одного тела из двух — химеры, кентавра, а в хороводе танца — одна многоглавая и как бы членистотелая гидра образуется. Перебирание же рук нелепо, ибо это — вступление каждый раз в моногамный брак: «я—ты». Общий же «селям» рукой ко груди — это «я—вы» или коллективное «ты», предполагающееся уже сомкнутотелым, когда я вхожу и присоединяюсь. Перебирая же руки каждого, я словно разбиваю собой наличную, добытую уже сомкнутотелость и рассыпаю ее на сумму единичных отношений.

Костя (абхаз). У нас поза со скрещенными руками означает горе.

Я. Значит, заброшенность, покинутость — ведь обрублены контакты (через руки), и нет помощи. А в Европе — это поза гордыни, надменности, поза Наполеона. Здесь человек прибирает, вбирает в себя руки, то есть то, что дано для связи и общения с другими, к себе назад возвращает. Это поза эгоизма, нарциссизма, антисоциальности. А у русских «сидеть сложа руки» — лень, бездельник, но не имеет значения антисоциальности индивида (эта идея и предположена быть не может, ибо индивид здесь не был самостоятелен), а его антиработность значит.

Ораз (туркмен). У нас лень — сидеть сложа ноги.

Альгис (литовец). У нас вообще жестов руками мало: если человек жестикулирует — значит не в себе.

Я. А если в себе — значит, и руки прибраны. А притом: у народа-земледельца руки на слишком важное дело используются: они — плуг, инструмент труда, так что кощунство употреблять их дублером слову, которое и само обойтись может. Однако здесь, видно, есть зависимость обратно пропорциональная. У народов-трудяг должен быть менее развит язык жестов, телодвижений (и танцев) — и больше язык словесный. И наоборот, у африканцев, например (где природа в общем сама кормит), тело, руки идут не на труд, а на язык — суть средства общения между собой и с богом. И отсюда — такое богатство танца, пантомимы — и менее развит словесный язык.

М. Ауэзов. У нас позы: полулежа или сидя на одеялах — ближе к земле, старики часами на корточках

сидя беседуют, а когда в юрте разговор, или состязание певцов, или суда, то дают скамеечки низенькие.

Я. То есть тоже как на корточках.

Ну вот: кочевник, что днем и в труде — верхом, как птица в воздухе, ему отдохновение — ощутить землю всем телом. Земледелец же, который целый день на земле стоит, в нее, ее утробу заглядывает, кланяется, узлами кряжистых ног-корней вырастает, ему отдохновение — возвыситься: верхом на стул-подстанов сесть, как на лошадь. Стул — седло оседлого народа, седло, что не движется, не качается, а всегда на месте.

А поза на корточках? Вот (делаю ее) — смотрите: человек ведь весь в ней подбирается, свивается в шар — да, образует самую совершенную фигуру, сосредоточивается, не рассеивается — и это выходит наилучшая поза для мысли, особенно и именно у кочевника, который есть животное-живот-шар.

Вот в Индии совершенная асана для созерцания: поза Будды — не шар.

М. Ауэзов. Поза лотоса ногами, друг на друга сложенными, образуется.

Я. Ну да, эта поза — прямой угол, как книга. Это земля — и вертикаль, и лицо: важна обращенность — к свету и дыханию; важны страны «света», значит. И недаром у них, индусов, нет идеи шара как совершенной формы (что постоянно в эллинской античности).

Ну, а наши мыслительные позы — посмотрим на себя, чтобы освободиться, а дальше и другие позы рассматривать станем, уже не боясь — неужели и до вот этой моей позы, в которой я сейчас думаю, — дело дойдет?

Обычно — рука подпирает голову.

Альгис Бучис. У нас Рупинтоелис — деревянная статуя Христа: в позе задумавшегося крестьянина. Одна рука свободно на ногу, на колено положена, а другая подбородок поддерживает, но спина пряма, и для того рука сильно деформирована, вытянута.

Я. Итак, получается подставка дополнительная для головы у мыслящего земледельца и горожанина. Словно тяжелеет и не держится. А когда обе руки подпирают подбородок — получается треножник: две руки и спина-позвоночник — как таган, а на нем наш «котел» варить должен: пар-дым мыслей испускать.

Альгис Бучис. А у нас и у русских жест: почесать макушку, когда задумываются.

Я. Ну это, верно, как дырочку в котелке просверливают, чтобы дух выходил.

Альгис Бучис. Так, может, мыслительные позы разных народов обдумаем — чтобы логику разную понять?

Я. Боюсь, они слишком однотипны: все голову подпирают — подбородок, лоб; рот прикрывают (отверстие) — свиваются, закупориваются, замыкаются на себя: рука у рта — это то же, как и змея свой хвост кусает. И в мышлении мы как раз «как змии» — мудры, начала и концы постигаем, и для того всё конечное приводим к завершению, совершенству и наши конечности на себя обращаем: в мышлении мы закругляем бытие и многое к единому приводим — а для того прежде всего себя превращаем в шар и единое из многого. То же и в позе Будды: свиты конечности, вобраны. Это и поза младенца в утробе — ручки и ножки подобраны. Недаром все младенцы — как всезнающие Будды и выглядят, а последние (буддийские монахи) — как дети.

Конечно, в мыслительной позе есть национальные различия, но они будут нам виднее позже: когда мы рассмотрим весь комплект телодвижений в национальном Космосе.

Теперь перейдем к более выразительным и разнообразным позам. И естественнее всего от неподвижной позы мышления — к позе молитвы: она тоже духовна, но более телоподвижна — язык тела здесь более разнообразен и развит.

М. Ауэзов. У нас мусульманин стелит коврик, становится на колени, шепчет молитву, проводит рукой по лицу сверху вниз, а лбом — поклон до земли.

Альгис. У католиков нет поклонов. Обычно стоя или сидя склоняют голову. Чтобы самый грех замолить, надо вокруг церкви на коленях обойти.

Латыш-эстетик. У лютеран скамьи в кирхе, все сидят.

Я. А русские — на пол поклон, и не подстилают ничего, а распластываются — лежат — без комфорта мусульманского коврика или европейской скамейки. Муку принимают, душу из тела вон.

Дама по Бразилии. Но ведь это не национальные отличия, а религиозные.

Я. Но недаром зоны религий совпадают с определенными космосами: например, ислам — в определенном поясе, а к северу и к югу — другое. Недаром и в Индии мусульманский Пакистан — севернее, чем земля индуизма.... А западноевропейский храм со скамьями — это Бог, приближенный к уюту помещения, храм = дом (недаром собор — Дом) и комфортабельный Бог. В этом смысле русская церковь и мечеть — это натуральный космос, открытое пространство, не заставленные человеческими предметами. И верх здесь — небосвод, купол — округлый.

Альгис. А у нас — острие, шпиль.

Я. Ну да: у западноевропейских народов, чья жизнь ориентирована больше на расстояние, — земледельцев и горожан — подчеркнута вертикаль мира: готический собор и кирха вонзаются в небо острием. Ислам же — более округл, животный, у неба — свод. Русский храм — переходный: есть и вертикаль, но не очень подчеркнутая, и купол — но не единый небосвод, а несколько куполят — луковок — опять.

Ораз (туркмен). Но мечети есть очень высокие — 90 метров.

Я. Дело не в высоте, а вертикальности. Высокая мечеть — соответственно и широкая — все равно округлый небосвод получается¹.

М. Ауэзов. В мечети собираются: она дает тень и прохладу — то, что приятно.

Я. Вот ислам: чувственное наслаждение — средство общения с Богом — через приятное, а не через страдание. И турецкие бани — храмы, в них религиозное омовение совершается.

Дама по Бразилии. Нельзя религиозное общение мешать с приятным. В Индии идут к монастырям в Гималаях, взбираются, телом муку принимают, готовятся к общению с божеством.

Я. Конечно, религия — это выход из себя для общения с божеством, а не собирание в себя, сужение. Хотя — «царство Божие внутри нас»? Это европейский

¹ Ведь недаром при жесте «да» в земледельческой Европе голова прочерчивает вертикаль — она божественна. А турки, народы ислама (и болгары от них) головой поводят по сторонам: ширь, простор для кочевых, меж гор и степей, есть положительный тип пространства. (А минареты? — задаюсь сейчас, перечитывая, вопросом. 14.XII.68.)

принцип «я», внутреннего мира закрытого человека — особи закупоренной, существования подкупольного, спроецированного на все бытие. И недаром в Европе так обязателен храм для моления, общения с Богом.

Это и в позах видно: ведь до сих пор мы позы свивания человека, его умаления, видели: поклоны, падения. Но ведь есть же еще воздевания рук горé, взывания, протягивания с мольбой — распахивание рук навстречу — в объятии. Все это саморасширение человека для соития с бытием — и это совершается на открытой природе, а не в храме: обращенность к солнцу, к восходу — совершается прямо, без посредника.

И вот в странах, где стихии безмерны, где природа сама дает, внушает идею возвышенного, безграничного (как в Индии, где Гималаи — это сами боги; или где реки священны — ср. казнящие и плодотворные разливы Ганга), там естественная религия, моление открытому космосу, и отсюда — обращенная (а не свитая в шар поклоном) поза Будды: лицом (а в поклоне — спиной ведь к Богу!). Там же, где, как в космосе Европы, природа умеренна и не дает пищи для идеи возвышенного, да еще трудяги, привыкшие все переделывать, живут, — люди прибавляют от себя к бытию: строят храм.

Латыш. Но у нас тоже было язычество.

Альгис. Поклонение дубу; есть у нас священные дубовые рощи.

Я. Но это все — умеренное в природе. И потом: термин «язычество» путает. Будем различать естественную религию и трудовую — ту, что в цивилизации, где люди прибавляют Бога от себя окружающему бытию — как несовершенному («религия откровения» — по Гегелю).

Вообще — где и когда возникает храм?

Ведь в Египте Древнем боги жили в процессиях, шествиях, а пирамиды — не храмы.

И в Африке ритуальные танцы: вот когда вся община собирается к какому-то месту — они словно своими телами туда бога и приносят собой — и он живет не в помещении под крышей, а в телах людей и их телодвижениях.

Дама по Бразилии. Вот африканские танцы — неистовы, экстаз.

Альгис. А у нас никогда нет экстаза: танец—шутка, развлечение, отдых, а не священнодействие.

М. Ауэзов. А у нас один шаман за всех танцует до изнеможения.

Дама по Бразилии. Я была в Узбекистане: там нет хороших, а только сольные танцы.

Костя (абхаз). У нас — не касаются рук, а лезгин обходит женщину. Она — как ось, центр.

Дама по Бразилии. Ну, земледельцы целый день нутрутся — где им взять силы под вечер!

Альгис. Ну да: танец зависит от энергии, что остается у народа.

Дама по Бразилии. А в Африке — целый день лежат, лень копят, силы, а к вечеру, в ночи танцуют: как работа для них это и необходимое освобождение.

М. Ауэзов. Я читал, что в танце выражается не характер, а темперамент народа.

Я. Ну да: темперамент = температура = тепло — та или иная огненность народа; а характер, как верно Костя сказал, это уже форма, упорядочение того сырья-содержания, что дает темперамент.

Допись к национальным танцам

Перед семинаром зашел в соседний дом к балерине-матери и балерине-дочери.

О разных частях тела, участвующих в танце, говорили. Японский танец — неподвижен низ, ножки — маленькие опоры и скрыты. Зато — мимика, миниатюрные движения головой, руками.

В индийском танце — гибкость рук, шеи, ног — как змеи; уже полуобнаженное тело. Однако в основном — на месте.

В Африке — танец живота, эротические позы, танец соития.

У земледельцев Севера танцы — позы трудовой обработки пространства: «ковырялочка», «прихлоп-при-топ» — как землю возделывают. И подвижны — фигуры различные описывают передвижениями (крути разнонаправленные, расходы, узоры на земле кладут, ткнут — как вышивание: листики, квадраты, строчки).

В танце человек — разное животное.

В основном — птица, надземность. На русском Севере: женщина-лебедь, плывет, «выплывает, словно пава». Есть танец «уточка», «гусиный шаг». А у мужчин — присядка: взмахи крыльями, будто улететь с земли собирается.

Балет в России развился; в странах же ислама его нет, поскольку там запрет на обнажение тела.

Разница — танец пространства и танец помещения.

В открытом Космосе — импровизация. В помещении — упорядоченные движения, фигуры: как в обществе — человек должен знать заранее, что будет делать сосед. «Па» салонного танца — это как бы правовые, юридические, отношения: «носиться» могут так, а не иначе: до сих — мое, от сих — твое. Светскость — вместо света Божьего, космического танца.

Фигуры в танце помещения — все более правильные: круг, квадрат (вальс, танго).

Метафизика вальса. Вальс — космический танец. Прodelываем вращения двух родов: вокруг своей оси (с партнером мы — воссоединенный целостный человек) и по кругу зала — то есть в вальсе мы равны Земле, земному шару, который и вокруг своей оси вращается, и по орбите вокруг Солнца. В этом — упоение вальса: его захватывающее дух кружение — той же природы, что и вращение Земли, мы ей равны в танце, ей подражаем, ее собой чувствуем. В вальсе мы — само совершенство. Отсюда само- и взаимо-восхищение в нем.

Такт — на три, то есть Троица, совершенное и полное число: ибо лишь тремя точками можно осуществить поворот кругом (окружность лишь через треугольник описуема), тогда как остальные такты: на два и на четыре парные — квадратные, прямоугольные — выражают уже машинную цивилизацию: в танго и фокстроте ходят — как шатунно-кривошипный механизм в паровой машине (еще и углами локтей туда-сюда что-то толкают).

Вольные импровизационные танцы XX века: рок-н-ролл, твист — это бунт против машинной цивилизации.

Дробь ногами у испанской танцовщицы и кастаньеты-щелчки — это язык птиц (соловья, курицы, петуха — это характерный символ для романских народов: «Галлия» — курица по-латински). И знаменитая детская испанская песенка — про курицу и цыплят.

А у нас хлопанья в ладоши, по голенищам, пяткам, бедрам — плоскостями воздуха обработка, а не уколами щелчков.

Подобное отношение к пространству сказывается и в национальной б о р ь б е, которая есть захват бытия, способ, метод его объять-понять. У кочевых —

как хищники, кошачьи, мягко приседая и сплетаясь в обнимку.

У русских — драка на кулачки: размахивают руками, как в танце, ибо пространство — во-он какое необъятное раскинулось, так что в нем лишь пунктиры намечаешь точками и тире толчков своих рук — среди пустынь и зияний.

Пространство при кулачках — не сплошняк, как там, где тело к телу прилегает в борьбе.

Беседа десятая

НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА

14.IV.67 г.

Собеседники: М. Ауэзов, А. Бучис, К. Цвинария, О. Дурдыев, латыш-биолог, казах-домрист.

Принесли пластинки. Послушали казахские, литовские...

Я. Музыка — трудно уловимое. Чтобы добраться до различий по нашему принципу, приведем ее в связь с более телесным, осязаемым, очевидным: с естественным звучанием природы, с инструментами. Исследуем звучание национального Космоса.

Каков состав звука — по стихиям? Огонь — отпадает (его представитель — свет), вода сама по себе беззвучна. А вот воздух в соприкосновении с землей и дает звук. И действительно, разный звук зависит от того вещества, которым и по какому производится трение (деревом по коже у барабана); и от формы и длины, заключенной в этом теле (инструменте) волны — как его души. И когда по инструменту бьют — как по человеку, — он голосит, кричит, пищит: дух так или иначе испускает. Действительно, все инструменты = туловища, фигуры, с заключенной внутри душой. Ее выдавливают через отверстия (вырезы у скрипки — как губы; у домры, гитары — рот; у иных — много мелких — как ноздри).

Инструменты, как и люди, связаны с растительным или животным царством. Инструменты деревянные — из дерева, стволов, тростников: дудочки, флейты и т.д. Есть инструменты-животы. Барабан — бьют по пузу, оно гудит с определенным тембром, как волну из заднего прохода испускает — Гаргантюа («баритонально

попукивая»). Гайда (болгарская) — бурдюк надутый, а через дырочку воздух выпускается, и она пищит. И гармошка — искусственные легкие, живот, меха: надувается и разжимается — как лепестки и доли легких.

Есть инструменты-мужчины (деревянные, растительные стержни — и издают мужской звук: горны, трубы, рожки, флейты — все воинственные) или инструменты-женщины — с гибким грудастым телом: гитара, скрипка — и все они издают музыку томления и любви.

Ударные, клавишные инструменты — дают соединение мужского и женского, как акт соития: палка бьет по животу в барабане, молоточек ударяет по струне-жиле (женской в паре: молот-струна); в форте-пиано (недаром doubly назван инструмент: это поистине целое мира, воссоединенное из полов — половинок, единого «двубого» целостный универсум). Вообще всякое испускание звука — это рождение целого из соединения половинок: щипком ли по струне или смычком пиля — это разные типы любовных касаний, позы объятий: ведь инструмент по-разному обнимают, держат (ср. позы соитий по индийской Кама-сутре): гитару — как красотку на коленях, скрипку — подняв на руки, виолончель — между ног: везде здесь играющий — в функции мужчины; дуя же в дудочку флейт, кларнетов — держат в руках и во рту фаллос. Недаром в Греции были именно флейтистки-танцовщицы: они сопровождали Диониса и фавнов в вакханалиях, и чувственный звук их музыки не одобрялся Платоном и изгонялся из идеального государства, где были запрещены изнеживающие, томные азиатские: лидийский, фригийский, миксолийский и гипофригийский лады, и допускались лишь строгие эллинские: дорийский, ионийский и эолийский.

Духовые же большие инструменты: горны, валторны (Waldhorn (нем.) — букв. «лесной рог»). Трубы — опять надувание раструба, мощной струей.

Инструменты и к стихиям могут быть приурочены. Я так думал, что земля, ее звучание — это ударные инструменты, где тело о тело, шумы разные: барабан, трещотки, ксилофон (по шпалам-рельсам ляп-ду-ду!), кастаньеты, отчасти фортепиано; и тело земли далее — материал и фигура в каждом инструменте.

В о д а — это сырое, живое в инструментах: кожи (животы) — барабаны, гайды, волынки-бурдюки; и жилы-струны: если они сухи, не гибки — они не звучат,

а скрежещут. Это — нутряные инструменты, и недаром все струнные предназначены для выражения внутренней жизни: скрипка за душу берет, за жилы струнами тянет; переливы гитар, арф — это словно переливы крови, внутренние потоки, их настрой.

Здесь уже не шум (удар, шорох, шелест), а определенная волна (водяное и звуковое явление), голос, слово звука — нота, то есть отмеченное, запоминающееся — это уже тон, звук органической природы (тогда как земля сама по себе — звук неорганической природы издает).

В о з д у х — духовые инструменты: та или иная плененная в трубу часть мирового воздушного океана — особую волну издает, испускает. Но у духовых звук внешней души, космической — души природы, пространства, тогда как у струнных — звук внутренней души нашей: такт дыхания, биения сердца. Правда, в духовых происходит соединение этих душ: внутренней нашей — и внешней, космической, и соитие в трубе: ведь дуем мы из себя, свой выдох, возврат заемно превращаем искусством в дар природе, дарим ей звук, прорезь. В самом деле: при обычном дыхании из нас свист, храп, хрюк — шумы. Но в инструменте мы им придаем меру, то есть личность, «я», сообщаем определенность — и пускаем в мир уже как оттранненную волну: со смыслом и с «я».

Ну да: главное в музыкальном звуке, в отличие от естественного, природного, аморфного, — определенность от сих до сих, прерывность, — то есть это как тело, фигура, форма в пространстве.

Недаром поэтому все инструменты разные геометрические формы имеют: здесь, в музыке, видно, как пространство переходит во время: соответствующая фигура (цилиндр барабана, восьмерка скрипки, треугольник балалайки, трапеция арфы и рояля, лес вертикалей органа и т.д.) испускает и имеет своим выразителем определенный тембр и тон в мире длительностей.

Так и йог, принимая ту или иную позу — телом изображая особую фигуру в пространстве, — словно делал свое туловище то скрипкой, то арфой и издавал своим дыханием определенное тонкое инфразвуковое звучание, что приводило его в состояние гармонии с бытием.

Каждая асана — особая фигура — особый инструмент — особый звук — особое дыхание — особый дух (мысль, мировоззрение).

И, мы когда играем, по-разному извиваемся телом, добавляя к фигуре инструмента фигуру от себя, и тем особой глубиной и выразительности звук каждый раз издается.

О г о н ь, как стихия, — представлен в медных металлических инструментах: их нельзя произвести без огня, плавки металла и их кования в раскаленном виде. Оттого они и испускают блестящий звук — как луч света ослепляющий. Восход солнца, луч пронзительным звуком трубы передается, фанфары; ослепление звоном, бряцанием тарелок: когда брызнет сноп и наступает высшее просветление — тогда совершается и оглушение, то есть переход от звука к свету, к немоте созерцания и прозрения. (То же — на тончайших, почти беззвучных высших регистрах, флажолеты — ср. вступление к «Лоэнгрину» Вагнера.)

И звон от огня — гусельки звончатые, колокола. Колокол = фал о влагилице — простейший звуковой универсум — дрожит и долго живет в воздухе как звук основной и простейшей сути мира — тем завораживает. Отдается далеко и повсюду, ибо всё в бытии — Эрос, повсюду творится акт соития мужского и женского. Потому из всех инструментов церковь взяла себе именно колокол и орган — сей огненный город — пожар языков — столбов пламени — мировых стволов-трубок. Но собственно город в музыке — это симфонический оркестр¹. Его звучание — это звукопись жизни мирового города, цивилизации, гражданского общества, государства (ср. Шпенглер об этом).

Теперь рассмотрим конкретнее звучание национальных космосов: во-первых, чем звучит сама природа?

М. Ауэзов. У нас вообще тихо, степь. Так что когда из города приезжаешь, как оглушенный стоишь в тишине. Звук от чего? Ну вот ветры и пески звучат, когда волнами пересыпаются.

Я. Ну да: ветер, прокатываясь по волнам барханов, их волны заимствует, сжатия и разряжения — и на инструменте земли играет.

¹ В струнном квартете: виолончель = земля, альт = вода, вторая скрипка = воздух, первая скрипка = огонь.

А. Бучис. Или трение это песчинок?

Я. Ага — значит, свист сквозь поры песчинок.

М. Ауэзов. Потом шелест травы — ковыля волны, и легкий серебристый звук.

Я. Ну, а чем звучит воздух? Гор нет — ударов нет; воды тихи. Птицы какие? Ведь в голосе, в звучании человек — птичен: недаром голос помещен в верху нашем, наиболее возвышен над землей, над крыльями рук уже.

М. Ауэзов. Птиц у нас мало. Ну, перепел — дрожанье звука. Наш жаворонок — черный, тоже не очень поет. Дрофы и другие степные тоже тихи. Орел — клетот его редко услышишь: в горах или когда особое остервенение битвы.

Я. Значит, звук в степи — событие, ЧП, редкое и особое. Ну, а стадо как?

М. Ауэзов. Стадо пасется тихо. Когда же звук, значит — волк напал или что-то случилось, и тогда все сразу заголосят.

Я. Ну, а уход и приход стада? Ведь в деревнях земледельцев особая поэзия и музыка — это уход и возвращение стада.

М. Ауэзов. Нет, ведь у нас скорее человек пасется, снимается вслед за стадом, возле него располагается на пастбище: съедят траву здесь — дальше пойдут, так что приходы-уходы домой не так ярко выражены.

Я. Итак, здесь многое очевидно: воздушное пространство на высоте человека от земли уже в основном пусто. Какая разница с этим — леса у земледельческих народов! Здесь еще высоко над человеком продолжается и вознесена жизнь и голосит Космос. Естественно, и человеку есть куда тянуться и вырастать: оттого северяне — рослые, тогда как кочевники — приземисты, стараются ниже травы, тише воды быть — вкрадчивы, тихи.

Итак, разберем естественное звучание Космоса среднеевропейской полосы: среди трав и лесов.

Лес — это торчат потенциальные разнотембровые и разновысотные волны-звуки; каждое дерево — особый тон, а роща — целый строй. И когда дует ветер — он эту естественную эолову арфу леса звучать побуждает. Как у Межелайтиса:

Нет лиры у меня,
Но ветер по соснам...

А. Бучис. Это у него по Чюрлёнису — из «Сказки леса».

Я. И сколько звуков лес издает! Треск, скрип, шорох, шелест.

А. Бучис. У нас в языке много слов для обозначения разных звуков леса.

Я. Но лес — это пока звучание как бы неорганического Космоса.

А. Бучис. Еще море у нас.

Я. Ага. Море — это и плеск, и ропот, и ластится, и журчит струйками уходящая волна; и накат, и шум, и вой, рев, гнев, буря.

Это жизнь Божества, сверхмерного.

А. Бучис. У горцев такое впечатление возвышенного, наверное, от гор через зрение передается.

Я. Но — к лесу, еще не доисследовали.

Кроме звучания ствола и листьев, на ветвях — птицы. У каждого дерева — своя птичка: кленовик... и птицы по деревьям именуются. Птицы на дереве — это как глаза и рот на кроне головы нашей, что на стволе туловища и ветвях рук. Это уже звук Жизни, от себя испускающей звук в Космос. Птицы и их голоса — это лучики, пламешки (язык пламени ведь тоже — вверх к свету стремится). И каждая птичка — особый инструмент: и мясо в ней, туловище разное, и форма тела и головы; отсюда и звук разный: щебет, клетот, воркованье, перелив, токованье, рулады, пенье и т.д. — и все звуки разного тембра, высоты и частоты. И всем этим звучит лес.

А. Бучис. Про соловья у нас: «Такой телом невзрачный, а как поет!» И еще говорится: «Будь как соловей, что ест (то есть неприхотлив) — а как поет!»

Я. Соловей — вот! Хотя везде с ним пение людское сравнивают, однако на разное обращается внимание. Например, литовец, сам грязный, в земле, обращает внимание на родной себе серенький скюртучок, невзрачность соловья. И не звучит здесь столь излюбленная Востоком комбинация: соловей и роза в саду. Соловей в Литве — не садовая птичка, а в естественной роще над рекой.

Но продолжим рассматривать растительность и звук летучий (издаваемый птицами, насекомыми). Ну да: ведь животное земное само — тело, само держит себя, само и звучит. Такое целое лишь вместе создают растения и жители воздуха: растения-деревья суть ноги для насекомых, птиц — тех, воздушных, что несут,

заклучают в себе голос. Ведь травы — се малый лес: луга в жару звучат, стрекохут — насекомыми, этими птицами трав. Все это жужжание, высокие тонкие звуки — как и тонки, неслышны звуки от струнок воло-синок трав; и как от них лишь общий звук от многих трав под ветром (шелест) слышен, а иначе остается за порогом слухового восприятия, — так и от взмаха крыл шмеля: лишь от многих, частых ударов звук слышен становится.

А плюс к тому у земледельцев ведь и домашние животные: тоже целый космос при себе, уже внизу, ниже уровня роста человека как продолжение его живота (жизни) — к ним не надо идти и вверх голову задирать, как в храм леса.

А. Бучис. А у нас звуки домашних животных считаются грубыми и не уважаются: хрюканье, гнусавые гуси, лай собак.

Костя (абхаз). У нас ни один рассказ не обходится без лая собак.

Я. Но все-таки «Петушок» у литовцев — и танец, и ценится. Но, конечно, у живущего среди трав и лесов — целая иерархия звучаний. Есть высокое и подлое, добро и зло, душа и тело в звучании — от изобилия звуков.

А еще ведь и воды как журчат: большие реки — беззвучны, но чем меньше: ручеек, струйка, капель весенняя — своими тонами звучит, и размеренно.

И ведь космос земледельца непрерывно и многообразнейше звучит — а он работает в тиши, пашет, сеет где-нибудь на опушке леса, или косит — среди жужжанья — всю жизнь вслушивается. Ясно, что и слуховой аппарат развивается до тонкости, и так музыкально и многоголосо хоровое пение у северных народов. И отсюда такой вывод: закономерно, что именно у средневропейских народов, среди лесов и трав, родиться могла симфония — этот космос, музыкальная вселенная. В степи кочевника для нее нет природной подосновы, прообраза звучаний. А здесь — в лесу — разом звучит и голосит такое и столько! И человеку требуется овладеть этим, возделывать и сад природных звучаний, возделывать окружающее воздушное пространство, и дом звучаний, что от земли до крон деревьев, что от асфальта до небоскреба, — самому построить.

А у вас ведь нет хорового пения?

М. Ауэзов. Очень мало — на свадьбах; а так один обычно поет, рассказывает.

Я. И когда хором, то ведь не на разные голоса, а все один мотив?

М. Ауэзов. Да.

Я. И в Китае (Образцова «Театр китайского народа» я читал) нет многоголосого пения, тогда как русское пение немыслимо без подголосков и вторы. То есть даже если хор в Китае, то это просто много, громкость однородного, а не собор разнородного, индивидуально-го, особых жизней и «я».

Теперь рассмотрим звучание музыки в быту.

Когда поют и как? Во-первых, в открытом космосе, как излияние души, в простор?

М. Ауэзов. У нас не поют в степи. Звук далеко разносится, и это вызовет тревогу. Даже когда скачет кто, за пятьдесят шагов от юрты должен остановиться, так как дрожит земля, и если подскочет сразу к юрте — значит, со страшной, исключительной вестью. А вообще, при тишине степи поют люди и говорят много.

Я. Ну да: при тишине наше звучанье — единственное подтверждение жизненности людской. Перефразируя Декарта: «Звучу — значит, существую». А говорят тихо или громко?

М. Ауэзов. Тихо. Поют же у нас вечером, за ужином — долго рассказывают песней. Целая прослойка людей, переходящих от аула к аулу, — вот они за ужином рассказывают.

Я. Значит, музыка у вас не столько эмоциональна, сколько информационна.

А. Бучис. А у нас — на очень скупые слова: вон песня «Ты ехал по лесу. Было ли страшно?» — вот и все, а сколько поется!..

Я. И в русской песне — как протяжно, много звуков на слог-распев; и отсюда в Европе хоры, реквиемы, мессы — грандиозные часовые построения на информационный текст в полстраницы.

М. Ауэзов. Есть и стойкие мотивы, но это уже на плачах-похоронах, свадьбах; а так, в сказе — импровизационно.

Ну, и состязаются акыны, разные комбинации, долго...

Я. Так что: или один, или двое — рассказ или беседа.

Ораз (туркмен). У нас бахши-ашуг — знаменитость; когда умрет — национальный траур. Он, как шаман: все, что угодно, может с тобой сделать.

А. Бучис. У нас нет такого: считается, что один лучше, другой хуже — но каждый может петь. Были, правда, в древности вайделы — как шаманы.

Я. Значит, в Литве в хоровом пении — как юридическое равноправие граждан в правовом обществе, и так же это среди бюргеров, где цехи; а у кочевников ашуг — как хан, как священный племенной производитель.

А. Бучис. У нас когда поют? Говорят: днем птицы поют — люди молчат. Вечером люди поют — птицы молчат. После работы на поле встанут, один затынет, другой, отпоются — и уйдут.

Я. Значит, пение как потребность существа отдыхать после работы; но ведь и птицы щебечут, поют не специально — это они просто дышат так: просто так свойственно звуку сквозь их туловища, пазы и дырочки проходить.

Костя (абхаз). Ну, теперь, наверное, моя очередь.

Я. Да — горный космос продумаем, его звучание.

Костя. У нас вообще шумы с гор: камнепады и рокот рек.

Я. Значит, в отличие от тишины степи кочевника и расчлененной органической музыкальности космоса земледельца, здесь неорганическая природа особо властно жива, грозна и возвышенна — и всё время дает о себе знать звуком. Потом, в горах звук не протяжный, а резкий, отрывистый должен быть. В лесу: «ау-ау», а в горах «эп! эп!» — окликают друг друга. И в горах в ответ — эхо, ибо определенный здесь космос замкнут, не бесконечен, заключен как меж стен. В России же — бесконечный простор и даль, и поэту нет отзыва (ср. «Эхо» Пушкина).

Латыш-биолог. В Тироле тоже горцы — гортанный звук.

Я. Да, голосом делают резкий перепад — на октаву, как водопад — спад уровней резкий, и такую волну посылают — на короткое и резкое эхо, на отклик рассчитанную.

Костя (абхаз). В лесах у нас птиц немного.

Я. Ну да — здесь ведь хвойные леса. Кстати: в каких лесах, лиственных или хвойных, птиц больше?

— В лиственных.

Я. И это естественно: хвоя — вечнозеленая, значит: ни жизнь, ни смерть, по ту сторону этого различения стоит. А лист — как птица, живет сезон — умирает и

вновь рождается. Лист — жизнен, и именно в листовых лесах — разнообразие звучаний.

Костя (абхаз). В горах не поют — нужен глаз да глаз, чтоб идти, не свалиться, а не распевать. Вообще глаз у нас важнее, чем слух.

М. Ауэзов. А у нас слух — к улавливанию шорохов приспособлен, а глаз — на даль, узок.

Я. У горцев глаз — широк: на близь вглядываться, близорук, а у тех — дальнорук.

Ухо у кочевника, сравнительно с глазом, больше, тогда как у горца — ушко маленькое сравнительно с носом и глазом.

Костя (абхаз). Звук у нас скорее нужен, чтоб время определить: вот петухи поют — пора.

Я. Ну да, а еще темно: солнце взошло, но горы его заслоняют. Петухи же об этом ведают. Вообще — вот тоже важно: с чем сопряжен звук — с пространством или временем? В индийских Упанишадах был удивлен, прочтя, что звук они связывают со сторонами света: север—юг, запад—восток, то есть с пространством, тогда как по европейской традиции: Лессинг, Кант, Гегель, Толстой — звук музыки приспособлен для передачи внутренней жизни души во времени (ритм-пульс) и, по Лессингу, музыка и поэзия — временные искусства, в отличие от пространственных: скульптуры, живописи.

Теперь, исследовав, к какому типу музыки предрасполагает естественное звучание национального космоса, попробуем выявить уже собственно музыкальные явления: рисунок мелодии, такт, ритм. Давайте вот вы, двое казахов, напойте что-нибудь.

М. Ауэзов и другой казах поют. «Это песня — плач еще с XVII в.», — объясняют.

Я. Но что-то подозрительно квадратный ритм и гармония — не огорожанена ли?

А. Бучис. Да, не совсем естественно...

Я. Спойте другое, веселое.

(Напевают — свадебное.)

Я. Ну что ж, уже кое-что можем извлечь. Во-первых, рисунок мелодии — без скачков, мелко-изгибчатый, переливается у суставов, как гибкое кошачье тело кочевника — ср. с углами и выступами корявого земледельца. И там — вон мы слышали кантеле — какие интервалы: скачки, а от них уже опадания или возвышения. Здесь же, в казахском, скачков нет; а во-вто-

рых, и диапазон мелодии невысок: всего в районе кварты-квинты вьется, но внутри — разнообразие опеваний звука, изгибов демонстрирует: это — приземистая, как тело и жизнь кочевника, музыка.

Оттого здесь нет и пищи для многоголосия. Ведь многоголосье связано с многоформатностью окружающего космоса: вон — в горах — сколько разных величин, форм и тел: у каждого — свое звучание и рисунок, и отсюда грузинская полифония с резко очерченными интервалами, перепадами и ритмами. То же и в космосе литовца-земледедца: разноголосо вzywають стволы и травы, разный тембр, диапазон и длительность имея. А в этом уже и полифония: каждый разную высоту и длительность тянет — как в колокольном звоне: «блин—полблина—четверть блина» — так его воспроизводят.

А здесь и форм нет разнообразных и четких, потому аморфно-импровизационно орнамент мелодии вьется, и уловить его, то есть оттенить, подчеркнуть контрастом, втóрой, параллельным голосоведением невозможно — ведь было бы то же самое, и оттого нет смысла разнообразить: была бы не музыка, а смешение, какофония. Но тип мелодии связан и с национальными инструментами и на них, их возможностях, еще виднее быть может.

М. Ауэзов. У нас главное — домбра. Длинная шейка и маленькое утолщение с круглой прорезью.

Я. Голова и рот.

М. Ауэзов. На ней — две струны. Струны — из кишок, лучше всего — кошачьих, считается. Их перекручивают.

Я. Ну вот — две струны. Струны — из кишок. Для интервалов широких не приспособлены. Вообще-то любой интервал в пределах октавы можно на любой струне извлечь, а через два зажима и еще больше. Но ведь как скакать рукой и пальцем нужно! Еще и не туда попадешь! Для того пять струн на скрипке — чтоб можно было, не сводя резко ладонь с места, пальцами перебирая струны, звуки разной высоты извлекать.

М. Ауэзов. Про возникновение домбры и отверстия на ней даже легенда есть.

Я. Не отвлечет нас? Ну, рассказывай.

М. Ауэзов. У хана погиб сын, а хан всем сказал: кто с дурной вестью к нему придет, тому рот свинцом зальет. Долго никто не решался сообщить. Тогда старик один на домбре такую музыку ему сыграл, что тот все понял. Но

и слово свое сдержал: на домбру, что ему весть печальную рассказала, свинец вылил — он и прожег отверстие.

Я. Ну вот: значит точно рот это. Могу гордиться, что предугадал.

(Смеемся.)

Итак, значит, инструментальная музыка причащена к вокальной: рот в инструменте — отверстие в туловище (животе '=барабане) прорубая, открывая (а рот есть — в мир Божий глаз от звука), тем самым инструмент из ударного в душевный превращают, голос у него прорезывается.

А. Бучис. У нас древнейшее — рѳги.

Костя (абхаз). А у нас из рогов пьют.

А. Бучис. Созывали, знак подавали — в лесу ведь не видно — на звук.

Я. От этого Wald-horn — валторна в современном оркестре.

А. Бучис. Потом дудочки разной длины и толщины в дереве выдалбливали, складывали, связывали, отверстия пробивали — и вставляли четверо в ряд с дудочками разной длины.

Потом в один инструмент совместили несколько рядов трубочек — как свистульки.

Я. В Греции это флейта Пана.

А. Бучис. Наконец, кантеле — ящик плоский.

Я. Прямоугольник — форма земледельца: стол, пол в дому; у кочевника же все — кругло, пузато.

А. Бучис. На нем несколько струн, и их перебирают.

Костя (абхаз). И у нас есть подобный инструмент, только у него в середине еще ряд струн вертикально, как у арфы, поставлен.

Я. Тем гора и долина — два основных рельефа явлены.

Твердый строй и звукоряд мог появиться не с помощью ударных или струнных — то есть естественно-природных (там скользить можно по струне по неопределенной линии, а не по лестнице звуков), но именно на деревянных, трудовых, где дырочки натвердо пробиваются в определенных местах, и там не подправишь в унисон или в созвучие скольжением пальца. Так что гамма, расчленение есть уже внесение от человечества своих расчленений, форм, системы мер и величин — в естественный космос природы. Так что лишь у трудовых народов (земледельцев и горожан) четкий звукоряд. У тех же, что живут на помочах и дотации у

природы, звук, тон не фиксированный, а плывет, как в естественном космосе.

Отсюда роги, фанфары и приспособлены для перепадов — на октаву, квинту, терцию. Недаром и в оркестре фанфары — для великолепия трезвучий, утверждая их столпы — как сваи и опоры в мироздании.

Теперь — в р е м я в музыке: такт, ритм, темп. Вот у казахов я не учуял четкого расчленения сильной доли от слабой. Это членение не периодами времени здесь определяется, а эмоцией, выразительностью: когда от души надо вскрикнуть — тогда и сильная доля.

Жесткий же такт, очевидно, не у верховых, а хожячих, земледельческих народов — сопряжен он с ходьбой, ступанием. И в кочевом танце женском — малоподвижны ноги, а лишь верх: руки, шея, голова (отсюда все искусство танца, что распределено у иных народов на все части тела, здесь сгущено наверх — и вот эти знаменитые виртуозные скольжения головой на шее вправо-влево). Кочевник нетвердо стоит на земле, а склонен скорее именно по ней катиться, так что жестких расчленений у него нет.

Именно ходьба, марш, танец ногами дает нам жесткий такт, соединение сильной и слабой долей в группу: недаром такт по-гречески — «стопа», «ступание».

22.X.87 г. В е д у щ и й. К этим беседам естественно примыкают мои собственные рассуждения о других аспектах национальных культур, которые ниже и предлагаются.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Глянув на обложку книги Элизе Реклю из серии «Народы и страны Западной Европы» — «Испания и Португалия», где изображена коррида: матадор на коне копьё вонзает в шею быка, — подумал: да ведь игры каждого народа — это его Космос, приведенный в движение, это космические действия. Сначала подумал: вон в Испании — ведь тоже страна цивилизованная, двадцатого века, — а сохранили древнюю игру. А у нас, в России, недавно, наверное, будь такая, отменили бы: как «варварскую», след нашей «некультурности», и остались мы б опять без традиции, с еще одним прерывом... Да, так и не могу назвать национальную русскую

игру: не дошла до наших дней, а все из-за исторического пунктира, перепадов, когда все заново и словно начисто писалось на земле.

А еще — какой-то странный стыд перед иностранцами за свое, не гордость. Вон, испанцу смешно стыдиться иностранца: какой ты ни есть расцивилизованный, а я — пастух, все равно гордо голову ношу и плевать хотел; самостен он. А русский врожденно застенчив, ориентирован на бок, на другого, в сторону, вдаль, так что, каков он есть здесь и теперь, — это, ему кажется, совсем не то.

А испанец, кто горд, напротив — свое здесь и теперь утверждает, «я», атом, даже выпячивает больше цены (идальго и спесь): что я во какой! А русский, и будучи хорош, каков он есть здесь и теперь, — все равно умалит себя, ибо самочувствие его: «Эх! Не то все это, а кабы...» У гордого атомного испанца — присутствие = при сути своей пребывает, а у русского ощущение от-сутствия = что от сути своей отделен и еще дойти до нее надо дальнею дорогою... Испанец — точка, русский — тире.

Но это вбок, а теперь — об играх.

Игра! Что такое, вообще, по идее? Да это же занятие бессмертных и вечных, богов беззаботных. В игре мы — как боги: забываем время, все цели: для чего, зачем, что делать? Все причины: откуда? Все смыслы жизни, все вопросы; все заботы, выгоду, цели, корысть, нужды, потребности — чем труд движим; «я» свое — его нет, забыли; все вышли из себя — вместе с массой болельщиков на стадионе, в едином мире. То есть преодолено самочувствие смертного человека, который существует в ощущении начала и конца, для кого время — деньги, и течет, и уносит; но как дети мы, для которых ничего этого еще не началось, кто еще полуангелы, несут печаль мира иного, где были, по мифам, души до воплощения, отчего Гераклит образ вечности представлял так: «Вечность — ребенок, забавляющийся игрой в шахматы: царство ребенка»¹.

Здесь все точно: что это **детство** — то есть безмятежность, юность (и в этом смысле человек выглядит в искусстве взрослее ангелов и даже богов: верно ведь — те

¹ Античные философы: Свидетельства, фрагменты, тексты / Сост. А. Аветисьян. — Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1955. — С. 23.

несмышлелыши, так многого не понимают, наивны, простодушны; так, Яго взрослее Отелло, наивного ребенка, хоть Отелло совсем не молод; человек и мужественнее, зреее женственных инфантильных ангелов: и тело об этом говорит — у тех мягкое, гладкое, с невыраженными мускулами, а у человека — вона какая мускулатура! Для дел, трудов, усилий в достижении целей. Вот почему Микеланджело, надарив богов и ангелов даже мускулатурой, сразу их оземлил, одухотворенной легкости и крылатости лишил, придав им не свойственные безмятежности бытия качества воли, усилия, а значит — преодоления. А что им достигать и преодолевать, когда все при них — растворено!..).

Что это забава: «бавя» по-болгарски (из старославянского корня) — «замедлять», то есть атрибут вечности (ведь смертный человек одержим идеей ускорения, спешки: скорей! время не терпит, дорого! надо успеть! А что успевать-то ангелам? Или преуспевать? Это их не касается...), так что здесь не жизнь (та, что имеет свое грутое — смерть), а бытие, пребывание, чистое.

Что это игра: не труд в поте лица своего, не битва не на живот, а на смерть, не серьезное — где решается вопрос жизни или смерти и где остервенение, усилие и стискивание зубов в ярости на соперника или врага, и отчаянье и самозакалывание при поражении и неудаче. Нет — игра! Сегодня ты, а завтра я, и неудачников нет, так что и плакать нечего. И когда сказали: «Что наша жизнь? — Игра», — то этим сразу жизнь перевели в иной план — в уровень бытия, и самочувствие легкости и не нашей заботы нам сообщили.

И все бытие — круговорот, игра стихий: вода пролилась дождем, выросла стеблем, поднялась паром, сгустилась в воздушное облако, пролилась дождем...

Вот почему так дорожит и современное человечество играми, спортом, ибо игра — мировоззренческа, сообщает издерганному современному человеку мироощущение бытия, богов бессмертных. Вот почему, когда в игру начинают проникать интересы, цели и престижи (деньги ли, подкуп, нажим ли на национальную гордость, или толковать ее как схватку лагерей или преимущество той или иной социальной системы), то это уничтожение как раз игрового мировоззрения и оковывание самих игроков: недаром наши футболисты, накачанные перед игрой партийным собранием, что или выиграть — или партбилет на стол (утрирую), впали в

такой шок и оцепенение, что — проиграли. И сам народ, болельщики, — как боги и ангелы: во время игры с амфитеатра небес, с облаков южной или северной трибуны (недаром стадион такими космическими частями разделен: по странам света, как мир, Вселенная, само бытие, пространство — а не помещение!), взирают на схватки людей на плоскости поля Земли — недоброжелательно отбрасывают привходящие интересы и добры к приезжим, хвалят их, освистывают своих: все объективно.

И тут, на поле, не смухлюешь, как в кабинетах за подписями и печатями на бумажках и анкетах: не выдашь плохое за хорошее — тут прямой самосуд, всепроницание, сразу все видно, как на духу, не скроешься, не спрячешься (за документ, за блат, за дядю, за спину), а каждый есть то, что он стоит. Так что здесь бытие истины = как *естины*, а болельщики одарены всевидением и всеведением, как боги судят людей беспристрастно, по делам их. И если они — «болельщики» (от слова «болезнь»), то оттого, что они сейчас чокнутые, нездравомыслящие по-земному, а идиоты, юродивые, безмятежные: у него дома ни гроша, а он прыгает и ликует на стадионе! — и болеют они за игру как таковую — ну и за «своих», конечно, «фаворитов». Но это лишь предлог, как в маневрах надо ж разделить как-то: ну на «красных» и «синих», на «Спартак» и «Динамо»...

Итак, в игре мир освобождается от отчуждения; цивилизация, история — все к черту, нет этого, а мир — как в первый день творения, и вообще — бытие еще до творения, до воплощения, до «грехопадения» в «труд» и «заботу».

Оттого те игры хороши, что древни.

Новые игры, как правило, не имеют космически-миросозерцательного характера, как, кстати, и новые танцы, что собираются искусственно изобретать и вводить в пик «неприличным» твистам, рок-н-роллам, ча-ча-ча, шейкам и прочим, что недаром так первичными действиями названы: *twist* — расщеплять, *shake* — трясти, потрясать (как громовержец перуном): в них отелеснены праидеи, как это обычно в народных танцах, откуда и эти современные взяты: танго (*tango*) — «касаюсь» — тоже идея касания, осязания, как одного из пяти чувств; ролл (*roll*) — шар, катить; фокстрот (*foxtrot*) — «лисий шаг», поступь — тоже подражание животному

тотему, как в первобытных магических, заклинательных танцах.

И судья, что на поле есть лицо официальное, цивилизовано-ученое, царь и король, — весь под обстрелом и контролем народа, что есть высший судья и может освидетельствовать: «судью — на мыло» — и свергнуть царя — вот уж где он не начальник, а подчиненный, всего лишь доверенный, слуга народа, исполнитель божьей воли (а в роли богов — зрители, с небес — ярусов амфитеатра, с его полушария — как небо есть получаща — взирают на действие смертных).

Такова игра как ритуал, обряд, культ, жанр в нашей жизни и модус вивенди. Это — существование и мироощущение людей как божеств.

Что же игра по своей материи, сюжету, что там происходит?

Во-первых — п р о и с х о д и т. Космос не статичен, но динамичен, причем движение хоть и интенсивнейшее, но такое, что в итоге ничего в Космосе не убавляет и не прибавляет, а весь его в равенстве себе оставляет: хоть кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, кто-то повеселее, кто-то попечальнее уходит, — но баланс-то один и тот же, и все довольны: лишь бы игра была хорошая, веселая, а результат — условен, неважен, предлог лишь, чтоб игра развернуться и состояться могла — надо ж кому-то взять на себя амплуа говорить: «да», а другому — «нет». Но ведь различия эти — условны, лишь для создания полюсов, разности уровней и потенциалов, так, чтоб в бытии началось движение, течение куда-то, перепад, действие — но ведь через вызываемое им противодействие опять все возвернется на круги своя.

Итак, в игре есть чудо: действие (история) в мире происходит — и в то же время ничего в нем не меняется: это таинство совершения — и совершенства, стремления и покоя, распада и гармонии; что все течет, все изменяется — и что ровно ничего не происходит и не случается в бытии...

Так и в битвах эпических героев: они в «Илиаде» идут иль на славу, иль на гибель. Но кто победит: троянец Самоисий или ахеец Аякс, кому перейдет слава? — она все равно е с т ь, их подвиги вальсят в общий котел славы или красоты бытия, и одно и то же бытие красуется славою через них, эти прекрасные тела и подвиги героев, — переливаясь

мерцанием, блистая и светясь: они лишь волны (эти герои), выпуклости, на которых чтоб слава играть и переливаться могла.

Какое же действие, конкретнее, совершается в игре? Это всегда священнодействие, то есть основное из действий бытия — в разных формах у каждого народа.

И это основное действие: акт жизни-смерти, зачатия, порождения, убивания одного — оживления другого. Это — соитие. В разных вариантах: как прямая любовная эротическая игра (это в танце обычнее), как война, драка на кулачках, битва, пронзание, вонзание стержня, шара, мяча — в полость (копья — в чрево быка, мяча — в ворота). И когда болельщики в страстной истоме вопят: «Шайбу! Шайбу!», — это катарсис вожделения, дошедшего до предела. Недаром, как мне рассказывал С. Бочаров, при демонстрации фильма Антониони «Затмение» во Дворце спорта в Лужниках, когда между героями пошли любовные флюиды, а соитие все задерживалось, по излюбленным антониониевским задержаниям (как в музыке есть форшлаг = торопливый, предваряющий удар, и — задержание = запаздывание звука), раздался возглас: «Шайбу! Шайбу!» — чем сразу эротический подспуд спортивного боления выразился. И если у болельщиков болезнь — то это болезнь Меджнуна, Неистового Роланда — это любовная лихорадка, неистовство, бурление, кипение, вожделение, «в крови горит огонь желанья» — вот антонов огонь болельщиков.

Итак, в игре — царство Эроса.

Ну да: и по Гесиоду и Эмпедоклу, сначала в бытии Хаос, потом Эрос, а потом уже Космос, строй, порядок. То есть рассеянное бытие приводится в порядок силами любви и вражды, притяжения иль отталкиванья всего между собой: частиц, стихий, элементов и т.д.

Действительно, во всех играх такая последовательность: возбуждение, эрекция, предельное напряжение сил, скачки, гонки, броски, попадание в цель — к финишу — и конечное расслабление, облегчение — все это цикл и ритм соития.

Единица игры — раздвоение на партии, число два, то есть каждый — половина целого, каждый другому — «свое другое» (термин Гегеля), своя половина, как в супружестве.

И когда дети в игре «сговариваются», то делятся между двумя «матками» — материнство тоже зона Эроса.

Но что разделение целого бытия на полы: мужское и женское — есть его (бытия) игра, для движения внутри его равенства самому себе, — видно по тому, что каждая партия, команда, игрок, боксер — попеременно то мужчина, то женщина: то нападает, то принимает удары, то забивает гол, то его получает; да и ворота меняются: хоровой то брак, не моногамия, без жесткого закрепления функций и специализации.

Итак, универсальный сюжет игры — соединение, священнодействие во Эросе. Так и в «горелках»: успеют ли догнать девушку и поцеловать; и в шахматах — загонят ли стоячего короля, мат (материнство) мужику навяжут или нет? В шахматах активнее женское начало: королева (ферзь) какие шажищи и броски совершать надарена, а король лишь переступает, семена. И это с индийским космосом, где женское начало активнее, чем в Европе, например, связано. Недаром и в нынешнем¹ мире женщины — премьер-министры где? Индира Ганди в Индии и Сиримаво Бандаранаике — на Цейлоне.

Ну, а теперь можно и к толкованиям национальных игр — как национальных мировоззрений — приступить. Какой же вариант основного космического акта соития, в какой предметности, в каких телодвижениях воплощается в данном народе в данном пространственно-временном континууме?

Раз задумался над этим, глядя на картинку корриды, с нее и начнем.

Итак, бой быков — забой быка, игра космоса Пиренейского полуострова, у Геркулесовых столбов, у конца материка, земли Старого Света, когда солнце окончательно уходит на Запад, на закат в воду, в Аид.

Вот жесткая локальность этой игры: она лишь на крайнем Западе Средиземноморского мира и на краю известного до Колумба света сгустилась. Нет ее ни в Италии, ни в Греции, ни в Африке... Ни в Индии, где корова — священна.

Однако везде просвечивает священство коровы, быка и их связанность с солнцем и землей (в Египте бык — атрибут и голова одного из солнечных богов). Зевс — солнечный бог, — воплотившись в быка, похищает Европу-материк (мать-женщину), то есть лишь во образе бы-

¹ Писано в 1968 г. — 22.3.94.

ка Солнце может совокупиться с Землей (рога его — лучи). След этой переключки быка с солнцем и в латинской поговорке остался: *quid licet Jovi, non licet bovi* = что позволено Юпитеру, не позволено быку. В «Бхагавадгите» в третьей главе, именуемой Карма-йогой, мир-жертва назван коровой:

Вместе с жертвой, создав три твари, некогда рек Праджапати:

Ею размножайтесь, да будет она вам желанной камадук (букв. «корова желаний»)¹.

Миф о Минотавре в лабиринте, то есть во чрево, лоно земли забравшемся, быкоголовом и его убийстве Тесеем — есть тоже вонзание перуна, луча света, в темное царство.

В Дельфах статуя быка — единственно животная.

Итак, то, что убивают быка-солнце в Испании на Пиренеях, на краю известного человеческого мира — его там пригвождают, закрепляют, — связано с солнцем, его закатом и есть, возможно, магическое действие с солнцем: от него как бы берут залог, убивая причастное к солнцу существо — чтоб опять возвернулось.

Бой быков — это точка над *i*, конец-начало (а не процесс, промежуток, даль, порог и канун — как в России), это акт, дело, взятие на себя ответственности здесь и теперь. Потому испанец так выпукло горд, надут — ибо как бы за всех, за весь известный средиземноморский мир точку над *i* ставит, солнце пригвождает, грех на душу и ответственность берет.

Оттого и аутодафе (действие огня) — и костры-огни инквизиции, и церковь, и католицизм (вселенство) здесь крепки, ибо — шутка ли! — край света, дальше — прямо ад, так что — одумайтесь! Где уж одумываться, как не здесь! Это итальянцу Данте на Апеннинах еще шанс есть — успеть еще можно, пока солнце (или сам) до Пиренеев, конца света (точнее: конца материка, то есть матери-земли, но это равно и концу стихии света, ибо свет — на чем-то, на форме, так что верно материк Евразия назван «Старый Свет»), дойдет, так что у него есть выбор: рай, чистилище, ад — три, а здесь уж — или—или, третьего не дано (оттого диалектика и софи-

¹Махабхарата, Бхагавадгита / Пер. с санскрит. акад. Б. Смирнова. — 2-е изд. — Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР, 1960. — Гл. III, 10.

стика рефлексии не имеет космических шансов развиваться на почве Испании: здесь принцип определенности, авторитета, авторитарности (самости, ответственности) и догмы, «да»—«нет», а что сверх — от лукавого — и на костер аутодафе, действия огненного, как и бой быков — тоже в своем роде аутодафе — игра с огнем-солнцем; заклинание солнечного божества). И недаром в испанском искусстве если встречаем зыбкость, мерцание, рефлексию, неопределенную духовность, то это у Эль Греко — букв. Грека, византийца, эмигрировавшего с восточных столбов и врат Средиземноморья, с Геллеспонта (пролив Дарданеллы), после завоевания Константинополя турками, — аж до самых столбов Геркулесовых.

И когда на северо-западе Европы недовольство выливалось в определенных характерах и ритмах — куда поднапитаться пошли? Мериме за Кармен — в Испанию, Бизе — туда же, Мольер, Моцарт, Пушкин (Дон Гуан — Хуан), Глинка («Арагонская хата»), Чайковский («Испанское каприччио»), Хэмингуэй («Фиеста») и много еще.

Наконец, интернациональные бригады в испанской гражданской войне 1936 г. сплошь составлены были из западноевропейских интеллигентов, возжаждавших определенности, «да» и «нет», вырваться из тенет рефлексии, из зыбкости софистики и множества — к единому, к твердому.

И бой быков есть тоже по *pasaran!*¹ солнцу! Дальше идти некуда, *pes plus ultra*, защита телом, преграда, как Хозе Карменсите нож вонзает.

И если, по Фрейду, есть комплекс садистско-анальный (заднепроходный), то он локализован на Пиренеях. Космическая суть этого комплекса: акт сжатия, выдавливания, выжимания, напряженная земельность, тяжелая земля, притяжение, сдавливание, сплющивание через боль (отсюда садизм, пытки инквизиции, орган из кошек испанского короля Филиппа — см. в «Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера).

Это связано — с выходом: недаром анальное отвержение, задний проход, заход-Запад (то есть западание —

¹ «Они не пройдут!» — лозунг республиканцев против франкистов в 1936 г.

вываливание) — как и Солнце на западе западает, закатывается.

Экскременты — цвета коричневого: соединение земли (черноты) и золота, огня — цвета солнца. И кучи фекалий = кучи золота, их замещают и воплощают: потому некоторые люди, каждый раз с восхищенным удивлением, как замороженные, разглядывают эти кучи, из них на толчке выходящие...

Кстати, недаром этот комплекс присущ людям, родившимся под созвездием Тельца (Быка) — апрельско-майским (ибо состав существ, которых девять месяцев в утробе матери-Земли вынашивали, пока наверху сменились лето, осень и зима — а таковы рожденные под Тельцом: значит, зачаты где-то в августе, — конечно, иной, нежели тех, девять месяцев которых протекали, пока наверху были, например, зима, весна и лето — разные сочетания земли, воздуха, воды, огня в них вошли).

И недаром у испанцев и бой быков (созвездие Тельца), и пристрастие к золоту, пышности, великолепию (ср. испанская живопись, Веласкес в сравнении с Ван Дейком, например), а главное — отсюда за золотом = за солнце-землей отправлялись вослед солнцу — на открытие Нового Света: золотая лихорадка конкистадоров в XVI столетии. И завезли и бой быков в латиноамериканские страны (Мексика, Уругвай и др.), где эта игра уже имеет смысл скорее **встречи** солнца, восхода.

Но это уже — занесенность.

Ибо по спонтанности своей, самопроизвольности возникновения, бой быков — это проводы солнца.

Странам восхода-Востока: Китай, Индия особенно — недаром противопоказано убийство коровы, запрет на эту пищу: не созрела еще земля и солнце, сутки не прошли еще, время не наступило.

А в Испании — так уж не только можно, но надо, пора.

Элиинские игры — антропоморфны, главный агент — тело человека, оно и игрок, и предмет игры: гимнастика, борьба, атлетика. Здесь, правда, появляются предметы: диск, копье, но эти предметы — для проявления силы тела и всей его ловкости и складности. Оттого и обнажены, тогда как у других народов в играх — разные одежды, хотя вообще, по идее игры, человек в ней предстает в натуре, естественным, без

покровов, открыт как на духу, на телесной исповеди бытию, чем игра и является: донос бытию о том, каким стало человечество за историю и цивилизацию: сохранило ли ген свой? И цивилизация завет свой с Космосом подтверждает каждый раз в игре. Что игры, как завет с Космосом, важнее каких бы то ни было внутрилюдских группировок (национальных, классовых) и отношений, — эллины удостоверяли тем, что в разгар междуусобной Пелопоннесской войны, где люто колошматили друг друга афиняне и спартанцы, — неукоснительно соблюдались и справлялись Олимпийские, Истмийские, Пифийские и прочие игры, где полисы — противники на поле боя встречались как дружественные состязатели в играх. Мы-то уж не можем себе представить, чтоб в разгар, например, Великой Отечественной войны с фашистской Германией проходил бы футбольный матч национальных сборных: СССР и Германии. А вон ведь — по той идее мироздания, что эллинам была внятнее и домашнее, — так бы должно было быть. Хотя и в современном человечестве это игровое бытие осуществляется: в дипломатии, в дипломатической неприкосновенности и иммунитете. Послы-легаты — выведенные из уровня социально-национальных законов и нужные бытию; их сохранность нужна Космосу, чтоб поддерживать на земле игру истории, в разнообразии и распределении партий, позиций и сторон между веками, странами и народами.

Итак, если у эллинов тело человека — игрок и инструмент игры одновременно, мир как бы к фигуре человека сведен и из нее выводится (пифагорейское тождество макро- и микрокосмоса), то в странах Средней Европы, средней полосы распространились игры с шаром, мячом: футбол, волейбол, баскетбол, хоккей (шайба пришла тоже как плоская земля, диск, по древним представлениям), кегли, лапта, гольф, теннис, крокет.

Здесь важен перенос центра тяжести с тела — на инструмент, предмет: за ним следят, а тело игрока уже не так важно, и важен результат, выгода, цель — гол, а какими способами: красиво выиграно или силовым приемом — не так уж важно.

(В средиземноморской, испанской корриде цель — не просто вонзить копьё, шпагу в быка, но осуществив весь ритуал телодвижений, все приемы, весь церемо-

ниал красиво, — и это ценится у тореро и матадоров: длительность игры со смертью, на грани ужаса и стога подольше продержаться — и в этом тоже комплекс садистско-анальный испанцев сказывается.)

Человек, его совершенство здесь, в Северной Европе, уже не есть цель бытия народов, космосов, но сам человек для чего-то употребляется: для богатства, для идеи, для науки, для духа, культуры, для родины. Глаз от человека отведен: на вещь или вдаль — но идет опредмечивание, отчуждение человеческой сущности. И это — воля национальных космосов этой полосы. Человек голый и ровный всегда здесь невозможен — хотя бы потому, что не ровная температура Эллады, а перепады морозов и жары: зим и лета; человек здесь не постоянно равен себе, а лишь в итоге и сути, которая каждый раз по-разному проявляется. Здесь уже проблема сущности и явления, ноумена и феномена, как быть одним и тем же — и разным.

Человек здесь важен как деятель, но не как дело; дело же — что-то другое, нежели человек и его жизнь; вещь, мысль — плод рук и ума. Здесь недаром является принцип: цель оправдывает средства — принцип материковый, стихии земли (недаром в жестком суровом Риме родился и итальянцем Макиавелли развит), а не воды, при которой цель — как плоть — смешна, производна: берег, остров, ладья, человек, — а пребывает «средство» — море, волна.

Поэтому здесь мир делить начинают на субъект-объект — как основное деление (для эллинской философии это деление бытия хотя и было, но как частное и периферийное). А здесь даже субстанция-субъект стала (у Гегеля — Абсолютная Идея), то есть деятельность, труд, творчество, креационизм.

Ну да: в играх с мячом игрок — лишь деятель, сочленение, шатунно-кривошипный механизм, хорошая машина, важен его рычаг для удара: нога — футбол, рука — волейбол, и в разных играх человек становится механизмом для произведения иного движения: баскетбол — бросок двумя руками — вполне «машинно-рычаговое» движение; по разделению труда и игры — особые, особые и телодвижения. Когда же всю универсальность механизма человеческого тела хотят на параде просмотреть, то недаром такие спортивные жанры называют по-эллински: олимпиады, спартакиады (а не «первенства», где фюрерство, вождизм, цель и ре-

зультат в каждом виде разделенного, как труд, спорта важен).

В этом смысле разница: бокс — кулачки, машина — дубина хорошо уясняется. Ну да: бокс (англ. box — буквально «коробка») — одиночка, помещение, и здесь двое, один на один выбросы рук и ног — своих шарниров — демонстрируют. В отличие от античной борьбы, где вплотную и обнявшись в соитии тела атлетов друг друга перекручивают, всю красоту мышц, их пружинность, скульптурность и пластику поз являя, — здесь, в боксе, соприкосновения вплотную, тела к телу нет, а выбросы конечностей, удлинение тела сверх его естественной меры, чтоб малое само, а смогло бы занять большее пространство, что достижимо через активность, движение, мельтешение (как вращающийся быстро стержень нам кажется плоскостью круга), а во-вторых, через орудие труда, которым здесь рычаг руки является: руки загребушие, руками махание ведь тоже есть распространение человека.

Россия знает к у л а ч к и, когда на драку сходятся стенка на стенку — т.е. артель на артель, а не индивид на индивида (как в западноевропейской, английской игре «бокс»). Индивид же здесь сам по себе аморфен, а силен, когда «один за всех, все за одного», коллективизм, хор, мир, община, сход, собор — все русские принципы. Бокс же — это один на один, турнир, поединок, дуэль — что распространилось на Западе, так неестественно в России, отчего убийства русских поэтов на дуэлях — это именно вонзание западного принципа в российский, когда эгоистический принцип индивидуально-атомной части и самости «я» повергает во мгновенной вспышке и вспыльчивости российский принцип длительности, долготерпения, «само пройдет», что выражает знание чего-то высшего, принадлежность человека не себе, а большему чему-то, высшей воле — родины, что ли, России, народа, и любви, и преданности, с ними человека соединяющих.

«Кулачки» как артельный принцип игровой борьбы: эй, ухнем, ребята! Наддай, навались! — аналогичен и артельному принципу труда, что воплощен в «Дубинушке» и недаром противопоставлен машине, которую изобрел «англичанин-мудрец».

«Кулачки» — стенка на стенку — космическая игра открытого пространства, где тучи и ветры собираются и гуляют по широку-чисту полю российскому. Бокс же

(от, повторяю, box — коробка) — игра помещения, дома, мира, где жизнь ушла в здание.

Игры с мячом — гонять шары = гонять светила, что здесь, на Севере среднем, тоже нуждаются в погонянии, в усилении, в помощи со стороны людей, в подстегивании, в насилии и нажиме — тогда как в средиземноморских субтропиках солнце, в общем, ходит само собой, ровность тепла обеспечивая; севернее же все больший удельный вес обретают календарные празднества, разделенные по временам года: встреча зимы (елки), проводы (масленица), встреча весны, проводы лета и т.д.

Недаром в эллинском летосчислении не важна такая единица, как год, — она аморфна и пропадает (севернее она подчеркнута: попробуй ее не заметь — когда нос защекает стужей), а здесь — счет вели по олимпиадам (т.е. по четверолетиям).

К а л е н д а р ь — идея материковая, когда ритм земли прямо по светилам надо сверять, землю со светом, — и недаром он развивался, с одной стороны, в земельно-ирригационных космосах Египта и Вавилонии, а с другой — в горно-земельном, суровом Риме и Италии (календари юлианский, григорианский).

Ш а х м а т ы — игра, индийский Космос в себя вобравшая. Это мировоззрение бесчисленного множества сочетаний, множества рождений, что проходит одна душа. Индийские Упанишады, философии, толкования — это перебор разных сочетаний: стихий, способностей, которыми может быть достигнуто соединение с Брахманом и озарение и прекращение кармы. Причем пешка-шудра, пройдя до конца свой путь, исполнив дхарму, может появиться в новом рождении как кшатрийка-королева, на новом уровне способностей и с новой дхармой. И как множество величайших богов: Брахма, Индра, Шива, Вишну, асуры, боги, ракшасы, разные миры и сочетания здесь, — так и в игре бесчисленное множество комбинаций и главенств.

Это пристрастие к чуду перерождения на новом уровне выражено в легенде о том, как принц за изобретение шахмат предложил мудрецу награду, какую пожелает, и тот попросил дать ему столько зерна, сколько соберется, если на каждую последующую из 64 клеток шахматной доски положить вдвое больше, чем на предыдущую. В итоге вышло два зерна в шестьдесят третьей степени, что может быть равно ко-

личеству зерна на всей Земле. Это чудо геометрической прогрессии (прогрессия — тоже поступательность, шаги перевоплощений на новом уровне) — то же, что накопление, с одной стороны, заслуги, а с другой — кармы.

И читая описания сражений между пандавами и кауравами в «Махабхарате» — например, вот этот бой: **«Стрелю с широким и острым концом Дурйодхана поразил насмерть возничего Юдшихтхиры, Юдшихтхира же убил одного за другим четырех коней, запряженных в колесницу Дурйодхана. Перейдя на другую колесницу, сын Дхитараштры продолжал сражаться, и стрелы его (уже множество, как пешек, а не как одна стрела с широким и острым концом, что, наверное, как «офицер» по силе на шахматной доске. — Г.Г.) вонзались в грудь и в плечи Юдшихтхиры, и кровь забулжила из многочисленных ран на теле витязя, как горные водопады. Но не склонился старший из Пандавов под жестокими ударами, стойкий в бою, и, собрав все силы, послал на врага стрелу с острым и твердым, как алмаз, наконечником. Та стрела тяжело поразила Дурйодхану и, пройдя сквозь его тело, глубоко вонзилась в землю. Тогда Дурйодхана, полный ярости, подняв свою огромную палицу и хотел метнуть ее в Юдшихтхиру, дабы покончить одним ударом с враждой и войной (как шах! как вилка! — Г.Г.), но раньше, чем он успел это сделать, дротик Юдшихтхиры пронзил его грудь»¹**, и т.д., — я узнал во всех этих комбинациях орудий ударов — равноценные сочетания, как в шахматах. Слон имеет столько же силы, как три пешки, ладья — как два коня, ферзь — как ладья и два слона (= ладья и два коня = ладья и слон и конь = слон + + 8 пешек и т.д.). Так и здесь: один герой поражает возничего другого героя, а тот берет у него четырех коней, что равноценно; кровь одного бурлит, как горные водопады, а у другого страдание выражено переводом на другое, но равноценное сочетание стихий: сквозь тело — в землю. Перебирать дальше не буду — см. выделения в цитате.

И таким-то образом — по шахматному принципу — и можно было нанизать в эпос «Махабхараты» описа-

¹ Махабхарата / Литературное изложение Э.Н. Темкина и В.Г. Эрмана. — М.: Изд-во восточной литературы, 1963. — С. 119.

ния тысяч боев на сотни тысяч стихов, и все время не повторяясь, а разнообразя сочетания — так что не наскучивая.

6.II.1968

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ — КАК МИРОПОНИМАНИЕ

Сама эта идея — грандиозное метафизическое сцепление. Земля — это мать, та, которой свойственно родить, порождать, давать прибыль бытию через Эрос и естественное рождение, через самую жизнь. Труд — это искусство, прибавление к бытию через творение. А творение в отношении природы и ее способа — рождения, выступает не как жизнь, а как смерть: срубается дерево, чтоб построить дом. В отношении ж к бытию (а не к природе) созданное трудом выступает уже как воскресение: то, что носилось в рассеянном бытии в потенциях, прототипах, прообразах, идеях, сначала воплотилось на жизнь в природе, потом подверглось убийству трудом и цивилизацией — и на этом уровне стало сырьем, полуфабрикатом, пассивной глиной, которой ум через человека и его деяния форму придает, по замыслу и идее.

Итак, дело — антоним родам. Земле же присущи — роды. Так что соединение «земли» и «дела» есть насильственное супружество, кесарево сечение — железом плуговым.

Но поскольку Земля — не самоцель, а лишь частица в бытии, то насилие над нею через людей и цивилизацию, изменение ее естественной непотревоженной жизни вполне может быть допустимо и даже оправдано и необходимо: в высших видах Бытия и с точки зрения последнего может быть важнее, чтоб прокормился и уцелел паучок-человечек, нежели остались в Англии, например, леса и луга, эти естественные покровы Земли — пусть ее шкура будет содрана. Однако ж и интерес Земли может быть бытию равномерно дорог, смотря где, — и оттого разное отношение к земледелию в разных народах и законы об этом.

Например, в Индии земледелие — дело грешное: брамин никогда им не должен заниматься, а разве что вайшья и шудра. Ибо это есть испарывание чрева Земли, вторжение с людским эгоизмом в естественный правопорядок природы. И одно дело — рас-

пахать степь, равнину, долину где-нибудь в умеренном климате, где трава лишь по пояс, не выше, и человек один — высшая мера вещей и существ и может иметь свое суждение, свой интерес и свою ценность осознать как более центральную бытию, чем существование кузнечиков, травок и цветов, которых он лишит жизни, вспахав и засеяв поле. Но когда кругом джунгли, лианы, заросли, где цари — слоны, тигры, обезьяны, змеи — такое кишение существ, каждое из которых и сильнее и снабжено отстоять себя от человека, — значит, это недаром, значит, природа заинтересована в их бытии и своими стихиями и законом (богами, асурами, ракшасами индуизма) их крепит против человека. Ведь здесь, чтоб возделывать землю, надо джунгли сжечь, животных уничтожить. А ведь эти же джунгли и человека кормят: одежда, жилье, пища как плоды — все самой природой здесь в изобилии человеку доставляется, ну — сколько положено, не больше; оттого, если плодится население больше меры, — его вина, ему и расплачиваться. Человек здесь не имеет права задирать голову и почувствовать и заявить, что он выше всего, что он — «мера вещей», что он — «цель природы» и что «все — для человека, все на благо человека». Гуманизм здесь неестествен, ибо к человеку столько же сострадания, сколько и к слону, и к корове, и к обезьяне — к ним, священным животным, даже больше. И человек знает свой шесток в разумном правопорядке природы и будет умирать с голоду, но корову не зарежет.

И недаром — при малом земледелии, труде и искусстве — здесь, в Индии, дарами природы существует гораздо больше людей, нежели в Европе, где человеку все дозволено и где он прокармливать себя в поте лица своего должен.

И усилия Логоса в индийском Космосе направлены не на преобразование природы во имя человека, а на уяснение человеком своей дхармы, своего пути в неизменном бытии — как частной уловки в его городе: чтоб город существовал и подтверждался. Не мир — пассивная глина и материал для духа человека, но сам человек, его существование — есть материя, в которой облекается Брахман (как вселенский дух), и жизнью своей человек должен над собой (а не над природой) работать, себя, а не землю возделывать. Оттого — Веды, обряды,

йога, буддизм — столько инструментов для обработки человеком самого себя, своей души и дыхания: чтоб львиная доля энергии и времени его существования на это уходила, — и так мало здесь было орудий труда и индустриальной прыткости, которые суть экстравертность, направленность человека вовне себя как в «не я», империализм, видение в глазу природы сучка-задоринки и не видение в себе, в своем существе — бревна, так что усилие идет на усовершенствование природы, материи и богатства, а не на самоусовершенствование и культивирование божества в своем бытии.

В журнале «За рубежом» за 1968 г., № 6, на с. 13, в статье «В Южно-Африканском Союзе» помещены два снимка, которые дают воочию узреть, что такое туземцы и чужеземцы в Космосе тропиков. На одном — лица белых фермеров на аукционе. На другом — жители одного из бантустанов у знахаря.

Существа, необходимые местному Космосу, — мягки, не напряжены, непритязательны (как одеты! — почти раздеты), смотрят друг на друга, внутрь своего круга, между собой умиротворенно замкнут их взгляд.

А вот волкодавы, хищники, нацеленные, подстерегающие взглядом из засады шляп (те же — гололобые, себя предоставляющие), все направленные экстравертно на цель, вне себя; они — на пределе активности: схватить, урвать, преобразовать, усовершенствовать (что значит для них — привести в соответствие со своей человеческой мерой); собранные (как руки — в позе наполеоновского империализма! — а у тех руки висят или полусогнуты) и не способные совершенно на себя оборотиться и увидеть свое уродство: у одного рот хищно-рыбий, книзу углы — притяжение земли и воды, низа мира; у другого торчат колющие пики усов; тогда как у тех рот в полуулыбке, углы кверху, к небу, как у месяца. Носы = кили, плути, взрезывающие пространство: для устремления пробивания клювы. А у тех — округлость, приплюснутость, самозакругленность, на себя обороченность, самодостаточность — очертания как у округлого плода с тропического дерева. У этих же черты — угловаты, резки, квадратны, как у форм машин и механизмов: плоскости, углы, рычаги рук, резцы носов. И проступает специализация, односторонность, обрезанность человека, сняты в полтела, ибо только мозг и руки в них важны; те же всею фигурой прекрасны, как серны, антилопы гибкие. А эти — крабы, танки панцирные. Недаром у Лоуренса в

книге «Любовник лэди Чаттерлей» люди породы индустриальных дельцов сравниваются с раками, крабами, омарами¹; то же и у Драйзера в «Финансисте» — спрут, словом, земноводные, что соответствует и моему образу выше: «рот хищно-рыбий». Фермеры сидят как крабы с клешнями сведенных рук, под панцирями шляп и пиджаков и с глазастыми панцирными выпуклостями очков.

Здесь эти люди — в инокосмосье — уродливы. Они же у себя в Англии или Германии — прекрасны, ибо соответствуют Космосу, где активность и предприимчивость изыскиются от человека самим бытием.

В умеренном поясе у оседлого населения земледелие — основа нравственного здоровья народов (ср. Маркс об этом — и Лев Толстой). Отчего? Да оттого, что здесь человеку нужно воздвигать зону жизни на земле — до своего уровня и выше: через насаждение злаков, конопли, садов, строительство домов, городов, небоскребов — чтоб выровнять слой жизни с горами тропиков и севера, с эвкалиптами, секвойями (посредством небоскребов), со слонами и китами (посредством танков и подводных лодок), с птицами — посредством самолетов.

Труд здесь красит человека, тогда как в Индии — лишь частично, а то и уродует. Тут надо вдуматься в изобильно наличное — в этом подвиг, от человека ожидающийся: не мешать собою, своим тупым движением, а вслушиваться, — тогда как в средней полосе человек призван к дерзанию, выйти за пределы себя «на труд, на подвиг и на смерть»; на Арктику походом, на мерзлоту, на великие стройки, ударные стройки и т.д.

¹ Из человека в английском Космосе угля и тумана выводится новая порода людей (вообще идея выведения новых пород существ созданием искусственных условий — англосаксонская, ср. Свифт: «лилипуты», «йэзу», «гуингмы»; Дарвин — теории естественного и искусственного отбора; Уэллс — «морлоки» и «элони», люди будущего). Сэр Клиффорд «становился почти целиком существом с твердой деятельной скорлупой (efficient shell) снаружи (of on exterior — букв. — со стороны внешнего мира) и с мягкой внутренностью (pulpy interior — внутренность — как чувствительная пульпа, осязание) — одним из удивительных крабов и омаров (crabs and lobsters) современного индустриального и финансового мира беспозвоночных (invertebrates) ракообразного типа с оболочками из стали, подобно машинам, и внутренними телами из мягкой пульпы» D.H. Lawrence *Lady Chatterley's lover*. Privately printed / 1930, p. 129.

То есть в средней полосе и к северу Земли человек призван к восполнению недостатка жизни — как посланец юга, теплокровное животное, солнце в сердце, в себе несущее — чтоб льды растапливало. На юге от человека изыскивается самоохлаждение — с помощью омовения (вода), дыхания (йога, прана), созерцания света (буддхи). На севере же человеку пристало разогревание с помощью энергетики: угля, нефти = извлечения земного огня, света-электричества; с помощью горячительных напитков и страстей — распалялись интересы, цели и эгоизмы, чтоб подвигать человека на дело вовне себя, чтоб выходил из себя (отсюда апология «погони за счастьем»: Гельвеций, Стендаль — и за «успехом»: Америка), зацеплять его, и изнутри наизнанку чтоб выворачивался, распластывался, распоясывался. А на юге нужно умерение, сдержанность, отрешение, йога самообуздания, жертвы Брахмы, Пуруши или Христа за людей. Обеспечив себя этим образом заранее «искупленного греха», порешило человечество двинуться на север и строить цивилизацию в средней полосе мира (в Европе, Америке) и там предаваться оргиям целеустремленной эгоистической активности: промышленности, практике, войнам, грызне — сплошной экстравертности, преобразованию среды и условий для улучшения человеческой натуры. И христианство и всякого рода морализм был нахлобучен сдерживающей смирительной рубашкой — как церковь и храм; и заведен ритм недели (= недеянйя) — чтоб чтли субботу и воскресенье, то есть хоть как-то ограничивали бы прожорливую деятельность праздниками — святою праздностью — и предавались бы созерцанию, теории, а не практике — трудам (как и Бог сам на день седьмый творения — вот вам пример).

Вот почему христианское миссионерство у первобытных народов в тропиках: в Африке, даже в Индии — излишне: не туда суется, там оно не нужно, ибо не их учить удержанию от излишне распоясавшейся активности «я».

Цивилизация — практика, тогда как теория (от греч. «теорео» — созерцаю, умозрю) расцветает в промежулке между избытком природы и избытком цивилизации: в субтропиках Индии, в Элладe, в Европе в сравнении с Америкой и т.д.

Земледелие — согбение, поклон, поза молитвы, преклонение вертикали человеческой гордыни: задранный

нос опущен книзу и замкнута фигура в полукруг, в колесо: не грудь колесом, а спина — горбом. Грудь колесом нужна — для рассекания воздуха: как у жеребца, и зоб у птиц — для продвижения вперед и выше (так и самолету, чтоб воздушные потоки его поднимали над землей, надо приспустить крыло — задрать грудь для обтекания).

При земледелии взгляд уставлен вниз, на борозду, в землю, в прах, откуда я и куда возвращуся. Это — школа смирения, т.е. бытия с миром в душе.

В то же время — это почерпание (через взгляд) силы от Земли (как Антей); торфа, угля поддать горячему взгляду, что Землю светом ума, плана и замысла своего пронзает в совокуплении, чем и является возделывание земли, ее вспашка, сеяние и жатва — а именно: соитием цивилизации (искусства) с природой (естеством); здесь они смыкаются — в сельском хозяйстве, в агрикультуре. Сельское хозяйство! На землю осел, сел — и съел (въелся, зарылся лицом, пастью, горстями, руками-плугами загребушими — замкнулся — хозяин!).

А в Индии, если сел — так в позу лотоса (основная поза — асана созерцания) садись устойчиво: плоскость зада и скрещенных бедер к плоскости земли, что значит оттолкновение на невоздушной подушке (земледелец же мало того, что стоит цепкими ногами с когтями пальцев, но еще и острием сохи-плуга вонзается), отказ от земли, а может, напротив: срастание с нею, сцепление, склеивание, как двух пластинок, перенятие ее силы, оттягивание ее на себя — через наибольшую плоскость соприкосновения, чтобы в меня сила земли перелилась, и тогда я уподобляюсь ее растению, собой ее продолжаю, силу жизненную постигаю, ибо ее имитирую: прорастание — и сам раскрываюсь навстречу пространству и верху — как цветок.

В земледелии ж человек от верха мира и пространства отвернут, изогнут колесом — в пружину себя собрал, чтоб силу, из земли в меня через рост мой по ногам некогда перетекшую, передом — руками — в нее же вонзить. Здесь площадь соприкосновения уменьшается: ибо от меня, малого, надо на Землю, большую, обратно воздействовать, так что колющим, враждебным острием ногтя, руки, сохи, плуга, лопаты, мотыги — а не мирной, доверчивой плоскостью зада и бедер — к земле обращен человек. То есть земледелие — четвереньки; ну да, человек

здесь вновь четвероногое: на двух ногах стоит, а руками к земле, их продолжив сохой, плугом, опять возвращается, припадает.

Так что земледелец не так уж мирен: он непрерывный Земли насильник и изувер. Горожанин уж забирает выше — воздух травит; промышленник — глубже: недра шахтами бурит. Однако земледелец, как существо переднего края меж цивилизацией и природой, эта крайняя плоть человечества — бытию посвящена и им освящена, ибо прямо желание Земли чувствует, на него настроен и волю бытия исполняет, так что где не надо самой Земле дополнить Эрос неба, дождя и растительных корней осязанием, ощупываньем, чесоткой земледелия — там оно и не пойдет, как оно с трудом идет в лесных, сероземных почвах или на севере — где космос мерзлотой в поры Земли вонзился; и зато как успешно в долине Нила, где поверхность Земли совершенно гола и ничем ее Космос не щекочет, не балует — тут и насели муравьи-людишки, и давай здесь ирригацию, пирамиды, плотины возводить. В Сахаре-пустыне Земля удовлетворена прямым вонзанием жгучих лучей солнца, и более, значит, ей ничего не надо. На севере жало бытия Землю мерзлотой и льдами насквозь прохватило и глубже. Недаром там мужик — Дед-Мороз повелевает — Красный нос! (субститут — заместитель фаллоса) и глядит:

И нет ли где трещины-щели,
И нет ли где голой земли...

(Некрасов)

т.е. — хорошо ли ее задраил? — и
Тепло ли тебе, молодница?

(= Земля. — Г.Г.)

Ибо при замерзании то же ощущение блаженства, растворения, умиротворения и истаивания, вознесения в бытие, сладкого слияния со всеединым, что и в тропически-индийской нирване: так прибирает Бытие душу раба своего, снеговым саваном прибранную, принаряженную:

В самом чистом, в самом нежном саване
Сладко ли спать тебе, матрос?

(Блок)

9.11.68 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗОДИАК: ЖИВОТНЫЕ — МОДЕЛИ МИРА

27.XII.87 г. В е д у щ и й. Имеет смысл присо-
вокупить сюда мои размышления над тем, какую бога-
тую символику таят в себе образы различных живо-
тных, отчего и почитаются они за священные (тотемы!):
ведь в них представляется целый Космос. Толкования
эти я проделывал в ходе анализа литературных произ-
ведений: русского поэта Тютчева, эстонского прозаика
Таммсааре и киргизского писателя Чингиза Айтматова.

Л е б е д ь и О р е л (Натурфилософский романс на стихотворение Ф.И. Тютчева «Лебедь»)

Пускай орел за облаками
Встречает молнии полет
И неподвижными очами
В себя впивает солнца свет.

Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего —
И чистой, как ты сам, одело
Тебя стихией божество.

Она, между двойною бездной,
Лелеет твой всезрящий сон —
И полной славой тверди звездной
Ты отовсюду окружен.

Впервые у Тютчева появилось тело, существо живо-
тное — но какое! Лебедь — птица света. И она, «лебедь
белая», — начало женское: связана с водой — «плавает».
Лебедь — русское космическое священное животное,
чья плоть (земля) соткана из света, воздуха и воды.

Однако «да» в логике русской мысли не может быть
сказано, не оттолкнувшись через некое «нет». Для жерт-
воприношения «нет»-у, для «сведения на нет» здесь взят
Орел — птица чужеродного Космоса. За что же он от-
вергается как не свой, не родной? Орел — темен, пло-
тен, земен, есть летучий камень и, хотя прямо в свет

солнца взирает, но «очами неподвижными», зеркальными... Впивает свет, но не светлеет сам. В Орле мир явлен своими твердыми конечностями в стихиях: огнем и землей («огнем и мечом» — почти). Лебедь же — всеобщая размытость, воплощенная переходность, отсыл каждой стихии от себя в другую: «нет, не я здесь, — словно говорит земля, — а воздух и свет». «Нет, не я здесь, — словно говорит воздух, — но вода, свет, земля». И т.д. Это — «божественная стыдливость» (а «божественная стыдливость страдания» у Тютчева — категория русского мира), — и недаром русская красавица — «лебедь белая» — очи долу потупя держит, стесняясь своей красоты и светоносности, ее прикрывая.

Но птица эта столь универсальная, что даже двуплая: можно сказать и в мужском, и в женском роде: «лебедь чистый» (у Тютчева), «лебедь белая» — в народной поэзии. Даже пол здесь размыт: не поймешь — мужик или баба.

В отличие от Орла, который не отражает свет тёмной плотью своей, лебедь сам есть сгусток света, отверждение света в чистом пространстве, сам светоносен. Вот идеальный русский Космос! — недаром его поэт создает «из пламя и света рожденное слово» (Лермонтов). Вот идеальная плоть по-русски: кристалл, чистая прозрачность (опять от «зрак»: «прозрачность» есть свойство протяженных тел с точки «зрения» света).

И свет здесь не вещественный (огонь, «молния», «солнце» — то, что зрит Орел), но чистый: «чистая стихия», и скорее свет звездный за него представительствует, чем солнце.

Орел — односторонен: лишь «за облаками». Лебедь же — «между двойною бездной»: как двойное бытие рассеченных туманом гор (в стихотворении Тютчева «Утро в горах»), «на пороге как бы двойного бытия» — занимает русскую точку в пространстве. И его естественное законное дело — «всезрящий сон». Это птица — провидица, чей, верно, глас — «пророчески-прощальный».

Орел — птица божьего гнева: перунов, грома и молнии.

Лебедь — птица милости. И звучность имени «Лебедь» — насквозь родная: мягкие согласные, связанные через «е» — горизонтально-дальнее вытягиванье миниатюрного космоса рта при слегка сплюснутом, нахлобученном нёбе.

К.В. Пигарев в примечании к стихотворению сообщает: «Как указывал Ю.Н. Тынянов, "сопоставление

(символическое) орла с лебедем было излюбленным в европейской поэзии, причем в этом символическом состязании побеждал орел. У Тютчева победа за лебедем... " Действительно, в стихах В. Гюго, Ламартина, А. Шлегеля, Цедлица орел являлся символом борьбы и мятежности, а лебедь — покоя и созерцательности»¹.

К о н ь м о р с к о й
(Натурфилософский романс на стихотворение
Ф.И. Тютчева)

О рьяный конь, о конь морской,
С бледно-зеленой гривой,
То смиренный, ласково-ручной,
То бешено-игривый!
Ты буйным вихрем вскормлен был
В широком Божьем поле;
Тебя он прядать научил,
Играть, скакать по воле!

Люблю тебя, когда стремглав,
В своей надменной силе,
Густую гриву растрепав
И весь в пару и в мыле,
К брегам направив буйный бег,
С веселым ржаньем мчишься,
Копыта кинешь в звонкий берег
И — в брызги разлетишься!..

Перед нами водяное божество, русский кентавр. Из чего составлен? Греческие водяные божества: nereиды, Протей, дельфины, тритоны — выплывают из глубины, более связаны с толщей, с телом воды. Русский же поэт видит на море коня — того, кто еле касается низа, а летит как птица — воздушен — то есть Парус! Недаром он — сын вихря, ветра: *«Ты буйным вихрем вскормлен был // В широком Божьем поле»*. Море освоено — через поле: ширь, степь — как равнина русская².

¹ Ф.И. Т ю т ч е в. Лирика. — Наука, М.: 1965. Т. 1. — С. 344.

² Горьковский Буревестник потому так привился, что реализует тот же образный архетип, что у Тютчева и Лермонтова («Парус»). Море — «седая равнина» (убеленное по-русски). На нем — Ветер. Буревестник — «между тучами и морем», как и Лебедь и челн — «между двойною бездной». Он сам — световая птица черного солнца — «черной молнии подобный».

А мышление о море степью и у Горького есть: «Буря на море и гроза в степи — я не знаю более грандиозных явлений природы»..

И движение на нем — далевое, горизонтальное (эллиптические ж — из глубины приходят и вглубь уходят: вертикален их вектор). Тело в коне — водяное («с бледно-зеленой гривой»), но душа — ветровая. Воздух и морская вода здесь — варианты основного противоположения: свет (небо) — земля, как родителей всего.

Нрав Коня морского — «то-то»: не однородно-стабильный:

То смирный стоишь под стрелами врагов,
То мчишься по бранному полю...

(Таков и Илья Муромец: то сиднем сидит 33 года, то богатырем гуляет). Нет устойчивого положения, самостояния, а разнесен на крайности — на пороговые состояния. И его «я» — нет в точке, в данный момент: оно — «пророчески-прощальное»: то ли память о прежнем «то», то ли ожидание будущего «то». Это «я» по природе своей — отсылное: не самодовлеющий сгусток, а распыленность.

И эта истина состава его существа сказывается в том, что его смерть есть распыление, рассеяние: «в брызги разлетится». Бог его вихрем создавал — и теперь вновь из него вихрь выходит («брызги» — водяная пыль). Природа себе же на игру создает прекрасные существа — и губит их, себя же украшая. Потому такая смерть — совсем не смерть и не ужасна, а есть творческий акт, рождение красоты, явление пышного цвета:

Люблю я пышное природы увяданье...

И русский поэт когда любит Коня? Когда он стремглав мчится навстречу гибели. Для того так живо описана плоть и одеяние Коня морского — чтобы явить, разодеть его в великолепное убранство для «священной жертвы»: так и Поэт — у Пушкина, призванный к священной жертве, радостно стремится навстречу бездне, где высшая вспышка, и чудный рассвет.

Само создание русским мифотворцем именно Коня морского — многоглаголюще. Медный всадник и водяная стихия мирового потопа — опять сопряжение коня с водой. Всадник же — вихрь. Петр — «божья гроза», «движенья быстры»...

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

=

Копыта кинешь в звонкий брег
И — в брызги разлетишься!

И сюжет «Медного всадника» — это восстание стихии Воды, праматери всего, — на затвердевшего = возмнившего быть самостью — Коня, казнение чада...

С в и н ь я и О в ц а

Совершая свое «Интеллектуальное путешествие в эстонский космос» в декабре 1976 года (по ходу чтения романа А. Таммсааре «Варгамяз»), я дивовался новой для меня в этом мире иерархии животных. Кабан и свинья тут — основные тотемные животные и материал для сравнений с человеком. «Труднее всего Юссю приходилось с ложками. Никак не удавалось вырезать их похожими на нижнюю челюсть свиньи, как хотелось хозяину. А ложка непременно должна быть вроде свиной челюсти, это Варгамяз Андрес знает твердо»¹.

Тогда в процессе еды я — как кабан: обретаю его силу и упорство, квадратная челюстная хватка на меня переходит в ходе литургии еды с этой «лжицы» — челюсти свиней.

«Свиньи уже на дороге, на выгоне им нечем поживиться. Брюха у них пусты, свисают, как кузнечные мехи. Завидев хозяйку, они подымают жалобный визг, будто они вовсе не свиньи, а заколдованные дети. И хозяйка разговаривает с ними, как с детьми, ведь у ней еще нет своих» (с. 62).

Как розна шкала ценностей! Свинья — это грязно-«трефное» животное в космосе семитски-исламском, презрительное — в средневропейском (уравнение: «ты — свинья» звучит оскорбительно в германстве и российстве), для прибалта-северянина положительное существ-

¹Т а м м с а а р е А. Варгамяз. — Таллинн, Ээсти раамат, 1975. — С. 78.

во, с кем безобидно можно сравнивать и человека и деток любимых...

И в пословицах эстонских: «Свинья сказала: "Коли у меня есть клочок голой земли с мою шкуру, то я прокормлю себя и своих поросят"». Свинья — образец матери и мера поведения — дама, «приятная во всех отношениях», в Космосе народа земледельца. В пословице этой приведены друг ко другу свинья и земля = домашнее скотоводство и земледелие: свинья глядится в землю, земля — в шкуру свиньи, как в зеркало.

Антиподна Свинье — Овца. Овца для народа земледела и помора — таинственное, как бы чужекосмное тут животное, в отличие от свиньи, которая своя и понятна. «Ужаснее всего было (на восприятие детей Варгамяз. — Г.Г.), когда закалывали именно овец, — все происходило так таинственно и тихо. К тому же овца как бы святая тварь. Никто никогда не вгонял в нее беса (имеется в виду евангельская притча о том, как бесов вогнали в стадо свиней и они бросились с крутизны в озеро. — Лк. 8. 32–37, — притча, которую Достоевский взял в качестве эпиграфа к роману «Бесы». — Г.Г.), про нее даже пели, глядя в молитвенник (опять же в библейской символике Агнец-ягненок — сравнивается с «сыном Божиим». — Г.Г.). Старый хозяин Эммасоо, большой мастер оскоплять животных (он не оскоплял только жеребцов), никогда не прикасался ножом к барану, не обнажив головы, голой как яйцо.

Другое дело — свиньи. Они визжат, и когда их оскопляют, и когда их режут или вдевают им в нос кольцо, и от этого визга детям как бы полегче на душе» (с. 274).

И в кухне эстонской меня поразило смешение того, что не смешиваемо в России иль в Средней Азии: яблочное желе (компот), а в нем остров (как бы Сааре-маа) сливок. То есть, корова — с садом (= свинья под дубом, «свинья в апельсинах»): «земле-вода» — с «огне-водой», солнечной: как если бы смешать молоко — с вином!

Или — молоко с мясом: кровяная колбаса («вярякяэ» — кажется), где в кишке кровь перемешана с мукой, а жарится в молоке: «Во! Блюдо!» — объясняли мне вчера.

Но мясо с молоком — табуированная на юге смесь. Даже в Библии запрет: «Не вари козленка в молоке

его матери...» А тут они сближены, мясо и молоко (как и полы тут: мужское и женское, в языке и быте...).

Мясо = огне-земля. Молоко — свето-вода. Мясо — смерть, молоко = жизнь: освобождение существа от его мяса означает ему смерть; опорожнение вымени (а также яиц и яичников) от молока (семени) означает опустошение для *vita nova* (чтоб начать жизнь сначала), есть «воскресение». Так что, поедая мясо, мы едим смерть — и одинарно-конечное существование, идею уникальности в себя вьемлем и ее тоску...; пия же молоко — внемлем «жизнь вечную», вечно новую... Так что такая еда = литургия (а еда есть причащение нашего организма, тела к местному Космосу, к Целому): мясо с молоком — равномошно Евхаристии южной, где хлеб с вином = «тело и кровь Господня».

И про кровь интересно: русские, когда режут скотину, кровь выпускают, выливают на землю. Кочевник — сосет прямо теплую, из шеи, «из горла», когда она хлещет. Земледелец-эстонец размешивает ее с мукой, кашей, заталкивает в чулок кишок — на сбережение (как бабы и бабки — деньги), т.е. во Время кровь переводят, впрок, по-земледельчески, зарывают: ибо перемешивание крови с мукой есть как бы посадка крови во прах осолнечной земли (муки-зерна), или наоборот: орошение-поливка, мелиорация («улучшение», «подобрение») «земли», а именно: муки — «водой». Да и какой земли и какой водою! Мука ведь есть лишь по форме частиц — «земля-прах», песок. На самом-то деле она — из зерна, а зерно = солнце на палочке растения-стебля (как «подсолнечник»), притянутое и связанное с землей. Зерно — микросолнце, оземненное небо. Так что мука — это солнечный снег: еще и белизна света тут в качества входит, плюс к огненности и земельности. Так что, когда добавляют в эту уже смесь первостихий, что содержится в муке, еще и воду и закваску («водо-землю», что возбуждает брожение, пропитывает воз-духом поры и поднимает тесто), а потом — и в огонь печи, — то действительно в итоге возникает универсальное космическое существо — «божество», сотканное из всех стихий и качеств. И Х л е б — величайшее естественно-искусственное божество, рожденное и сотворенное...

Ну а что за «вода» — кровь? Это — вино из виноградника тела, всех его клеток = ягод, гроздей = органов выдавленная, пожертвованная. Тело — сад, за-

пеленутый в мешок-пещеру кожи. Когда режут — сад раскрывают и сокровища его, и что было тайным — делают явным...

Южанину, арабо-исламцу, семиту, нельзя пить вино, но можно — кровь. Русский — срединный (как и западноевропейец и германец) — не может кровь пить, не пьет и вино, но водку — белую, или брагу-пиво, хлебные, злачные... Северянин уже — *ест* кровь. Там всё твердеет: огонь-свет — из сала-жира у эскимосов... Вода там и жидкостная форма всего — отвратна им, ибо есть — смерть — разбухание и отсыревание во холоде.

Вон в Сибири: мороз в 40–50 градусов переносим, ибо сух воздух, а тут при 0,–1 градусе промозгло и до костей пробирает: вода — как проводник-лазутчик мороза, волнами-лучами, своими иглами прокалывает насквозь непрерывно-континуальностью своею, — и делает то, чего воздух сухой сделать: так вонзить в тебя мороз! — не может, ибо в нем (в воздухе) — пустотами разделены атомы мороза, не вытянуты в колонну, как в волне промозглой воды-жижи.

...Араб-кочевник, тюрк, монгол в поясе субтропиков — уже пьет кровь животных. Кровь — вода, жидкость, столь ценная здесь, в космосе суши. И как пьют и умываются мочой верблюда, так и кровь пиема... Сама форма жидкости здесь алкаема, божественна. И хотя человек-кочевник есть *кентавр* на коне (иль верблюде), сожительство с животными — тем важнее ему от них и самоотличаться. И потому в арабо-персидской поэзии, наряду со сравнениями человека с конем, газелью... — уподобляют его цветку, розе, кипарису — т.е. растению (что здесь редкостно и ценно), или звездам небесным, или камням подземным, драгоценным, т.е. тому, что подальше... Вот и у Айтматова — Тополи, заносные, диковинные, не менее важны в символике, чем Конь и Верблюд...

В е р б л ю д и Р ы б а

29.I.77 г. Повесть наша¹ — о любви центра Евразии к Великому Тихому океану, антиподу своему, о самоотвержении крепи гор и степей ради глади водной,

¹ «Пегий пес, бегущий краем моря...» Чингиза Айтматова.

любя — «иную жизнь и берег дальний»... И как средоточия космосов этих — божественно-совершенные в своем роде существа: Верблюд (Конь) и Рыба. Вникнем в них — как в символы, мифы и модели мира: что в них, какое возможное нам сказание о сути бытия содержится? Верблюд (Конь) — весь в конечностях. И выполз жизни из океана на сушу был сопряжен с появлением лап-ветвей у земноводных. Рыба же — существо бес-конечное: и в прямом, и в переносно-духовном смыслах: излучает из себя идею непреходящего Первобытия-небытия, мира как Целого, бесполого, — и сама она андрогинна, обтекаема, в форме шара-оала-яйца. И потому мир — на рыбах представляется покоящимся, т.е. конечное — на бесконечном, как фундаменте и исходе своем. Когда же Единое Целое раскололось на мужское и женское, тогда конечности все — на стороне мужского (вплоть до надувного-наводного отростка — червячка гениталий), а бесконечность первично-нейтральная — на стороне женского: воды, рыбы. И потому все первопонятия для постижения Единого Целого — женского рода (большею частью): материя, субстанция, идея, истина, красота, причина, судьба, действительность и т.п.

Кит Моби Дик обозначается местоимениями всех родов: он и it, и she, и he (оно, она, он), что выдает его как универсум, Космос (недаром «на трех китах» поставлена Земля). Две первоидеи совместно выражаются Рыбой: Единое Целое (шар, овал она по форме), бесполость, андрогинность — и женское: она есть округлость женски-волновая, космическое бедро. И у Айтматова — вдруг ярко-режущий выплеск из мистерии и ее стилистики — к дневному свету и людским размерам: «как самая обыкновенная женщина с хорошими бедрами»¹ — о Рыбе-женщине так.

Верблюд же есть целое архитектурное сооружение, машина не простой формы (как рыба), но с ухищрениями-инструментами во все стороны: горб, ноги, змеино ныряющая голова — целая он мастерская и фабрика суши, выпестованная эволюцией жизни в предельной дали от первичной воды Океана.

¹Ч. А й т м а т о в. Собрание сочинений: В 3-х тт. М.: Молодая гвардия, 1982. — Т. 2, С. 135.

Он весь — членистоног, не земноводное, а земновоздушное он существо: птице-змея (голова орла и змеи на нем — мудрости и гордости, царственности облик: презирает он все и вся и людей — и плевал на них... надменный).

И Рыба, и Верблюд мудры и молчаливы. Но Рыба — мудрость изначальная, безразличная, а Верблюд — мудрость совершенного бытия, все постигшая, старческая и презирающая мир, как Екклесиаст-Соломон...

И тоже обтекаемой формы фюзеляж верблюда, как и рыбы. Но поставлен на рычаги-шатуны-кривошпы суставов: для отталкивания-движения по суше-земле, как веера плавников — для отмахивания от обтекаемой нежности волн. Ноги-палки — орудия труда, как руки потом.

Так что, прежде чем обезьяна взяла палку, чтоб превращаться в человека, и тем добавила третью кость к двукостью составному руки, эту идею, вектор совершенствования в эту сторону, сама природа-эволюция подсказала, когда у вылезшей на берег-сушь рыбы плавники стали в костяшки превращаться конечностей: лап, ног, рук многосоставных.

И тут впервые принцип машины и орудия труда предложен бытием: составность однородных деталей (костей через втулки суставов) создает новый орган; организм — как механизм строится (хотя эта же идея уже в позвоночнике рыбы затеяна и в членистоногих наземных: одно к одному... И все это — напрямую: идея прямолинейности и необратимости, как Время, — тем предложена).

Верблюд = гора (пик) на ножках, на подставке, как рыба = волна: оба — «шишки на ровном месте». Гора есть каменная волна, окаменевшая буря землетрясения — в складчатость волновую геосинклиналей отвергается.

И губы рыбы, и губы верблюда — мягки, шамкающие, старчески. Верблюд = аксакал, саксаул сухоустойчивый и водонепотребный. И рыба = баба — бабушка, губами сказку бытия медленно перебирающая нудную.

Верблюд = термос: устройство многослойное для хранения капли влаги жизни в убийственной суши снизу и гари сверху, герметически непроницаемый панцирь, — как рыба есть Наутилус, подводная лодка, герметически хранящая «каплю» воз-духа в воздушном пузыре — от всезаливающих вод, и твердь суши и кость земли — от их же всерассасывающей способности.

Против жари неба верблюд ощерен горбом-крышей дома своего самоходного, и там, в котле тулова, воду несет против огня неба-верха и ветра дали-шири-горизонтали-плоскости. От воли-тяги-пропасти низа, от земли-стихии, он на сваях ног восставлен, как на перпендикулярах, и прокладкой воз-духа обережен: сам себе небо над землей.

Сух, сухопар, сухощав — как совершенный мужчина должен быть: выносливый, волевой, нетребовательный воин-монах-самец (сам!). Рыба же, напротив, вся эластична, скользка, мягка, нежна — как жена: пластична, податлива, упруго-гибка, восприимчива, чутка, танцующая... Этот же не гибок и не упруг, но жестокосмыслен, металлически трубы ног его.

Рыба = слух, Верблюд = глаз (остро-орлиный, узкий).
Верблюд членистоног.

Верблюд = труд («что я тебе — верблюд — так работать?»), а «рыба в воде» = образ легкости бытия, непринужденности, безуспешного существования, игривого. Недаром и для умученного -ургией германца Шуберта форель — образ лучистой игры, любви, свободы и счастья безмятежного — даже на волоске лезы от гибели... Так что тяга киргиза-верблюда превратиться воплотиться в нивха-рыбу — это мечта о беструдном существовании, о золотом веке бытия.

Что же это у меня получается? Философические вариации на айтматовские темы?

А почему бы и нет? Почему балет «Асель», оперу «Джамиля», фильм «Белый пароход» сочинять можно по канве сюжета повести, выражая средствами других искусств словесно явленное писателем бытие, а философствование бесправно своими средствами опевать-овивать сей стержень сюжета? Ведь таким способом и вскрыть можем, что писатель, какой «один» пишет, а какие «два» и сколько там еще — «в уме» да в подсознании — таиться может: какие неподозреваемые и для самого автора смыслы могут излучаться из его образов.

Так что философические фиоритуры и натурфилософские рулады свой смысл имеют и эстетическую ценность.

В мифе этиологическом о происхождении нивхов (народа Рыбы-женщины) недаром Рыба стала женою самого недотепистого внешне из трех братьев — того, кто хромоног, как Гефест (мастеровой-ремесленник),

колченог, как верблюд-трудяга. Так что в соитии их совершается совокупление Верблюда и Рыбы, в результате чего и возникает народ-гибрид: гиялак-нивх, в котором киргизский писатель и себе родное, и «свое другое», дополнительность себе чуёт.

Свое в нем — это медитация-воспоминания-сновидения при покачиванье в седле каяка, в кочевье по волнам. И к ладье-каяку с теми же словами старик Орган обращается, с какими Танабай — к коню Гульсары: «Я люблю тебя и верю тебе, брат мой каяк, — говорил он лодке. — Ты знаешь язык моря, ты знаешь повадки волн, в том твоя сила. Ты достойный каяк, лучший среди всех, соструганных мною. Ты большой каяк — два лахтака и еще нерпа вмещаются в тебя. Ты приносишь удачу нам. Поэтому я уважаю тебя» (с. 124).

А не свое — невспыльчивость, завидная рыба студенистость крови, терпение, что в старике и в отце мальчика. Хотя в Мылгуне, в его истерике к шаману ветров, мы узнаем приливное биение и Дюйшена, и Танабая: свой брат, киргиз он в нивхах.

Ну а теперь Р ы б а и К о н ь — эту пару продумаем: что тут нового проявится из сопоставления обоих существ, рассматриваемых как космические, как модели мира?

Конь — не верблюд, не ишак-трудяга лишь (хотя и эта есть в нем ипостась, когда он — лошадь, коняга и кляча — все женского, запомним, рода). Но он — благородный жеребец, иноходец, птица во животных земли, конь-огонь. Пегас поэзии вдохновенный, ветер, скорость, властелин горизонтали, просторов засушных, — как большая рыба-кит, Моби Дик — властелин Океана, Первоматерии. Кит — чрево (матка): в себе носит Иону, образуя кентавра верхом вовнутрь. Конь же — вывороченная наружу полость — изнанка кита с Ионой, воссевшим с поверхности. Конь — кит перелицованный. Конь весь — воплощенная наружу, внешность, царство поверхности и плоскости, где — роскошь дали, движения, скорости. Рыба-кит — воплощенное нутро, недро, полость, объем, глубина (как и бездна моря-Океана, где они плавают). Рыба есть глубина во глубине, как конь есть поверхность (спина, где верхом сидят) по поверхности (земли).

Потому Конь — тщеславен, красуется, воин, кесарев плоский уровень истории, славы, героизма эффек-

тно-плоскостного. Конь — эстетика кесарева универсума: кесари — на конях, а терпеливцы — во рыбах (Иона) и молчаливцы. «Полцарства — за коня!» — восклицает Ричард III у Шекспира, и недаром они в уравнение вступают: конь и царство. Конь — животное раджаса (так элемент-субстанция-«гуна» страсти именуется в индуизме), кшатрия и раджи. Недаром коня в курган с князем хоронили (ср. «Песнь о вещем Олеге»), и ашвамедха (жертвоприношение ритуальное коня) в Индии — символ приношения мира сего в жертву атман-Брахману.

И не случайно именно американская цивилизация, вся нестерпимо-ургийная, трудово-усильная, набросилась на рыбу в воде, ее преследовать и казнить: «Моби Дик», «Старик и море»... Тут не просто сюжетец, а мифологическое отмщение, возмездие. Капитан Ахав — это мятежный Иона, восставший из чрева кита во Эросе (Любви-Вражде) к своему поглотителю, в смертную охоту за ним пустившийся. Рыба ведь — антиургия (рыба в воде = безмятежность, беззаботность). А американец — воплощенная забота, тревога, бешеная гонка-спешка трудово-усильная. Оттого-то рыба-кит его дразнит, искушает — как Бог, сатана или женщина (недаром всеми родами Белый Кит у Мелвилла означен — см. выше) — своим безуильно-царственным существованием. Потому Ахав на фоне Белого кита становится как одержимый, проявляется его сущность бесноватого — а этот себе плывет, как ровное в себе бытие-небытие, равнодушное к тревогам бешено трудящихся людей.

И как антиподны друг другу центр Евразии (где Киргизия, архиматериковая земля) и Северная Америка, меж двух океанов себя ощущающая, и никто, туда попавший, не миновал лабды Харона через Океан-Лету Атлантики, — так и антиодно отношение к большой Рыбе в повести киргиза Айтматова и американцев Мелвилла и Хемингуэя. У тех Эрос — убить эту женщину (и для Старика Хемингуэева рыба и море — «она»: «Мысленно он всегда звал море *la mar*, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде»¹; любить = погубить, изнаси-

¹Хемингуэй Эрнест. Рассказы. Прощай, оружие! Пятая колонна. Старик и море. — М.: ГИХЛ, 1972. — С. 609.

ловать, восторжествовать, покорить, навязать свою волю, — и нет в этом воительстве чувства неги, а лишь Эрос воли к власти. В повести же Айтматова — именно отказ от себя, от своей твердости, отдача, уступка, расслабление, покорство, истаивание в неге страсти и готовность к Любви-Смерти самому, быть ее жертвой, быть Рыбой (Океаном) пожранным. И в этом тоже чувствуется кочевник, привыкший даровое получать, а не усиленно производить (как земледелец или мастеровой, горожанин) свою пищу.

Корабль «Пекод» или лодка Старика — это автомобиль для гонки и убийства Рыбы. Недаром так подробно об оснастке «Пекода» и о рыболовной снасти Старика рассказано в американских повествованиях, историях — и о ловкости рук-трудяг... В нашей же повести умение как активничанье (мореплавания, охоты) отходит на второй план по сравнению с умением слышать волю другого и, значит, терпеть и отдаться... Территория повести на одну шестую занята мифом о Рыбе-женщине, как ей отдавались людские мужи, и наполовину — рассказом о терпении-недеянии, дао-самоотречении: как совершался уход одного за другим в бездну...

Ну, а рыба по-русски что нам скажет? Пошуруй в памяти, нет ли мифологемы российской про рыбу и человека?

А как же! А «Сказка о рыбаке и рыбке»! А «Садко» — былина! А русалки!.. Но в общем — не тянет во сравнении с мифами о рыбах мореприбрежных народов. Русский Космос — континент-материк: матери-сырой земли протяжение по преимуществу. И тут скорее реки = рыбы русских равнин, во океане земли: они и глотают (Волга — княжну) жратву — утопленников, как Кит — Иону.

Рыбка же в сказке Пушкина не по линии Воли к Власти (Америка, германство) и не по линии чувственной неги Эроса-Любви супружеской, — но тут отношение сострадания и услуги ближнему, братства: старик отпустил рыбку, сжалился над малой; рыбка сжалась над стариком гонимым-мучимым. И тоже тут женское соперничество вокруг старичка: ревность старухи к рыбке, хочет, сухопутная и сухопарая! — занять место владычицы морской, вытеснить надувается — и прогорает: после всех героических напряжений — разбитое корыто. «Ушли! — Врешь! Все там же!» — как говаривал Мусоргский. Проглядывается тут и воля рус-

ской матери-сырой земли, ведьмы, старухи — к власти и над водной стихией, но играет не на умении и силе своей, а на божественном долготерпении и жалости того, кто трудится...

В германо-скандинавских народах — обратный акцент. Унди́на, водяная женщина, влюбляется в человека, принца, и ради него идет на страдание и жертву. В сказке Андерсена «Русалочка» дева морская из любви к принцу претерпевает мучительную операцию раздвоения единого: хвоста — в пару ног: «Твой рыбий хвост, — объясняет русалочке бабушка-ведунья, — который у нас считается красивым, люди находят безобразным. Ведь они мало смыслят в красоте; по их мнению, нельзя быть красивым без двух неуклюжих подпорок — «ног», как они их называют»¹.

Вспоминаются еще: Лорелея, что ловит и губит, сирены = рыбы-птицы-девы, да мало ли еще кто!..

30.1.77 г. А что есть П е с?

Это «а серый волк ей верно служит» — т.е. прирученная хищность природы, обращенная на службу-дружбу и любовь человеку. Это его торжество над хищностью: превратить ее из вражды — в предельную преданность, так что «верный, как пес, как собака» уж притчей во языцех стало: «собака — друг человека». Пес — это привязанность, абсолютное доверие, отсутствие своей воли. А ведь превратная воля — начало сатанинства, и оно тоже образом пса знаменуется...

Пес есть бес и пасть-смерть на службе-дружбе к человеку, жизни. Главное в нем: пасть-клыки (= смерть, казнь и ад) на ногах-скоростях. Заглатыванье — вертикально вниз, в пасть-про-пасть, падение; а ноги = кони по пространству. Пес (волк) — спринтер, короткодыханный скоростник, в отличие от коня — марафонца горизонтали.

Конь открыто-пространствен. Волк-пес — лесен. «Собачий нюх» опять же: обоняние = способность невидали, леса произведение: там, где ни зрение, ни слух (они требуют наличного присутствия, быстро исчезают, не оставляют следов в пространстве) не работают, там само пространство хранит след присутствия того, что

¹ А н д е р с е н Г.-Х. Сказки и истории. — М.: Московский рабочий, 1956. — С. 62.

исчезло телом и бытием. Т.е. обоняние = культура пространственно-временной памяти об исчезнувшем, о канувшем: уже небытие — как еще бытие¹.

Чуткость — и ноздревое, и сердечное дело. Это значит: там, где наружный сухой взгляд зрения никаких примет, ни слух ударно-механический ничего не различают, никакого ничего присутствия, — там сердце чувствует, ретивое ноет, нюх «различает». Потому пес — это и нюх и друг: т.е. и ноздри, и сердце верное, сострадательное. (Но и «шестое чувство», каким различают сокрытого, замаскировавшегося врага, — тоже мыслится как «нюх»: им безошибочно отслаивают «наших» от «ваших», какие бы слова должны, похожие ни произносил чуженатурный составом своим и складом внутренним, что потом-аурой проступает и лишь на нюх улавливается...)

Пес — гений обоняния. А что это значит, о б о н я - н и е ? Это стихия воздуха на грани с землей, уровень низа, испарений кожи земли, ее пота: кому-то ведь надо этот язык ведать из существ — и головонагнутые вниз хищники кошачьи и суть ведуны этого уровня бытия.

Вот пространство, любое место возьмем: оно — вакуум для волн зрения и слуха, но не для нюха; для него оно — занятость: инфра-и-ультра-излучения абсолютно черного тела заполняют этот континуум, там полно следов, как на земле: следо-пыты и искатели — вот кто псы = ученые-исследователи, неутомимые, бескорыстные. Поиск, разведка — в доброохотку идет, на свой страх и риск: охота — дело охотное, дело хоти и воли. Сосуд воли — вот кто пес. Воли и злой, и благой. Но или — или, тотально, а не смешанно, как это во людях переслоено...

Травы, леса, вещи — все для пса есть знак и язык, полный смысла, словарь языка нюха... При телесности он и материальности, пес и нюх, приставлен, — но чувствует душевность плоти и прямую духовность материи и духи вещей, как ум — их идеи (= виды).

¹ 2.IV.77 г. Перепечатывая через два месяца после написания тогда, припомнил в этом месте мысли еще и стихотворение Тютчева «Cache-cache»: войдя в комнату, только что оставленную возлюбленной, «Волшебную близость, как бы благодать, // Разлитую в воздухе, чувствую я» — и в запахах и ароматах возлюбленная играет с ним в прятки...

И пес есть дом: сторож очага, блюдет его стойко и верно, место заповедное, избранное в бытии, место = «я». И в повести нашей Пегий пес — сопка-примета места дома, уюта жизни.

Итак, Рыба = океан, Верблюд = пустыня, Конь = степь, Пес = лес. Значит, вошь он зарослей=волос земли накожных, трудных для бега, запутанных — но защитных оседлому: тому, кто не на горизонталь, а на вертикаль (как дерево) ставку кладет: любит место и родину. Пес — не кочевник, но оседл, «земледелец».

Интенсивного он бытия тварь и спутник, друг и слуга. Привязчивость ведь невозможна в рыбе: к чему? — когда все течет-расплывается, никакого нет бытия особенного; нелепа она в верблюде, даже в коне: они к хозяину-всаднику, но не к месту могут быть привязаны. Что место им, долгоногим, от земли возвышенным! Презрительно оно. Пес же не только хозяина любит, но и место, низ земли, родину. Недаром так запечатлеть-отметить каждый кустик-кочку своим вниманием, приподняв заднюю ножку, норовит.

И пес — поводырь человеку — слепому в лесу, в дебрях невидали: есть человеку продолженное его знание и чувствилище, самоходный орган чувств, аппарат и локатор-прибор, сконструированный не техникой, а любовью и лаской и пущенный поперед батьки — в пекло... Так что подобно тому, как палка-винтовка в руках есть рычаг-орудие механического, количественно-силового проникания пространства (критерии тут: масса и скорость), — так и собака — орудие труда познавательного, качественно-чувствительного.

Немое знание (как и в рыбе), но молчание пса сочтется волей-охотой к высказыванию: в нем молчание — не мудрость, а заклятье-проклятье немоты — тому, в ком полнота чувств, и мыслей, и слов сообщить человеку-другу — переливается через край высунутого языка и слезится из глаз.

Пес — добыча бортнически-охотничьего периода и модуса существования человека в лесех, а не во весех и градах, и одним видом своим присутствие при нас и в нас этой стадии бытия и миропонимания отмечает-знаменует. И он — среднеполос и арктичен (собаки = кони там, в тундре: нарты везут): шерстян-волосян. Конь же — гол как сокол, умеренно-климатичен. Верблюд шерстян уже от гари-жари: сам на себе растит

оазис (травы = шерсть) самоходный — с глотком воды колодцем нутряным.

Итак, пес — тем ближайше любим, роден и драгоценен, что он есть Смерть на цепи (самый лютей враг наш — волк), прирученная; не нам, а врагу-чужаку смерть-пасть: фас! — и нету. «Последний же враг истребится — смерть». И она первой, во лице-морде-пасти собаки, перешла на нашу сторону из хищного царства природы и звериной борьбы за существование — на рельсы дружбы, братства, веры, любви. Пес и есть обращение природы в новый закон-завет, приведение ее во христианский, как говорят, вид. Пес — природный предтеча Христа: тварь бесконечно самопожертвованная. В пушкинской сказке о мертвой царевне он яблоко злое, вражье-сатанинское, причастник некогдашнего этого царства: ада-зла (знает его язык, ему предатель, а человеку перебежчик-доносчик-новообращенный и рьяный в вере новой прозелит) — разгадывает-раскусывает и жертвенно сам съедает и умирает...

Так вот в чем метафизический талант-нюх собаки: это есть ее веданье языка иного мира и козней зла, ада и смерти (откуда пес сам некогда исшел) — и их, коварных, она следы малейшие повсюду находит и доносит человеку: и в уголовном розыске злоумышленников язык следов ведом псам.

Пес есть двуязычие: старый язык зла (ненависти) хищно-природный, который теперь обитает в его нюхе-чутье среди матьмы, в невидали вещества (по-«свящ»-енный он в ее, матьмы-материи, мистерии) различение смыслов вещей разных тут, — и язык любви-веры-преданности-жертвы, обращенный в немоте на хозяина и выражаемый не в словах, а в жестах поведения, в актах бескорыстной службы и безоглядного самопожертвования. Т.е. «не по словам, а по делам» — абсолютный в нем пример этого принципа и осуществление: без лести словом (нем на это).

И ласковая до чего скотина: трется, телом, ушами, лижется — чувственная: «сука», «кобель», «собачья свадьба» — яростного Эроса все обозначения. Так что и в этом: в развитой чувственности назоной — собака есть приближенная к человеку тварь: личность-особность-самость и «я» — и тем сильнее и значительнее ее жертва, ибо самочувствования способность в ней уже проснулась-развилась.

Потому павловские собачки, костями «нас ради человек и нашего ради спасения» легшие на эксперимент и вивисекцию на алтарь науки, — тоже новохристианское дело самоотвержения в них чтить мы и помнить должны.

А разведение сейчас собак в городах вместо детей-людей о чем говорит? Об ответном, навстречу собаке, расширении человека: у пса научился он самоотвергаться и не столько любить род свой, и племя, и щенков своих, — но инородное существо: к нему, по контрасту, больше тяга; и Эрос: не по тождеству, не подобное к подобному влечется, — но по полярности и дополнительности действует Эрос.

И это есть еще и учеба научно-рационалистического человека нынешнего языку немоты, сердечности и чуткости, отзывчивости, наитию интуиции, иррациональности: опыт понимать инопланетян, жителей иных цивилизаций, существ иного склада...

Характерно, что именно в поздней литературе и искусстве, в XIX—XX вв., появляются: «Собака Баскервиллей», «Белый клык», «Белый пудель», «Муму», «Каштанка», «Дама с собачкой» и т.п. (Правда, и в «Одиссее» верный пес узнает хозяина.) Душевность, интимность, внутренний мир души когда достаточно разовьются в человеке, тогда способен он становится чужать «вздых угнетенной твари» — «меньших братьев наших» по бытию, и особенно ближайших и первоприсущих, первоподобных нам собак преподобных. Гуляет в «Униженных и оскорбленных» старик с Азоркой; англичанин с бульдогом = самоходный дом под охраной сторожевой. И это уже бездомность горожанина и душевную его неприютность знаменует, так что на прогулку «все мое (вы)ношу с собой» — душу живу свою на поводке вывожу-прогуливаю. Ибо что есть Дама, которая с собачкой? Это такая же одинокая душой псина-тварина, жаждущая отзыва и ласки, — и столь же стыдливая и немая: «догадайся сам!» В лесных дебрях города и джунглях бесчеловечности скитники они — бортники опять, охотники за лаской и сочувствием, — человек с собакой.

И отчего дети так любят-дружат-ищут-хотят завести щенка именно? Да потому что — ближайший ближний и брат меньшей, да еще и иммунитет к зверям, страшному звериному царству природы, жизни и их закону: волк, а свой! «Верно служит»! И в «Синей птице» Пес

безотказно и надежно предан детям, знаменуя чистую и бесхитростную душу. «Будьте как дети!» — сказано. Можно сказать тождественно: «Будьте как собаки»... Но тут осекся: двуликий Янус ведь пес — и лют, и любящ, смотря кому. Избирателен, а не всеобщ; точечен, а не пространствен. Одно любит единичное во мире исключительно, а не Единое и всё: не равен и не равнодушен ко всему, как мудрец, — но антимудрец он, и излучается из него совсем безрассудная любовь к единичной этой точке, существу, ни за что. И в этом еще — зачем пес человеку: самоутвердиться в единичности-самости своей: пусть весь мир меня презирает, человечество клянет, закон осуждает, даже дети отрекаются, но меня абсолютно и беззаветно любят мать и собака — и тем я уже поддержан в бытии и утвержден, могу миру всему противостоять...

Итак, еще: закон уникальности единичного в универсуме, его незаменимости — только любовью удостоверяется моногамной да преданностью пса. Значит, и обратно: при виде и мысли о псе нам должна эта идея навеваться: незаменимости и абсолютности всякого существа, души живы, человека, собаки, травинки...

Вот гносеология собаки, теория познания от пса — если б Кантово ее изложить. А тут мы дали к такой теории — Прологомены...

Пес и Рыба. Муж и Жена. Сушь и Влажь. Жизнь и Смерть. Быт и Страсть. Быт и Бытие. Любовь = дружба-служба, самоотдача ближнему, — и любовь, себе жертвы требующая (как Клеопатра и Тамара: «ценою жизни — ночь одну»). И познавший раз любовь Рыбы-женщины уж ужален ею, и невменяем всю жизнь, и алчет ее вновь и вновь, и томится и плачет на берегу — как тот прародитель увечный народа нивхов...

Пес — надёжа. Рыба — безнадега безглазого Небытия. Пес — выручка, звериночка-выручалочка; Рыба — обручение «гробовое», потустороннее. Пес весь домашен, уют Haus-a. Рыба — Raum бесконечного пространства...

Так что ой как многомысленно биение духа меж Псом и Рыбой, в которое сам впал и нас погрузил писатель в повести! Меж созвездиями Гончих псов и Рыбы — Лира наша на сегодня...

Пес — шерстист, мохнат, лесян, тепел. Рыба — чешуйчата, осклизла, холодна. Лишь формою ослепительна для души: небывало гладка и обтекаема. Пес же

формой коряв, неказист, угловат, растопырен, как пень-колода-коряга.

И такова Жизнь: вся в непонятных заусеницах, вопросах, сложностях. Смерть же — проста абсолютно, ясный ответ и разрешение однозначное всех мучений теплокровных жизни. Нема она и молчалива, как рыба, для которой нет вопросов и все — несомненно. И не дает ответа на все вопрошения наши гамлетовские о том, что потом? — но просто забирает к себе в полон чрез самоубийственный в нас Эрос страсти, им греясь, как рыба в воде, хладнокровная.

И держал однажды ее в руках, в объятиях, и вытащил на мель, и мог бы ею возобладать, убить ее, Смерть, охотник Орган, — да сжалился по-псиному, по-человечьи, над чужою бедой — и выпустил — не золотую рыбку, а уж самое Владычицу Морскую, которая служить уж не будет, а вдругорядь заберет без остатка (что и случилось под конец в повести)...

Но и обратная трактовка возможна: Пес (волк) = пасть, смерть. Рыба же = икра, семя, начало жизни из Бытия... Однако эта трактовка — учено-логическая, научно-биологическая, — а не душевно-образная, которая тут в силе, в повести нашей, тогда как та здесь будет натужна...

«Хорошая собака подышает в стороне от глаз» (с. 171) — напоминает старик Орган отцу мальчика, объясняя свое решение уйти в небытие немучительно для других. Даже в этом, в модусе смерти, собака самоотверженна, как и в образе жизни, и есть образец человекам, модель модуса вивенди.

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

Философия и наука в ходе тысячелетних усилий вырабатывают абстрактные представления и понятия, очищая их от первичных образов и смутных созерцаний. Однако так ли уж чист сам суверенный «чистый разум»? Не просачиваются ли из национальной культуры, из языка и природы в построения мыслителей такие интуиции, которые окрашивают их особенным образом, так что инвариант Единого (а именно его всегда домогается философ) неизбежно предстает каждый раз в вариантах, определяемых во многом принадлежностью мыслителя к той или иной национальной культуре?¹

Эти вопросы составляют содержание настоящей главы, посвященной исследованию национальных образов Пространства и Времени в основном через анализ их этимологий в разных языках, с привлечением метафор, образов и других символических форм, характерных для национальных культур. Конечно, термины и понятия наук чаще всего используются вне содержания, которое залегает под этими образами, однако смысловые линии и следы метафорического происхождения не могут не сказываться в содержании, которое мыслится под термином. Причем связь эта — не только ограничивающая универсализм понятия, но и творчески-эвристическая.

Мы автоматически повторяем: «Пространство и Время» — обязательно вместе, как уже неразложимое сочетание, наподобие фольклорных сращений: «красна девица», «бел-горюч камень» и т.д. А вот Рене Декарт, например, в таковом сочетании не чувствовал надобности.

Есть сплошняк протяжения=вытягивания (ex-tension), все плотным веществом залито из частиц с разным движением-кишением: ну да, в кишках бытие; мир — как сплошная внутренность без границ. Внутрь нас если

¹Примечания см. в конце главы.

опустимся, понадобится ли нам там Пространство и Время? Для физиологии и процессов ассимиляции-диссимиляции, обмена формами, движениями важно, чтоб шло кругообращение вихря, потоков вверх-вниз, вбок — но нужно ли там время? скорость? Тут даже естественная шкала и мера есть: биение сердца, вдох-выдох, т.е. не привнесенная извне (так, Кант увидал представления Пространства и Времени как наши предписания Космосу), а своя, внутренне присущая и сращенная. Время тут работает, а не стоит извне, соглядатаем (как в Ньютоновой системе мира как пустоты), так что его извне можно накладывать и примерять.

Пространства в нутре вообще нет как об-шир-ности: тут в-ширность, все притерто друг к другу, касается, испытывает сжатия, разряжения-облегчения продохнуть, толчки, и всё — от соседей (даже свет, по Декарту, есть давление соседа-частицы в глаз), и никакого тебе расстояния: оно — иллюзия (движение ведь, по Декарту, есть всего лишь смена соседства). И не имеет охоты Декарт измерять расстояние от Земли до Луны, Солнца, орбиты планет, как это делают Кеплер, Галилей... Нет у него охоты и к астрономическим числам, им удивляться и ими поражать профанов.

Представим: если закроешь глаза — что тебе мир? Облегание, которое то плотнее, то воздушнее — вот и все. При чем тут пространство? В его понятие ведь прежде всего входит рас-стояние, от-стояние и — кстати (и это NB) — от корня «стоять», distance — тоже. И это логично: само пространство обозначается в философии западной культуры латинским словом spatium — от spatiog (шагать). И французское espace и английское space оттуда же. А вот немецкий термин для «пространства» — Raum — прямо со значением «пусто», «чисто»; ср.: «Räumen — убирать (комнату), очищать (улицу от снега), уносить (мусор), отодвигать, отстранять, устранять; освобождать»¹.

Итак, германское чувство пространства есть «от-странство», у-странение, а не распро-странение — протяжение — растекание некоей полноты-жидкости (как у Декарта).

В словаре Пауля: «Raum (старонемецк. и средненемецк. rum) — общегерманское слово (англ. room), корень связан с лат. rus, Land — земля (деревня. — Г.Г.) обозначает первоначально: пустое, незаполненное (das Leere; Unausgefüllte) (откуда также значение производ-

ного глагола *räumen*); и лишь вторично: нечто протяженное (*etwas Ausgedehntes* — "вытянутое" — вот не мецкое слово для Декартова "протяжения", а не *Raum*. — Г.Г.), растянутое определенным окружением (*von bestimmter Begrenzung...*)».

Если у Декарта *extension* — само из себя вытягиванье, растягиванье, без думы о том, куда, откуда, а просто изнутри идущий импульс, то в германстве протяжение сразу, изначально, в самом понятии связано с границами, формой (стены всеопределяющего *Haus's* маячат в подсознании), которые извне соделывают себе нутрь, пустоту. Стены (пределы) суть субъекты Пространства-отстояния: оно — их функция; и действительно, стены от-стоят, рас-стоят, рас-ставлены. У Декарта есть где-то рассуждение на тему: что, если бы между стенами дома была подлинно пустота? Тогда они, по его суждению, сошлись бы, ибо на них извне — давление всего мира без противодействия: нарушен баланс. В германском же понятии действие обратное: стены как бы начинают отступать друг от друга (имеют эту способность и мощь) — и образуют для себя пустоту, чистоту, нутрь.

«... без оглядки на то, исполнено оно содержимым или нет (*mit Inhalt ausgefüllt*)»². — Г.Г.)

Итак, Декартово *extension* — протяжение — это самоучреждающая(ся) полнота Матери(и): по образу и подобию жидкости растекается и, растекаясь, именно творит, образует протяжение. Ибо возникает вопрос: куда растекается? Уж должно быть пустое место для них... Но это тогда другое основначало — и, кстати, оно-то и берется германством, которое в мироощущении исходит не из стихии теплой воды, которая через *chaleur* расширяется и потягивается — как мы руки и ноги протягиваем после сна (тоже важный внутренний образ чувственной неги, покоя и блаженства — ср. и у Декарта, и у Пруста). И это уподобление в духе Декарта: он все время озабочен, чтоб пребывать в *бодрствующем* сознании; тогда и мир — честен, предстает без обмана. Так что у него законно вместе сопряжены ясное дневное очевидное — в разуме — и дневное бодрствующее состояние вещества — в растяжении, движении. Ибо, до того как Бог его толкнул, растолкал увальня и подвиг, оно было поистине смертью, спало мертвым сном в состоянии абсолютно твердого тела.

Итак, по Декарту, важнее вытяжение, чем куда вытягиваться: само вытяжение и творит себе «место». В германстве же важнее и интимнее — Дом бытия: со стенами и пустотой внутри — для жизни, воли, души, духа. Так что — как пустота образуется, по-мещение, жизненное пространство? — вот о чем его попечение, а что она есть — это, несомненно, аксиома, так же как для француза: пустоты — нет, а все есть — полнота.

И extension полностью Декарта удовлетворяет, ибо тут одновременно понятия Матери(и), полноты, и того, как она действует, живет, движется. Так что никакого ему там еще дополнительного понятия пространства не надо. Если б нужно было, он должен был бы прибегнуть к слову *espace*, от латинского *spatium* (от *spatior* — шагать, ступать; ср. немецкое *spazieren* — гулять). Но ведь оно обязывало бы его к другому внутреннему созерцанию, представлению: шагать, ходить, твердотельно чрез пустоту, — что вполне родно для римски-итальянского мироощущения (Лукрециев космос: атомы и пустота): твердые тела — камни — индивиды в пустоте. *Spatium* есть пространство, творимое и меряемое шаганием, т.е. дискретное, рубленое, а не плавное, жидкостное, континуум, как Декартово *extension*. Так что *espace* и *spatium* — понятия совсем другой физики, чем Декартова. Им соответствует (ими генерируется) физика наружи (а у Декарта — физика нутра, скорее физиология бытия), где наружа крепка: стены, границы, пределы (и там, как координатные плоскости — балки и перекрытия, выстраиваются Пространство и Время), а полость, нутрь — пуста, и туда вступают с боков-границ твердые тела (куски, что ли, отваливаются от стен?) и странствуют там, кинематствуют — «кейфуют» в инерции, как сомнамбула под эгидой содержащих их самодержавных координат — мер наружных им: Пространства и Времени.

Новейшая физика наделила сами эти тела априорными, врожденными им, ими генерируемыми Пространством и Временем: «тело отсчета», как человек, наделяется душой, нравом, как компасом, и свободой воли — для относительного самодвижения в странствии по миру. Теперь каждое тело совершает «the pilgrim's progress» — «Путь Паломника»³.

А то, действительно, как было? Стоит наш ум где-то на границе мира (где идут оси отсчета абсолютных Пространства и Времени) и оттуда мгновенно все ви-

дит, что на опустошенных от самости движущихся телах происходит, отмеряет их. Слава Богу, заподозрил, что не может из своего бесконечного прекрасного далека видеть и разобраться, что там в теле действительно происходит: заметил обманы, своеволия обнаружил в теле (Лоренцево сокращение). Тут уж и надо стало Уму перестраивать свой Дом бытия.

А ведь как он сложился, построился? У Декарта «пространство» совпадало с материей-полнотой, которую потом Ньютон начал расчищать. Разогнал и обесмыслил во многом материю, лишил ее полноты прав в бытии: собрал ее в сгустки — города частиц: тела с определенными массами. Далее и их упразднил, заменив математическими точками в центре тяжести тел, так что и понятие массы лишилось совсем своего, самостоятельного смысла, а стало лишь коэффициентом (т.е. «со-дейтелем», а не деятелем-демиургом в мире), показателем, мерой F/a , так что и вообще без нее можно. Недаром были и есть основательные попытки строить физическую систему единиц из двух составных: L и T , без M . И это вполне законное доведение до конца математических принципов натуральной философии Ньютона. Этот шаг, философически, и сделал Кант.

Но еще о Ньютоне. Это был подлинный поход на материю как протяжение-полноту. Он ее рассек и вычленил как бы «сокрытые» в ней представления и обособил их: выделил массу, которая есть уже обессмысленная материя, чистая пассивность; а смысл, выданный из материи, представленной теперь как масса (а ее, материи, свой смысл был: протяжение — эта способность), извлек как квинтэссенцию (но уже не материальную) и представил ее как абстракцию нашего ума, и рас-ставил по краям опустошенной таким образом Вселенной, как координаты абсолютного «пространения» и абсолютного «временения».

Итак, Пространство и Время были выужены из моря Матери(и) и, родившись, убили и отменили собой мать: сначала — почти, у Ньютона, а потом философски почти совсем (Кант), а уж в энергетических теориях XIX в. и в кинематических (квантовая, относительности) XX в. — и физика стала без физики (ибо физика — от *Φύσις*, *природа*). И у Эйнштейна, в формуле $E = mc^2$ масса тоже заменяема на L и T , скорость, свет...

Но совесть в физике есть?!

И первородный грех убиения Матери(и) стал сказываться в физике в *парадоксах* теории поля, изгибах — искривлениях, чудесах и фокусах ползучих мер (растяжимых, т.е. вон где опять материя-протяжение выскочила: в окно забралась, коль гонят в дверь). Вот и лихорадит нынешнюю физику — как Ореста эринии за матере-убийство. Орестов грех в ней, комплексом Ореста она одержима.

А что же сделал Ньютон, аннигилировав Материю? Он создал свет — как Бог. Воистину правильно понял его дело поэт Поп:

Был этот мир глубокой тьмой окутан,
Да будет свет! И вот явился Ньютон⁴.

И свет стал константой непреложной: у Эйнштейна скорость света постоянна — к этому вело учреждение Ньютоновой вселенной, так что Эйнштейн — завершал.

У Декарта ж и свет есть давление тонкой материи, жидкостно устроен, как полнота.

В пустом пространстве Ньютона — Эйнштейна свет носится. В Библии Божий дух носился над водой в день первый творения, т.е. Декартов влаго-воздух: дух ведь — *uah*, женского рода. Так что Декартово состояние вселенной чуть раньше Ньютонова, хотя оба — в день первый. И выходит, что последовательность миропредставления в новой физике как бы воспроизводит последовательность мифа о стадиях миротворения.

Итак, вынутые Ньютоном из материи мира смыслы расположились по его пределам как стражи: Пространство и Время; мир же сам по себе стал бессмыслен: «пуст», «безвиден» = безыдеен. Следующий шаг был вполне последователен: Пространство и Время суть не объективные категории бытия⁵, но субъективные формы нашего, человека, ума: априорные формы нашей чувственности, т.е. ориентированности вовне, наружу (Пространство) и внутрь себя (Время). Т.е. если по Ньютону они еще оставались в бытии, онтологически, как Абсолютное Пространство и Абсолютное Время, но остались там уже практически безработными (ибо работаем-то мы с относительными пространством и временем), как и Бог, вместо которого в заведенном им однажды бытии управляются со всем его наместники в природе — три закона Ньютона, новая, земная Троица, — то следующий шаг, Канта, был: раз они в бытии

безработны, а работают только через нас, значит, они не бытию нужны; а нам, мы без них не можем, они суть субъективные формы сознания антропоса.

В этом Кантовом жестком самоограничении и бьется доселе наука.

Но что это я стал автоматически Время прихватывать, хотя вмедитировался только в Пространство, в то разное, что может под ним иметься в виду?

Время — *tempus* (лат.). В этимологии его связывают опять же с «тянуть» (лат. *teneo, tendo*, откуда и Декартовы термины *extension* — протяжение и *entendement* — мышление-понимание-внимание). В Оксфордском словаре английского языка (изд. 1955 г.): «*Time* — староангл. *tīma*, старонемецк. *timon* — вероятно, от корня *tī* — простирать, протягивать (*to stretch, extend*) абстр. суфф. — *mon-man*». А германское *tī* в немецком *ziehen* — тянуть, влечь, протягивать — не сопряжено ли с *Zeit*? Но у немцев другое понятие времени — как рубленого отрезка: время — срок; это вечность — тянется, длится. Потому в «Этимологическом словаре латинского языка» д-ра Алоиза Вальде⁶ так характеризуется *tempus*: «*Zeitraum* («пространство-время» как промежуток, т.е. пустота, зазор между стенами, которые суть что-то; т.е. это — между чем-то, не самостояние. — Г.Г.), *Zeitpunkt* («временная точка»: интересна здесь возможность схождения зазора-отрезка пустоты, *Zeitraum* — в «точку», *Zeitpunkt* = «укол», «пункция». — Г.Г.): не бесконечно простирающееся время» (*nicht «die endlos sich dehnende Zeit»*) и потому как временный отрезок (*Zeitabschnitt*)...

Т.е. рублено, трудово, предстает «время», тогда как «вечность», длительность — гонийна⁷, самородна, материнска, женска. Недаром у Гёте все это сопряжено в стихе: *Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan* — «вечно женское нас тянет»: *ziehen* — *Zeit*; *Ewig* же — из лат. *aevum* — вечно, греч. *αιών*. И по звучности они сродны: *ewig, Weib, ziehen* (e — i) — ширь-даль; фрикативные («трущиеся») «W» и «h» означают трение-течение, суть протискивание струи воздуха в течении, как жидкость, вода. Т.е. ощущение вечности сопряжено с женским, с водой... с царством Матерей (о котором во II части «Фауста» — как самом глубоком и мистическом измерении Бытия).

Время же в германстве и по звучанию «Zeit» — резко отграничено, как стеной, смычным-взрывным t с обеих сторон, ибо аффриката z-ts начинается с t, так что Zeit-tsait обрамлено t, совершенно секущим бытие твердотельным звуком: передним, зубным, верхним, приближенным к верху и переду, где мозг и глаза, ум. Это звук работающего духа: Zeit — брат Geist (тогда как Ewigkeit — сестра Материи, Flüssigkeitfliehen — бежать, течь). Zeit — слово-отрезок, temps — слово-струна, temps — дрожит, как струна-волна; Zeit (жен. рода) — пряма, как доска.

Отсюда, в свете врожденного германского ощущения Zeit, у Вальде соответствующая трактовка и латинского tempus: Zeitabschnitt (отрезок времени) — ср. также temperare по наиболее вероятному пониманию, его первоначальное значение — «einen Einschnitt» (= «врез, разрез, вырез, выемка» — т.е. опять опустошение, сотворение пустоты, Zeitraum. — Г.Г.) oder Abschnitt («отрез», от-брос наружу, в дверь Haus'a. — Г.Г.) machen, daher ein Maß, eine Grenze setzen = «разрез или отрез делать и потому меру (a Maß — мера — от messen — тоже «резать», ср.: «нож» — Messer. — Г.Г.), «границу ставить».

И *темперированный* клавир (для которого Бах написал свои 48 прелюдий и фуг) — это именно хорошо обрезанная длительность, по мере натянутость (струна ведь — жила, т.е. сосуд-русло реки-воды, струна-волна, женское, живое — гония. Темперация же есть дело труда — ургия: устанавливает в музыкальном инструменте — строй, т.е. структуру, строго установленные соотношения отрезков — длин струн, их толщин и натяжений, т.е. устанавливает средь них социум, полис, ансамбль, общество).

Отсюда и templum — храм, как вырезка из мира, его макет и образ.

Так вот: германский филолог доктор Алоиз Вальде далее в сомнительном наклонении сообщает о связи tempus с ten — тянуть: «Так как tempus не обозначает бесконечно тянущееся время, то едва ли (приводимо) к индогерм. tem -p- (ten-, tendo) dehnen (простирается — dehnen того же корня, наверное, что и ten. — Г.Г.), в лит. tempiu, tempti чрез влечение (Ziehen) напрягать, растягивать, timpsoiti — «распростертым лежать»; староболг. tetiva — «тетива».

«Время» обычно сопрягается с понятием «Вечность» — aeternitas. Оно — от лат. aevum — «Ewigkeit (вечность); Zeitlichkeit (временность), Lebensdauer (длительность жизни); Zeittalter (век, возраст)... = готск. aiws, староверхнем. ewa англосакс. *χ, χω...* («всегда») (immer), греч. αἰών» (S. 13).

Если tempus — Zeit соединяется с операцией резанья (schneiden), то aevum — Ewigkeit — с лат. iugis= «вечнодлющийся, постоянный, и далее iugum — связь, т.е. любимое французское lien, liaison, учреждающее непрерывную плавность, текучесть, континуум, волнообразность в бытии. Недаром и лат. iugis — применяется к воде: «beständig fliessend — постоянно текущий» (S. 14).

И если в tempus звуки действительно трудовые: водяно-носовое примордиальное «em» взято в жесткий оборот смычными *t* и *p*, то в aevum — вольное непринужденное растекание: *a* — звук чистого пространства, *e* — звук шири, *u* — глубины. Между ними согласные: *v* и *m* — звонкие, во-первых, т.е. не сухие, а влажные, водяные, женские; во-вторых, длящиеся, текущие, а не дискретно-взрывные-смычные (как мужские *t* и *p* в tempus). Далее *v* — билабиально, губное, влажное, а *m* — носовое, влаговоздушное, сонорное — длящийся звук, дрожание тетивы-струны.

Так вот: никаким боком не влезает и не нужен Декарту в его космогонии tempus этот рубитель-рубильник. Достаточно, что Бог первоактом насекает сплошное твердое тело Материи-протяжения на куски-части; дальнейшая же вся задача бытию — умягчение, умиротворение, сглаживание, нивелирование, а это — работа, присущая стихии воды: течению, движению, длительности, durée.

Хотя и тут у Декарта сходство с Августином: согласно последнему, с творением Бог внес и Время (до творения не было времени, была вечность, так что время — соприсуще тварям). И в конце мира, о котором Апокалипсис, сказано: «И будут новая земля, и новое небо (т.е. упомянуты первые твари Бога. — Г.Г.), и времени больше не будет».

Время есть очень отцовско-мужеское, ургийное, понятие (недаром сопряжено с Творением, а о Пространстве такого что-то не слышать в рассуждениях отцов церкви). И в Декартовой, более женской, картине мира, его (Времени) жесткость, dureté не нужна. Тут вме-

сто Времени — движение, течение, изменение, даже скорость разная. Но именно оттого, что все там разное, текуче, переходяще, отдающее себя обменно, в целом так все гармонировано — ничего тут и не вычленишь как *Zeitpunkt* или *Zeitraum*: нет им места и работы, ибо чтоб временную точку отсчета установить, нужно иметь чем хоть на миг, но останавливать движущееся тело (точку); это и делают дальше, по Галилею — Ньютону: скорость за отрезок (промежуток) пути, времени или мгновенную... А как же «остановить мгновение» (по Фаусту, что надо и желанно) в космосе Декарта, где весь он целостно движется, все частицы взаимно?..

Пожалуй, не только *le temps*, но и *la durée*, *éternité*, не нужно Декарту (редко у него это слово и аспект): ведь они взаимно сопряжены, одноуровневые, эти понятия: Время и Вечность, так что привлечение одного влечет за собой и другое. Ни Времени, ни его антипода — Вечности ему не нужно: не работает жила на это, нет органа — нет и дилеммы (а как она раздирающе мучит в германстве! Антиномия!). *Durée* у него рядом с *dureté* длительность=твердость, жесткость; длительность есть мера существования тела сомкнутым в себе, твердым, ограниченным. И как твердое тело (стихия земли) не родно психее Декарта, так с ним вместе — и *durée*. Это уж в XX в. французы (Бергсон и Марсель Пруст) в полемике с германским *Zeit* стали термин *temps* метафизировать и поднимать.

Итак, не нужно Декарту *tempus*, так как в своем значении (*ten* — тянуть) оно уже содержится в *протяжении*, а дискретное время германства ему чуждо: противокосмическое б ему это было понятие, ересь.

Поскольку и Кантово пространство для Декарта тождественно с полнотой материи, а она — с протяжением и время (*tempus*) в своем смысле «тяну́тия» тоже утопает, где-то плавает в протяжении, как потенция, то понятие *extension* (протяжение) для него вполне достаточно, и незачем ему этих худосочных дублеров (абстракций пространства, времени) оттуда вытягивать и учреждать на самостояние.

Значит, Ньютон растаскал (абстрагировал) Декартово протяжение: вытянул оттуда абстракции (= «выволочки», лат.) Пространство, Время и поставил их в качестве скобок Бытию, вынес в скобки.

Декартово Бытие — это бесконечный многочлен. Ньютон же учредил его биномом из двух членов: а —

Пространство (L), b — Время (T), — и из них, в разной степени сочетаний, стало возможно строить все.

Тянулось себе Декартово протяжение упруго, сильно, довольно — живая мать(я)-женщина, исполненная «живых сил»⁸. А Ньютон вытянул из него содержимое, его жизнь и силу, и образовал из этого две оси. И тогда протяжение перестало быть протяжением, обмякло, бессильно повисло, с ним стало возможным делать все, что угодно, как с массой: свернулось небо в овчинку; марево материи, освобожденной от желаний (воли, потенции, мощи), свилось в шагреневой кожи комок, а далее — в математическую точку себя допустило (окружившись пустотой и к ней причащаясь, по-свойски с нею став). И из-под *протяжения* вылезло, выпотрошилось *пространство* — как пустота, организованная куда-то вынесенными, как скобки, осями. И хотя механико-матика помещает эти оси в сердцевину, сюда, здесь (крест Декартовых координат), они, где-то там, оттуда, извне незримо управляют, наводят, содержат, приписывают содержание протекающим внутри себя процессам.

Медитацию над Пространством я начал тем, что закрыл глаза, отрешился от зрения — и ощутил кругом себя (и на себе) упругие волны: давления, толкания — и все (и больше ничего), так что солидаризировался с Декартом в миропредставлении: кругом (и во мне) все тянется, все есть *вытяжение* (extension = протяжение) и *втяжение* (entendement = мышление). Но вот я открыл глаза — и распахнулось Бытие, ослепительно-огромно. Без зрения я не знал бы величия, большого, превосходящего меня. Ведь все, что воспринимается мною, мельче меня, моего органа; вкус внемлет лишь то, что поместилось в рот, обоняние — что вошло в ноздри, осязание — что локально надало в точке тела; слух даже — ловит накат Бытия лункой своей и не ведает, большое там иль малое, океан иль трещотка произвели звук? — лишь мягко иль больно — вот мера в ухе. А зрение есть вынос вне нас. Все остальные чувства — внос в нас: в нос, в рот, в ухо, в кожу. А зрение — взлет: открыл глаза — как вылетел из себя в мир. И зрение — более своевольно, свободно, произвольно. Ухо всегда открыто внешним в меня вхождениям; воля тут вне меня: чему-то вздумается послать звук, волну — и она в меня входит, хочу я того или нет. Так же самое боднет меня мир и в обонянии, в ося-

зании: кожа открыта морозу, теплу, давлению, уколу, удару, а уж ты изволь ощущать, что прикажут.

Но в зрении человек волен смотреть иль не смотреть: я могу открыть иль закрыть глаза, отвернуться (от звука как ни отворачивай ухо — все равно он тебя обнимет и изгибом волны сбоку войдет). Конечно, предметы зрения даны извне — но можно на них смотреть иль не смотреть. Сам акт приподымания век с ресницами — это как взмах крыл. Недаром поэты ресницы с перьями сравнивают и крылатость взгляда, полет взора чувствуют. А полет — свойство птицы по пространству, которое она полетом описывает. Так и мы зрением — взглядом сотворяем пространство, очерчиваем: носимся в нем, как птица, как луч света. Поэтому и элины считали, что глаз лученосен, и Гёте («глаз не видел бы солнца, если бы не был солнцеподобен»). Именно в том, что зрению присуща свобода воли, и есть совершаемое в смотреии излучение. Ухо не излучает, и ноздри, и кожа, а лишь воспринимают иль отражают невольно. Глаз, открываясь, дает притекаемым образам согласие отражать — и этим своим актом согласия он их со-творяет, описывает, очерчивает их формы. Когда смотрю, неизвестно, что тут: на меня стекают образы — давления частицы — лучи иль глаз снимает оболочки с дальнестоящих предметов, обводя их лучами своими, как руками глядя, и чрез прикосновение, по проводникам лучей, от них, от вещей, в человека точки стекают?

Главное в воззрении — акт разжатия век: там, где была просто кожа, пленка, т.е. продолжение щеки, способность осязания, вдруг это само раздвигается — и образуется щель, пустота, Тартар, бездна. Это в принципе так. Так что естественно, что бездна тут же распахивается *перед* индивидом («опредмечивается», в-представляется ему) как (пустое) пространство, бездонное, во все стороны, — и в то же время тому, кто смотрит в человека: миру, Солнцу, другому человеку, раскрывается бездна в субъекте — внутренней жизни души, чьим «зеркалом» и проводником являются глаза. Недаром говорят: «бездонные глаза». Таким образом, раздвижение век есть воздвижение вселенной, акт сотворения мира свободной человеческой волею.

До начала зрения для человека все сомкнуто, глухо, немо, безвидно (как земля до «да будет свет!»), непроницаемо (тоже свойство первоматерии, в том числе

и твердого протяжения Декарта до первого рассечения Богом и раздвигенья) — и вдруг прорезалось что? Открытость Бытию навстречу, незакупоренность человека (и Бытия вообще), их обращенность, возникли перед лицом, личностью. Свет выпорхнул через прорезь как птица, с ликующим криком, — как прорезывается первозаявление жизни в новорожденном. И мир залился светом и стал называться «свет».

Итак, безднетворен взмах век. Раскрывается в этой связи и метафизический смысл гоголевского «Вия». «Поднимите мне веки!» — призывает железное чудовище. Своею силою сомкнутое плотное вещество этого сделать не может: сотворить свет и пустоту = пространство и движение. Это сомкнутое плотное существо Вия — как сплошняк недвижной Декартовой материи до распаиванья ее Богом. И когда прорезь (рассечение, разделение, различение, раскол) совершается, тогда и сотворение мира совершается (первый акт). Тогда все обретает вид (идею) и форму и лицо — завязь идей. Понятно, почему наш «хвилософ» Хома Брут, присутствуя при акте миротворения, получил молнию через глаза в сердце и упал замертво. Ибо столько потенциальной лученосной энергии было накоплено в материи за вечность безвидности и несмотрения, что, когда совершился раскол — прорезь, взрыв и дан был выход джинну из бутылки, то такой взрыв света, такое светоизвержение совершилось, что по катастрофичности своей равномошно имеющему, по мифам, быть светопреставлению⁹, которое тоже вряд ли будет постепенным затуханием последнего луча, но самозамыканием Вселенной: ее створки, как веки Вия, закроются навек, и образуется тьма крошечная. Жар-то будет, а света не будет. Это и есть то, что именуется «адам» и «геенной огненной»: жар распирает невыносимый, но огонь не превращается в свет, не выходит светом. Ибо для света именно нужен выход, пространство. Впритык ничего не увидишь, нужен зазор.

Лицом к лицу лица не увидать:
Большое видится на расстоянии.

Т.е. само расстояние полагается светом как условие и поле его бытия, творится, сотворяется с ним вместе и сопряжено: одно творит и предполагает другое.

Так что категория пространства как расстояния и пустоты есть светородная, есть жизненное простран-

во свету, без которого ему не жить и где он — демиург и мироустроитель: его скорость есть константа. А скорость как константа есть просто бытие, пребывание, стояние. Ведь не подлежит скорость света ускорению (насилию, зависимости). Скорость света как константа есть свобода и независимость: свет — самодержец пространства: его устрояет по своему образу и подобию и содержит скорость света («с» входит ныне во все уравнения всего совершающегося в бытии прямо иль чрез промежуточные звенья: микрочастицы и т.д.).

Как птице нужен простор и свобода, так и свету — пространство, пустота, чтоб их собою заполнять, быть там чистым бытием («эфир») — дрожать лучам, как струнам, вибрировать световым связкам. Можно лучи уподобить голосовым связкам (связные, вестники-«ангелы»¹⁰) пространства: тут его Логос — голос, все потенции его звуков (волн) и слов.

Но Декарту было противопоказано так «видеть» свет. Для французского сознания более характерным и привычным было трактовать свет по образу и подобию своего первочувства — осязания. Так Декарт и сделал в «Трактате о свете»: свет=давление, нажим непрерывного столба (=струи-луча) первого и второго элемента на точку глаза. Зрение — пассивность, не лучеиспускание, а лучепоглощение. Тут все сопряжено: раз не допускается пустота, значит, нет и свободы у зрения, выбора быть или не быть. А выбор и есть акт воли. Воля ж в свете есть излучение — как актуализация потенциала, накопленного за время закрытия.

Почему мы мигаем, моргаем? А это такое же тактовое биение, как у сердца пульс иль у дыхания вдох-выдох. Человек этим то творит, то уничтожает мир, разделяет или (соединяет) «я» и «не-я». Вот глаза закрыты — и человек чувствует только себя: точнее — нет «я» и нет «не-я», а всё — марево протяжения, сплошного.

Вот глаза открыты — и человек оставил себя и испытывает острейшее чувство мира вне себя, «не-я» в отличие от «я», мир — как Личность, лицо (ибо и смотрит человек лицом, и его, лицо же, проецирует в расстилающееся бытие) — и может к нему от-носиться, любить...

Теперь, в свете этого различения, постигается разница между гилозоизмом и представлением мира с Богом. Гилозоизм — это ощущение мира как живого существа, как живой плоти. И это соответствует вчувствованию в мир, в его марево, Океан, протяжение, — когда я с за-

крытыми глазами в нем полощусь, плескаюсь в его накатах-дыханиях, чувствую его грудь и пульс. Но не вижу лица. И он — живое существо, но не личность.

Когда же глаза широко раскрываются, приходит удивление (по-украински «смотреть» вообще — «дивиться»). А «див» — того же корня, что *deus*, *θεος* — Бог. Бог же не просто живое существо, но идея (вид-эйдос), «лик божий», лицо, Личность, т.е., как и «я», он тоже «Я».

И то, что удивление — начало познания (по Аристотелю), вполне верно, ибо это есть различение: вычленение из марева — определенностей (ведь «лицо» уже есть абстракция сложного Сфероса «головы», а именно — плоскость, перед).

Мир рассекается перед светом: расступается, разделяется, различается, обоготворяется — одухотворяется. И эту мысль мира уже можно вторым тактом-актом в себя вбирать — познавать.

Потом Логос ассоциируют со Светом (Свет знания), и в дышащем эллинским духом Евангелии от Иоанна цепь отождествлений: Бог= Слово (Логос)= Свет= Жизнь.

Но вернемся к Ньютонову выпотрашиванию Декартова протяжения. Когда я взвидел там «небо с овчинку», а вспомнил про «шагреновую кожу», которая свивается по мере исхождения энергии желаний, мне пришло на ум прочитанное у М.А. Маркова в статье «О понятии первоматерии»: как тела слагаются не из более мелких, нежели они, частиц, а суть свивание более крупных масс, даже миров, Вселенных, с излучением энергии: «В отличие от традиционной идеи о структуре материи, согласно которой объекты строились из частиц все меньших и меньших масс, возникла идея строить частицы данных масс из более фундаментальных частиц, обладающих большими массами.

Уменьшение массы результирующей системы возникает за счет сильного взаимодействия тяжелых частиц, составляющих систему. В результате этого сильного взаимодействия часть общей массы покидает систему в виде различного рода излучений.

Таким образом, в системе частиц из-за сильных связей между частицами возникает так называемый «дефект масс» системы. Именно эту массу надо затратить в виде соответствующей ей энергии, чтобы расщепить систему на ее «составные части» (каждая из которых многократно больше членов внутри системы как ее органов. — Г.Г.). Так возникла идея строить π -мезоны из

более тяжелых нуклонов и антинуклонов, нуклоны — из частиц еще больших по массе — кварков. Кваркам приписывается масса, равная массе многих нуклонов.

...Появление этой новой идеи можно расценивать как самое яркое и значительное событие за всю тысячелетнюю историю существования наших представлений о веществе»¹¹.

Ну да! Все норовили слагать сложное из простого, полагая простое просто более малым по величине и забывая об энергии (= смысле), которая должна идти на связь между этими «простыми» на образование сложного. А если учесть связь и взаимопереход массы в энергию, то выйдет наоборот; чтобы образовалось вот это малое сложное тело чрез сцепление иных, эти иные должны быть гораздо больше по величине и силе (энергии), чем образуемое, т.е. слагаемое (каждое!) больше суммы. И не только больше, но, может быть, и выше организованнее — как бы из богов (из идей) сотворять человека (а не из глины), из миров, Вселенных («фридмонов») — наши атомы. И т.д.

Но подобное и совершалось при переходе от Декартова представления о Вселенной и ее веществе как протяжении — к Ньютону. «Протяжение» — конечно, более богатая субстанция, суть, чем Ньютонова «масса». В «массе» ничего, кроме безвольной суммы, агрегата простых частиц, а в «протяжении» — протягивание, воля; дремлют и «тянутие» как Пространство, и «тянутие» как Время. Вот сколь богато оно смыслами и сколь сложно организовано.

Когда же понадобилось науке представлять для математических операций мир как совокупность тел в пустоте, а тела как точки, тут и излучилась из протяжения колоссальная энергия и разбежалась вне нашего мира, по ту сторону его полости, в виде тяжёлой Пространства и Времени, как мироорганизующих потенциалов, и, может, они и сопряжены с гравитацией, с кривизной пространства и т.д.

А внутри, в мире, осталось последствие Декартова *протяжения* — Ньютонова масса как бессмысленное существование.

Энергия есть смысл. Смысл есть Пространство и Время — они суть мера энергий, наливают тела масс смыслами (импульс, скорость, мощность — все это образования из L и T).

«Эти идеи, — продолжает М.А. Марков, — могли возникнуть только вместе с теорией относительности, вернее, с установлением соотношения между массой и энергией ($E = mc^2$). Согласно этому соотношению, энергия, излучаемая при образовании системы, уменьшает полную массу системы на величину $m = E/c^2$.

Но только сильные взаимодействия способны повести к большому выделению энергии при образовании системы, только они дают возможность обсуждать гипотезу образования частиц данной массы из частиц больших масс. Так, при образовании π -мезона из пары нуклон—антинуклон должна выделяться энергия, превышающая десять π -мезонных масс»¹².

Но тут происходит как бы возврат науки в Декартово лоно из Ньютонова соблазна и опустошения. Видимо стало, какой ценой произошло Ньютоново упрощение, чем было пожертвовано, чтоб спокойно толковать все сложное как образуемое из более простого и малого.

Конечно, Декартово пространство как протяжение есть натяжение и, значит, усиление, есть изгибаемая и творимая физикой геометрия, т.е. то же, что и в общей теории относительности, где кривизна пространства сопрягается с гравитационным полем, одно является функцией другого. И это есть опять заполнение бытия, опустошенного Ньютоном ради чистой механики и математического метода описания.

Но теперь это можно (на плечах-то его, гиганта!): безопасно опять впустить Бытие в вакуум — и посмотреть... (Это и совершается уж сто лет в физике.) Так что физика тоже дышит: волны сгущения-разрежения прокатываются по ее предмету, по представляемой ею Вселенной.

Теперь мне понятно то, чему удивлялся до сих пор: почему свое изложение физики, трактат о мире, Декарт называл «Трактатом о свете». Сначала подумалось: может, это русский перевод такой? Ведь по-русски «мир» есть «свет» («этот свет», «белый свет»). Но в заголовке ясно — не «monde», а «lumière». «Monde» — это общая шапка данных трактатов о свете и о человеке. А читаешь текст трактата: там о материи, о движении, о планетах, т.е. совершенно космогония, и лишь в конце приводит к объяснению, что есть свет.

Но теперь ясно, почему Декарту надо было сначала выстроить батарею своей физики, теорию вещества развить, чтоб перейти к свету. Шутка ли — замахнуть-

ся на свет и явить его не как свободный полет луча-бога в пустоте, а как нажатие пальцем на кожу: как давление столба жидкости и осязание! Т.е. свет, по сути, он объясняет тьмой, «матьмой»¹³, материей, якобы «пустоту» — полнотой жидкости, свет уравнивает в структуре с плотным телом. Т.е. единая теория дается и для строения вещества, и для света. Так ведь это опять же подобно синтезу, к которому физика пришла в начале XX в.: отождествлять природу света (волновую) со строением вещества (якобы корпускулярным): явления излучения абсолютно черного тела, фотоэффект и т.д. Тут ведь тоже свет как давление.

И у Декарта частицы света из вихря небесного давят нам на глаз, как камень в праще стремится вывалиться из трубки, отлететь от центра; как куча шариков в коробке с одним отверстием давит друг на друга, в дверку стремясь. Опять же уравниения с тяжелыми твердыми телами; и не просто это сравнение для наглядности, а именно тождество процессов имеется в виду мысли.

Однако Время еще слабо мною продумано.

Время! Целое (здоровое, *heil*) его не знает. Время есть для частицы, для ее самочувствия, пульс ее болезни, ибо частица — абсцесс, отрез, нарыв. Время — функция отдельности-отделенности. От покинутости ее, заброшенности — вот и счет ведет: от отрыва от пуповины Целого до возврата и слияния — ее срок отдельного бытия. И хоть оно, как отрыв от Центра и Целого, есть мучение, лишение полного бытия, — но и возврат в Целое, лишение частичного бытия, ощущается как переход в небытие (да: будет небытие частичного) — и оттого ужас. Но это — чувство, переживание именно частичного существования.

Чувство времени в человеке обостряется с усилением отъединенности, распада Целого. Древнему достаточно было мерить четырехлетиями (от олимпиады до олимпиады). Нынешнему нужны триллионные доли секунды, чтоб иметь шкалу для срока жизни микрочастиц: прилетела — и нет ее. Все совершенствование цивилизации сопряжено с уточнением времени. Часы — символ европейской цивилизации. Минуты, секунды... — все это деления, дробления. И их шкалу стали прикладывать к природе: механика — скорость: L/T ; в биологии век вида эволюции и т.д. Дробление, бесконечно малые промежутки времени — математический анализ. Наука стала проекцией частичного индивида на природу.

Календарь природы, чем живет Космос, Целое в себе: смена сезонов года, дня и ночи не есть время. Это такты, вдохи-выдохи, приливы-отливы. Тут нет начала, конца, направления.

К чему идет дело сейчас, когда зима? К лету или к зиме? Иль, может, к осени, что уже прошла, т.е. к прошлому направлено течение? Это кровообращение внутри здорового полного Целого не есть время, ибо не рублено (*Zeit*, *tempus*), т.е. нет отдельностей, частиц, и ничто нельзя взять за начало, откуда «только вперед!»...

И когда живешь натурально, вросши в природу и ее календарь, не время, а бесконечный круговорот чувствуешь: перемены и возвращения. А именно необратимость есть признак научно-городского отсчета времени.

Русское слово «время» — от «веремья», «вертеть», т.е. как раз со вращением, обращением, возвращением — словом, с кругооборотом связано в душе и сознании¹⁴. Это не рубленое *tempus* — как ступание римского легионера по римской дороге (*via romana*) — вперед, без оглядки. Так что, пока у нас слово «веремья» для обозначения *этого*, собственно время (это научно-городское измерение цивилизации) как *tempus* и *Zeit* в нашем сознании еще не началось.

Ведь «время» — из круга корневых-семенных природных понятий: «вымя», «семя», «бремя», «племя», «имя» (как «имение»: то, что имеется, есть: «есть — мя» = ес-мя — есмь), «знамя» (то, что «знаемо»: знание как природная достоверность. Как говорят в народе: «знамо = конечно, есть»). Недаром в народе «время» означает «погоду» — природу. (Это, впрочем, и в других языках: *il fait beau temps* — «стоит хорошая погода», франц. и т.п.)

Итак, пока «время» — вертение, веретено Сфероса, тут — круг (а время как необратимость — прямая), цикл и цирк, веселое космическое, а не историческое дление. Такое время — «обход круга», *períodos* — период, а не такт. *Zeit*: «единичное» дискретное касание (*tango*), рубленость, отдельное.

Но то, что русское «время» сопряжено с санскритским *vartman* — путь, колея, след колеса, — многозначительно. Тут, во-первых, есть путь, линейность. От этого слова нащупывается, что время немыслимо в толще, в тесте вещества с нерасчлененными направлениями, связями, линиями. Есть ли время на срезе, если сделать срез поперечный через грудь (как шашка, допустим, сечет), так что идет мышца, сосуды, пищевод,

сердце, легкие, мышцы, кожа? Тут — пространство, одно рядом с другим. Время можно увидеть в вертикалях: по трубке пищевода, трахее, по сосудам кровообращения, где однородно внутри себя одно после другого в затылок, линейно вытянулось.

Отсюда уж ясно, что в Декартовом вихре, поскольку он берется как толща, тесто, клубление всего без вычленения нитей — путей частиц и линейного прослеживания их судьбы, — для времени нет места и проблемы¹⁵.

Там, где есть сплошное самочувствие здорового тела (целого), там нет времени. Время есть история болезни = жизни частицы, отпавшей. Оно начинается с расколом, отколом и грехопадением бытия в частичность.

Хотя Декарт провозглашает Космос разным движением частиц разного рода, но берет их глобально. И так же как его *протяжение* чревато вычлененными затем Ньютоном категориями: Пространство и Время, — так и для характеристики движения частиц он пользуется понятием «скорость», в котором сращенно дремлют те же Пространство и Время. Хоть их уже «дискредитировал» Галилей, объяснив скорость как S/T , но это для Декарта не значит, не важно. Континуальщик, он и понятиями сращенными пользуется, многоаспектными. Но ведь и в нынешней физике фундаментальными мерами являются физические реальности: c — скорость света; \hbar — квант действия, — которые по размерностям сложны, суть L/T и ML^2/T — а не абстракции L и T : откуда взять им прообраз? Пустышки это. Их самих из c и \hbar надо выводить.

В этом смысл открытого Эйнштейном парадокса: когда меры и времени и пространства сжимаются, расширяются, ползучи... Они — функции неперменной и первичной инстанции скорости света, а не то чтобы сама скорость составлялась из абстракций L/T , как это мы привыкли с Галилея — Ньютона, — как будто бы из простых сложная. Какие ж они простые, когда никак до них не доберешься, что означают? ускользают всё, будто бы ясные!..

Итак, Время — линейность. Причем как «тянутие» (*tempus, Zeit*) — еще и прямая линия (ибо попробуй потяни вкривь и вкось, по синусоиде, не превращая вытянутого в прямую!), и это есть собственно Время рассудка, истории, науки — как необратимая шкала. Время же как вертение есть линия кривая, круг — и сопряжена уже с толщей, плоскостью (кривая и круг

однозначно декретируют свою плоскость, а прямая — нет), боковыми (добро)соседскими отношениями в разные стороны: плоскость есть смерть линии, линия — вдребезги на бесконечность отрезков-осколков в разные стороны. Ведь описываемая кривая, окружность привязана еще к угловой с ней линии — радиусу, т.е. есть срезание (сечение) плоскостное и связь: и перед собой, и за собой, и вбок от себя: а в тянущей прямой — только в одну сторону связь и усилие.

И опять же потому Декарт в своей аналитической геометрии усиленно исследовал разного порядка кривые, ибо они — Толщинные, телесные, сопряжены с толщей Целого и Движений в нем: завихрения, спирали, описания, сложения разных движений-толканий.

Как в нынешней физике стараются описывать нелинейные процессы, когда меняются состояния систем и от этого в каждой точке наступает другой закон изменения, — такой Космос имел в виду и описывал Декарт, правда, не математически, а словесно, — утверждая бесконечную вариантность и взаимозависимую (т.е. обратимую и с обратной связью) изменимость. Тогда опять Время ни к чему, ибо оно в своей абстракции — однонаправленно; обратная же связь есть нарушение последовательности, ибо в ней будущее, выходит, предшествует прошлому. И так это и есть по категории *энтелехии* — целевой причины, т.е. проистекающей из Целого. Теперь она понятна: причинно-следственный ряд науки — линейен и касается части в зависимости от другой части, и тут царят линейность и Время, и *post hoc* и *propter hoc*. Когда же часть, частица берется в отношении к своему Целому (телу, организму — и тогда уже не как часть, а член), то тут совершенное состояние части(цы), осуществление ею своей роли, к которой она призвана и насечена, эта идея ее *призвания* и совершенства предшествует ее частичному существованию, и есть влечение, которое осуществляет ее движение и развитие, т.е. цель (Целое) полагает каждый шаг движения к себе, внутри себя.

И тут характерна эта близость Декарта и Аристотеля как умов и сродных космосов, где вода, непрерывность и среда (средний термин) архетипичны и априорны для миропредставления.

Если же еще раз возвратиться к этимологии русского «веремья»: *vartman* — «путь, колея, след колеса», то кроме содержания линейности, которое уже отсюда

вытянули и использовали, в этих значениях времени есть еще и содержание качения: прямая линия пути-дороги, образуемая не тянутием, а циклоном. Недаром так по душе пришлось на Руси выражение «колесо истории». Тут и путь-дорога, и природный кругооборот¹⁶. Линия эта не простая, а с закавыкой вспять. Ведь при качении вперед — точка колеса идет назад, потом вперед, потом назад, туда-сюда. Так что «время» есть колебание: такое время есть трепет, дрожь. И тут — сближается с пульсом, тактами вдоха-выдоха, которые суть тоже колебания туда-сюда; и именно отсюда, изнутри человека, Кант выводил Время как априорную форму нашей внутренней чувственности.

И все же в русском чувстве из этой пары: Пространство и Время — интимнее, роднее Пространство. Оно — однокоренно и с понятиями «страна», «сторонка» (родимая!) и «странник», что путь-дорогу осуществляет.

Но и тут акцент. Вспомним латинское *spatium* — «шагание», германское *Raum* — «пустота». В отличие от *spatium*, шагания, которое — *вперед*, линейно (лицо и перед тут главные), в русском образе аналогичного понятия акцентирована сторона, бока́ (то же и у Гоголя — «косясь»: взгляд сбоку). Т.е. тут момент *раздвижения* (не *воздвижения*: вертикаль в русском Космосе выражена слабо), *распахивания* (душа ведь — *нараспашку*, и в русской пляске¹⁷ *вприсядку* ноги выкидывают колени вбок, и руками вбок; да и в женском плавном танце, когда «выступает, словно пава», руки разводятся в стороны и сводятся: преобладающие это движения). Тут телодвижениями описывается интимный образ пространства, опредмечивается в магических силовых линиях. Так что по национальным танцам мы бы наилучше смогли описать национальные представления Пространства, а по ритмам музыки — варианты Времени.

Так что в русском «Пространство» обращение лицом вперед и движение вперед — не для себя, а для родимых сторонки: не перед (и не высь, и не глубь, разумеется) родим, а сторона: это и в выражении: «Мое дело — сторона».

Потому в гоголевской Руси-тройке еще содержится и то, что один целостный образ делания Пространства просто распределен на две роли меж «мы» и «они»: мы — вперед, а они — вбок, «постораниваются». На самом же деле продвижение есть раз-движение, для

него, для дифференциации сторон (света = мира, «белого света»; «страны света...»).

Вот в чем дело! Вот к чему эта странность в Пространстве русском: стороны — для света! они ему функциональны, служебны; для него — раздвижение как распахиwanie окон, души, дверей.

Перед важен с точки зрения лица: прямая вперед. Но что лицо! Лицо — узко, лицо — плоско: взгляд перед собой — и ничего не видит, кроме своей цели. Так впору разве что ино-странцу (NB — тоже этот корень: стороны суть оселок и мера различения народов) полагать о мире. Мир же здесь есть — «белый свет», а свет — не плоскостен, но заливает всю обширность разом: «Всю-то я вселенную проехал!»¹⁸

Итак, русское Пространство ориентировано на бытие Света, который есть в нем обитатель, а оно — его обитель. Точнее — «светер» (свет + ветер) есть здесь житель — жилец: в нем и движение вперед, и распахиwanie в стороны сопряжены.

Но это налагает и на Логос русский подобную структуру: прямое слово в нем — для косвенного, для обертонов. Формула (прямое заявление тезиса) тут значит лишь для бокового отстранения, раздвижения.

И в этом отличие от германской диалектики, которая имеет моделью вертикаль растения, вырастания: тезис — антитезис — синтез = зерно (семя) — растение — зерно (плод). И действие — развитие русского романа идет не вперед, а вширь, распахиваясь и захватывая новые персонажи и проблемы («Евгений Онегин», «Мертвые души», «Война и мир», «Братья Карамазовы», «Жизнь Клима Самгина»). Тут — не вперед сюжет, не судьба героя прослеживается или история одного действия — но панорама, и не сверху вниз, а именно вширь. Потому так нужны поездки, странствия героя (Чичиков, путешествие Онегина), встречи и беседы-диалоги, что все распахиывают новые бока, стороны, снимают очередные стены¹⁹, как псевдограницы и ограничения. Поэтому в непрерывном и поступательном раздвижении стен, как буфторских декораций, и состоит развитие русского романа, да и симфонизма русского.

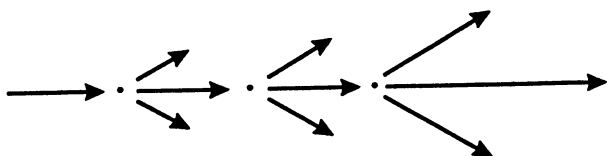
Отсюда непрерывные «отступления» в «Онегине» и необходимость «себя понукать»: «Вперед, вперед, моя история!» — ибо вязнешь в раздвижение в пространство: бесконечны и засасывающие бока, Эрос родимых сторон... — потому усилие нужно, чтоб вытянуть себя

и сделать еще шаг вперед и чтоб открылись очередные стороны-стены и начали б сниматься, падать, раздвигаться, просвечивать.

Так что, пожалуй, и Бахтин слишком по западноевропейскому образцу представил «русский роман» Достоевского, понаименовав его «полифоническим». Ведь полифония есть плетение-сплетание линий-нитей сознаний-голосов, совокупно и неуклонно движущееся вперед. Fuga — «бегство» (лат.), а что есть более целеустремленное вперед движение, чем бегство? Нельзя же им разбежаться вбок — как у Маяковского:

Чтобы врассыпную разбежался Коган,
Встреченных увеча пиками усов.

Движение ж лицом вперед в русском сюжете подсобно для движения света-духа вбок, в стороны, как бы елочкой:



«Пространство» не может быть «вперед!». А Время можно понукать: «Время, вперед!» (название советского индустриального романа 30-х годов). Оно — лично, передно, однонаправленно. И когда в истории России резкий рывок был революцией дан, явились обращения ко Времени.

Маяковский обе свои государственно-политические эпические поэмы «Ленин» и «Хорошо!» начинает обращением ко Времени:

Время! Начинаю про Ленина рассказ.
Время — вещь необычайно длинная.

Время — как собеседник *tête à tête*, «ты». И это возможно, ибо я — лицом к нему, и оно передо мною Лично(сть). Обращение на «ты» к Пространству невозможно, ибо оно передом-лицом только не может быть к тебе повернуто, *предстоять* как Личность. Всегда ты в нем, оно тебе безотчетно, а ты ему подотчетен. Оно

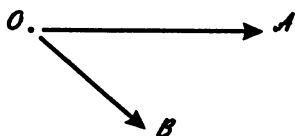
всегда тебя объемлет, как лоно матери: «И чудно объемлет меня могучее пространство... Русь! Куда же несешься ты? Дай ответ! — Не дает ответа».

А несется она не только вперед, а и вбок, в стороны разбегается. Недаром в качестве ответа — «разорванный ветром воздух» и посторанивание других народов и государств.

Еще тут мы на важное напали: Пространство, раз «объемлет», как лоно, значит, оно—гонийно, сопряжено с природой. Объем — полость, протяжение.

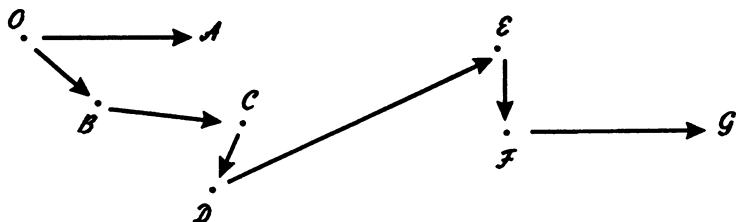
Время же как линия, личность, плоскость, точка-миг, «я», «ты», индивид — значит,—ургийно, тварно, сопряжено с этим кругом представлений.

И нападаем-то мы на важное, тоже работая по русской логике: делаем сначала в *сравнении* вроде маленький и ни к чему особо не обязывающий шаг вбок, *мимоходом* — для хода мысли. Как вот тут выше, во фразе: «Оно всегда тебя объемлет, как лоно матери». И тут же за этим отступленьцем вбок потянулись ассоциации, виды, дали-шири — началось раздвижение мысли, и она пошла в эту сторону развиваться. И, таким образом, «мимоход» для хода оказался магистралью хода:



где OA — ход, OB — мимоход.

Но следующий шаг мысли уже свершится не прямо из A , а из подсказки задетого и приоткрытого в B :



Бросается *A* и начинается от *B*, но так, что и направление *A* тоже продолжается: например, по линии *BC*. Тут опять возникнет некое приоткрытие мимоходом *CD*, которое уж потянет за собой всю линию развития мысли — по пути некоего *DE*. Но в *E* может возникнуть ответвление в другую сторонку (ведь все они укоренены друг в друге, поскольку наиболее родственно русскому мироощущению понятие «сторонки»): *F*, и оттуда опять поступательно — *FG*, возвращаясь к направлению мысли *OA* и его продолжая.

Таковы же и наши дедукции воображения, постигающие целое.

В других языках нет этого сопряжения понятий Пространства и Страны. Франц. *espace* (от *spatium* — шагание) и *rays* (от *ragus* — село, волость), нем. *Raum* и *Land* — Земля. Хотя в английском языке и могло бы быть слияние *Raum* как пространства и *room* как комнаты — так что сразу бы оно ощущалось интимно, как внутреннее, дом родной в бытии, — однако нет: для пространства тут чужое, отвлеченное *space* — из латинского опять же *spatium*.

В русском же слове «пространство» отвлеченность очень привлекательна: слышится в нем «страна моя!», «сторонка» — интимное, сердечное, родно-коренное. Ведь не от чужеземного корня это отвлеченное понятие произведено (как во французском и английском), но от своего, русского. Значит, здесь так и надо Пространство мыслить более живым, родным и конкретнымместилищем жизни живой, а не просто пустотой для неорганического бытия тел.

Пушкин в *Онегине* отмечает «неподражательную странность...». «Станный» в русском сознании — это свой, родной; странник любим народом: «Угоден Зевсу бедный странник» (Тютчев); у А.Н. Островского: «Все мы, люди, — странники. И Земля наша, говорят, — в небе тоже странница».

У Канта про линейность Времени: «Именно потому, что это внутреннее наглядное представление не имеет никакого внешнего образа, мы стараемся устранить этот недостаток с помощью аналогий и представляем временную последовательность с помощью бесконечно продолжающейся линии, в которой многообразие составляет ряд, имеющий лишь одно измерение (вот: для толщи нет времени, даже для пло-

скости, круга, кривой... — Г.Г.), и умозаключаем от свойств этой линии ко всем свойствам времени, за исключением лишь того, что части линии существуют все вместе, тогда как части времени существуют друг после друга»²⁰.

Вообще Кант не противоречит выкладкам о национальных образах Пространства и Времени, а подводит к ним. В самом деле: если Пространство и Время не объективно живут, а суть наши представления, то это ж не снимает следующего вопроса о том, какие это представления, какой их состав и что они розны у различных «нас» и рас, проистекая из разности Психей, — а только расчищает к нему путь. Берутся-то эти представления не из вещей, а из нас; и не из рассудка, а из чувственности, а чувственность — это материальность, природность, плотскость, и, значит, она сама имеет способ самомыслия, само-по-нятия, способ представлять себя и само-вливается своим составом и окраской в представляемый рассудком объект. Кант только говорит, что рассудок ничего не может с этими априорными формами чувственности поделаться, управлять ими, ибо он застаёт их уже готовыми и его работа начинается поверх них. Объект творим именно рассудком. Формы ж чувственности до-объективны, на более низовом-глубоком уровне.

Итак, Кант уводит их от уровня Логоса — в Психею, вовнутрь и вглубь. Но тут они как чувства переливаются в чувственность, а это уже есть плотский крен и телесный акцент и поворот Психеи, где она в Космос глядится, с натурой сращена.

Так что Пространство и Время суть формы и категории Психо-Космоса, предворяющие Логос рассудка, уровень его выкладок (так мы перескажем Канта на языке наших категорий). То есть это прямо бытийственные облучения Логоса, изнутри (из Психеи) и извне (из Космоса, природы), и их состав — онтологический, догносеологический. И набираются эти представления, образы, архетипы, схемы из материала местного Космоса, национальной природы: и внешней, и соответствующей ей внутренней.

Меж Космосом и Психеей есть свой заговор, язык и диалог, взаимопонимание и сговор — за спиной Логоса, минуя рассудок. Это называют «интуицией» и т.п.

Примечания

- ¹ Немецко-русский словарь/Под ред. А.А. Лепинга и Н.Л. Страховой. — М., 1968.
- ² Deutsches Wörterbuch. Von H. Paul. Halle, 1959. S. 469.
- ³ Поэма английского визионера XVII в. Дж. Бэньяна.
- ⁴ Цит. по кн.: Э й н ш т е й н А. Физика и реальность. — М., 1965. — С. 343.
- ⁵ А таковы они, когда мир есть материя-протяжение, суть при-
сущие ему смыслы, хотя они тогда из него химически не
выделены — как Декарт их не выделял.
- ⁶ Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Von Dr. Alois Walde.
Heidelberg, 1906. S. 620.
- ⁷ -гония — порожденность естеством; -ургия — трудом сотворен-
ность.
- ⁸ Это и термин науки того времени.
- ⁹ Смерть существа и есть индивидуальное светопреставление.
Однако, по многим интуициям, умирающий в своем чувстве
шестьствует именно к свету: ср. умирание Андрея Болконского
у Толстого, а также «Я просиял бы — и погас» Тютчева и
т.д.
- ¹⁰ *αγγελος* — по-гречески — «вестник», «связной».
- ¹¹ М а р к о в М.А. О понятии первоматерии // Сборник
материалов в помощь философским (методологическим) се-
минарам. — Вып. 4. Теория познания и современная физика. —
М., 1971. — С. 14.
- ¹² Т а м ж е. — С. 15.
- ¹³ Что МА-ТЬ = ТЬ-МА, перестановка из одних слогов, — ура-
зумел я в 1970 г. и ввел тогда два термина-неологизма в
свой миропостроения: «матьма» и «тьмать» — вместе с таки-
ми, как «светер», «лжизнь», «природина» и др.
- ¹⁴ «В р é м я. Заимств. из ст.-сл. яз. Исконно русск. *верема*
утрачено. Образовано с помощью суф. — *-теп* (>мя) от той
же основы, что и *вертеть*: в **vertmen* произошло упрощение
групп согласных и выпало *t*, *er* между согласными в ст.-сл.
дало *рѣ*, изменившееся затем в др.-русск. в *ре*, *er* > *ѣ*, давшее
в др.-русск. 'а. Первоначальное значение сущ. *время*. — "не-
что вращающееся"» Ш а н с к и й Н.М., И в а н о в
В.В., Ш а н с к а я Г.В. Краткий этимологический словарь
русского языка. — М., 1971. 1971. — С. 95. В Этимологи-
ческом словаре А.Г. Преображенского «Время» связывается
с санскр. *vartman*, «путь, колея, след колеса», и первоначаль-
ное значение слова «время» указывается как «вращение, ко-
ловращение» (с. 101).
- ¹⁵ Что же это выходит! — слышу недоумение читателя. Взятся
толковать национальные варианты Пространства и Времени,
а вот вдруг выводишь нечто из русского, локального чувства
Времени и термина о Времени вообще? Неувязочка! — сей-
час увяжу: национальные варианты исследуются здесь не са-
ми для себя, а чтобы проникнуть в инвариант Единого, ибо
одни его «стороны» особенно сильно ощутимы, проступают
в одном Психо-Космо-Логосе, другие — в другом.

16 Гоголевская мифологема «Русь-тройка» есть путь в бесконечный простор как пролагаемый качением. «Другие» («народы и государства») *стоят*: столбами, реализуя вертикали. Русь же катится: ее царство — даль и ширь, горизонталь. Другие — «косясь, постораниваются». «Постораниваются» = дают пространство: оно образуется качением: его, как колобок-ковёр, пред собой катят и раскатывают в равнину и «бесконечный простор», чтоб «пройтись богатырю».

В немецком же мироощущении интимнее Время. Даже в математической терминологии это сказывается. Для выражения того содержания, что в русском языке передается через «необходимо и достаточно», в английском и французском языках в этом случае употребляется союз «если, и только если» (*if and only if; si et seulement si*), в немецком, — «тогда, и только тогда» (*dann und nur dann*). См.: Ш и х а н о в и ч Ю.Л. Введение в современную математику. — М., 1965. — С. 35.

Т.е. немецкий математический Логос выражает эту ситуацию через время, тогда как («в то время как» — русский язык в этих оборотах калькирует немецкий образ мышления — так повелось в русской терминологии с XVIII в. — хотя Время не присуще ему) английский и французский выражаются, минуя его.

Кстати, и другие термины дышат принципами национальных Психо-Космо-Логосов. Например, «множество»: по-французски это — *ensemble* — ансамбль = «собор», некое социальное единство, соединение в ...; по-английски — *set* — «установление», т.е. указывает на труд людей, их учреждение, операционность; по-немецки: *die Menge* — «куча», «груда», «толпа», «сброд» — т.е. нет идеи единства, целого, как по-французски *ensemble*, а подчеркнута дискретность, квантованность составляющих частиц, недаром *Menge* сопряжено с *man* — ср. англ. *among* — значит «между», т.е. промежуток, пустоту (между двумя стенами), зазор; также и *Mangel* — недостаток, близкое к *Not* — нужда, необходимость, «нетость».

17 А танец есть начертание национальной модели пространства.

18 В тактике тевтонской — клин = нос «свиный», а в тактике русской «мешок», «котел», т.е. обволочь со сторонки: они, родимые, и спасают страну родную. И физиогномически: германский нос остр вперед, выпирает в *Streben dahin! Dahin!*, а русский нос часто кур-нос, короток-плосок, зато в стороны подался, их уважил. А склад антропоса — это письмена, живые скрижали национального Космоса: тут вся плоть о присущем ей Логосе много-глаголет, незаменимом и неповторимо ценном тембре в оркестре человечества, исполняющем симфонию истории.

19 Стены сакраментальны для германского *Haus'a*. Русские ж интимные точки в Пространстве и Времени: Берег, Порог и Канун.

20 К а н т И. Критика чистого разума. Пер. Н. Лосского. — Пг., 1915. — С. 50.

ЯЗЫК КАК ГОЛОС НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...*

Ф.И. Тютчев

Как читатель мог уже давно заметить, в анализах стихотворений я постоянно применял звуко-смысловой метод, т.е. в звуках (а не только в словах) усматривал определенные смыслы и толковал их слоги — эти сочетания звуков, телосложения слов — как сочетания первоэлементов природы: четырех стихий. Теперь пора раскрыть свои карты: обосновать и явить этот метод в его внутренней связи и полноте различий.

Звукопись в поэзии — дело известное и давно понимается как смысловыразительное средство. Трудное дело выражается трудными звуками — как еще Радищев отметил «в негладкости стиха»:

«Во свет рабства тьму претвори» из своей оды «Вольность» «изобразительное выражение трудности самого действия...»¹

Но это — смыслонасыщенность уже второго уровня: умственной идее подбирается аналогичная ей звучность. Ну, а сами-то звуки языка — так уж и бессмысленны совсем? И нельзя ли порыться-подыскать их собственную, более низовую осмысленность?

Что есть, собственно, смысл? Это — связь с иным. С чем же связь у звуков языка? А с национальной природой, что образует пространство естественной акустики, которая в горах иная, чем в лесах или в степи. И как тела людей разных рас и народов адекватны местной природе, как этнос — по Космосу, — так ли уж алогично предположить, что и звуки, которые об-

¹ Цит. по кн.: Б л а г о й Д.Д. История русской литературы XVIII в. — М., 1951. — С. 560.

разуют плоть-тело языка, в резонансе находятся со складом национальной природы? Язык ведь есть ее *tuba mirum*, «труба дивная», и если поэзия есть «богов орган живой», то не пуще ли еще и язык есть «орган живой» Природины данной, ей в адекват и в аккурат? Так что перевод с языка на язык — это с Космоса на Космос.

Во рту совершается таинство перетекания Космоса в Логос, материи — в дух: язык еще вещественен (звуки), но уже и спиритуален (смыслы). В фонетике каждого языка имеем **п о р т а т и в н ы й К о с м о с** в миниатюре: именно — *переносимый*, так что можно и не ездить в чужую страну («ума искать и ездить так далеко!»), чтобы постичь ее менталитет, а надо вслушиваться в язык...

Итак, натурфилософия языка, естествознание Логоса — вот какой опыт будет проделываться на последующих страницах. И он вполне отвечает потребности нашего века во взаимопроникновении гуманитарных и естественных наук, во взаимопросвечивании и познании одного через другое. Но для того нужно пробить изоляцию и привычку рассматривать гуманитарные явления лишь в своей компании и на языке общественных наук, а явления природы — на языке естествознания и математики. Отчасти уж совершается этот пробой в семиотике и структурализме: системный анализ и точные математические методы применяются в исследовании языка, литературы и искусства. Но то подход из Логоса и идеалий, сверху (или изнутри), мы же предлагаем теперь копнуть пониже и зайти из Космоса и Матери(и), явить некую *физику поэзии*.

Но для исследования такого рода нужна общая платформа и метаязык, на котором бы и физические, и поэтические явления могли встречаться и выражаться и узнавать друг во друге родное. Таким мне видится древний натурфилософский язык четырех стихий: отнесение всех явлений бытия в группы: «земля», «вода», «воздух», «огонь». Это ведь не просто материи, это и — символы; и поэтические образы в каждом произведении можно распределить и классифицировать по этим четырем стихиям, и естествознание свои явления издавна постигало как сочетания этих четырех элементов. Четыре стихии — это своеобразные матки-матрицы всего в бытии. Они и основные элементы самого вещества бытия, и к тому же слышатся как основные

термины метаязыка, которым можно все обозначать, зацеплять из бытия в сознание и сообщаться людям и понимать друг друга на уровне сознания.

Давно уже, и в двадцатом веке особенно, бьются люди над тем, чтобы создать поверх естественных национальных языков, слишком обремененных п(л)отной, тяжелой вещественностью, метаязык, которым бы обозначать всеединое, главное, общее, пребывающее. И вот изобретают язык условно-договорных знаков: А, В, С... Но они даже не символы. От них нет перехода к реалиям, к вещественности, от Логоса — к Космосу (да нет в них перехода и от нашего Гносиса к самому Логосу, имеющему бытийственно-коренное существование).

Язык же первоэлементов, чья морфология: «земля», «вода», «воздух», «огонь», а Эрос, т.е. движение, связь (Любовь и Вражда Эмпедокловы, притяжение и отталкивание современно-научные) = синтаксис, — этот метаязык нечего выдумывать: он есть и неизбежно пребывает в смене времен, в прибое племен и языков. Его термины вняты и эллинским натурфилософам, которые называли их «четырьмя стихиями», и индийским упанишадам, где они выступают как «махабхута» — великие элементы (правда, здесь пять: еще «эфир» — «акаша», а в разных системах больше еще). Но и современное научное сознание не будет от них открепиваться. Ведь что такое четыре агрегатные состояния вещества, как не земля (= твердое), вода (= жидкое), воздух (= газообразное), огонь (= плазма)? Значит, материя, всяческая предметность мира укладывается в них, они ее зачерпывают.

Но они расширяемы и в духовную сторону: языки обиходный и поэтический непрерывно производят это зацепление духа баграми метафор и вся художественная образность мира распределима в семейства по гнездам четырех стихий. Но и дальше в зону духовного с ними можно углубиться. Например, аристотелевские *четыре причины* (категории уже чисто духовного порядка) допускают приуроченье к стихиям, и вероятное распределение может выглядеть так: земля — *материальная причина*, огонь — *деятельная причина*. Это кажется безусловным. Вода — *целевая причина*, энтелехия (ибо предполагает течение, откуда и куда); воздуху остается *формальная причина* (духовны, невещественны эйдосы, идеи, хоть и световы они, огненны...). Таким образом, кроме физики, в них обозначается и метафи-

зика, способность выражать идеальное. В этой универсальности большое преимущество этого метаязыка перед всяким возможным условно-договорным (система R, элемент q и т.д.). В нем всегда опущен корень в безусловное (материальное ли, духовное ли...).

И еще: радостна его демократичность, понятность даже ребенку, который может опереться на вещественный уровень и понимать на нем, о чем идет речь, позволяя в то же время отвлеченным умам воспарять по стихиям в эмпирии духа и мыслить под ними его реалии. И поскольку никто не отлучен от этого метаязыка, по его каналам может и наше сознание подключаться к любому явлению и тексту и, его читая, как бы сотрудничать в представлении разных вещей и толковании их значений посредством некоторого соображения.

Четыре первоэлемента имеют своих представителей во всех сферах, вещах, науках, деятельности — ибо все сложное составляется из них гармонически¹ в некое целое и самостоятельно способное бытовать. В геометрических фигурах: куб = земля, октаэдр = вода, икосаэдр = воздух, тетраэдр = огонь (как это приурочил Платон в «Тимее»). В струнном квартете: первая скрипка — огонь, вторая — воздух, альт — вода, виолончель — земля. В оркестре, при том, что все инструменты отчасти земля: медные (= обогненные, литые, чрез горнило прошедшие и закаленные) — огонь; деревянные духовые — воздух; струнные (из жил-нервов животных) — вода; ударные — земля. В растении: корень = земля, стебель (= русло) = вода, лист = воздух, цветок = огонь, свет. И т.д.

И в языках народов четыре элемента не могут не иметь своего представительства. Рот — микрокосмос, стяженная модель национального пространственно-временного континуума. И когда переходишь в разговоре на другой язык — словно другую коробку (а не только челюсть) надо себе в рот вдвигать, чтобы верной была артикуляция. Попробуем же наметить некоторые соответствия четырем стихиям в фонетике, выявляя тем, в частности, звучность русского космолога.

¹ Гармония — от греч. *harmodzo* — сколачивать. Гармония = плотник.

Вслушаемся в первые слоги-слова детей: «ма-ма», «па-па»... «М-м» — вода, течение, мягкое, влажное, туманное, усыпляющее. «М-м» — мычание; корова — вечно женственное, материнское. «А-а» — открытость полная рта — космоса. «А» — зов пространства и дыхание (воздух). Итак, слово «мама» — вода-воздух. Таков состав женского начала. Недаром Афродита — пенно-рожденная, а пена на кромке меж водой и воздухом образуется.

«Па-па»: «п» — взрыв, вспышка, воздух, прорывающийся сквозь теснину земли и рождающий от трения искру. Значит, в «п» — образ деятельного начала, усилия, силы, напряжения («м» без усилия, нежно производится, само собой выливается, носовое — т.е. влажно-воздушное, певучее).

«Ба-ба» — вариант «ма-ма», но с добавлением увлажненной земли «б», которое через теснину мягко просачивается, в отличие от сухоогненного «п». И по идее «ба-ба» — синтез «ма-ма» и «па-па». Баба (бабушка) — уже не женщина. Эрос и пол из нее уже истек, она стала мужеподобна, а точнее — вне пола, образом мировой целокупности и единства.

Итак, выводим, что все звонкие согласные — это земля, прорываемая водой или влажным воздухом, а не огненно-сухой струей.

«С-не-г» — важнейшее на Руси слово. «Н^б» в отличие от «м»: «м» тянется при расслабленном рте и закрытых губах: звучит вся полость — весь космос. «Н» — язык к верхним зубам: смыкание, усилие, особенность какая-то, частность, форма в мире — значит: земля и форма намечаются. Но земля (язык) — к небу (= нёбу), и струя через нос — влажный воздух, водяной. «Н^б» — мягкость. Создается она через приплющивание Космоса и языка (который плашмя, палашом, а не острием), расширение рта — в ширь-даль. Мягкость связана с горизонтализацией пространства.

Западноевропейские языки не допускают смягчения согласных — даже перед гласными переднего ряда — ср. франц. l'été (лето). Возможная *мягкость* всех согласных в русском языке в зависимости от положения значит: 1) не самостоятельны звуки, не индивиды они, не тела, но артельны; 2) не могут не поддаться влекущей дали-шири, горизонтали, что здесь есть главное влияние. А *оглушение конечных*: «снег» — сн'ек — означает вялость воды, недеятельность, воздух — ветер

забивает. Ср. с этим самость западноевропейской женщины: независимо от положения (поста в обществе и профессии) сама хранит свой звук и сущность (женскую) всегда: в bread остается d и не переходит в t хоть на конце слова. Взаимозаменяемость же звонких и глухих в русском языке в зависимости от положения (= места и социально-языковой функции) выражает как бы «бабье» начало: мужик — баба, баба — мужик, их взаимопереходность.

«Е» = ширь. «И» = даль. «У» = даль — глубина, путь-дорога, уход, отсыл: $\rightarrow \infty$ (однонаправленная бесконечность). «О» = замкнутость, полость. «О — У» = недра, утроба: и *утро* — оттуда; из *утробы* ночи и глубины выходит. «Ы» — вялое «и», мокрое, земное, сырое, при опущенном рте; это «и», отсыревшее от тяги русской матери-сырой земли — очень русский этот звук «ы» («и» — более сухоогненное).

«Красные» — «ьи» — обычное окончание множественного числа; «ые», как «ьи», — чистый отсыл вдаль, где и таится множество и бесконечность. Хоть «ьи» — конец (окончание слова), но не как точка, а линия, не как атом, но как волна; это конец, переходящий в бесконечность, истаивание, рассеяние звука равномерно по вселенной. «Ы» — увязшая даль, даль в тумане, жалобный тягучий плач — всхлипыванье: ы-ы-ы... — безнадежное, неразрешимое и потому вялое, как тягомотина. Так дети или женщины от обиды вечной покорно стонут — дух облегчают. То есть, которые мокрые: дети и женщины — влажны (человек в детстве — женск, животен, кругл, как капля; в старости — мужеск, растителен, сух и прям). Мужчина плачет: «хэ-хэ» — всхлипываньями, пробивающимися (ср. «па-па» — взрыв), как кашель, а не сплошным тягучим гласным: о-а-ы-у.

Все гласные — это координаты космоса, его положения, основные структуры. «У» — закрытый, вытянутый в трубу; «А» — расслабленный, открытый, космос как он есть, без напряжения человеческих сил («А-а!» — самый природный крик), труда, участия челюсти: она просто опала, и воздух идет. «А» преобладает в русском языке — ср. аканье московского говора, который даже шар «О» (сомкнутость, тело, самость, индивид) склонен в безударном (незаявленном о себе, безгласном) положении растворить и расслабить в «а».

Английское «ou»: soul, go — гласный вытянутый и ограниченный, как тело Англии; акустика тумана. Носовые гласные французского и польского космосов соответствуют роли женщины: дамы и пани — там. Ибо носовые — это влага + воздух = пена (Афродита). Смычные, взрывные, твердые, краткие звуки (Arbeit) германского космо-логоса = огне-воздух, прорывающий землю, сухую. Огонь и деятельность.

Влага — Волга. Вообще «влага» (ср. волглый воздух, мгла) — чистый образ русской воды. Здесь «а» — открытость и расслабленность, полый космос и полое пространство; «а» — самое естественное звучание — жизнь, чистое пространство, воздух. «ВЛГ» — основной комплекс звуков: все — звонкие, т.е. увлажненная земля, река в берегах. «Л» — сонорное, как «м»: тянется, длительность. Находясь между фрикативным вдувающимся, дующим «в» (фрикативный — букв. «трущийся» как струя о землю) и взрывным, как квант, камень и скала, «г» («к» — река), «л» их все размягчает и подчиняет длительной текучести. Близкое к «влг» сочетание и в индогерманском fl (pl): Flüß, плыть, pluit, blood.

А каково представительство стихии з е м л и в фонетике? Земля — terra, Erde (tr-rd) — твердь, трение (в англ. earth — замена взрыва на фрикативный — свистящий, более тягучий, расслабленный, умеренный, морской). Везде здесь земля — сухая, твердое вещество, рокошет, дрожит форма, конечное тело.

Русская «земля» состоит из мягких, тягучих звуков, вяла (ср. Тютчев: «Здесь, где так вяло...»). Вместо tr(rd) — «мл» (млечность, кисель), т.е. водно-аморфные, женские звуки; се — водо-земля (Erde — более сухая, обогненная земля). Русская «земля» — сырая твердь, мать-сыра. Все согласные здесь — мягкие: значит, с водой — далью — горизонталью связаны; это увод образа земли от формы, от конечности — в аморфную безответственную бесконечность. Но в то же время приподнимание к небу — нёбу, увод от тяги и веса, облегчение, овоздушнение, духовенство вещества.

Все звуки в этом слове тянуться могут сколько хочешь: «З^б» — увлажненный ветер (зефир). Чистый ветер выражается в «С» — свист над землей сухой; а «З» — ветер над влажной матерью-сырой землей. «Л^б» — даль, дальняя: в этом звуке вода, сопряженная с далью. Кстати, «даль» — влаго-воздушный, т.е. жен-

ский тоже образ. «Л^б» — текучая, уходящая вода по плоскости (шири).

Наконец — ударение на мягкое «а»: «земля́», тогда как в тегга, Erde ударение на щели «е»: узкость воздуха, ограниченность жизненного пространства, и к тому еще его стяженность через rd (труг, который здесь изыскивается повелением космоса). В русском «земля́» упор не на земле как теле, форме определенной (ограниченной) и атоме, но на пространстве, воздухе открытом (без купола — черепа), на пустоте. Но пустота эта оженственна, увлажнена через мягкость «Л^б»¹. И недаром «ля» — членораздельный звук для чистой музыки (la-la). И услышал Гоголь именно п е с н ю плывущей над русским бесконечным простором. «Ля», как оженственное пространство, есть Эросом пронизанное (любовь, Liebe) первичное состояние мира, еще на переходе от хаоса к космосу — к строю чрез лад (склад)². Таким образом «ля», как влажный воздух, = тот дух, что носился над водами в первый день творенья. И поскольку череп неба не установлен, и бытие и жизнь еще не загнаны в подкупольное существование дома мироздания, это — мировое пространство в космических водах (т.е. хаос с потенцией самоорганизации чрез Эрос — любовь, всемирное тяготение), т.е. то, что в индийских Ведах мыслится в образе Варуны (греч. Урана). Это небо до неба как небосвода и тверди, которые как раз и должны удерживать космические воды от пролития и затопления жизни на Земле и выпускают ее порциями — квантами ливней, дождей и гроз.

Исследуем внимательнее слово «В о д а». Недаром есть «в», «а», все согласные — звонкие (в, д); слово близко к своему чистому комплексу «влага» (vlg). То же герм. water, Wasser, но мир подсушен здесь: d — t, и на конце отграничиванье деятельным г; вода здесь более сухая. Переходно греч. hydor — вода промежу-

¹ Недаром в более сухом болгарском Космосе исчезло «л» и осталась «земя», как и в более южных землях Индии bhumi. Греческое Γῆ (Гей) — переходо к славяно-русской «земле»: «ге», «зе» и «э» шире erd, ter и приближается к открытому пространству «а».

² «Ладо» — «любимый» в русских песнях. А Лада — предположительная богиня любви в древнеславянском пантеоне. И «лад» (мажор, минор) и «склад» (песни) суть одновременно термины музыки.

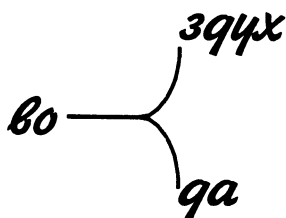
точная между западноевропейским water (с ним сближает деятельно-личностное начало г на конце) и славянским «вода» (с ним сближает большая мягкость, влажность, женственность — d, а не t).

Французское l'eau есть преобразование латинского aqua через убирание открытого пространства «а» в начале (откуда вода истекает) и в конце, куда втекает, — в мировое пространство. А в середине — смычка с жизнью земли и людей: «к» — смычно-низовое, телесное и хотя индивидуальное, но не личное, ибо не лицо в нем (перед), а низ, зад тела и рта-горла: задне-неб(ес)ный звук, это зад неба. «К» (qu) — антипод текучести, есть хватанье, *greifen*. «В» же (в aqua) — выпускание воды чрез трение о землю: вновь на свободу течения. Слово aqua — как гидростанция: «а» — вольное течение вод до плотины; «к» — преграда, плотина; «в» — продиранье воды сквозь трение турбин и шлюзов; «а» — вновь вольное течение. Французы выбрали открытый простор «а» в полость-шар, в тело «о», замкнув бытие. Причем в «о» стянулись три гласные — координаты — измерения пространства: «е» — ширина, «а» — высота, «и» — глубина — и образовали сход в нулевую точку «о» = 0 (ноль недаром кружочком обозначается как образ — и объема шара целого, и его центра, точки, атома).

Русская «вода»: «ва» — втекание в пространство; «д» — смычка, трение космических вод о землю в ее временном плену; «а» вновь нейтральное течение. «Д» в отличие от европейских t, s, k более мягко, податливо; не сухоогненна, но сыра здесь земля. Русское близко к aqua: тоже есть wa (ва), открытость «а», вода втекает в воздух, в пустоту. Вода есть первое заполнение пустоты небытия, и заполнение тяжелое («ва» — «да» — опадения после взлетов согласных) в отличие от летучей самодержести «воздуха», «духа»: Geist, esprit, air. В отличие от воздуха, вода более увесиста, связана с низом открытого пространства («а»), его твердью, опадает.

«В о з д у х». В нем «в-о-д-у» — близость к воде: увлажнен, значит, на Руси. Чтоб получился «воздух» из «вода» — открытое пространство «а», небытие и пустота, отменяется: ничто — на нечто; воздух — замена и отмена пространства; вместо открытости, высоты и широты «а» является определенность, закрытость «о» и глубина «у». От феи Земли ему даруются две новые

разновидности трения: «з» и «х». «З» — звук Земли, ее дрожания в мировом пространстве, биения, трения и частотного волноиспускания; «з» — плач Земли как новорожденного младенца, но бьющегося не в сухости (как «с» — свист, свет), а в космической материнской влаге мировых туманностей и вод. «Х» — тоже трение, но как придыхание, более тонкая материя, что и проскакивает через каждую грань и форму (а в этом — свойство: вездесущие — духа). «Ух!» — монада вылета



из глубины и взлета по траектории /, так же как «Да!» — монада тверди — утверждения, веса, падения, прочеркивающая траекторию сверху вниз \. То же и германское Ja(h).

Еще более тонкий, чем придыхание «х», звук «й», звук почти невещественный, летучий, звук э ф и р а. И в России он чаще всего заканчивает слово, выводя его в бесконечность, истаевание, как бы развеществляя каждое слово: «красный», «Сергей», «Василий» (ср. с этим грубо конечные, вещественные, определенные имена «Серж», «Базиль»)¹. Имя мужское имеет ту же структуру однонаправленной бесконечности $\rightarrow \infty$ (т.е. имеет четкое начало, порог и откуда отталкиваться и уходить, но не имеет конца), что мы не раз уже отмечали внутри явлений русского Космоса и образа мышления. В западноевропейских языках, напротив, типично фрикативное придыхание, начинающее слово: homme, hold, hydor; переходное украинское «г» (юго-за-

¹ 26.I.70 г. Женские же имена на Руси — на «а», т.е. заземление открытого пространства и опадание, тогда как «й» (j) = взлет. Кстати, на Западе: Анна — Энн, Катя — Кэт. (Англия — самый запад и самая твердость конца.) Франция уже дает Мари, Жюли — на «и», подобно мужским именам в России: женщина там легче, воздушнее. Германская женщина: Берта, Марта — уже переходна к русской, но еще жестка и суха.

пад славянского мира). Слово словно сгущается из бесконечности в тело, твердое и определенное к концу своему, по модели $\rightarrow \infty$. Здесь происходит акт воплощения рассеянного бытия, тогда как на востоке Европы, в России, — акт рассеяния и возврата в рассеянное бытие.

Х (h) и Й (j) — уже звуки, переходные к о г н ю, пламени: в них самая тонкая материя и атомы. По Платону («Тимей»), фигура огня — тетраэдр, пирамида — самая тонкая, везде проскальзывает в порах. Кстати: *множественное* число выводит тело (точку) — вдаль, есть расщепление самости и расплескивание единицы лучами. *Единственное* число = точка, *множественное* = луч, и недаром оно оканчивается на далевые звуки «и», «ы», воздушно-свистящее s (в западноевропейских языках), на ширь е(n) — с вибрацией воздуха-воды (сонорного звука «п»), на «ай-ой» (ai-oi) в греческом и т.д. I и X — луч и два скрещенных луча из центра; X — модель солнца в лучах¹.

Итак, через конечное в словах «х» «воздух» связан с огнем. Значит, каждая стихия: земля, вода, воздух, огонь — космична, содержит другие в себе, на своих входах и выходах: каждая есть универсум.

Вариант воздуха — «в е т е р». Он — деятель, творящий ширь (даль — герм. wind): в первоначально открытом пустом пространстве «а» свивает «а» в «е». У него суффикс деятеля «тер» (ter), он прорывает преграду *terra* и *Erde*. У них земное тяготение, натягивающее открытое пространство вниз и придающее ему форму «а». Ветер же, демиург и апостол горизонтали мира, врывается в силовое поле земного притяжения, изгибает его силовые линии-вертикали и сносит их вбок, стягивая небо и землю, сближая их в щелевом замке «е»: ведь при произношении «е» нёбо и нижняя

¹ Немецкое слово Ich (=Я) — воздух, огонь, имеет русскую структуру однонаправленной бесконечности $\rightarrow \infty$: имеет определенное начало I и бесконечность бытия в конце. Потому Ich могло стать в германской классической философии Архимедовой точкой опоры для выведения мира, множества бытия из единства: через отталкивание — отрицательность-диалектику. Русское же «я», состоящее из ja, где бесконечность в начале, антиподно немецкому Ich и никак не может стать началом, а разве что концом философского построения, сводом, а не выводом. Недаром и в алфавите оно переключалось из начала («аз») в конец («я»).

челюсть (= нижняя створка мирового яйца — рта) = земля ближе друг к другу, нежели при произнесении «а». Ветер создает щелевой, приплюснутый космос, где главное — плоскость, горизонталь. То *ter*, что в слове *terra* привязано к «а», в слове «ветер» привязано к «е». И поскольку *ter* — деятель, здесь он — орудие создания шири, ее роет, тогда как в *terra* он в мире шахтер.

Обратим внимание на сходство основных элементов, образующих стихии: ветер — *water* — *terra* (воздух — вода — земля). Значит, то, что у романских народов — земля, у германских — вода, у славянских — воздух?

«Тер» (*ter*) — идея деятеля. Значит, у романских народов деятельность связана с землей¹, у германских — с водой (недаром германские народы: норманны, датчане, норвежцы, англосаксы — первые в мире мореплаватели), у славянских — с воздухом (поляк Коперник понял небо, а русские реактивные ракеты в небо взвились). «В» в словах «вода», «воздух», «ветер» есть вход в так или иначе сложенный универсум.

От «ветер» — переход в «с в е т». В обоих — «вет»: ведать, вещий, ветхий, завет, весь. *Св* — *vs* (*vs*) — все (совокупность) = свет = всё (старослав. СВЕЯ). Здесь совершается переход стихий в духовность сухую (тогда как воздух еще водян).

Итак, «ветер» на Руси — и деятель (*тер*), и ведун, всезнающий (*вет*). Ветер — ближайший к человеку узел стихий в русском космосе — производитель русской истории: татарская орда по горизонтали несется; ветер в городе = поэт среди черни (Пушкин); революция в поэме «Двенадцать» — «Ветер, ветер да белый снег» выбеливает город Руси от черни: революция видится поэту как побелка русского космоса².

«Св» — «vs» — всепроникающее (через каждое вещество, землю, форму) дыхание знаменует. «С» — звук духа на переходе в свет (*Geist, spiritus* — огненные) и

¹ Недаром *terr-ibilis* — ужасный, букв. «способный (стать) землей».

² И именно когда произошла на центрифуге Истории (= колеса) из серого вещества русской серенькой природы, серого неба и серо-зёма, на одной стороне выделка чистой белизны: вечной зимы и савана смерти, чистой безжизненной духовности («белые»), на другом полюсе началась конденсация жизни, образование кровавых телец («красные»).

даже собственно *огня*: солнце. «С» — звук пламени, свистит: с этим звуком свет летит — самое легкое и тонкое вещество. «С» чередуется с «х» («дух» — «ду-си» — мн. число от «дух» и «х» — с «й» (j). Это уже звуки огня — света. Азъ — ас — ай — йа — я. Азъ — Ich немецкое («з» чередуется с «х») и I — «ай» английское («З» — «Х» — «Й»). Это все звуки искры Божией, чем и является в нас дух, душа и личность. «Я» — пылинка света, «квант», фотон.

«О г о н ь» — ignis, Agni. Главное сочетание: gni — гнь (ср. гнев — воспламенение, страсть геенны огненной). Германское Feuer, fire; feu франкское (как и в l'eau) и огонь в полость, шаровидность и туловище (oi, ai, oe) из открытого пространства вводит. В отличие от влажно-звонкого (в), открывающего воду (Wasser) и воздух, здесь сухое-глухое f (ф). Это везде слово — взрыв, где вначале трение — удар «ф» о землю, сквозь щель прорыва, затем сразу резко расширяется, взмetyвается в открытое пространство: «о» («фойер», «фё») или даже «а» («файе») и там, из сочетания первотолчка-импульса-удара-взрыва «ф» и пространства мира «а» — образуется й, ь, j — «я», духовная искра, волна. Это «й» (j) есть и в германском, и в английском; и французское feu звучит тихим истаиванием в конце слова. И в русском языке «ь» — самая тонкая сила: без своего вещества — звука, но смягчает, утончает материю предыдущего звука.

Русское «огонь» и «огнь». Порядок обратный: пространство («о», «а» — в «Агни» индийском), далее взрыв в глотке, в зад у рта: «г» (тогда как «ф» — перед рта). «А» — открытое пространство, пустое; «г» — щель в утробу, в недро, в Тартар, в Аид («г» — «к» — звуки фекалий: «гуано», «кал»). Затем звук перемetyвается после этих бросков из полюса в полюс — в срединно-верхнюю область носовую, влажную, водную («н»), смягчается там и вылетает уже тонкой волной «й» (ь). Так «огнь» произведен сочетанием, проносом сквозь, соучастием пространства — воздуха («а», «о»), земли («г», «ф»), воды («н»).

Русский «огонь» ближе к «воде», ее мягкости, нежели к твердости формы Erde и terra. В германстве же и Feuer, и Erde близкозвучны чрез личностно-трудовое «р». Огне-земля — основа германского Космоса, тогда как русского влаго-воздух. И огонь русский более связан с воздухом (пожары), чем с землей, в отличие

от германского рудно-трудового огня недр, ремесла гномов-нибелунгов, горна в кузне.

У Тютчева — «огнь» («Как над горячею золой...»), у Пушкина — «уголь, пылающий огнем» («Пророк»). Таков огонь на русский слух: удар на первую гласную, вспышка о смычную согласную заднеязычную — «г» (резкий переброс с переда рта — в зад) и взметывается вверх всполошенная группа согласных, как прах — в пепел. Подобный же взлет, как языка пламени вверх, и в Feuer, fire. «Вода» же — два открытых звука и опадание сверху вниз, стекание звука и капель.

Онегин, Ставрогин — имена из стихии огня, Люциферы, огнесветные¹ (а не темный лишь в них огонь — жар). Обломов (абломаф) = «а-о-а», вода и «бл» — влага, голубь — баба. Есть в имени его некоторая влажная земля («бл»), тело белое, рассыпчатое, и в конце страдательный взлет воз-духа (аф-ах!). «Маф» = Ма + ух = пена. Но нуль огня, а без его помощи земля и воздух недействительны, не могут отслоиться от засасывающего тяготения воды, подняться над ней. Имя соответствует образу мужик-баба, тюфяк, бабье в русском.

Итак, вслушавшись в слова, их звучание в связи со значением, убеждаемся, что недаром именно такие наименования, в таких сочетаниях звуков, языки народов откристаллизовали стихиям и вещам в ходе истории, как перелива природы в человечество. Космос рта — наш Олимп, седалище божеств — сутей — идей — форм — фигур. Небо — нёбо, небосвод, крыша, купол. Мир этот продувается (проходен, значит, а не в себе и для себя закупоренно существует; имеет вне себя начало и цель, с ними сообщается и ими жив и организуется) — два отверстия имеет: переднее нам дает жизнь, силы; вход оттуда и воз-духа — дыхания, и пособие пищи; отсюда небо и пространство в нас втекают, как в гавань и залив. Позади же рта дыра в Аид, в утробу, где конец, невидаль, тьма крошечная и геенна огненная нутра (там перевариванье в котле желудка идет, огненные реки кровообращаются, как Перифлетонт, Ахерон; леденящий стужею Коцит — река лимфы: Стикс — озеро мочевого пузыря и т.д.). Но оттуда,

¹ И Демон Лермонтова — «из пламя и света».

из смерти, — крепость нашей личности и самостояния, держания в бытии. И на выдохе ведь язык, глаголанье наше производится, т.е. из нас его первоначало, из недр. Оттуда дует и сила исходит, энергия на звук подается.

В полости = пустоте космоса рта я з ы к = демиург, бог-творец, языкотворец, личность, самость, «я», персона. Язык — атом, тело, в пространстве взвешенное, как и человек. Язык сочетает в себе огонь (язык пламени) и воду (язык — волна по форме), растение (неподвижно закреплен внизу корнем) и животное (в остальном самодвижен, елозит, катается туда-сюда, высовывается, свободен балаболить). Потому Логос есть Жизнь (от Иоанна, 1, 4), срединный мир Жизни собой моделируя. Язык = я; прикасаясь к тому или иному месту космоса как инструмента (нёбо, губы, зубы), издают в нем звук, равно как и дело всякое и вещь есть единое произведение «я» и мира. Звук, что производится только языком (без нёба, губ), лишь под струей духа, — это «р-р-р». «Р» — звук «я». Все остальные звуки — или при открытом рте, или прорывая теснину ту иль иную; нигде то, что я через свою активность создаю членораздельный звук, так не явно, как в «р-р...»: язык дрожит, вибрирует, весь — струна, бьется, как пульс сердца и ток времени уходящих мгновений (а состав «я» из этого — из времени, как это исследовал Кант: «я» и Время суть внутреннего чувства образования). Потому прибавление «р» к любому гласному субъективизирует звук природы и причащает к человечеству, истории, личности. То звук истории, трудов, гордыни.

Г у б ы в Космосе рта — суть мягкое, женское, влажное, влагалище — стихия воды. З у б ы — кость, твердь, горы. Парность губ и зуб = вода дублирована через землю, повторена эхом. Язык — один, единица, единый творец и образователь единства в космосе рта. Губы — двоица, как и по пифагорейским парам: чет — женское. Двоица — начало всего, раскол, различие, распад Целого (грехопадение, по мифу, через женское начало произошло, чрез оттяжку Целого на себя). Язык — лицо; губы — различие, т.е. расстрижение лица. Образуются полюса, и возникает Эрос — как всемирное тяготение и организатор всего. Зубы — много их, начало множества в мире; земля — источник множества особых форм, особей, тел.

По фигурам: полость рта — шар, язык — ось и центр (гора Меру в индийском Космосе). Губы — круг, кольцо, замкнутость, как вода — капля, шар, равенство себе, самодовление, покой и ровность женского начала в мире. И когда Эрос — организатор (естественный отбор природы), все в мире о'кэй.

Зубы же — не сходятся концы с концами, самонедостаточность, разомкнутость полусводов, арок. Зуб — нож — укол — смерть. Они сами — множество, и их функция — крошить — раскрашивать единое, поступающее в рот (пищу, воду, иль дыхание — на звук тот или иной «лбжить»).

Нос и носовая полость = небо над небом: влажное, оттуда дожди, грозы и гром (сморканье — трубный звук, а нос — *tuba mirum*). Ведь семь небес-то: небо над небом; потом еще глаза — небо солнца, чело — новая сфера; звезды — волосы (только нам лишь наконецники звезд-лучей видны).

Г л а с н ы е звуки образуются во рту без участия языка, значит, суть безличные *идеи чистого пространства* самого по себе. Гласные — звучание как бы «догрехопаденного» мира, до вхождения человека, а с ним — трения, шумов, скрежета зубовного языков. А, О, У, Ы, И, Е — тот или иной склад пространственного континуума, довременного (чувство времени вносит — «я»). Каждый из них — это в вечности пребывающий, домирный зон гностиков. В семитских языках (арабском, древнееврейском) тела слов состоят из согласных, ими в записи обозначаются человеческие смыслы; когда же меха слов надуваются, произносясь, входящими в них гласными, чрез них словно из бытия изливаются метафизические, трансцендентные содержания: оттуда несутся структуры, отношения, склонения.

У Аристиды Квинтилиана в трактате «О Музыке» (кн. II, гл. 13) рассуждение о мужественных и женственных звуках: «Вообще говоря, когда рот раскрывается широко и в то же время не столько в стороны, сколько вверх, звучание приобретает более значительный и мужественный характер. При нейтральном же и широком расположении звукообразующих органов произношение будет ослабленным и имеет женственный характер. Таким образом, среди долгих звуков мужскую природу имеет звук «о» (омега), поскольку он произносится при более округленных и поджатых губах, в то время как звук «э» (эта) имеет наиболее женский характер: при

его произнесении дыхание как бы расходится вширь и расслабляется... Из звуков с переменной долготой (дихронных) звучание долгого «а» (альфа) является самым «сильным» (пер. Э. Зильбермана, рукопись).

В «а» вертикаль подчеркнута. И недаром первый человек мужчина назван ADAM, а первая женщина — EVA, где подчеркнута горизонталь (хотя по-древнееврейски и она Хава).

Квинтилиан пишет далее о «различном употреблении этих звуков в диалектах, соответствующем характеру их носителей, а именно в дорийском и ионийском: дорийцы избегают пользоваться женственным «эта» и отдают предпочтение более мужественному "альфа"» (там же). И это факт, что в Элладе в войнах дорийцы, спартанцы брали верх над более женственными, близкими к ионийцам афинянами. И в России недаром централизация и объединение произошло не под е-якающими рязанцами, и даже не под окающими волжанами, но под акающими москвичами.

В с к л о н е н и и слово кланяется этим ипостасям космоса — гласным как мироуправителям. Недаром на Руси «гласными» назывались начальники, судьи, глашатаи. И немецкое *Vogt* — наместник, от латинского *vosce*, отчего и *vocales* — гласные. Им. п. «Стол /-/». «Стол-а»: поклон чистому открытому пространству, чьи мы все, кто наш родитель: это падение перед предками; поза — асана — падеж Родительный. «Стол-у»: склонение в глубину, от себя уход, падеж самоотдачи, жертвы—подавания, Дательный. «Стол-ом»: предмет есть не самость безграничная (как в Именительном), но определен, окружен, сжат, сбит, превращен в орудие, тварь-орудие творения форм, шаров, тел: асана — падеж Творительный. «Стол-е» поклон шири (недаром *Ablativus* от корня *latus* широкий, сторона), распростертость слова плашмя (положило себя, предложило, отложило) — поза предложения, падеж Предложный. «Стол-ы» («земл-и»): «ы» и «и» — идеи дали, множества, бесконечности, куда уходит слово от единства единицы, и т.д.

Язык с падежным склонением и без него — разница в кардинальной структуре национальных космосов. Значит, русский мир таков, что здесь имя (вещь), человек, индивид — не твердая самостоятельность, а есть в принципе склоняемость, ориентированность из людского на чистое бытие. И эта с ним спаянность входит

прямо в состав вещи и слова, а не есть внешняя связь, как в *аналитических* языках, где слово незыблемо, а привязки, суставы, шарниры меняются (предлоги) и подкладывают его в разные функции и контексты. Слово — человек здесь более в себе, в собственном Космосе человечества, труда, истории. Переходный склад Космоса в Германии: падежи есть, но мало, и главное изменение обособлено от слова в низкопоклонство приставной части — артикля: он склоняется, а слово относительно самостно, независимо.

Окончания рогов тоже не без значения. Мужеский — прямой, без склонения — окончания, огневой, вертикально вверх устремленный. Женский — *а*, открывание пространства чрез припадение вниз, вес и тяготение. *А* — самый сильный падеж = падение. Все остальные гласные зоны = склады Космоса — уже промежуточные. Таковым является *о* — срединность, обозначающее и средний род, то есть без-род, не-род оканчивающее. «О» — и шар, который есть образ Целого (бытия до раскола на полы — половинки), мировое яйцо и центр. «О», очевидно, — до мужского взмывания языка пламени вверх и женского припадания вниз, в «а». «О-е», окончания среднего рода, и по положению в пространстве суть звуки средней высоты, стяжения рта у центра своего.

При «*аканьи*» рот раскрыт: это вопрос — ожидание, вопросительно-доверчивое, впускающее (русская всевосприимчивость и всепонимание) отношение к миру (недаром переспрос — на этом звуке: «а?», «ась?»). В немецком языке не то, что «о» распускается в «а», но само «а» тяготеет к сворачиванию, замыканию во всяческих дифтонгах (au, ai) или к закрыванию дверцей-ширмочкой согласного: auf, aus, an, ein — основные здесь предлоги-приставки, тогда как в русском основные — с открытым «а»: «на», «по», «про», «за» и вообще с открытым гласным: «при», «вы». В немецком из множества продуктивных приставок лишь одно zu представляет собой открытый слог. Все это — замкнутость в себе, свой дом, Haus (в отличие от Raum, пространства), свое «я», захлопнутость двери, самодостаточность там, в Innere. Отношение к миру — не открыто-доверчивое, впускающее его самого, сколько оно влезет в меня входить, но отмеренное моим открыванием двери: сколько уж я впущу. Это отношение к миру упруго, наступающее, деятельное, при стяженности меня в кулак (der Faust) — Фауст.

В понятии ж мира — априорная подозрительность к бытию, в мышлении — критика (чистого разума и метафизики — Кант; природы духом — Гегель): пусть бытие оправдается, докажет себя перед судом рассудка нашего (Ver — stand = букв. «обстой», штанга). И если в русском языке по(н)ятие, восприятие — акты впускающие, приветливые, то в немецком они хватающие — Begriff, Auffassung, и меньше от приятия — nehmen: Wahrnehmen, Ver-nunft.

Если же гласный звук начинает слово, то и здесь немецкий язык не дает пространству втечь и выступить самому по себе, но предваряет его Knacklaut'ом — сильным «гортанным звуком, который напоминает короткое глухое покашливание»¹ — т.е. заранее отпор изнутри вовне дается: кашель — выброс нутра, струи воздуха — как выпад шпаги в пространство. Это активное заявление «Я» о том, что и в гласном оно тоже полагает «Не Я», а не дает ему самому по себе заявиться, предваряет его своим сигналом — кратким, т.е. из времени: Временем вводит Пространство.

Долгота и краткость гласных в западноевропейских языках имеет смыслообразующее значение, в отличие от русской аморфной длины звука: длительность не смысла, время в этом космосе не имеет значения. И в музыке: русская песня распевом славится — протягиваньем гласного звука в зависимости от настроения, от души, а не так, как в германском Космо-Логосе, где протяженность или краткость от души отделены, а суть формы объективного существования смысла, духа, рассудка, как готовые априорные стандартные длительности — кирпичи одинарные и двойные, как трубы и регистры органа. Но зато и строить в этом метрованном звуковом пространстве способнее — готические соборы-дома симфоний воздвигать: звук тверд, обожжен, огнеземеи, а не расплзается, как российская мать-сыра земля, так что опереться нельзя (текучи русские мелодии, и музыка не как постройка из кратких мотивов — ср. темы Бетховена, а как непрерывное распевание, мелодический поток: Чайковский, Рахманинов, Шостакович). Русская незначимость длительности звука и склонность растягивать речь — это Время в услуже-

¹ Г а д а Н.Г. и Б р а в е Л.Я. Грамматика немецкого языка. — М., 1946. — С. 9.

нии Пространства: ширь и даль здесь самостны, а время не обладает собственным строем и организацией, растекаемо. В германстве же Пространство прибрано и стяжено в энергетический волевой жизненный квант — во Время, в то, что при нас, при «я», в дом — Haus; здесь оно опрятно, измерено, культивировано, а духовное Пространство окантовано Кантом. В России же поля, леса немеряны.

С о г л а с н ы е — своевольные, тварное бытие, звуки вещества, материи, земли. Если гласный есть представитель пространства, то согласный — помещения, нашего дома, человечества. Образуются согласные мукой духа, прорывающегося сквозь теснины земли, от страданий души в плоти плену¹. Звонкие = увлажненные, материнские. Глухие = сухие, огненные, мужские.

Глухие взрывные — искры о камень, звуки-кресало, огниво о твердую землю («п», «т», «к»). Сначала смыкание, предел, тюрьма, заключение, замок. Потом вырывание духа на свободу, прорыв, брешь в стенё губ, в кремле челюстей зубчатых. Это звуки борьбы, энергии, свободы — против приплющиванья, падения, тяготения. Это звуки огне-земли, труда.

Глухие фрикативные — более гибкие, смирные, покладистые. Да и преграды им такой нет: нет запора, а засов полуоткрыт и струя воздуха, хотя и с некоторыми уронами, все ж просачивается: «Ф», «С», «Х». Это звуки дыхания, стихии воздуха, ветра.

Труднее аффрикатам («Ц» = «ТС»): приняли на себя крест смычки, посредники между огнем (взрывные, смычные) и воздухом (фрикативные, трущиеся). «Ж», «Ш», «Щ», «Ч» — трение шумное, воздух-земля; мало воздуха, больше земли. «Щ» совсем ползает, сырое, стелется. «Ч» еще подпрыгивает к смычности, ковыля-

¹Согласные — из *consonantes*, букв. со-звучные, совместно звучащие, призвуки. Они примыкают к данному (в гласном) складу Космоса и тем предопределены; однако в них есть световое «с» — личностное, самостоятельное, опора свободы воли. Так что если я согласен — значит, с гласным, но не от него только пригнут, а и от себя к нему склонен. Согласие — *concordia* = со-сердие: единство у нас с Космосом через равноцентрие наше с ним, на одну мы ось нанизаны. Расхождение же — из различия, т.е. от лиц разных («с» — на лице, в глазу помещается — свет), ипостасей; т.е. — от конечностей разность и разноволие, а в сердце-центре-ядре мы одно.

ет, бесенок, черт. «Чаша» — сырой воздух, оседающий к сыроземле и ее тьме («ночь»). «Борщ» — недаром слово для симпозиума плодов земли, их вече.

Сонорные звуки «Р» и «Л» — с сугубым участием языка = «я», наиболее личностные, недаром даже слоги-образующими бывают, т.е. на правах гласных складывают космос: Р, Л — в сербском языке, например, а раньше — в старославянском: ВЪЛКЪ, СМРЬТЬ. Сонорные — почти гласные. Причем «Р» — мужская ипостась личностного начала: твердость, огненность, быстрыми вспышками и мелким суетливым биением дрожит; а «Л» — водяность, плавность, мягкость — женское начало.

Интересно продумать, в какой последовательности ребенок, входя в мир, входит в космос языка и осваивается в нем. Освоение со звуком — сигнал и симптом того, что определенное отношение с какой-то стороной бытия завязалось. И путь этот: от «А» до «Р». «А» — самый расслабленный звук, почти не отработанный обществом, естественный (недаром он детям — сигнал для опоражнивания — т.е. опустошения, открывания, выхода в открытое пространство — снизу, да и сверху, когда доктор ложечкой сверху наш сосуд и полость в пространство размыкает). Последними осваиваются «Л» и «Р». Это звуки пола. Подходя к ним, ребенок сначала пользуется некими их заместителями: вместо «л» — «в», скорее как английское билабиальное w («вошадь») — звук губной, что произносится безо всякого ведома «я» — языка, им безучастно, несамостно, а как ветер, воздух в некую природную пещеру, входит и выходит, завывая. Вместо «р» — «й»; («йбенок»). «Й», как и «в», — дуновение, но «в» — с животом-голосом, с напряжением диафрагмы, жизни животной, воды; а «й» — легкое, не из живота, а из легких, просто некое трение во рту производя и тем об идее возможного согласного (= свободовольного) вообще заявляя.

Ј и w — semiconsonantes, полугласные. Так, мой ребенок этим звуком замещал не только «р», но и «н»: говорил «йебо» вместо «небо». Когда подошла пора освоиться в своем поле и одновременно в личности своей и пошло дитя на штурм «р» — то сначала вместо него употребляется «л», чем подтверждается, что в начале существование цело, бесполо, и взаимозаменяемы потенциально мужское и женское. Затем начинается различие, но вместо «р» звучит некое задненёбное булькающее хрипение: «гх», картавость, как у Денисова в

«Войне и мире». Некоторые существа так и остаются ходить по свету с недовывяленным полом. Разный характер «р» у народов: грассированье, раскатистость, картавость, карканье, его яркость, глухость, помещается ли оно в переду рта или ближе к задку и низу — говорит о различных отношениях между передом и задом, между отцовским и материнским, между световоздухом-пространством, и землей, и водой. Глубокое, задненёбное «р» свидетельствует о большей связанности матью и веществом; легкое переднее, верхнее, русское «р» — воздушно-световое, растворенное в пространстве. Грассированье язычком в средней полости рта — о самочувствии личности, атомарности говорит.

Носовые «М», «Н» — небо, туман, мгла. Himmel, Nebel. То не звуки уж земли, а песни неба и даже занебесного пространства и влаги потунебесных космических вод. Это наименее личные из звуков: недаром усыпляющие они, убаюкивающие, на сон клонят, а во сне — истаивает наша личность. Насколько «р» — звук бодрствования, настолько «м» — звук сна. И недаром женское начало с него начинается: Мать¹. При произнесении «М» звучит просто закрытая полость рта как черный ящик, а что внутри — неважно. Влажный воздух, тяжелый протекает над закрытым куполом неба, как Океан обтекает не только шар Земли, но и весь мир, вместе с небом (см. у Тютчева: «Как Океан объемлет шар земной, Земная жизнь кругом объята снами»). Океан — и сон, и космические воды².

«Н» — более легкий звук, есть просвет и надежда; полуоткрытость рта, продох и большая сухость (чем в «м»). При «М» дрожит тяжелый низ в космосе рта, осевшие облака и роса, атмосфера облегающая. При «Н» дрожит верх, небо.

А что есть в русском языке оглушение и смягчение согласных? Оглушение: «сад» — «сат». «Д» — влажная огне-земля («дым») сохнет в струе воздуха и глохнет

¹ «Мать» при обращении слогов дает «тьма»: (ть)мать, (ма) + тьма, ма(ть)ма. «Материя» (философская категория) означает источно начало материнское и темное.

² Ребеночек в испуге бормочет: «Ой, я спать хочу, я спать хочу!», — что равно призыванию: «Мама!» Уснуть — вновь забраться в мать (смерть?) — ср. Гамлетово: «Умереть, уснуть...» И детское: «Ой, я спать хочу!» равномысленно мольбе одессита: «Ой, мамочка, роди меня обратно!»

на ветру и вдаль уносимая. Все глухие — домен воздуха (слух, ухо) и земли: об нее отдается, трется. Оглушение = выветривание слов и звуков, как пород.

А смягчение? Ведь *j*, «*ь*» — самые тонкие звуки, должны бы за материю огня представлять. Но, по слуху и по душе, смягчение воспринимается как овлажнение, орошение — женское воздействие. При смягчении рот расширяется слегка и приподнимается: всё облегчается, значит, состав вещества утончается, но не резко и не грубо (как если б сразу взметывалась материя земли вверх, образовывались бы пустоты и в эти поры воздух заходил), а постепенно, через ближайшее к земле посредство воды (а не более отдаленное — воздуха), и возникает легкая пламенность. Может, смягчение — огне-вода? Ну да: смягчение — нежность, ласка звуку, в воды Эроса его погружение¹.

Оригинальной (в сравнении с западноевропейскими языками) звучностью обладают русские действительные причастия: грозящий, ушедший — сии шипения, поползновения, шелестения воздухом о землю, причем смоченную, мать-сыру (о сухую землю трение дает «ф», «с» и т.д.). Большая трудность деятелю в России: только он огнем воспламенится и воспарит — как ветром его загнет, а тяга земли пригнет и окунет, загасить стремясь, и мука здесь огню средь сыро-земли, Петру на Неве, средь топей и блат² (ср. «Проблеск» тютчевский). Действительное причастие в западноевропейских языках: *frightening*, *gone* (англ.), *kommend* (нем.), *chantant* (фр.) — все на «Н», «НГ», «НД» — возвышенно-нёбны, небом благословенны действия с землей и орошены милостью: нет шипения. В русском языке аналогичной светло-небесной возвышенной музыкальностью обладают страдательные причастия на -енн, -анн, «испуганный», «сказанный», «благословенный»... Это

¹ Так что, если оглушение = выветривание, то смягчение = гидротермальная купель звуковым породам для их метаморфизма — палатализации.

² Засилье шипящих в польском языке, где даже «р» превращается в «ж» (*r — rz*), есть тотальное отсыревание, промозглость Космоса, тушение огня, шипенье искр, ветром в воду загоняемых. Необычайно сильна тяга и власть женского здесь начала сыро-земли, и не случайно именно здесь возмущенный дух мог так в негодовании оттолкнуться и взвиться, чтоб объявить это тяготение Земли неистинной и точку опоры поместить в Солнце (гелиоцентрическая система Коперника).

вознесение на второе (носовое) небо вверх. Напротив, страдательные причастия в западноевропейских языках имеют более жесткую, резкую, глухую, низменную звучность: *omatus, gesagt*; страдание здесь некрасиво, терпение не эстетично; прекрасно действие, и они на него благословлены естественным складом космоса — природой. Но природа и ее склад — лишь один и частичный регулятор бытия человечества, историй стран и народов. Так что еще бабушка надвое сказала: где, когда и что более бытийственно почтенно и всецелым благословенно...

Вдумываясь глубже в тот факт, что звуки языка — на в д о х е лишь произносятся могут. На вдохе получиться могут лишь «А» (вбирание, вхождение открытого пространства в нас) и «И» — втекание дали в нашу щель. Но «О», «У» суть звуки глубины, которую мы собой производим, вносим в бытие, даруем; «Е» — перед, лицо, личность; «Ы» — выдох, выход на мир, испускание духа, отверзание, распад «я», его растекание в мировой Океан.

Если бы звуки языка произносить на вдохе, тогда они были бы произведениями бытия в нас, нами, и носили бы его прямой свет, истину и идеи, мысли в себе. Но звуки и слова образуются, имея источником пещеру нашего тела, его очаг — огонь, сердце; очевидный и непосредственный импульс они имеют в нашем «я», суть наш выпад в бытие наугад, в свет — исходя из теней (все использую образ Платоновой Пещеры в седьмой книге «Государства». Человек — эта пещера и есть). Язык — не вклад Космоса в нас, а наш вклад в Космос: ему мы предварительно создаем модель в черном ящике рта и через мотор языка, сей двигатель там внутреннего сгорания («бьется в тесной печурке огонь»), — испускаем волны, тревожа мир¹.

¹ Вот почему такое бытийственно-онтологическое значение придается в Ведах и Упанишадах звучанию песнопения: «вач», «рич», «удгитха» — ибо это наш, от людей, вклад в Космос, сотворение новой стихии, отличной от присутствующих уже в природе четырех, — и она должна входить в мир и укладываться в нем соразмерно с остальными. И «Брахман» есть и высшая духовная сущность, и молитва, и жрец, ее творящий. Словесная молитва есть метеор, ядро, что взвивается в космос, чтоб, например, по утрам выводить Солнце на небо; и культ создает плазму, в которой могут жить и питаться боги.

Вот где корень проблемы *гносеологии*: не в нас бытие словом входит, а из нас слово на бытие выходит, и ему теперь нас понимать, а мы-то думаем, что, говоря, — познаем! Вот почему молчание = золото (эпитет Солнца): когда мы молчим, в нас бытие само вливается беспрепятственно золотыми лучами — и тогда мы истинно познаем, ибо внимаем. Когда ж говорим, мы выталкиваем снаряды слов и расталкиваем грубо их локтями бытие, отталкивая его от себя.

Так вот где источник независимости мыслей от звуков, духа от природы! В самом деле: сколь истинно то, что космос нашего рта, языка, настроен в резонанс с национальным Космо-Логосом, и вся физика там гнездится и имеет в разных точках свое представительство (что я и толковал до сих пор), — столь же верно, что мысль безразлична к словесности и звучности и может для своего выражения, в своих целях пользоваться любыми словами, совершенно абстрагируясь и не взирая на космические соответствия и привязи составляющих их звуков. В этом наша, человечества, свобода, независимость от природы.

Сентябрь 1966

Часть вторая

АНАЛИЗЫ

БОЛГАРСКИЙ И РУССКИЙ ОБРАЗЫ ПРОСТРАНСТВА И ДВИЖЕНИЯ

В высшем произведении болгарской литературы — балладе-легенде Христо Ботева «Хаджи Димитр» — очерчен силуэт пространства, как его моделирует болгарское миро-воззрение. То есть нас интересует не просто вещественное внешнее пространство, но одновременно и духовное пространство — видимое и устанавливаемое внутренним зрением.

В сердце Балканских гор лежит, истекая кровью, юнак-герой, павший в борьбе за свободу: «Лежит юнак, а на небе // Солнце остановленное сердито печет, // Жнея поет где-то в поле...»¹

Остановлено солнце в горячий летний полдень (время жатвы — высшее и центральное в жизни труженика гор — болгарского земледельца), и глядят друг на друга, замыкая мировое пространство, тело человека и шар солнца.

В русской поэзии аналогичную ситуацию мы встречаем в стихотворении Лермонтова «Сон»: «В полдневный жар в долине Дагестана // С свинцом в груди лежал недвижим я; // Глубокая еще дымилась рана; // По капле кровь точилась моя».

То же — да не то². Уже «полдневный жар» нечто совсем иное, чем «слънце пече». «Солнце печет» — это небесное тело действует: водружает вертикаль и своей определенностью отправивает пространство. У Лермонтова же дан определенный низ: долина, плоскость, а вертикаль размыта: «жар» — это марево, скорее обращенность в атмосферу, по сторонам а не вверх.

¹ Даю дословный перевод, так как стихотворный перевод А. Суркова слишком русифицирует текст и образы.

² Учитывая, что при сравнении двух подобных произведений отличия могут объясняться и индивидуальным своеобразием авторов, и разностью исторической, а не обязательно национальным образом мира, — хотелось бы корректировать свои соображения аналогиями и из других авторов, но место этого не позволяет.

Телесные ощущения передаются скупо русским поэтом и подробно болгарским: «потонул в крови, лежит и вздыхает... глаза темнеют, голова качается» — даже слишком много телесных ракурсов дано, чтобы они могли в представлении совместиться в одну позу, например, «потонул в крови», значит лежит плашмя — и «голова качается». Положение тела обозначено так: раз «на одну сторону забросил ружье, на другую — саблю, пополам сломанную», значит, лежит раскинувшись, распятый лучом солнца, а его телом крестообразно отграничены стороны света¹.

Ботев отмечает в своем герое молодость и цвет мужской силы. Мы ничего не знаем о возрасте и как выглядит со стороны герой лермонтовского стихотворения и его тело. У Ботева о герое в третьем лице говорится, у Лермонтова — в первом, но телесные ощущения, которые живее, естественно, я в себе знаю, чем он во мне, — почему-то Ботев через «он» передает чувствительнее, чем Лермонтов через «я». Возможно, для последнего они находятся за порогом восприятия и художественной проблемы. Напротив, лермонтовский герой как-то отрешенно смотрит на свое тело, словно на что-то чужое (вспомним Тютчева: «Как души смотрят с высоты на ими брошенное тело»): «оно» — то, что «не я». Если тело юнака потонуло в своей крови: он в ней как земля в мировом Океане, = то «я» лермонтовского героя словно издали взирает, как из него по капле течет кровь — что-то странное, чужое...

Итак, «я» ботевского героя сращено с его телом всерьез. Потому, чтобы вести о нем разговор, надо сразу заявить: «Жив е той, жив е!» («Жив он, жив!») Поэт создает космический образ вечно истекающего в горах кровью — вот откуда болгарских «потоков рожденье»! — но вечно живого телесного героя (близость к соседнему по Балканам, элинскому представлению Прометея на хребтах телесно мучимому орлом, — очевидна). И кончается стихотворение вневременной вертикалью: солнце — герой: «Но рассвело уже! И на Балканах // Юнак лежит, его

¹ Тело и все существо поэтического героя здесь толкуется не только как мера вещей, но и мироздания, то есть космически, как у индийского первосущества Пуруши, из расчленения которого создан мир и все разнообразие в нем.

кровь течет, // Волк лижет его лютую рану, // И солнце опять печет и печет».

Был полдень, и была ночь, сумерки и рассвет — и все же, обойдя круг, время в стихотворении как началось, так и завершилось горячим полднем. Время остановлено на вечной телесной жизни героя. У Лермонтова оно сразу остановлено на смерти: «И жгло меня, но спал я мертвым сном». Тут еще «мертвый сон» можно понять фигурально — но нечувствительность к телу очевидна. А в конце возлюбленной снится «долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той...».

Таковы отношения «я» героя с его телом. Не меньше различий в отношении этого «я» к миру. У героя Ботева «уста проклинают всю вселенную». Он к ней относится как к своей стихии, лично кровно заинтересованно — и потому не равнодушен к окружению, а проклинает (значит — любит) его. Он сращен с вселенной. Она продолжение его космического тела. И потому, когда болгарский поэт поет о бессмертии борцов за свободу, он в одно представление сливает бессмертие духовное: в песне, памяти людей — и лелеянье юнака лоном природы. «Тот, кто падет в бою за свободу, не умирает, его жалеют Земля и небо, зверь и природа, и певцы песни о нем поют... Днем ему тень охраняет орлица и волк ему кротко лижет рану. Над ним сокол — юнацкая птица, — и он о брате, юнаке, заботится».

Здесь он при себе, у себя дома. Мир — не чуждая арена, где умирает гладиатор и чей дом далеке (по горизонтали где-то), а вот он вокруг: космос — гигантская болгарская «къща» (дом, куща). И именно можно сказать: мир вокруг. Космос кругл: располагается по мировой вертикали, или эллиптичен — вытянут вверх по ней. Хотя нет — скорее кругл, ибо верх в ботевском стихотворении не только точка: солнце и месяц, но и плоскость, крыша — «свод небесный», на котором «звезды обсыпят всю вселенную»¹. И очень развиты и плотно заселены бока и стороны: Балканы, жница в поле, лес, зверь, волк,

¹ На юге небо высоко — звезды низко, в России же небо низко — звезды высоко.

сокол и видения того, что здесь, около и над ним: самодивы (русалки), дух Караджи.

А каково отношение лермонтовского героя к миру?.. Хотел сказать «вокруг», но осекся, ибо как раз не кругл мир «окрест»¹ (как Радищев взглянул в стороны и дали России) него, но скорее эллиптичен, вытянут и разомкнут по горизонтали. В самом деле: над ним и вокруг него вроде тот же космос, что и в ботевском стихотворении: полдень, горы, «И солнце жгло их желтые вершины // И жгло меня — но спал я мертвым сном». Тоже установлена мировая вертикаль, но он лежит, словно отвернувшись от нее, не замыкая ее на себя, а отворачивая, преломляя падающий на него луч — куда-то вдаль, в сторону, вбок: «*Под* ним струя светлей лазури, // *Над* ним луч солнца золотой. // А он, мятежный, просит бури...» В «Парусе» та же структура духовного пространства: отрицается устойчивость и блаженство вертикали («под» и «над» так хорошо!) и утверждается тяготение вдаль («мятежный» и мятется, как метель).

Итак, в стихотворении Лермонтова «Сон» тот же космос, что и у Ботева, подан как совершенно чужой: «Лежал один я на песке долины; // Уступы скал теснились кругом, // И солнце жгло их желтые вершины // И жгло меня — но спал я мертвым сном».

Солнце может иметь прямое отношение к «ним»: к вершинам, к лазурной струе — это их частное дело, — но как только с тем же отношением обращается ко мне, тут уж номер не проходит: я отворачиваюсь и сплю и уношусь мыслью прочь: «И снился мне сияющий огнями // Вечерний пир в родимой стороне». Герой Ботева телесными очами и всем существом относится к тому, что вокруг и здесь, — а тут «я», оставив мертвым хоронить мертвых: и свое тело, и мертвые (т.к. чужие) долины, вершины и солнце, — духовными очами, сновидением уносится в сторону = в *страну* родную. Не случайно русский язык обозначает землю, «территорию», на которой (т.е. вертикально, казалось бы) располагается население, — как бок, как сторону («родимая сторонка»). Значит, глубоко во внутреннем самоощущении народа как родные, ему присущие вос-

¹ Вот пример того «дразнения», каким один естественный язык зацепляет странности для себя в чужестранном образе мира и через которые они взаимно самопознаются.

принимаются именно горизонтальные тяготения: что ему пристало располагаться вдаль, вширь, «ровнем-гладнем» (Гоголь). Недаром и «божий человек» в России назывался — «странник».

Какая же точка времени избрана как основная и интимно присущая русскому миру? Не забудем, что это сон — как, кстати, и «Хаджи Димитр» тоже по жанру есть сон истекающего кровью героя. А сны если и обманывают в плане конкретно-практических приложений к дневной жизни этого человека, верно выражают интимный образ сущности мира, как она представляется этому человеку (народу). Потому для выявления национальных моделей мира анализ классических в литературе данного народа снов — чрезвычайно плодотворен, ибо в них (что у трезвого на уме, то у пьяного на языке) высказывается неосознаваемое. Итак, если в болгарском стихотворении — вертикаль полдня и рассеянная плоскость суммарно взятой ночи, и обе поры даны как свое, присущее время, как свой дом во времени, то русскому, в окружении чужого времени — полдня — снится вечер = тоже сторона, бок суток. Сумерки, заря утренняя, и «звезда печальная, вечерняя звезда», чей «луч осеребрил» (т.е. свет как распростертый блеск, на плоскости дается, — ср. также «кремнистый путь блестит», а не точечно: как укол луча по вертикали), — именно эти грани света и тьмы, моменты восхода и захода, когда светила располагаются на горизонте, вдаль, — наиболее говорят русскому мировоззрению. Примеров больше не привожу, ибо их не счесть.

Что же совершается в этом, своем, родном пространстве и времени: в родимой стороне вечером? «Меж юных жен, увенчанных цветами, // Шел разговор веселый обо мне». То есть было его присутствие, выходит, там существовало его «я». «Но в разговор веселый не вступая, // Сидела там задумчиво одна». Только было мы уловили точку его твердого присутствия, вертикального укоренения в бытии, как на нас надвигаются те же «но» и «один», — как и там, где его тело, в долине Дагестана. Значит, и здесь мнимо его присутствие. И то существование, которое здесь, в этом тоже, оказывается, чуждом окружении, единственно равно ему: «она» — как душа его истинная — в разговор не вступала — так же как там его «я» равнодушно смотрело на кровоточащее свое тело и горы, и долины кругом, не вязко было с ними слито. «Разговор о» нем в отношении к «ней» функционально равен отношению его тела и его «я» там. Он

истинный — столь же мало и мнимо присутствует в разговоре о нем, как там он не вязко слит со страданиями его кровоточащего тела.

«И в грустный сон душа ее младая // Бог знает чем была погружена».

Ее = его душа теперь пребывает также отвернувшись (как недовольная «душенька» старухи в «Сказке о рыбаке...» Пушкина) и от этого, теперь, вроде, родимого космоса. Значит, и здесь она не при себе: ни в одной вертикали, точке и ни при каких корнях, ибо ей в любом месте присуща, родима именно — *сторонка*. «И снилась ей долина Дагестана; // Знакомый труп лежал в долине той».

«Знакомый» здесь означает «живой». Ибо и там и там окружение — чужое. И хоть он умирает, а это остается: скалы, свет, жар, пустое веселье и слова, — оно все безжизненно и мертво: это мертвые скалы, свет, жар, веселье, слова. Лишь во взаимной думе, обращенности друг к другу мыслей и любви — подлинное присутствие. Не жизнь одного, но *взаимная* жизнь — это и есть истинная единица, монада бытия¹.

Итак, круг замкнулся. Нет, не круг, а именно эллипс, вытянутый по горизонтали. Действительно, в пространстве этого стихотворения два фокуса — как мнимых центра и средоточия: «я» в долине Дагестана и «она» на вечернем пиру. И оба глядят в сторону друг на друга (а не по вертикали, как юнак и солнце в болгарском космосе). И здесь главное — не замкнутость, определенность пространства с боков (как в болгарской картине — замкнутость его с верха и низа), но именно эта идея неприсутствия в точке и открытости в даль.

Соответственно в русской логике основное определение и формула: «э т о (в с е) — н е т о, а (ч т о ?) ...», т.е. как бы отказ от о-предел-ения = ограничения и вопро-сительность, а не утвердительность «что».

¹ В ботевском стихотворении тоже присутствует *она*, милый женский образ. Но он *здесь*: над ним и вокруг него: «И самодивы в белых одеждах, // Чудные, прекрасные, песнь запевают, // Тихо спускаются на траву зеленую и, подойдя к юнаку, садятся». Это — чувственный рай, населенный гуриями. То же самое и в заботах природы о юнаке: «Днем ему тень охраняет орлица // И волк ему кротко лижет рану», — фиксированы ощущения тела: блаженство представлено как турецко-болгарский «кейф».

Ибо замкнутость, симметричность хоть и встречается у Лермонтова («Утес» и Тучка золотая, «Сосна» и Пальма), но это та грань его, которая ближе к западноевропейской поэзии (недаром «Сосна», перевод из Гейне — как раз для немецкой гносеологии характерно равновесие антиномий: с одной стороны — с другой стороны).

Образ пространства у русских художников скорее асимметричен, и его лучше представить не в виде эллипса (как раз замыкания, пределов, сведенности концов с концами тут нет), но в виде о д н о н а п р а в л е н н о й бесконечности: $\rightarrow \infty$ (вспомним «Над вечным покоем» Левитана: низкое, плоское небо и завораживающая даль). Последняя присутствует в каждой стороне и этого стихотворения «Сон», если бы они были разведены, не гляделись друг на друга. Так это, например, в «Эхе» Пушкина: «тебе ж нет отзыва...» — от «я» импульс уходит в безответную даль; или как Гоголь вопрошал Русь: «Куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа...»; или в «Парусе» того же Лермонтова...¹

Герою русского космоса иногда тоже является мировая вертикаль — и тогда это грандиозное (ибо редкое) событие прозрения. На поле Аустерлица князю

¹ Той же логикой горизонтальных тяготений продиктована реакция русского царя Иоанна IV на уговоры Максима Грека не ехать с женой и младенцем на богомолье в Белоозеро (в выполнение обета, данного в болезни), а творить угодное Богу, оставаясь на месте: лучше устроить вдов, сирот, матерей, обесчадевших после казанской осады, «утешить их в беде, собравши в свой царствующий город, чем исполнить неразумное обещание. Бог вездесущ, все исполняет и всюду зрит недремлющим оком; также и святые не на известных местах молитвам нашим внимают, но по доброй нашей воле и по власти над собой». Этот рассказ А. Курбского (цит. по «Истории...» С.М. Соловьева. — М., 1960. — Кн. III. — С. 532) проясняет, почему в России не органичен был бы протестантский вариант христианства (укоренившийся в плотно населенных странах Запада), предполагающий прямые, «вертикальные» отношения человека и божества — без посредников в виде лиц, образов и мест. Если Бог, бесконечность, «там» — вверху, то до него равное расстояние от каждой точки на земле, и можно общаться с ним, оставаясь на месте. Если же бесконечность и «там» располагаются вдаль — то к ним надо идти, во всяком случае, непременно уйти, сняться с места (которое обретает фетишистский характер «заколдованного места») — ср. уход Льва Толстого. И бесконечность и истина в итоге осуществляется и достигается не в точке (определенном месте), но в вечном пребывании в пути. И потому для русского царя были не убедительны доводы более европейца Грека, внятные уже и поселившемуся в Литве князю Курбскому, — и он упрямо отправился в путь.

Андрею открылось небо. Также и пушкинскому про-року открылся «И горний ангелов полет, // И гад мор-ских подводный ход, // И дольней лозы прозябанье» (хотя учтем, что у Пушкина это библейский мотив — именно иудейским патриархам и пророкам часто явля-лись столп и лестница мира). Но, как и князю Андрею, бесконечность мира разверзлась как бездна и верти-каль лишь на миг, — и то для того, чтобы побудить его, нося ее теперь в сердце своем, идти в даль и *обходить* моря и земли¹. То же самое и лермонтовский пророк, который живет в пустыне, «как птицы, даром божьей пищи», т.е. в таком же слиянии с природой, что и ботевский юнак: «Мне тварь покорна там земная; // И звезды слушают меня, // Лучами радостно играя», — все же, как в ему присущих действиях, показан тогда, когда из городов бежал он, нищий, или «когда же через шумный град» он *пробирается* торопливо...

В сопоставлявшихся стихотворениях Ботева и Лер-монтова болгарский и русский космосы представляли еще в статическом состоянии: лишь в своих потенци-альных напряжениях и тяготениях. Теперь же нам предстоит уяснить болгарский и русский образы дви-жения.

Какой же вид приобретает в болгарском космосе восстание?

Лучший ответ на это дает поэма Гео Милева «Сен-тябрь» и ее сопоставление с ее старшими духовными братьями в России: «Двенадцатью» Блока и «150 000 000» Маяковского.

Сразу обращают внимание цифирные названия в России и календарно-земледельческие в Болгарии: сен-тябрь — месяц жатвы, обильных (жертво)приношений плодов земли небу. Болгарская схема — это восстание покрова земли, выпрямление во весь рост, пробивание потолка неба, ибо созрел плод гнева, — и погром, жат-ва, вихрь и пули, проносящиеся по горизонтали и ска-шивающие. Идут — враждебные силы: войска, вихрь. А народ — встает.

¹ Национальный образ пространства прекрасно выражает язык. Например, болгарское слово, соответствующее русскому «приблизительно» — «горе-долу» (буквально: «вверх-вниз»). По-мимо того, что «близить» — горизонтально направленное дви-жение, сама приставка «при» еще указывает на бок, подход к точке со стороны.

В России — почти обратная схема. Ветер и Двенадцать — идут, а «на ногах не стоит человек». Это нечисть вертикальна или пригибается («стоит буржуй на перекрестке...»). У Маяковского так вообще космический поход, словно переселение вселенной: «Идем! Идемидем! Не идем, а летим! Не летим, а молнымся!» В первой главе, изображающей сбор в поход, на нас обрушивается орда глаголов. Какие разнообразные движения на просторах России могут совершаться! — вот что обозревает поэт.

Ход мысли в первой главе поэмы Гео Милева¹ таков: «Из темных долин всех гор дебрей пустынных голодных полей... по путям поворотам... чрез межи и холмы глухие овраги... камнепады воды... луга сады нивы... болота (какие? — Г.Г.) оборванные грязные голодные... без роз и песен... на спине с тряпичными торбами в руках — не с блестящими шпагами, а с простыми палками... старые и молодые ринулись все отовсюду — как выпущенное стадо слепых животных... (за ними — ночи окаменелый свод) полетели вперед без строя неудержимый страшный великий НАРОД» (курсив мой. — Г.Г.).

Выписка ясно показывает, что важно для болгарского поэта. У Гео Милева преобладание имен: существительных и прилагательных. Болгарский поэт отвечает на основные для болгарского мировоззрения и восприятия человека вопросы: «Кой си? Отде си? Какво работиш?» (Кто ты? Откуда? Что делаешь?) — и дает подробное описание и перечисление: кто и какие это люди. В центре внимания — твердые вещи, индивиды — неделимые, но разъемлемые: соединяемые, но не сливаемые, не переливаемые друг в друга. Для русских же поэтов — «дело не в личности, братия», как писал Демьян Бедный, а в ее «занятиях» («Личность может переменить занятия»). Предметы, личности взаимозаменяемы. Потому мало имен: «Что в имени тебе моем?» А у болгарского поэта лишь в конце главы появляются два глагола: «ринулись... полетели» — бедновато. Но это естественно: разнообразие горизонтальных движений мало ведомо Болгарии. Зато какое поразительное обилие и любовное ощупывание и перечисление всех

¹М и л е в Г е о. Избр. произведения. — София, 1960, — С. 54–78.

мест и местечек — тех котловин, где люди вырастают вертикально во круге своих домов и сел!

У поэтов России сразу дается общее марево Двенадцати, Ста пятидесяти миллионов, и потом уж оно более или менее расчлняется на голоса. У Блока вихрь голосов дан сразу, в первой главе, — но это перезвон ветра, звучание марева, а люди предоставляют мировому оркестру только свои глотки для извлечения звуков: люди — *проходные*. У болгарина же место и люди — *исходные*, первоначала, отделенные друг от друга, самостоятельные, устойчивые целостности. Их акция: они стекаются на собор¹, а не собором, артельно прут в космос, за рубеж. Поэт словно дает макет разнообразной и миниатюрно расчлененной поверхности, тела Болгарии: с незаоблачными высотами ее гор, обозримыми долинами, маленькими извилистыми речками — все по мерке человеческой! — и выковыривает, выколупливает из каждой котловины² по человечку. Но самодовлеющее бытие индивида и его дома — та данность, с которой начинается дело. Вот почему не с числа, а с *перечисления* начинается болгарская поэма.

В характеристике людей очень дифференцировано состояние тела и одежды: ведь одежда — это дом, «къща» на человеке. Не унизительно для земледельчески-скотоводческого народа звучит и сравнение с выпущенным стадом (что оказывается за порогом русского художественного сознания, которое восприняло бы это как унижающий духовность человека «биологизм»). Правда, Ботев в стихотворении «Георгиев день» перенимает русское отрицательное восприятие стада и бе-

¹ «Собор» — праздник местностей в Болгарии: каждое село имеет свой день, когда земляки, где бы они ни жили и ни работали — в Софии, в Добрудже, в Родопах, — стекаются в родное село.

² Советский поэт Владимир Соколов обратил внимание на «приземисто малый рост» болгарских церквей, что связано было с тем, что турки запрещали болгарам строить слишком высокие церкви. «А церкви нет-нет и рождались. Но чтоб сохранить высоту, они в глубину зарывались, в земную, в родимую ту. Церквушки невидные эти, две трети тая под землей, казались пониже мечетей, а были повыше иной». Здесь этому явлению дано историческое объяснение, но оно связано вообще с болгарским способом организации пространства: сила и красота Болгарии — во вращении, пускании крепких и разветвленных корней в той или иной котловине — нижней стороне закругленного болгарского космоса.

рет эпитафия из Пушкина: «К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь», — но в ходе стихотворения сказывается интимное ощущение народом овчаром стада овец и симпатия и сострадание к нему, а не отвержение.

В поэме Гео Милева вы получаете четкую ориентированность в объемном пространстве: «из» — вертикаль, «по» — горизонталь, «через» предполагает глубину, плотность. К объему чуток болгарский поэт и в подходе к человеку: показывает, без чего он, с чем, что на нем, что в руках, — та же объемная ориентированность пространства при постройке образа человека сказывается уже как скульптурность. Наконец, обрамляют это истечение и стечение народа образы *утробы* и *свода*: «Ночь рождает из мертвой утробы вековую злобу раба» — первые слова поэмы, а «зад тях — на нощта вкаменения свод» («за ними ночи окаменелый свод») — слова, почти завершающие первую главу. Это создает ощущение космоса как внутренности, полости шара. Тут же, через строчку, в начале второй главы устанавливается вертикаль как ось этого мира: то «Подсолнухи взглянули на солнце», — что напоминает взаимное лицезрение юнака и солнца в «Хаджи Димитре», солнца и мальчика под мостом в новелле «Жаркий полдень».

Само восстание изображено как вздымание «тысяч черных рук — в красный *круг простора*». Образ — совершенно алогичный для русского сознания, у которого «простор» автоматически вызывает образ безбрежного пространства: простор — даль и ширь, но не круг. Вспомним гоголевский образ России как *необъятного* простора. А «круг простора» — есть как раз объятие необъятного.

Кульминация восстания — удар по миру, и подан не как удар с размаху и наотмашь, а как провокация людьми неба на удар грома и молнии: знаменами чешут его — «вознесли вверх в порыве красные знамена», а потрясая воздетыми руками, выдаивают из него силу небесную и карающую: «Блеснула над родными Балканами, воздвигшими столб («пып» — «пуп». — Г.Г.) против неба и вечного солнца, молния, — и гром хряснул прямо в сердце гигантского столетнего дуба»... не в вершину, не в ствол, а в сердце — даже дуб видится как полость. Удар с неба совершился («Камень пал с неба» — излюбленная пословица и структурный образ

в сатирах Ботева, Смирненского) — и растекается по телу Болгарии.

Снова следует перечисление: «быстролетнее эхо понеслось на холм вслед за холмом далеко чрез вершины громады к стремнинам долинам в каменные дупла... и эхо слилось с далеким рокотом водопадов... с громом рухнувших в бездну». Это перечисление аналогично первоначальному, только тогда из, а теперь в — и в итоге опять шар прорисовался, замкнулась внутренность мира.

Наконец, когда жестокость борьбы достигла предела, тогда «осень полетела дико разорванная в свисте (букв. «писки», не «свист» — не та труба пространства. — Г.Г.), вихре и ночи... кровавый пот проступил на спине земли. В ужасе и трепете *припали* к земле всякая хижина и дом. *Погром!* Треск проткнул небесный свод». Выход в бесконечность совершился — как в верх мира. Но при этом пробили *дно* в небосводе — «продьни».

В России вихрь, буря разбрасывает или собирает людей, как листья, и само восстание есть вихрь, поход. Вихрь у болгарского поэта заставляет людей глубже врасти в землю, ибо вихрь, горизонтальное движение — атрибут черной силы вторжения: это направление залпов. А земля, напротив, вздыбливается людям навстречу, вверх, и павшие жертвами — словно капли «кровавого пота земли». (Вспомните блоковский образ «лузрей земли» — человека, как чего-то более воздушного, невесомого.)

«Народ» называется болгарским поэтом «бури яростный плод» — рифма и образ, странные для русского сознания, где народ, мир, собор — это то, что сразу дано как первоначально, и именно буря есть его плод, результат его движения. Точнее, народ и вихрь даны как тождество. Здесь же образ плода естествен. Перечисление в первой главе, сбор народа из разрозненного — это как стебли поднимаются, готовые на жатву. Народ чувствует себя единым, совокупным именно в жатве, жертве. И это — важная черта болгарской картины мира. До недавнего времени в Болгарии, в общем, было так: болгарин пускал корни, трудился, порождал дом, детей, виноградник и т.д., опираясь на усилия своего семейства или рода («задруги»). Круг своего бытия болгарин ощущает уже как село, городок — осенью, зимой, то есть уже не в работе, а в отдыхе, веселье:

тогда время свадеб, именных дней, множество праздников земледельчески-религиозного календаря. Но для веселья, радости достаточно объема села, городка (все-народным бывает уже не веселье, а ликование, торжество): болгарин чувствует себя в нем не Ганевым, а брациговцем, копривщинцем¹. Нет еще основания чувствовать себя болгарин.

Это чувство приходило от вторжения чуждой силы: турок, греков — унижающих не Ганевых за то, что они Ганевы, и не брациговцев за то, что Брацигово плохо, но людей именно как народную целостность — за то, что они болгары. На эти импульсы и реагирует чутко болгарин, и малейшее прикосновение, боль где-то вдалеке — доносится во все концы. Ведь тело страны плотно, и «молекулы» переплетены друг с другом разветвленнейшими родственными и земляческими связями.

В болгарской литературе много изображений зверств, крови, ужасов: «Несчастное семейство» Друмева, «Под игом» Вазова, «Записки о болгарских восстаниях» Стоянова, «Сентябрь» Гео Милева, «Хоровод» Страшимирова и т.д. И когда болгарские мотивы проникли в русскую литературу («Кирджали» Пушкина и рассказ о детстве Инсарова в «Накануне»), в ткани русского повествования особенно ощутима экзотичность телесно-кровяного элемента: называние зверств своими именами. (Русское сознание и литература в этом проявляют ту же стыдливость, что и в телесном выражении горя, как об этом уже говорилось выше.) И не в том дело, будто они больше мук испытали или жертв в борьбе принесли, чем другие народы. Но у русских, например, у которых, как поля немереные, так и гекатомбы жертв несчитанных, — «безымянные на штурмах мерли наши» (Маяковский). В Болгарии же в каждом селе, городке есть или «костница», или читится «лобное место» одного или нескольких героев или просто павших² — все имена известны и на счету. Здесь имена важны — как учтенность имен существи-

¹ Брацигово, Копривщица — села-городки в Болгарии (как «полис» = город-государство в Элладе).

² Так, в церкви села Батак, где во время Апрельского восстания 1876 г. было вырезано башибузуками почти все село, 1 мемориальной записи стоят рядом слова: «геройски загинали» «зверски избити» = «геройски погибли», «зверски перебиты» — как выражения синонимические.

тельных и прилагательных в начале поэмы Гео Милева. Но весь секрет в том, что в России бывает не видно и огромное, а в Болгарии остро ощутимо и малое — причем ощутимость пропорциональна не только величине боли, но и плотности тела, по которому она распространяется.

И в поэме Гео Милева восстание изображено во многом как «клане» — избиение. Если русские изображения народных восстаний — даже жестоко подавленных: Разина, Пугачева (значит, дело здесь не в том, что болгарские восстания оканчивались поражением, а русские бывали победоносными, но в том, что запомнилось и поражало народное сознание), — акцент делают на их метании по России и сметании ими встреченного на пути, на том, как славно они погуляли, что мять, — то болгарский акцент в изображении восстания — на *смятении*.

Образ жатвы и жертвы — здесь основной. «Непрестанно носится ужасный марш топора — ударов о кость. Запахло живым мясом», и страна названа «кровавый курбан богов». А «курбан», как поясняет Сава Чукалов в болгаро-русском словаре, значит — «(араб.) нар. 1. Устар. Жертвенное животное. 2. Рел. Обрядное угощение из жертвенного животного. 3. Перен. устар. Жертва (обычно — невинная)». Снова страна — как сбитое тело. И закономерно является *один* герой, воплощенный Сын Матери-Болгарии: поп Андрей выпрямляется во весь свой страшный рост и виснет на «черно бесило» — на виселице, как дьякон Васил Левский в стихотворении Ботева. Выпрямляется и виснет — движения по вертикали вверх и вниз — те же, что отмечались выше в символике восстания: прободение неба и ответный удар в землю.

У Блока 8 из 12 главок поэмы начинаются образами движения в пространстве: 2. Гуляет ветер, порхает снег. 3. Как пошли наши ребята. 4. Снег крутит, лихач кричит. 6. ...Опять навстречу несется вскачь. 7. И опять идут двенадцать. 10. Разыгралась чтой-то вьюга. 11. ...И идут без имени святого. 12. ...Вдаль идут державным шагом...

У Гео Милева первые стихи в девяти из тоже двенадцати главок поэмы обозначают изменение *состояния*, т.е. движение во времени: 1. Ночь рождает из мертвой утробы. 2. Ночь рассыпается блесками. 5. Народ восстал. 6. Блеснул над родными Балканами. 7.

Начинается трагедия. 8. Первые пали в крови. 9. Войска наступали. 10. Осень полетела. 11. Тогда настало самое ужасное.

Точнее: и здесь некоторые стихи, кроме времени, обозначают и движение в пространстве, но автор озабочен последовательностью событий: что после чего — а это совершенно не важно русскому поэту, который передает одновременно и разнонаправленно движущиеся пласты, ритмы, голоса бытия в революционном вихре. У него даже временные обозначения: «и опять...» — суть вынужденный временным искусством слова способ передачи того, что рядом, через то, что после.

И это различие вполне соответствует русской и болгарской структуре мирового пространства. В определенной, замкнутой и плотной Болгарии движение уходит в рост, во время: это — движение, создающее органическое тело, а разные моменты движения — фазы созревания. Его модель — вырастающий *стебель*. А модель русского движения — *дорога*. Это основной организующий образ русской литературы. И не даром дороге предоставлен особый голос в поэме Маяковского: «Дорогу дорогам! Дорога за дорогой выстроились в ряд. Слушайте, что говорят дороги».

КОСМОС ДОСТОЕВСКОГО

У Достоевского исследовали: мысли его и героев; идеологию; его как психолога души человеческой; структуру его романов (полифония и диалогизм — по М.М. Бахтину). Телесность же, материя, предметность его мира как-то оставалась без внимания¹. А разве это все без значения, что у него город, сыр, белые ночи, нет животных, есть кухни, углы, перегородки, пауки, вонь, лестницы, чахотка, эпилепсия, нет матерей, есть отцы, нет рожания, нет Кавказа, нет моря, но есть пруды? Т.е. не только то, что есть, но и минусовая материальность, т.е. вещи, которых у него нет и которые есть у других русских писателей и значащи в контексте русской литературы, — все это тоже есть голос и смысл. И эта предметность есть не просто наполнитель структуры, — нет, она идейна, есть тоже полноправный голос в полифонии Целого. Ибо тела, вещи — духовно не бездарны, но сочатся духовными смыслами, суть тело-идеи.

Читать Космос (в эллинском смысле — как строй мира) Достоевского мы будем на древнем натурфилософском языке четырех стихий. Представим: если бы Эмпедокл воззрелся на мир Достоевского, как бы он мог его прочесть?

1. ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ПРИРОДЫ. ГОРОД — ЧТО ЕСТЬ?

Почему у Достоевского нет природы и пейзажей, а все сосредоточено в городе, и что бы это могло значить? При-*рода* нам *рог*-ная. Здесь нет отчуждения. Среди природы у человека рассасывается чувство своей особенности и уникальности в бытии — то, что остро обступает в городе, так как человек там — единственное живое, природой рожденное существо-организм среди искусственного мира механизмов — окружающего, но не род-

¹ Если не считать сочинения В.В. Вересаева «Живая жизнь», ч. 1, О Достоевском и Льве Толстом. — М.: Недра, 1928.

ного (ибо он не рожден в -гонии, а сотворен трудом в -ургии)¹. Достоевскому нужно это отлучение от природы, чтобы, порвав пуповину с братской средой, накоротке замкнуть людей лишь друг на друга, создав тем самым громадное напряжение, вибратор, усилитель для разглядывания малейших внутрличовеческих душевных поползновений². Город ему нужен принципиально, чтобы очутить человека без иных родственников в бытии, кроме себе подобных: только *род* людской есть родня ему, а не природа, — и поэтому у него монотема: человек и судьба человечества в вакууме безжизньи и на чужбине вещества.

Толстой, напротив, отводит в небо (Аустерлиц князя Андрея) и в землю (травинка в запеве к «Воскресению») межлюдские напряжения. Человечество у него разомкнуто в природу = родную. У него и у Пушкина, у которого природа тоже входила в диапазон мироучета, бытие всестороннее, но зато и ослабленное, ибо больше веществ, видов = идей, предметов. У Достоевского — никаких видов, сплошная невидаль (туман, ночь), никаких пространств наружных (пейзажей), — зато мир сил и энергий бродит в отрыве от масс. У него, как в динамике, сила и время — вот категории. Он создает динамику Психеи, Мировой души в ее воплощении в человеческую, посереде Космоса (мира Божьего, которого он не приемлет, — ср. Иван Карамазов) и Логоса (рассудка, «Арифметики»). И при изоляции от пространства настолько же усиливается отнесение себя к току времени. (Потому, кстати, так разукрупняется время действия у него в романах: за одни сутки чуть не вся драма, пол-«Идиота» — за ночь.)

Но отречение от содействия и соучастия пространства в России — стране пространств (ср. Гоголь: «что пророчит сей необъятный простор?») — это воистину уму непостижимое *святотатство*: именно на свет и снег покусился и затмил их нутренностью, кишками — ду-

¹ «-гония» (от греч. *goné* — рождение) — возникновение естественное, через порождение в Эросе; «-ургия» (от греч. *ourg-eg* — суффикс деятельности) — становление искусственное, творение, труд.

² Кстати, потому физика микромира, развивающаяся в XX веке, стадально аналогична подходу и эксперименту Достоевского над человеком.

шами человеческими. И это Достоевское богохульство против «русского бога» (что, по слову Пушкина, в «грозе двенадцатого года» «нам помог») сопоставимо разве лишь с Петровым = каменным¹ насилием над природной Русью, когда он ее обрезал, укоротил и согнал в каменный град на болотах, создав мифологему воды и камня как новый сюжет русской истории (слушай ее в «Медном всаднике» и «Железном потоке»). Потому Достоевскому органически нужен Петербург, как пуп его мира, средоточие Психо-Космо-Логоса по-достоевски. Даже в Черемошню и в уездные городки русские он выходит с фактурой Петербурга, как Николай Чудотворец с градом-храмом на руке: та же там петербургская погода (туманы, дожди, слякотный снег) да тесные улочки, дома, да залы и заборы — аналог городских стен.

Средь природы в человеке — естественность и непринужденность. В городе — свобода и (иль) необходимость. В природе — до- и бес-субъектно-объектное расчленение бытия и человека, докантово, додостоевское² пребывание в натуральном («догматическом») доверии, в единстве и синкретизме бытия и мышления: нет еще критики, и гносеологическая проблема еще не возникла, в отличие от онтологии.

А вот он, Кантов бунт Ипполита в «Идиоте»: «Для чего мне *в а ш а природа... в а ш и восходы и закаты солнца, в а ш е голубое небо* (перечислены главные антагонисты миру Достоевского: небо и солнце. Нет неба у Достоевского: он отвернут к закоулкам города, взгляд его вниз и вкось. Нет и солнца: ни как света, ни как глаза в небе — лишь «косые лучи заходящего...»).

Ну да, излюбленные им белые ночи есть бессолнечное марево света, безглазый свет, пелена, бельмо на глазу сокрытого полярного солнца. Это свет без своего субъекта, атеистический свет, *когда весь этот пир, которому нет конца* (и это враждебная идея: бесконечность, ибо она есть рассиропливание, противник силы, которая набирает себя именно по мере сгущения, окончечивания (не)бытия в существо,

¹ Petra — камень (греч.).

² Об их аналогичности см.: Г о л о с о в к е р Я.Э. Достоевский и Кант. — М., 1963.

вещь, жизнь единичную. Так что смертность и конечность человека есть предусловие того, что он становится энергичным сгустком сил и ареной их динамики. Бытие вгоняется в человеке в угол — основная геометрическая фигура у Достоевского — и там, в своей западне, где ему уже некуда деться, вынуждено признаваться на исповеди, из Психеи выжимаются ее секреты, она забилась-затрепыхалась в пульсации — в романе как на экране. И для постановки этого эксперимента сотворяется такая камера обскура, как Петербург Достоевского), *начал с того, что одного меня счел за лишнего?»*¹ Вот ключевая фраза. Но все тут наоборот: не меня природа выкинула, а я ее отринул, самолишениец. Но этой жертвой, в этом акте обрезания пуповины, я добываю свое Декартово «я», на котором далее все будет строиться. Не мир-пир начал с того, что одного меня счел за лишнего, а я (персонаж мира Достоевского, и сам его демиург, Бог-Творец-автор) начал с того, что мир счел за лишнего («мира Божьего не приемлю»).

Итак, учинен отрез от природы, от матери(и), ибо *при-рода*, как рождение, есть материя. Город — мужское, отец. Природа — женское, мать. Так что не даром городская цивилизация происходит при патриархате. И по мере становления романа Достоевского ясно проследимо исчезновение образа матери и наращивание образа отца. В «Бедных людях» много еще места занимает матушка Варвары, ее бедствия, отец же неизвестен, а второй отец — Покровский — смешон, и намекается лишь на отца *набольшого* Быкова (а Бык — это тебе не созвездие Девы, под которым наш Блаженный — Макар² Девушкин). И к возлюбленной своей сестре Макар обращается словом «маточка» = *мат*(ь + дев)очка, стяжение. В «Преступлении и наказании» есть матери, и роман этот переходный, принадлежит еще к традиционному, монологическому, европейскому. В «Подростке» мать блекла, важен отец. В «Братьях Карамазовых» отец вырастает до полнеба, полмира, а мать сведена на нет — в ветошку Елизаветы Смердящей.

¹ Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10-ти тт. М., 1957. — Т. VI. — С. 469. (Далее цитаты приводятся по этому изданию. Курсив мой. — Г. Г.)

² Масаг — блаженный (греч.).

2. ЧЕЛОВЕК — НЕДОВОПОЩЕННЫЙ ВОЗ-ДУХ

Каков же человек в городе, с точки зрения стихий? Переписка «Бедных людей» — это чириканье городских воробушков, что уселись в окошках каких-то этажей и через двор друг с другом перекликаются, обсуждая людские дела человеческим голосом. Он ее называет «пташка», «птичка», «голубчик», «ангельчик», мечтает свить гнездышко иль собирается упорхнуть, себя же под конец ощущает птенчиком, выпавшим из разбитого гнезда. И хотя религиозно-литературным штампом отдает Макарово Варваре увещание жить, как птички божии, — однако недаром об этом и так заговорил и противопоставил себя образу некоей «хищной птицы». Они не хищные, но тоже те еще птицы!.. В именах их слышится некое меланхолическое «кар-р», и весь климат вокруг них серо-небный, присущий этим меланхолическим птицам, и все-то им несчастья впереди видятся, да и позади беды, так что лучше и не вспоминать.

Но тут многое в этом самосравнении наших бедных людей с птичками — не с лошадьёю, как у Толстого (Холстомер, Анна — сравнение с Фру-Фру), не с растением (дуб Андрея, репей Мурата, береза-барыня — «Три смерти»). Все толстовские пары людям тяжки, полны землей, увесистой жизни, снизу вырастают. Птица же есть жительница стихии воз-духа. Уже этим заявлено некое Credo: исповедую не стихию земли, не воды, не огня (хотя с ними со всеми и будет у воз-духа сложный сюжет), но легкую натуру. Даже отрицательные твари здесь — насекомые, обильные у Достоевского: тараканы, пауки (*тот свет* Свидригайлова), «вошь я или Наполеон?», «старушка-вошь». Все они некрепки на земле, обитатели того же промежуточного пространства меж небом и землей, что и птицы.

Вообще всякий человек здесь в душе своей паука чувствует: и сам сеть-ткань жизни плетет, и ею опутан, и угнетен. И движения персонажей — не плавные, гибкие, округлые, как у больших существ земли и воды, но угловатые, судорожные, как огни, зигзагами их траектория, как у насекомых: Раскольников то на месте долго недвижно в углу-гробу, то мечется туда-сюда, угол свой в пространстве рассеивая и множа (даже не *петляет* он после преступления: петля для него слишком округла, животно-лисыя геометрическая фигура, но

именно угольничает, (рас)щепляет — Раскольников!)¹. И энергии все дискретны: то лежит — то убьет, то скрывается — то вдруг надрыв, заголится на исповеди. Нет, несерьезно, неувесисто, пунктирно земное бытие здесь, а есть некое надругательство воз-духа над наличным бытием нашим, его серьезностями, мерами, заботами и ценностями. Ибо неплотны, некрепки эти души в воплощении. Вот они встречаются из всемирья в вагоне третьего класса, демон Рогожин и ангел Мышкин, оба посланные на время на человечество (как на местничество), — и начинается сюжет узнаваний, выявлений, в ходе которых одна тотальность, сошедшаяся клином Льва Николаевича, спознается с другою, пришедшей из подполья манихейского черного солнца и загнувшейся углом на Парфене Рогожине. И вообще вся материя бытия здесь — с прорехой, лезет и расползается, как мундир и сапоги Достоевских чиновников, что стыд, смех и грех прикрывают — приоткрывая, и засасывая, и завлекая, и заостряя на этом взор.

С воз-духом связана и необычная чуткость к запахам в квартирных описаниях: чад, угар кухонь, вонь лестничных клеток. Кстати, лестницы, столь важные у Достоевского, — это птичьи насесты и шестки людей, подвешенных в земельных клетках в воздухе. И город тем мистически манит его, что здесь стихия земли поднята, овоздушнена в зазорах комнат-пустот, толща ее не столь безнадежно материальна и увесиста, но уже мужески-обогненна и одухотворена.

Дух-то дух и воздух-то воздух — действительно первая, но уже дальняя родина в космосе Достоевского, а сейчас, пожалуй, ему и воздуха-то чистого не нужно, а дай подышать в углу кухни чадом и гарью жизни земной. Ибо воз-дух этот ориентирован

¹Геометрические фигуры, упоминаемые писателями вроде случайно и побочно, на самом деле глубоко архетипичны и суть фундаментальные модели. Например, у Толстого Пьер (в восприятии Наташи) — квадратный, а Каратаев (в восприятии Пьера) — круглый. Значит, Пьер и Платон Каратаев глядятся друг в друга, как квадрат в круг. И попытка Пьера рассудком постигнуть народную правду Платона — да это та же бытийственная проблема, что на языке математики предстает как *квадратура круга*! А это в символике чисел и фигур основные образы для обозначения Целого: круг (Шар, Сферос) и квадрат (Тетрада). Причем прямая — линия мужской, городской цивилизации (правда, справедливость), а кривая — линия природы, женского начала.

не на верх (небо и солнце), а на низ, им магнитно очарован плен(ен)ный дух, влюбленный воздух. Это как в Библии ангелы, что заглядывались любить жен человеческих — и не могли. Есть в космосе Достоевского сладострастие на человека, им быть, полным, — и немощь, ибо легковат, духовен ангел-демон, все пузырится из своего веса вверх. Уж он так себя заламывает, корежит, в подполье пониже загоняет и принимает на себя все черни, вины и грехи, чтоб унизиться и стать как люди, — ан нет, уши, то бишь крылья, торчат: не удастся всамделишно воплотиться, так и прыгает в падучей; как курица — не птица, персонаж Достоевского — не человек. Потому его все распяливает: то в человекобоги назад, ввысь, то в бесы — вниз, но полнотелого человеческого существо(вания) не получается. Фактура человеческой ткани растянута на станке достоевском и просвечивает(ся). И сам человек — клубок (любимая им ипостась шара Целого — как не плотно-непрерывного, но дискретно-сотканного из волн-нитей-жизней). Нужен, алчен грех, ибо лишь через него духу-демону можно оплотниться, снизить, утяжелить свой флогистон, уносящий пружинно вверх после каждого заземления. Потому так любима здесь низменная природа и всякая грязь и гарь, зло и преступление, — ибо на них не снизу смотрят, но с верха недоступности, откуда близок людской жребий — да не укусишь. Так что все эти Раскольниковы, идя на преступление, не Наполеонами стать хотят, имеют внутренней целью, — но именно человеками, старушкой, вошью; а образ Наполеона и сверхчеловека — это курс, как его берем на дальний предмет, чтоб дойти до нужного нам места посредине. Так у Достоевского: недочеловеки света берут курс на сверхчеловека низа — злодея, чтоб дотянуться до человека и в нем осесть.

У недовоплощенных воз-духов жажда жизни велика. У просто живых, в ком жизнь спокойна, нет жажды жизни, ибо жизнь-вода — при них. А у этих именно жажда на тепло жизни. Огня им не хватает, а огонь добывается трением — вот они и трутся о людей и любят теплоту раздражения, страдания. Они рвутся в стук, треск, толкотню людскую. (Даром что ли избрал Макар угол в кухне? Тут он возле жизни греется и малокровие свое подкрашивает.) Им потре-

бен город, ибо город = гор-гарь, огонь. Город = каменный костер: взгляните на фактуру города — весь вздыбился языками каменного пламени: дома, небоскребы, церкви, шпили. И вот чем представлена стихия огня в космосе Достоевского. Как мотыльки, тянутся к нему недоовощенные воз-духи. Но так как плоти-земли-одежки на них маловато и в прорехах она, то она быстро прогорает, и начинает гореть уже их субстанция — воздух. А это и есть *чахотка* — основная болезнь духовных героев. Потому и нужна им, с другой стороны, сырь: осень, дожди, слякоть — для орошения и охлаждения, как водяная рубашка двигателю. Летом они совершенно горят, исходят и сходят с ума (потуга Ипполита на самоубийство — летом), как рыбы на песке бьются.

Итак, по жажде недоовощенных воз-духов к земле, воде и огню, и понятно, почему сгустились они на жизнь в том месте планеты, где и сырь велика (невские болота), и земля тверда («В гранит оделася Нева»: «Петербург» есть буквально «крепость камня»)¹, и где трение людей друг о друга в скученности наемных квартир велико и, следовательно, социальный огонь сильно жжет (контрасты богатства и нищеты, высокомерие и унижение, неволя и тяга к свободе).

3. ДИАЛОГ ПЕТЕРБУРГА И РОССИИ НА ЯЗЫКЕ СТИХИЙ

Петербург — в углу России, где она клином сошлась (и где на нее тевтонская свинья клин клином натыкалась). Посередь России — Москва. Она — сердце. Петербург — окно в Европу. Окно = глаз избы. Глаз — на голове. Выходит, Петербург есть голова, ум, промозглый мозг; Москва — сердце, душа России. Москва — матушка, а Питер — батюшка. Россия есть на Земле страна рассеянного бытия по преимуществу, бесконечный простор, где *светер* (свет + ветер) гуляет и любит мать-сыру землю. И вдруг ей задана такая крепь, как Петербург — кулак, острие, приемно-излучательная антенна, где волны Европы улавливаются и западное влияние (здесь — седалище «западников» в XIX в.) и

¹ Как уже указывалось, *Petra* (греч.) — камень + *Burg* (нем.) — крепость.

где энергетика России собиралась в цивилизацию и снопом излучалась на мир¹.

Но Петербург не есть Россия. И остатняя Русь не есть Россия. Россия осуществляется как бесконечный диалог Петербурга и Руси, города и дороги. Прочтите «город» наоборот — выйдет «дорог'а»: они — антиподы. Петербург есть «место»², точка, а Русь — путь-дорога: дорога — дорогá народному сознанию, потому и в песнях она. Суть России реализуется именно диалогически, как взаимообращенность города и дороги на «ты» друг ко другу (а не единым монословом) в соуважении, но и в яростной полемике, как и пристало протагонистам большого диалога. Россия ощущалась всеми ее писателями как незавершенное бытие, открытое.

В чем же сюжет этого диалога (Петербург — Русь) с точки зрения натурфилософской, если его выразить через стихии? Русь — мать-сыра земля, значит, *вогo-земля*. Но такова она летом. Зимой же она — «ветер-ветер да белый снег»: ни воды, ни земли нет. Снег — свет. Значит, Русь есть оборотень, диалог двух ипостасей себя самой: женская — летом (живая жизнь, весна) и мужская — зимой (Мороз-воевода³, народ-светер). И так они живут себе и любят друг друга, попеременно владычествуя в Психо-Космо-Логосе, как день и ночь; и зима здесь — день, муж, царство белизны и света, тогда Уран-небо опрокидывается на землю, звездами снежинками ее осеменяя; а лето — темень, зелень, жизнь — жена (или, в духовно-эросном варианте, — «сестра моя жизнь»). И вдруг в этот завод и склад, в заведенный ритм Руси, брошен камень-валун Петр, — и вокруг него пошла кристаллизация раствора матери-сырой земли. Новый мужик явился, соперник Мороза, Кесарь против Светра-народа. Был народ — старшой, стал народ — меньшей.

Итак, в стихиях: огне-камень на воде против ветра и света — вот что такое Петербург в России. И на-

¹ Пока не было Петербурга, *Новъ город* ту же функцию на аналогичном месте, в углу России, на воде Ильмень-озера, исполнял (ведь и Петербург есть, по идее своей, Новый город, «юный град»). Не Новгород, так Петербург, но свято место пусто не бывало.

² «Место» — город, по-чешски и по-польски, откуда и у нас: «мещане» — букв. «горожане», т.е. жители *Burg'a* — бюргеры, буржуа.

³ А «зимушка-зима»? — *Прим. ред.*

воднения Невы — это восстания угнетенной матери-сырой земли, придавленной камнем на болотах чухонских, отчего кровь-вода в ней наверх пошла наводнять поверхность — вкупе с ветром:

Но силой ветра от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла гневна, бурлива
И затопляла острова.

Точнее, это схватка ветра с камнем, их рыцарский турнир, а вода тут пассивна, как и подобает прекрасной даме. Вот ветер взял ее в оборот:

И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен.

То же в революцию: когда народ пошел на Питер — то «ветер-ветер да белый снег» врывается в город камня.

А то камень берет воду-жизнь в полон и затыкает ход ветру: негде ему средь стен и закоулков размахнуться, чтоб «раззудись, плечо!», и вода теперь — чернь и вонь болотная, стоячая, толпа самодовольного мещанства, что начинает поучать поэта — светер:

Как ветер, песнь твоя свободна,
Зато, как ветер, и бесплодна —

оба вместе унижены, поэт и ветер, — и чернь предлагает ветру служить мусорщиком на улицах города (очищать пороки толпы).

4. ВОПЛОЩЕНИЯ СТИХИЙ В ПЕРСОНАЖЕЙ ДОСТОЕВСКОГО

Уже прорисовываться у нас стали ипостаси России — возможные роли и амплуа для исполнения персонажами Достоевского: они суть оплотнения русских первоэлементов (стихий) или их сочленений — в камере обскура Петербурга.

а. К а м е н ь — кесарево начало. Это прежде всего сам город Петербург, его дома, стены, заставы, дворы, его ритм и климат. Это служба, «должность» — храм, куда ходят. Это порядок, социум, Запад, рассудок, логика, «арифметика», «бернары»,

«процент». Это закон, завершенность, о-предел-ение. Это вещи, богатые люди, сановники. В «Идиоте» — это генерал Епанчин, Тоцкий. В «Преступлении и наказании» — это Порфирий Петрович. Имя его — от порфиры — короны империи. А отчество — от Петра-камня. Вообще имя Петр или отчество Петрович — у тех персонажей, которые реализуют круг значений кесарева универсума. Лужин в «Преступлении...» — Петр Петрович. В «Бедных людях» друг Макара хмельной Емеля (Емельян Иванович — как Пугачев) советует ему: «А вы бы, батюшка... — вы бы заняли; вот хотя бы у Петра Петровича, он дает на проценты» (I, 157). И главный мелкий бес при Люцифере Ставрогине — Верховенский тоже Петр (Степанович: как если бы сын Степана Разина законником стал, предал отца): в социально-рассудочном мире политики его сфера действий.

Но уже по Порфирию Петровичу очевидно, что и Камень здесь отверзт в любопытстве, заинтересован, диалогичен (как и сам Петр был ведь и «потешный», и была в нем открытость и свобода, ухарская ухватка и атаманская удаль — нечто от Стеньки Разина на престоле). При Порфире — тут же и Раскол (как при божьедмиургe — *diabolos*, букв. «раскольник»). В Родионе Раскольникове — мотив раскольников-старообрядцев при Петре, страстотерпцев, *родимых*, самосжигателей, как и Раскольников ведь не только старушку, — себя убил и шел пострадать. Так что Порфирий Петрович и Раскольников — это вариант русской архетипической пары, что и в «Медном всаднике»: Петр и Ев-гений — благо-род-ный¹, тоже родимый, *Родион*.

б. С в е т е р в «Идиоте» двоится сразу на Свет — князь Лев Мышкин, весь белокурый и духовный, и Ветер Рогожин, мужик удалой, разгульный, с бесовщиной и огнями (взгляд его из толпы жжет князя). Он — черная выюга, вихрь, что закружит, заметет. А князь в конце, склоненный над трупом Настасьи Филипповны, — как белый снег и саван ее покрывает. Идиот в эпилепсии — провидец, как шаман арктический. Он — белый шаман, а Рогожин — черный шаман. Меж двумя мужскими полюсами: Камень и Светер — масса переходного люду: продувные, вроде Лебедева (и законник —

¹ Evgenes — благородный (греч.).

и гуляка легкий) иль Гани Иволгина (и секретарь — и мелкий бес, ветёрок слабый, завистник Рогожина). И у князя отголоски: Ипполит, подростки — светодуховники все, недоовплощенные.

Средь Карамазовых Дмитрий — Светер по преимуществу; Иван — огне-камень, Кесарь: недаром из него легенда о Великом Инквизиторе изошла иль соблазняющий Алешу рассказ о генерале, затравившем мальчика; он разжигает социальную злобу и абстрактную волю и в Смердякове-рабе. Алеша — свет статуарный (не ветер, тогда как Дмитрий — больше ветер, чем свет, но и не столь темный, как Рогожин, а со светом и легкостью); недаром к монастырю тяготеет.

в. Ну, а ж е н щ и н а какова? Она не мать-сыра, какова Русь-матушка, что распростерлась вне Петербурга как страна и природа — спокойная, медлительная, — нет, она такова, как Нева = женская ипостась в космосе Петербурга: короткодыханная, и не мать, а Нева-дева. Недаром имя такое: Неточка Незванова (= *нет, не(з)-ва(ть)*) — это малая Невка. *Не-ва* — это отрицание, небытие Руси (*Моск-ва* — утверждение, бытие Руси). Петербург — это воля, огнекаменное «Да»! А вечно женское (*das ewig Weibliche Gёte*) здесь говорит — «Не...».

Итак, женщина здесь не природа-роженица, а пара к Камню и Светру, меж ними колеблется, как ундина, разные облики принимая, смотря к чему льнет и примыкает. Настасья Филипповна — молодая ведьма, все шабаши, разгул, надрыв и истерика при ней: внести смятение во всякую упорядоченность Епанчиных, Тоцких, Иволгиных. Она — ветер, вьюга, метель (недаром откуда-то из глубинки русской взялась, из деревни, шаманка). И она — огонь, костер (недаром в ее печи горят ассигнации), ветер с бесовщиной, *pendant* к Рогожину, но и князю сестра духовная (ее истерики = его эпилепсия): они узнают свое метафизическое избирательное сродство, но не на этом, а на трансцендентном уровне — братство в высях, по Граалю. Они друг для друга — как, по Юнгу, «анима» для мужчины и «анимус» для женщины, т.е. женская (мужская) ипостась своей души (духа). Аглая = *aglaia* (греч.) — блеск, пышность, влажность, высокомерие. Дочь генерала Епанчина, мудрая дева Афина. София она — примыкает к Камню-Кесарю. (Но тоже диалогично открыта на встречу другим потенциям: страстна и глаза черные...)

При Карамазовых Грушенька — Светер, Катерина Ивановна — Камень, радио, дева Афина.

г. Отсыревший камень. Важнейший слой персонажей — это чиновник-расстрига, спившийся: Девушкин, Голядкин, Мармеладов, генерал Иволгин, Лебедев, капитан Лебядкин, отчасти Федор Павлович Карамазов, который когда-то тоже служил. Все это — отпрыски камня на болоте, плод его отсыревания при взаимодействии с матерью-сырой землей: *gutta cavat lapidem* = капля (водки) точит камень Петров. Угроздило же этот валун ухнуть в топь и хлябь, где чудь и жмудь, меря, весь и чухна — им здесь пристало непотревоженно жить, — вот и отмстила почва российская залетному граниту европскому, валуну скандинавскому, званому, правда, гостю варяжскому (недаром со шведами было у Петра влечение — род недуга), что в оледенениях на Россию наносились, а тут отсыревали и гнили, и выдавливались изпод них, и поползли пузыри земли, болотные огоньки. Итак, чиновник этот есть разжалованный камень, Кесарь в умалении, камень в отставке: изъеденный, источенный, готовый рассыпаться в прах, если бы не был мокр, глинист и липк, увлажнен, благодаря возлияниям — подачам воды снизу. И тут-то камень, глядишь, — близится к ветру: мысли такие вольные, завихрения, чертики замелькали, запаясничали. Это — сфера пародии на Петра (как Смердяков — пародия на Ивана Карамазова). Именно Камень допускает и изыскивает на себя пародию. Ни Светер, ни мать-сыра земля пласта пародии при себе не имеют.

По составу своему этот слой — *грязь* (плод союза камня и воды), столь любимая Достоевским разнообразность земли: почва обычно — грязь, и по ней нужны сапоги — сии лодки по матери-сырой земле. И фамилии их указывают на водяной состав: преобладают *л, г, б, н, м, д* — звуки сонорные, звонкие, женские, влажные, а мужское *р* и не слышно в их окружении: «Мармеладов». И гласные: *е, я, и* — переднего ряда, легкие, высокие, нет тяжести и увесистости как в «Карамазов», «Ставрогин», «Свидригайлов». В сравнении с этими те звучат, как легкие, недоплощенные, полувоздушные, птичьи. Да и по смыслу рассудочному «лебедь» и «иволга» — птицы, но птицы сырые, водяные (иволга — в росистом сыром лиственном лесу и кустарничке водится). И живут они на птичьих правах и в слогосе (в слогe + Логосе) щебечут. Все

они очень словесны и разглаголисты: и Мармеладов, подвыпив, — идеолог, а капитан Лебядкин уж чуть не Пушкин этой сферы. Но они — и наиболее люди из персонажей Достоевского, наш срединный уровень представляют (и в звучании фамилий это л, и, г ≈ люд), человеческий жребий, и за сердце, за душу хватают птичьими своими коготками. И если и бесы они, то — водяные, а не огненные (как Петр Верховенский), и не домовые, хотя в Федоре Павловиче Карамазове есть черты домового: не даром так сопряжен с домом и из дома не выходит, сиднем сидит, совсем антисветер он, анти-Митя — и такое при нем подробное описание дома и забора, флигеля и переходов — как лабиринта.

д. Х т о н и ч е с к и е. И это на хтонический, подземный, мистериальный состав его и суть указывает: он, как Аид, драконом выползший на землю, и сидит над кладом, как положено змиям в мифах многих народов (ср. Фафнер над кладом Нибелунгов). А клад его — это три тысячи с бантиком и надписью «Ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти» — к Минотавру в лабиринт. Чудище это, земных дев соблазняющее и увлакивающее в преисподнюю. И весь он — земноводный, как жаба или ящер, склизкий, но теплый: перегнойная теплота в нем, самая почва зарождения жизни. И убийство его сыновьями — это свержение Кроноса сыновьями: Зевсом, Аидом и Посейдоном в битве с сырыми аморфными массами титанов, детей Геи-земли, и установление обогненного перунами и высушенного царства аполлоново-светлых, рассудочно-логосных богов Олимпа. Сыновья Карамазова все более дифференцированы, особны, индивидуальны — и частичны. Он же синкретичен, нерасчлененная живая слизь и протоплазма, в которой все потенции и ипостаси сыновей зыблются. Так что в «Братьях Карамазовых» осуществляется артельный Эдипов комплекс по-русски — артелью сыновей.

Если Федор Павлович Карамазов — Кронос, хтоничен, то в структуре романа аналогичная ему по трансцендентности уровня светлая ипостась — старец Зосима. Однако и он, быть может, в прошлом Карамазов (= Черномазый, т.е. дьявол, Вельзевул), великий грешник (есть на то намеки, да и труп его смердел карамазовской гнильцой) — но тот, о преображении которого небеса ликуют, ибо много жизни и грязи собой в свет и небеса зацепляет, и возносит, мощно просветляя материю, как бодхисаттва. Так что

отец Карамазов — это, может, полпути к Зосиме. Что Митя таков — уже три четверти пути к Зосиме — это очень очевидно.

И выходит, что «Житие великого грешника» осуществлено-таки Достоевским в «Братьях Карамазовых», но не монологично (как задумал он серию романов, которые должны бы последовательно изобразить путь одного персонажа, допустим, Алеши) — к этому он, как показал М. М. Бахтин, был неспособен, — но так, что развернуты в одновременности разные ступени и ответвления этого пути, разные эпизоды и ипостаси этого Жития, — и они реализуются хором и полифонией всех персонажей и ситуаций. Так что это месса, страсти по Теодору¹ — и именно в присущей ему диалогической, незавершенной, открытой и вопрошающей манере. К этому же, титаническому, уровню относятся Свидригайлов, Ставрогин, Версиков, но все они более сухи и социальны, более плоски.

Ставрогин больше огонь адский, Люцифер (лат. — светоносный), блестящий, анти-Апполон — и столь красив потому. Но он уже с отрезанной пуповиной хтонической (нет той силы жизни, что в узловатом пне Федоре Павловиче) и ходит как Агасфер, ввязавшись в социально-кесарев уровень, а здесь ему неуместно и худо, не рыба в воде, в отличие от Петра Степановича Верховенского. И Свидригайлов более гладок (недаром в фамилии нечто от шляхетского Ягайлы слышится и все поведение его в романе рыцарственно), бронированный ящер, тучен, чаден и кровяной, тяжек, и нет ему подачи влаги-сыри и силы жизни, и потому тянет его в подземелье Аида (паук на том свете), и он, безнадежно сухой, в окружении наружной петербургской сыри (ливень-потоп в ночь его самоубийства), в этом океане примордиальных космических вод, опускается на дно: стреляется и огнем возвращает себя в Тартар титанов. Хтонические мужские божества сопряжены, как титаны, с русской Геей, матерью-сырой землей. Недаром они не петербуржцы, околосемные, из всемирного пространства; а это для Петербурга — деревня. Они — помещики: Быков, Свидригайлов; Федор Карамазов — закоренелый провинциал. В Петербурге

¹ Имя Федор — стяженное Theodoros — Божий дар (греч.).

они — залетные, приезжие. И Ставрогин — первый в деревне: в малом городке его арена. В Риме он будет второй — там Кесарь первый... В Ставрогине, несмотря на весь его западный лоск, слышится неуемная никчемная сила русского удалыца-атамана (он и есть атаман партии, ее мистический, а не практически-организационный глава), которой бы по Волгам да по Сибириям разметываться, а не на арене парламентско-политических казематов игроком заделаться. И что ему мелкие женщины: Лебядкины иль Елизаветы? Он за борт ее бросает в набежавшую волну. И себя туда же.

Этот, хтонический пласт персонажей — полюс Огне-Камню — Олимпу, его социальной, созидательно-организующей цивилизаторской Зевесовой работе. Он — сверхсоциален и трансцендентен. И самая многосмысленная непонятность принадлежит героям этого плана — сфинксы они. А сфинкс — льво-дева: хтоничен, как женщина, и в то же время солнечен (лев). В нем в одной плоти сошлись ясное и черное солнце. И персонажи эти гуляют по роману среди нравственно-метафизических проблем, что мучают еще человеков, вроде Раскольников, Шатова иль даже Кириллова, — как Крокодил Чуковского по улицам Петрограда. Для них нет нравственно-метафизических проблем, ибо они сами — сплошная метафизика и оплотившаяся трансценденция. В них — доуховное состояние Целого, синкретическое, до распада на материю и дух. Хотя они и рассуждают иногда, но так, левой ногой, играючи, для них проблем нет; это все бирюльки в сравнении с той атлантовой тяжестью бытия, что им выносить приходится. Кронос ведь поболее да поглубже Зевеса и более его ведун, ибо тот только огне-свет ведает, а этот нюхом чует вещество, матерью и многое, что неисповедимо рассудком и зачисляется им по ведомству «иррационального». И от слизи — жизнь, как здоровая грязь в «Что делать?» Чернышевского (хотя гнилая грязь, может, еще более метафизична и жизнеродна).

Так что, пожалуй, Федор и Петр, Крон-Хтон и Камень-Кесарь не могут противостоять друг другу, ибо принадлежат разным уровням, состояниям Целого. Федор сопряжен с зоном титанов, и под ним Хаос шевелится и пульсирует его протоплазма. Им, Петру и Фе-

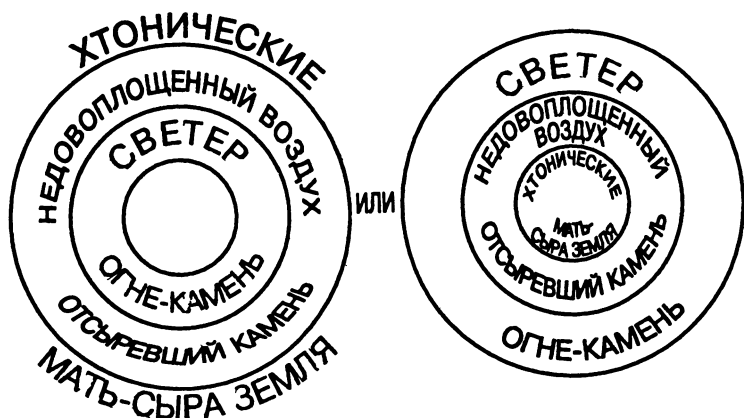
дору, взаимно нет друг до друга дела, они, лишь косясь, друг на друга поглядывают¹. И недаром Федор Достоевский свое имя, т.е. имя Бога-Творца мира своих героев, даровал именно отцу Карамазову, тем самым наиболее приблизив его к самому центру Психо-Космо-Логоса на его достославный лад (церковно-славянский префикс *досто-*, как и *препо-*, означают превосходную степень качества, суть приставки для эпитетов Божества). А что Ставрогин — того же уровня существо, что и Федор Павлович, который в перспективе Зосима, и в том сюжетном обороте проступает, когда он идет на исповедь к Тихону, т.е. только этот может его понять, у них общий язык, ибо одноуровневы они. Ведь даже Иван Карамазов в разговоре с Зосимой — дитя, сосунок, не на равных. А Ставрогин может на равных, ибо не рассудочно лишь грешит, как Иван — сухонький, чистенький, так что его, для полноты осуществления этой потенции в Космосе Достоевского понадобилось оросить, осырить Смердяковым, — но согрешил по живому и задел бытие за живое.

В романских мирах слой хтонических как жизнеродность, как первое темное влажное небо первичных космических вод, небо Варуны — Урана, облегает пространство всех последующих сюжетов, персонажей, светил, воз-духов и их ношений-отношений, конфликтов-аффектов, которые, кесари и светры, — все внутри первых находятся и совершаются. Во всяком случае, это — силовое поле, откуда волны, пульсация сил и поползновений, завод и затея всех сюжетов в романах: от Ставрогина — катаклизм «Бесов», от Федора Павловича — мир, которым мазана карамазовщина и по составу, и по динамике: в нем узел всех их страстей, поползновений и соблазнов. От Версилова — Подросток, и весь его мир и план внутри версильевского завода располагается, им предопределен. И Свидригайлов предстает перед Раскольниковым как некое допотопное диво, на которое этот, как гу-

¹ Камень-Кесарь есть уже обогненная земля, высушенная и уплотнившаяся в железо, рассудок, плотный атом, предполагающий вокруг себя разреженное пространство, пустоту, небытие — место для света, ветра, воздуха: камень есть земля, материя, ориентированная на *воз-дух*, тогда как масса, из которой хтонические, титаны, — нерасчлененно сырая, безвидная (безыдейная), непрерывная протяженность (тогда как камень — воздух есть пунктир: бытие — небытие, завелась дискретность как принцип склада Целого).

си на гром, приподымает голову, куда ему приходит: «А ведь Свидригайлов — тоже выход...» Еще бы! В такие глубины и пространства, которые сухому девственнику старообрядцу-диакону и не снились.

Можно попытаться изобразить иерархию ролей в некоторой схеме. Если Целое есть Сферос, то уровни в нем могут видаться как концентрические сферы, причем каждая — двоична, в паре противоположностей.



В первой схеме мир — во чреве хтонических, как Иона в ките. А можно и обратно: узреть мир как эманацию из пульсирующего недра, развертывание и распускание. Человеческий уровень выходит промежуточный: его спирают (или растягивают), с одной стороны — хтонически-природные и мать-сыра земля (которая у Достоевского почти отсутствует, нулева), а с другой — духовно-исторические энергии..

Так может быть представлен Космос Достоевского.

Но по завершении этого дела видишь, что при таком подходе провалилась куда-то вся нравственная и духовная проблематика — не улавливается им, наверное, так же, как в сфере Кантова теоретического разума, прикосновенного лишь к природе и необходимости, — неисповедима остается свобода воли и этика, личность и «я». И это — загвоздка для сведения концов с концами в дальнейшем обдумывании и проникновении в Целое Психо-Космо-Логоса, из которого здесь отщеплен лишь Космос.

1-6 июня 1971 г.

РУССКИЙ ЭРОС (Художественное рассуждение)

Осенью 1966 года ко мне обратился корреспондент журнала «Soviet Life» и предложил написать для заграничного читателя статью на тему: «Почему секс не стал магистральной темой русской литературы?» — так, рекламно-зазывательно, ее обозначив. Ну что ж? Этой ли темой не увлечься? Да еще в тот бурно-кипящий, страстный период моей жизни, когда я отдирался от первой жены и семьи и прилеплялся уже намертво к жене-любви новой... Тут и чтоб разобраться в космической силе, что тебя и хлещет и мытарит — и возносит и вдохновляет, — за соломинку Слова ухватиться жизненно потребовалось, при этом и себя сею волшебною палочкой завораживая, утихомиривая... Так и пошла и вся жизнь, и писание того года под эгидой этой проблемы, и образовалась в итоге странная рукопись «Русский Эрос», где рассуждение о русской литературе переходит в исследование русской природы и истории; затем вторгается дневник личной жизни, и житейские ситуации трактуются как диалоги и сшибки сверхицей бытия и культуры.

«ПОПУГАЙ!», ЧЕРНОМОР И СОН ТАТЬЯНЫ

Лето 1966 года я проводил в деревне на Смоленщине¹, и там мне внезапно открылась тайна русского секса. И вот каким образом. В избе, где я кормился, к хозяйской девочке Наташе, лет 11, во время моих приходов слетались ее подружки и щебетали на диване, наблюдая за мной. И как-то раз я поднялся, сделал страшную гримасу, выпучил глаза, растопырил руки,

¹ Милая деревенька Верховая Рославльского уезда (района), родина тестя моего, Григория Алексеевича Семенова, подполковника, военкома, ныне уж покойного... Основная еда там — картошка, в разных видах — блюдах: «жидики», «густики», «целки». 29.VI.85 г.

скрючил пальцы и кошачьей мягкой походкой направился к дивану, и сделал рывок, будто бросаюсь, и издал звериный рык. Эффект был потрясающий. Когда я только встал из-за стола — они замерли, когда направился — как замороженные смотрели, когда стал подходить — стали съеживаться, когда же издал рык — они затрепетали, и из них вырвался писк, визг — всеобщий ликующий клекот! С тех пор мне не было проходу: как только я подходил к избе, слеталась стайка беленьких девочек и умоляла меня: «Дядька Гошка, попутайте нас!» Испуг в детях — эротическое чувство. И для беленьких русских девочек я, черный, смуглый, средиземноморский этнический тип, жидоболгарин, да еще тогда не брившийся и зараставший бородой, — выглядел таким Бармалеем, Приапом.

И вдруг я понял «Руслана и Людмилу» Пушкина. Это же сон о смертельно-страстном соитии. С брачной постели похищают Людмилу. Но именно этого ждет дева от «тайны брачныя постели»: что похитят ее как деву, сорвут покров ее девственности. Само похищение представляется как явление колдуна — карлы борода-того. Черномор — это фаллос собственной персоной¹, обросший волосами, — Приап в сознание русских дев. Черномор уносит с собой Людмилу (Людмила — чисто женское начало — ему отдается). В ходе деяния, которое есть сногшибательное головокружение и ощущается как полет, скачка и транс, проносятся видения: ей чудится, как она бродит по райским садам, по замку — в то время как над ней работают, за нее борются, толкая друг друга, четыре здоровых мужика = богатыри Руслан, Рогдай, Фарлаф, Ратмир.

Наконец наступает высший момент: полет Руслана в небо на бороде Черномора — восхищение, упое-ние битвы, — и вот удар, срезана борода — и сила истекает, наступает сладкая истома, тишина, утро и пробуждение². А рггорос усековнение Русланом боро-ды Черномора — это русский вариант всемирного

¹ Так что Нос Гоголя имеет предтечу в Черноморе Пушкина — и вот еще элемент их глубинного художнического сродства. 15.I.86 г.

² Надо сказать, что, впившись в эту тогда проблему, ум во всем стал маниакально прозревать явления Эроса, и тут его весьма занесло... И все же свой частичный смысл эти догадки и гипотезы имеют. 15.I.86 г.

космического мифа, который у Гесиода в «Теогонии» выступает в рассказе об оскотлении Кроносом отца своего Урана (древнейшее проявление Эдипова комплекса). Суть этого мифа — отнятие эротической силы у прежнего поколения титанов, преисподних духов, гномов, укрощение стихий Хаоса, поворот круга времени (Хронос) и начало Космоса, установление в мире нового строя: власть новых богов — олимпийцев — наступит.

Вообще Пушкин — один из наиболее одаренных пониманием Эроса русских поэтов, и как про Гомера и Гесиода говорили, что они дали эллинам их богов, так и Пушкин русский мифотворец: он открыл русские варианты космических событий. Так, его поэма «Медный всадник» о том, как река = космическая женская влага отомстила городу, Петру (petra — камень по-гречески) за насилие над собой, есть русский вариант мифа о потопе, известного по Библии, по греческому преданию о Девкалионе и Пирре и др. В поэме «Гавриилиада» он открывает то, что, по аналогии с Эдиповым комплексом, можно бы поименовать «комплексом Марии»: дева Мария в поэме Пушкина размышляет:

Один, два, три! — как это им не лень?
Могут сказать, перенесла тревогу:
Досталась я в один и тот же день
Лукавому, архангелу и Богу.

Но именно об этом мечтает русская женщина в любви: чтобы она одновременно была и ангельски светлой, духовной, божественной; и огненно-страстной, дьявольской; и просто человеческой; она хочет испытать зараз рай, ад и землю. И недаром подобные же хороводы мужчин заводят вокруг себя героини Достоевского: Настасье Филипповне нужен и князь Мышкин = ангел света, и черномазый Рогожин (который и заколет ее кинжалом = тоже эротический символ — прободения), и мелкий земной бес Ганя Иволгин, и свора разной нечисти и пузырей земли. То же самое и Наташе Ростовской пришлось пройти через романтически-идеальную любовь к неземному князю Андрею, чувственную преисподнюю страсть к Анатолию Курагину, пока не сочеталась с земным Пьером Безуховым (были еще рассудочный Борис Друбецкой и лихой гусар Денисов). И в «Братьях Карамазовых» Грушенька играет

мужским множеством, в которое входят: человечный Митя, inferнальный Вельзевул — сладострастник-отец — Федор Павлович Карамазов¹; но ее влечет приблизить к себе и чистого ангела Алешу. Кроме того, на втором плане вокруг нее увиваются: рассудочный Ракитин, какой-то поляк — любовь девичества и т.д.

Таким образом, везде мы сталкиваемся как бы с мужской артелью. Не случайно и Эдипов комплекс в России совершенно точно выражен в романе Достоевского множеством братьев (Иван, Алеша, Митя Карамазовы и Смердяков), которые так или иначе причастны и совершают убийство отца Карамазова. Везде здесь на месте западного принципа единоличности русский принцип артельности, соборности, множества.

Это имеет связь с типом любовного восторга русской женщины, который можно проследить по сну Татьяны. Сон Татьяны — тоже восхищение девы. Поток в снегу — это видение эротической влаги мира; мосток через него хрупкий — это как покров девственности; пройти через мосток, оставить его за собой помогает медведь: от него исходит эротический испуг; бегство и погоня, продираание через лес — это перегонки самого страстного действия в ритме телодвижений: она падает, запыхивается. Само страстное действие, как езда на перекладных, состоит из нескольких актов — ступеней слияния с бытием, причащения к разным кругам мироздания (совершается в сжатом виде то же паломничество пилигрима сквозь мир, как и в «Божественной комедии» Данте). Так, Татьяна, проваливаясь на новый этаж эротического исступления, попадает на шабаш чудовищ: «Один в рогах с собачьей мордой, // Другой с петушьей головой, // Здесь ведьма с козьей бородой... а вот // Полужуравль и полукот. // Вот рак верхом на пауке, // Вот череп на гусиной шее» и т.д. Химеры, составленные из разных частей, — это в шабаше Эроса носятся и соединяются разные суставы, члены тел — и порождаются дивные новые существа от смешения: всесильный космический Эрос в своей

¹ Фамилия: «Кара-мазов» легко разлагается для русского уха, на «кара» = «черный» (в соседних к России тюркских языках) и «мазов», так что в итоге получается «черномазый» — эпитет чёрта.

страстной свистопляске все что угодно соединить может¹.

Но, видя этих чудовищ, Татьяна именно в себе обнаруживает эти возможности: что и в ней «хаос шевелится». Ведь если то, что мы видим днем, наяву — это нам данное как объекты извне, то уж сновидение — это извлечение того, что таится в нутре нашем, — это выявление состава нашего «я». И, проваливаясь в ходе страстного соития все глубже на новые этажи бытия, человек узнает свое родство со все новыми и новыми стихиями, чудовищами мира: у Татьяны это поток, лес, медведь, бесстыжая пляска химер — но это одновременно новое откровение мира себе и себя миру: срываются покровы, существа мира отверзаются навстречу друг другу, и между них воцаряется открытость — исчез эгоизм, и установилось всепонимание.

И наконец является Он — Онегин: в самом имени обозначен всеобщий русский мужской «Он»². Начинаются замирания и судороги: «Он засмеется — все хохочут; // Нахмурит брови — все молчат». Завязывается захватывающий поединок за нее между нечистой и Онегиным (как в «Руслане» поединки богатырей). В нее вонзаются различные стержни: «Копыта, хоботы кривые, // Хвосты хохлатые, клыки, // Усы, кровавы языки, // Рога и пальцы костяные, // Все указывает на нее». Близится высший миг. Входит Ленский = предтеча, как архангел в «Гавриилиаде». «Вдруг Евгений // хватает длинный нож, и в миг // Повержен Ленский». Нож обнажился — режущий, колющий. «...Нестерпимый крик // Раздался... хижина шатнулась... И Таня в ужасе проснулась... Глядит, уж в комнате светло».

Как видим, сон Татьяны имеет структуру, сходную с сюжетом поэмы «Руслан и Людмила». Это сон вещий: в нем предугаданы последующие события романа — гибель Ленского от руки Онегина. Но он вещий именно оттого, что он эротический в своей подоснове: так как

¹ Отсюда видно, что и всякая чертовщина в гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки» имеет тоже своей подоплекой особую разновидность Эроса.

² Гениальный слух Пушкина в этом имени сгустил ряд стихий русского Космоса. Во-первых: здесь спрятан огонь — в отличие от женского начала воды. Но это русский огонь — холодный «лед и пламень», снег, что тоже обжигает. Здесь и нег, а в соединении с именем Евгений Онегин — слышится игра: ген — нег («ген» — род по-гречески).

все в мире пронизано Эросом, то во всяком явлении жизни можно узреть универсальную структуру страстного действия: зарождение, разгорание, движение, кульминация и гибель. Потому сны всегда «в руку»: сбываются.

Итак, в сне Татьяны — самом целомудренном слове русской поэзии, сне, который так упоенно декламируют идеальные русские девы, — открылось, как и там, в самом сокровенном, вгнезвился и бьет пульс высокого Эроса. Приоткрой эту тайну — девы с ужасом разбегутся, но деваться им некуда будет, ибо увидят, что они преданы, что подвело их самое интимное и дорогое — их собственное существо, — и там нет укрытия! А чего доброго — еще исключат сон Татьяны из программы средних школ...

Но если секс вгнезвился в самом целомудренном слове русской поэзии, как же тогда можно говорить, что он не составляет «магистральную линию русской литературы». Отгадка в том, что это — сон. Перед нами — не реальное страстное событие, а сон, мечта о нем, выраженная причудливой игрой духа и фантазии. То есть секс представлен здесь в высшей степени косвенно, и не сам по себе, дорог, но богатством чувства, игрой духа, которые он питает и дает повод развернуться. Пройти из одного угла сцены в другой можно по прямой за двадцать шагов и в несколько секунд. Но вот выходит пара танцоров и превращает этот пятючок сцены в мировое пространство, где проносятся эльфы, эфирные тела, в мириадах телодвижений являют великолепие каждого шага, изгиба руки, божественность любой позы, — и забыто время — устанавливается вечность. В русской литературе в высшей степени развиты сублимированные, превращенные формы секса, где он выступает как Эрос сердца и духа.

Причины этого могут быть или в том, что сексуальное чувство в России не обладает такой силой и интенсивностью, чтобы весь Эрос мог в нем, хотя бы на время, сосредоточиться, или в том, что другие виды Эроса: любовь сердца, творчество духа — имеют больший удельный вес в его составе. Собственно, и то и другое справедливо, и одно вызвано другим. Чтобы весь Эрос мог совпасть с плотью, человеческое тело — этот торжественный плод родной земли — должно сочтись солнцем, быть пропитано всеми стихиями национального космоса, быть божественно, тогда и вку-

шение его будет полным священнодействием. Но недаром так редко в русской живописи обнаженная натура, недаром, в сравнении с другими искусствами, слабовата скульптура: **только** тело русского мужчины или женщины принципиально не содержит основного состава национального космоса и не может полностью выразить существо русского человека — напротив: преимущественное изображение его и его жизни и влечений дезориентировало бы, так как перетягивало б интерес к тому, что не самое главное, не столь существенно. Отчего бы это? Ведь мы знаем по античной пластике, по фламандской живописи (Рубенс), что прекрасная плоть людей может восприниматься как главный цвет и плод общества: в пышных, сочных формах женщин, в натюрмортах с рыбами, плодами фламандцы наслаждались плодородием земли, отвоеванной ими у моря и любовно возделанной их трудом. А в каких народах и странах может быть прекрасно прямое изображение сексуального влечения — в слове? Бесспорно, наиболее богатой культурой в этом отношении отличается французская литература: Рабле, Лафонтен, Парни, Мопассан. И самые смелые сцены у них почему-то не коробят нравственного сознания, так что даже Лев Толстой, столь отчаянно отбивавшийся от власти чувственной страсти над человеком, восторженно писал о Мопассане (в предисловии к его сочинениям — в 1894 г.), в котором чернь выискивала скабрёзность и порнографию, как о писателе, пробуждающем в человеке острое нравственное чувство. Очевидно, здесь сбывалась некая гармония между Эросом и Логосом. В этом народе, живущем среди природы, которая во всех отношениях: и плодородие земли, и влага, и тепло и яркость солнца, и воздух — соблюдает идеальное чувство меры, в общем нет ни гипертрофии духовности, ни разросшейся и подавляющей своими запросами дух телесности. Лишь единственно, может, некоторый избыток *chaleur* (жара) имеется, который заставляет дымиться сочное, влажное тело земли в бодлеровских *odeurs*, *parfums* (запахах и ароматах) и вливает в *sang* (кровь) избыточный огонь и живость. Сладострастие здесь, следовательно, вздымается как естественное дыхание национального Космоса — и слову, Логосу, общественному сознанию ничего не остается, как любовно отталкивать наступающий Эрос, удерживать его в своих границах, но отсюда между ними непрерывные контак-

ты, хороводы и обхаживанья друг друга, балансированье на грани. И живость французского острого ума (esprit) — в галантности и изяществе: в том, что он и дает сексу проявиться, и в то же время уваливает от его поползновений и сохраняет независимость духа и полет ума, так что секс во французской литературе представляет собой сцены игр между Логосом и Эросом. Как французы уступают грекам в скульптуре, т.е. пластике нагого тела, но превосходят все народы в модах — т.е. искусстве сочетания наготы и одежды, в искусстве в меру приоткрывать покровы, — так и французской мысли и слову чужды англосаксонская и германская глубинная туманность мысли, тянущейся к безднам, славянская стихийность и аморфность — т.е. всякая обнаженность и беспредельность духа, — зато в высшей степени развит стиль, приодетость мысли, форма слова. Да и секс есть как бы домашний, приодетый, прикудрявленный и припудренный Эрос, лишенный космичности и стихийности вакханалий и введенный из мирового пространства в помещение салона и будуара, где Эрос стал Эротом, амурчиком.

Уже Платон отличал в «Пире» двух Эросов: один — первоначало бытия, прародитель всего, а другой — сын Афродиты — уже порожденный, малый Эрос, Эрот, то, что мы ныне обозначаем как «секс».

Анатоль Франс в «Острове пингвинов» именно с введением «первых покровов» связывает резкое обострение эротического влечения у прежде невинных пингвинов: «Вот и сейчас на берегу — две-три четы пингвинов занимаются любовью на солнышке. Поглядите, с каким простодушием! Никто не обращает на них внимания, и даже сами участники, кажется, не слишком увлечены своим занятием. Но когда пингвинки прикроют себя одежками, то пингвин не столь ясно будет отдавать себе отчет в том, что именно влечет его к ним. Неясные желания породят всякого рода мечтания и иллюзии; словом, отец мой, он познает любовь с ее нелепыми муками. А меж тем пингвинки, опутив глаза и поджав губы, будут делать вид, что под своими одежками хранят сокровище!..» И когда переодетый монахом Магисом дьявол приодел первую неказистую пингвинку и толпы молодых и старых с вожделением потянулись за ней, злорадствующий змий воскликнул: «Полюбуйтесь, как они шагают, устремив взоры на сферический центр

этой юной девицы, — только потому, что этот центр прикрыт розовой тканью»¹.

Недаром француз Стендаль в поисках истинных страстей, т.е. искреннего Эроса, обращался к Италии, а в высшем обществе своей страны его удручало развитие любви-тщеславия как господствующей.

Во Франции книги запрещали за безнравственность («Мадам Бовари», например), в России — за политику и атеизм, а на нравственность даже литература слабо покушалась... Если перебрать книги русских писателей, то образов чувственной страсти окажется ничтожно мало. В поэзии начала XIX века все эти амур, Киприды, Адели отзываются скорее условным поэтическим ритуалом, навеянным французской или античной литературой...

РУССКИЙ КОСМОС И ЛЮБОВЬ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Из каких же стихий состоит Русь и каков состав, каково вещество русской телесности? Если взять в качестве шкалы эллинские четыре первоэлемента: земля, вода, воздух и огонь, — из которых посредством Любви и Вражды (соединения и распада) возникает все и всякая вещь в мире, — то Россия с этой точки зрения явит следующую картину.

З е м л я = мать-сыра, не очень плодородная, серая, зато разметнулась ровнем-гладнем на полсвета бесконечным простором — как материк без границ: рельеф ее мало изрезан, аморфен, характеры людей не резко выражены, даль и ширь мира важнее высоты и глубины (в отличие от горных или морских народов). Недаром за определенностью, резкой очерченностью характеров и страстей тянулись русские писатели на юг: на Кавказ (Лермонтов), к Черному морю («Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» Пушкина).

Н е б о России — мягко-голубое, часто серое, белое, низкое. Солнца немного: оно больше светит, чем греет, не жаркое, так что в России из стихий важнее расстилающийся ровный, данный с в е т (и связанные с ним идеи: «белый», «снег», «чистота»), чем огонь — как начало «я», индивидуальной, все в себя превращающей всепожирающей активности. Отсюда цвета и

¹ Ф р а н с А. Остров пингвинов. — М.: ГИХЛ, 1934. — С. 41.

краски в России — мягкие, воздушные, акварельные. В России в изобилии воздуха и воды.

В о з д у х — без огненно-влажных испарений земли (как запахи и краски Франции), но чистый, кристальный, прозрачный (= зрак!) — т.е. на службе скорее у неба и света, чем у земли, — и более открыт в мировое пространство, чем атмосферен.

В России легко дышится, и дух человека легко уносится ветром в **д а л ь** (которая здесь по святости занимает то же место, что **в ы с ь** у других народов); душа не чувствует себя очень уж привязанной к телу — отсюда и самоотверженность, готовность на жертвы, и не такая уж обязательность телесных наслаждений, которые легко переключаются на радости более духовные. Чувственность тела — это его как бы огненная влажность, его дыхание, его ум. В России же, изобильной водой, влага — более сырая, вода чистая, белая, светлая — как и воздух. Недаром и национальный напиток — водка — жидкость бесцветная, тогда как во Франции — вино, красное, как кровь (sang). И если вино пробуждает, то водка глушит чувственность. Секс исходит из чувственности: это истечение влаги из страстного касания тел.

Такое сочетание стихий в России отложилось в составе и характере русской женщины и определяет тот род любви, которую она вызывает. «Не та баба опасна, которая держит за... а которая — за душу», — сказал однажды Лев Толстой Горькому¹.

И вот Татьяна: когда она девочка, в ней меньше женской прелести, чем в сестре Ольге; когда дама — избыток, но это не убавляет и не прибавляет в ней способности любить. Если прелесть — зависимая от времени, переменная величина, то любовь — независимая, постоянная. Но постоянной любовь может оставаться именно потому, что она — неосуществленная, не увязла в сексе:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

¹Г о р ь к и й М. Собр. соч. М. — Л.: ГИХЛ, 1933. — Т. XXII. — С. 55.

Татьяна здесь — как русская женщина в анекдоте: она жила с одним, любила другого — и все трое были равно несчастны. Да, но что было бы, если бы Татьяна отдалась по любви Онегину? Да они оба бы угробили свою любовь — осуществлением. И Татьяна здесь так же инстинктивно опасается адюльтера — могильщика любви, как Онегин опасался супружества: «...привыкнув, разлюблю тотчас». А так, когда женщина любит одного, но вынуждена жить с другим, — любовь изъята из-под власти секса («Души моей ты не затронул», — говорит в анекдоте русская женщина употребившему ее мужчине) и исполняется духовным Эросом. Теперь любовь существует как вечная рана в сердце Татьяны, в душе Онегина — и в этой взаимной боли и божественном несчастье они неизменно принадлежат друг другу и на век России соединены.

В самом деле, сквозь всю русскую литературу проходит высокая поэзия неосуществленной любви¹. «В разлуке есть высокое значенье», — писал Тютчев.

Но нельзя рябине к дубу перебраться:
Видно, сиротине — век одной качаться, —

поется в русской народной песне.

Дан приказ: ему — на запад,
Ей — в другую сторону, —

пелось в песне времен гражданской войны.

Жизнь разводит влюбленных, как мосты над Невой, — верно, для того, чтобы усиливались духовные тяготения и чтобы стягивалась из конца в конец вся необъятная Русь перекрестными симпатиями рассеянных по ней существ, чтобы, как ветры, гуляли по ней души тоскующих в разлуке — и таким образом бы народ, который не может на русских просторах располагаться плотно, тело к телу, но пунктирно: «Как точки, как значки, не приметно торчат среди равнин невысокие твои города» (Гоголь, «Мертвые души», Т. I, гл. XI), — чтобы этот народ тем не менее представлял бы собой монолитное спаянное существо, единую семью, — и вся бы Русь, земля, родная, бедная, сочи-

¹ Когда же любовь, осуществленная, как в романе Чернышевского «Что делать?», она не прекрасна. Теряет поэзию и Наташа Ростова — жена Пьера и мать детей.

лась, дышала и была бы обогрета любовью. Отсюда в России у каждого человека такое щемяще живое чувство **родины** — ибо ее просторы не пустынные, но овены, перепоясаны любвями. И русские пути-дороги — словно маршруты любвей. Недаром идеалы русских женщин воплотились в декабристках, любовь которых усеяла верностью и преданностью сибирские санные пути. И когда «дан приказ ему — на запад, ей — в другую сторону», комсомолец, расставаясь, просит ее написать письмецо:

— Но куда же напишу я,
Как узнаю я твой путь?
— Все равно, — сказал он тихо, —
Напиши куда-нибудь.

И он прав, действительно все равно куда, ибо вся Русь — родина, распростертый воздушный океан любви, и везде там и его любовь — к родной. В России пишут **без адреса** («на деревню дедушке» пишет чеховский Ванька Жуков; Плеханов и Ленин пишут «Письма без адреса»; Гоголь писал на Русь «из прекрасного далека», а Белинский так же отвечал вроде и ему — письмом к Гоголю, а по сути так: в русское пространство) — и все равно любовь и слово души не пропадает, а где-то залегает бороздой в ее путях-дорогах пространственных и исторических. Недаром в русском языке самое любовное слово у возлюбленных — это не «дорогая» (darling) и не «любимая», а «родная», «родненький», «родимый»; то есть русская любовь между мужчиной и женщиной — той же природы, что и любовь к родине. Но это значит и обратно: что и мужчина от любви к женщине ждет не огненных страстей, но того же упокоения, что дает родина = мать-сыра земля:

Ночью хочется звон свой
Спрятать в мягкое, в женское, —

исповедовалась буйная и горластая махина Маяковского. И русская женщина, прижимая буйную головушку, лепечет: «Сына мое», и ее чувство — материнское.

И вот русская женщина словно и для того создана, чтоб быть сосудом, вместилищем, источающим и рассеивающим по России именно такую любовь — как бы с дистанционным управлением: чтобы отталкивать от непосредственного слияния, зато тем мощнее удер-

живать страсть на расстоянии, чтобы перегонять секс в дух, огненную влагу — в воздух и ветер.

Вот Достоевская Настасья Филипповна. Это женщина inferнальная, огненная. Она как жар-птица, русская шаманка. Она все время хохочет и вскрикивает — как крылами бьет, и все время увиливает из всех силков, вариантов упокоенной жизни, что ей расставляют мужчины. Они ее ловят, однако выходит так, что она их поймала, заворожила, а сама не далась — опять вольна, на ветру, крыльями хлопает, ветер производит и гортанно хохочет и все расплескивает вокруг себя искры страстей. Ведь вот, кажется, «счастье так близко, так возможно»: князь Мышкин и она узнают друг в друге тех, чей образ в душе носили еще до встречи (как и Татьяна: «Ты в сновиденьях мне являлся...»), и он предлагает ей руку, брак, и ему наследство привалило, а ей — избавление от адской своры самцов, вьющихся около нее, — так нет же, она отвергает! И права. Это в ней русская любовь инстинктивно самозащитно отталкивает свое реальное осуществление — чтобы пребыть: уже вечно существовать в тоске, воспоминании, что «счастье было так близко, так возможно». Ее любовь с князем уже состоялась, и свой высший миг она уже пережила: в узнавании души душой — как родных. Чего же боле? Она и осуществлена уже, сбывась порусски. Потому ей, жар-птице, единственно осталось — на костер: сгореть, как самосжигавшиеся раскольники. Из нее исходит сексуальная сила, но огненную влагу своей плоти она засушивает (она,ержанка, пять лет мужчинам из гордости не давалась!), раздувает на ветер, жизнь свою в пространство швыряет, а огнем своим устраивает самоубийственный пожар всему — в том числе и деньгам; так Русь подпала Москву в 1812 году.

Настасья Филипповна — это русская «дама с камелиями»: недаром этот образ так часто травестируется в романе «Идиот». Но в отличие от мягкой, нежной, влажной француженки — это сухой огонь, фурия, ведьма: секс в ней изуродован и попран с самого начала, чувственность ненавистна. И это лишь кажется, что она — жертва. Ей, по ее типу, именно этого и надо и желательно. То есть ее высшее сладострастие — не соитие, а разъятие: ходить на краю бездны секса, всех распалать — и не дать себя засосать: то есть это надругательство русского ветра, духовного Эроса над

огненно-влажной землей секса. И потому место телесных объятий, метаний, переворачиваний, страстных поз занимает свистопляска духовных страстей: гордости, унижения, самолюбия: кто кого унизит? Здесь, жертвуя собой, в самом падении испытывают высшее упоение самовозвышения, когда заманивают друг друга, чтоб попался в ловушку: принял жертву другого — ну на, возьми! Слабо?

В России секс вместо локальной точки телесного низа растекся в грандиозное клубление людей — облаков в духовных пространствах. Перед нами искусство создания дыма без огня. Потому совершенно безразличен или мало значащ становится акт телесного соединения влюбленных или обладания. Напротив, как ни в одной другой литературе мира, развито искусство любить друг друга и совокупляться через слово. Если у Шекспира, Стендаля разнообразные и пылкие речи влюбленных предваряют и ведут к любовному делу, то здесь скорее действие романа начнется после совершенных любовных дел: они питают своей кровью последующее духовное расследование — как истинную любовную игру. В «Бесах» расхлебываются дела ставрогинского сладострастия (Хромоножка, жена Шатова). В «Братьях Карамазовых» соединение Федора Павловича с Елизаветой Смердящей (везде подчеркнута уродливость плоти) было когда-то, а на сцене его плод — Смердяков и отмщение чрез него. Катерина приходит отдаться к Дмитрию Карамазову — но он не берет ее, ибо главного: насладиться унижением ее гордости — уже достиг. И ее кажущаяся любовь к нему потом и жажда самопожертвования — есть месть за унижение. Гордость сломить другого любой ценой — вот истинное обладание, по Достоевскому, и достигается оно, как в шахматах, предложением жертвы: отдав себя в жертву, унизившись; если ты примешь жертву, ты попался, я возобладаю над тобой. Потому каждый боится принимать жертву и, напротив, щедр на провокационное предложение себя в жертву.

В подавки играют... Любовь — как взаимное истязание, страдание, и в этом — наслаждение. словно здесь в единоборство вступили два из семи смертных грехов: гордыня и любострастие, — чтобы с помощью одного то ли справиться, то ли получить большее наслаждение от другого. Телесной похоти нет, зато есть похоть духа.

Под стать женщине — и мужчина в России.
Тютчев, сгорая в геенне шумного дня, умоляет:

О ночь, ночь, где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса!?

То есть огненно-воздушный, летучий состав русского мужчины («Не мужчина, а облако в штанах!» — Маяковский), с израненной и опаленной землей:

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою!

(тот же Маяковский, и там же), жаждет прохлады веянья тихого ветерка и журчания влаги. Лермонтов в «Когда волнуется желтеющая нива» рисует образ русского блаженства и сладострастия. И что сюда входит? «Свежий лес шумит при звуке ветерка», и «Росой обрызганный душистой...» «Студеный ключ струится по оврагу...».

Манифест русского Эроса — в следующем стихотворении Пушкина:

Нет, я не дорожу мятежным наслаждением,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, вися в моих объятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний,
Она торопит миг последних содроганий!

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моления,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва отвечаешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!

(Пушкин)

Пламенная вакханка — жрица секса — оттесняется стыдливо-холодной русской женщиной. Выше сладострастия — счастье мучительное, дороже страсти — нежность.

Это такое толкование любви у поэта близко народному. В русском народе говорят «жалеть» — в смысле «любить»; любовные песни называются «страдания»

(знаменитые «Саратовские страдания»); в отношении женщины к мужчине преобладает материнское чувство: пригреть горемыку, непутевого. Русская женщина уступает мужчине не столько по огненному влечению пола, сколько из гуманности, по состраданию души: не жару, сексуальной пылкости не в силах она противиться — но наплыву нежности и сочувствия.

То же самое и в мужчине русском сладострастие не бывает всепоглощающим. Мефистофель в пушкинской «Сцене из Фауста» насмешливо напоминает Фаусту:

Что думал ты в такое время,
Когда не думает никто?

Значит, в самое острое мгновенье страсти дух не был связан и где-то витал...

Но вот воронка засосала: наконец попалась русская женщина — Анна Каренина, Катюша Маслова... Хотя последняя — вариант русской «дамы с камелиями», как и Настасья Филипповна, только не инферальной, а земной, но и для нее тоже высшее наслаждение — гордость, отвергать жертву, предложенную Нехлюдовым — этим рафинированным Тоцким, который через нее теперь душу спасти хочет, как раньше тело услаждал. Но и здесь любовная ситуация расплывается на просторы России, растягивается на путь-дорогу; только тут уже мужчина заменяет место декабристок и сопровождает умозрительную возлюбленную — идею своего спасения: ибо к Катюше-ссылной давно уже не чувствует Нехлюдов ни грана телесного влечения (и здесь духовный Эрос воспарил на попоранном сексе). Такая ситуация невероятна в любой другой литературе (де Грие влачится за Манон, продолжая именно страстно любить ее), а в русском мире она оказывается абсолютно естественной.

Толстой не мог примириться с тем, что эта бездна секса, чувственно-страстного Эроса остается для русской литературы неисповедимой, за семью печатями тайной; чистоплюйство русского слова в этом отношении ему претило — и он подвинулся и предался ее испытанию. «Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет трагедия спальни» — так, по словам

Горького, говорил старик Толстой¹. Но почему «трагедия спальни»? Ну да! Эрос — трагичен. Недаром трагедия и возникла как «Песнь козлиная» во время донисийских разгулов.

Соитие в Природе и в Человеке

Что такое секс, чувственная страсть для русской женщины и для русского мужчины? Это не есть дар Божий, благо, ровное тепло, что обогревает жизнь, то сладостное, естественное отправление прекрасного человеческого тела, что постоянно сопутствует зрелому бытию, чем это является во Франции и где любовники благодарны друг другу за радость, взаимно друг другу приносимую. В России это — событие; не будни, но как раз стихийное бедствие, пожар, землетрясение, эпидемия, после которого жить больше нельзя, а остается лишь омут, обрыв, откос, овраг. Катерина в «Грозе» Островского зрит в душе геенну огненную и бросается в Волгу; Вера в гончаровском «Обрыве» оправляется от этого, как от страшной болезни, словно из пропасти выходит; Анна Каренина и та, что у Блока, остаются — «под насыпью, во рву некошеном...» И вступившие в соитие начинают люто ненавидеть друг друга, страсть становится их борьбой не на живот, а на смерть. Катерина своей смертью жутко мстит слабому Тихону и безвольному Борису — после ее смерти они всю жизнь могут ощущать себя лишь ничтожествами. Между Вронским и Анной сладострастие сопровождается усиливающимся взаимным раздражением, уколами, оскорблениями, видно, за то испытываемое ими унижение своего человеческого достоинства, что они своей чувственной страстью друг другу причиняют. И когда Анна идет на смерть, она опять страшно мстит всем, оставляет после себя полное разорение: Вронский торопится на войну, чтобы погибнуть, ибо видит только кошмар раздавленной головы; Алексей Александрович лишен всякого стимула жизни; и две сироты брошены в холодный, запутанный мир.

Но то, что в России соитие — событие, может, так это и надо? И в природе вещей? Ведь как рассуждает

¹Г о р ь к и й М. Собр. соч. М.-Л.: ГИХЛ, 1933. — Т. 22. — С. 55.

герой «Крейцеровой сонаты»: «Мужчина и женщина сотворены так, как животное, так что после плотской любви начинается беременность, потом кормление, такие состояния, при которых для женщины, так же как и для ее ребенка, плотская любовь вредна... Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы — всегда, только бы приятно»¹.

И в самом деле: ведь акт зачатия есть один из катастрофических моментов в жизни живого природного существа; к нему оно готовится, зреет и, когда готово, отдает в нем свой высший сок, передает эстафету рода, и дальше, собственно, его личное существование в мире становится необязательным. Недаром самцы в разных животных царствах гибнут после оплодотворения, а в мировосприятии русской литературы, как правило, мать умирает после рождения ребенка (таковые сироты с материнской стороны — большинство героев Достоевского, да и в «Дубровском» Пушкина и т.д.). Значит, может быть, именно то отношение к Эросу — как к грозной надвигающейся величавой стихии, а к соитию — как однократному священнодействию², — и есть то, что присуще, нормально для природы человека; и напротив: разменивание золотого слитка Эроса на монеты и бумажные деньги секса, пускание Эроса в ходовое обращение — противоестественно?

Итак, необходима ли человеку постоянная и равномерная сексуальная жизнь?

Если идти по логике «от противного»: т.е. раз у животных так, то, значит, у разумного существа должно быть наоборот, — то да. Как раз у животных лишь раз в году — или в иные периоды — происходит течка, а в остальное время полы спокойны друг к другу.

¹Т о л с т о й Л.Н. Собр. соч.: В 14-ти тт. М.: ГИХЛ, — 1953. Т. 12. — С. 33–34.

²Недаром так популярна в русской литературе идея ночей Клеопатры: «Ценою жизни ночь одну» — она и у Пушкина в «Египетских ночах», и чайковская Татьяна мечтает: «Пускай погибну я, но прежде я в упоительной надежде...», «я пью волшебный яд желаний...»; и у Лермонтова в балладе о грузинской царице Тамаре поведано о том, кому уготовано ложе сладострастия и кто наутро хладным трупом летит в волны Терека; и Настасья Филипповна, швыряя сто тысяч в огонь, говорит: «Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои ли деньги, Рогожин?» — «Твои, радость! Твои, королева!»

А так как тенденция человека — сделать свою жизнь независимой от природы, ее законов и ритма: для того и труд, одежды, дома, города, наука, разум, культура, любовь, искусственные катки летом, бассейны под открытым небом зимой и т.д., — то можно заключить отсюда и об Эросе: что эту стихию человеку свойственно укротить и, как река процеживается по отсекам гидроэлектростанции, употреблять его с приятностью и в малых дозах, без риска, без ощущения смерти и трагедии.

Заключение такое подозрительно своей автоматичностью. Попробуем идти не от рецептов логики, а от живого представления человека.

Что есть чувственность? Это — тонкокожесть, острая реактивность нашего покрова-кожи, той пленки, что отделяет (и соединяет) теплоту и жизнь нашей внутренности — от мира кругом. В этом смысле человек наг и гол по своей природе: лишен панциря, толстой кожи, шкуры, меха, волос — и всю жизнь он имеет вид новорожденного животного, и, значит, ему, словно по Божьей заповеди, предназначено быть вечным сосунком, младенцем. В оборону нам, вечным детям природы, и предоставлено быть мудрыми, как змеи: дан разум, мысль, труд и искусство, чем мы и нарастили над собой шкуру одежд, панцирь домов, рощи городов. Это те соты и паутины, что мы себе выткали. Но в глубине существа человек знает и чувствует себя, что он наг и сосунок, и, когда ложится спать и скидывает одежды, все его детство и младенчество проявляется: он зябко кутается, свертывается клубком — словно вновь в утробу матери возвращается. Потому все: даже гнусные люди и злодеи — во сне умилительны, и даже справедливо убивающий сонного (леди Макбет) потом всю жизнь казнится, ибо душа сонного безгреховна.

Животное же, и когда спать ложится, все в своем панцире, в дому и в отъединенности от мира пребывает: одежда ему не скинуть, кожа толста. Самец и самка даже когда в одном логове и гнезде спят, не суть плоть едина, ибо каждый своей шкурой прикрыт, единолично в своем доме жить продолжает. А вот когда под одной крышей оказываются мужчина и женщина, они — два существа под одним панцирем, а когда на одном ложе и под одним одеялом — уже два беззащитных новорожденных младенца-сосунка, каждый уже полусущество (пол = половина, секс = секция, часть, рассеченность), несамостоя-

тельное и несамостоятельное, и эта их неполноценность, нежизненность друг без друга влечет их к соединению, в чем они и становятся плотью единой («Жена и муж да пребудут плотью единой», — сказано недаром именно про людей, а не про всех живых существ), воссоздают собой целостного Человека, который не случайно двуполом создан, так что идею его мужчина и женщина выражают каждый лишь частично; и потому, когда в женском вопросе женщина вопрошала: «Разве женщина не человек?» — ей следовало добиваться не ответа: «Да, женщина — тоже человек», а ответа другого: что мужчина тоже не человек и что лишь вместе они — Человек¹. У «божественного Платона» недаром есть миф о первоначально двутелых человеческих существах — андрогинах («муженщинах», по-гречески), отчего потом, распавшись на половинки, каждая всю жизнь ищет свою родную — и это неодолимое влечение есть Эрос и любовь.

БЕЛЫЕ НОЧИ И ЛЮБОВЬ

Значит, чтобы понять русский Эрос, опять взглянемся в русский Космос, в его ночь и день.

¹ Как-то одна шибко интеллектуальная молодая женщина рассказывала мне с удручением, как любит один недавно женившийся жену, которая и мало красива, и вроде не умна, ничего особенного, — только вот чистенькая, уют кругом создала, все перышки почистила, все пылинки сдула — и правда ли, спрашивала она меня, что мужчине, в сущности, именно это и нужно от женщины — как ей объяснил один ее умудренный знакомый? Но ведь такая женщина, блюдя дом, именно их общую кожу ткёт: есть лара и пенат, ангел-хранитель целостности и здоровья единого из них двух Человека — так, чтобы половинки его прилегали друг к другу без зазоров: притирает мужа к себе, чтоб он привык, что без нее никуда, без нее его нет, и он сам ничего не может, не особь; обволакивает взаимно друг друга пеленой — паутиной, что ткёт из своих соков и души (уют и есть эта пелена и покрывало), — и пеленает мужа, как младенца, и он растопляется в первичном блаженстве новорожденности и детскости — то чувство, что и пристало испытывать именно с женщиной, ибо все остальные свои потенции: как воин, мыслитель, дух высокий и творец и проч. — он имеет где проявить: в дневной жизни в обществе. Детскость же свою и новорожденность — только с женщиной. В «Анне Карениной» Кити, истая женщина-жена, везде дом создает: и в поездке, и у постели умирающего брата Левина...

Пушкин в отрывке «Гости съезжались на дачу» об этом же размышляет: «На балконе сидело двое мужчин. Один из них, путешествующий испанец (Пушкину нужен генетический ему средиземноморский глаз: Испания расположена на севере того водоема, на юге которого — Африка; и наибольшая в русской литературе эллинская гармоничность и пластика — в творчестве как раз Пушкина. — Г.Г.), казалось, живо наслаждался прелестью северной ночи. С восхищением глядел он на ясное, бледное небо, на величавую Неву, озаренную светом неизъяснимым (свет не вечерний, белесый, бестелесный — неизъяснимый, ибо не от причины: не от солнца, не от точки, а просто марево, как некая субстанция бытия в стране, где мир называют: «белый свет». — Г.Г.), и на окрестные дачи, рисующиеся в прозрачном сумраке.

— Как хороша ваша северная ночь, — сказал он наконец, — и как не жалеть об ее прелести даже под небом моего отечества?

— Один из наших поэтов, — отвечал ему другой, — сравнил ее с русской белобрысой красавицей; признаюсь, что смутлая, черноглазая итальянка или испанка, исполненная полуденной живости и неги, более пленяет мое воображение. Впрочем, давнишний спор между *la brune et la blonde*¹ еще не решен. Но кстати; знаете ли вы, как одна иностранка изъясняла мне строгость и чистоту петербургских нравов? Она уверяла, что для любовных приключений наши зимние ночи слишком холодны, а летние слишком светлы» (т. VI, с. 560–561).

Прежде, чем пустимся в рассуждение, поостережемся: в обоих случаях о России высказываются чужестранцы: «испанец» и «одна иностранка», а русский лишь вопрошает, сравнивает да что-то себе на уме соображает, но что? — нам неизвестно. То есть слово о России в орбите русского сознания и русской логики здесь не произнесено, а есть лишь слово о ней глазами Юго-Запада. И это типичная структура русской мысли: сталкиваются определенные суждения в духе западной логики, но потом ставится вопрос, многоточие — и уходит в русскую беспредельность (неопределимость) —

¹ Брюнетка и блондинка (франц.).

в дальнейшее нескончаемое бессловесное загадочное соображение...

Итак, ночь — та, что есть собственное царство Эроса, здесь, в России, у него как бы отобрана. На юге огненно-жаркий темный Эрос (ибо Эрос есть темный огонь — тот, что греет, но не светит — недаром у Тютчева:

И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огонь желанья)

пошел из ночи агрессией на день, почернил людей, их тела и глаза (смутлая, черноглазая итальянка: черные глаза — это глаза ночные, и на дню — те что не светят, а блестят; они у страстных женщин: у Зинаиды Вольской, у Катюши Масловой — «черные, как смородина», у Настасьи Филипповны), и завладел днем и светом, и стал дневным откровенным занятием: недаром сказано о «полуденной живости и неге». А здесь — полнощная бледность и «не белы снега». Но в стране полнощной происходит подобная же агрессия, выход за положенные пределы и распространение — только теперь света и духа — на ночь и Эрос. Здесь солнце светит, а не греет, огонь заменен на свет. Значит, на дню — полное царство духа, стыдливости, а Эроса даже видом не видать, секса слыхом не слышать (тогда как на юге неге и полуденная). Но и ночью Эрос не предоставлен сам себе, а его домен уязвлен со всех сторон и обуживается: ночь долга зимой — вот бы где разгуляться! — да больно холодна: люди промерзшие, зябкие, воздух стерильный, уж совсем обестелесненный, чистый свето-воздух, да и ночь не темна, а все блестит на снегу. На природе, значит, нельзя — вся чувственность скована, а в избе — уж хоть бы успеть просто разогреться — где уж там до сексуального разгорячения доходить! И, войдя с морозцу, не бабы хочется, а водочки выпить — нутренность обжечь, а не кожу потерять. Душа-то глубоко затаилась, в комок сжалась, как кашеева игла = жизнь-смерть, — хоть там бы ее оживить. А до поверхности тела, до кожи и допускать ее, душу-то, нельзя: растечется, беспомощной станет в неге, а тут ее мороз да снег — хватить! — и укокошат.

Нет уж, и помыслов таких, чтоб о бабе, нет, — а выпить! И влага-то сама огненная русская — про-

зрачная, ясная, светлый зрак (тогда как вино — как черные глаза — темный огонь). Пропитается ею человек из нутра — и дух воспарит в веселье сам собой, но не то, чтоб тело пропитать, все его поры оживить: его-то оставит без внимания, в водке независимо от тела и чувственности дух празднично живет. А повеселился, разгулялся — и спать повалился, сам — как особь — как был в телогрейке и тулупе.

Недаром извечная, заматерелая ревность существует между русской бабой и водкой, и, по словам одного русского мыслителя, белая магия последней забивает черную магию первой. И белая молочная влага спермы словно растворяется, дистиллируется в прозрачной ясноглазой влаге водки — и не может быть эротического напора: уведен он...

Итак, зимняя ночь отобрана у Эроса и холодом, и снегом, и водкой. Ну, а летняя?

А наше северное лето —
Карикатура южных зим...
(Пушкин)

Лето = тепло, но не знойное, а мягкое, умеренное — чтобы разогреться, но не разгорячиться. Дни огромные по продолжительности: Божий зрак заливает далеко и в пространстве и во времени — и

Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Опять негде Эросу разгуляться — весь он на виду, нет ему тьмы. Что же остается? И прежде всего женщине?.. Вот тут уж путей несколько. Один — перестать уповать на сгущенность, и напор, и острую радость, но растечься, расползтись, так же как и свет, ровным неопределенным маревом — нежности, жалости; и тогда женщина русская, белобрысая красавица: красивая, глаза озерные — как русалка, завораживающая северная красавица, но водяная она — холодноватая, кровь рыбья. Она тоже светит, но не греет —

Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне —

такова как раз Ольга в «Евгении Онегине».

Но Ольга — низменный, бытовой вариант белотелой русской красавицы. В ее возвышенном типе — это «ле-

бедь белая», «сама-то величава, выступает словно пава», «а во лбу звезда горит»: светлоокая она — и уводит душу в северную космическую бесконечность, отрывает от узкой земности — и, именно видя такую красавицу, замерзают русские ямщики в метелях среди степей: цепенеют и, замороженные, к ней уносятся, так же как и поэт Блок — вслед за снежными девами. Это — русский вампир. Если юго-западная женщина-вампир (Клеопатра, Тамара...) загрызает плоть мужскую и пьет его кровь — это бешеное разъяренное лоно, — то русская озерно-глазая красавица завораживает так, «что не можно глаз отвести», — и свету божьего больше не взвидишь — т.е. действует через глаз и свет, пронзает лучом и приковывает, цепенит — и руки опускаются, и ничего делать не хочется и невозможно — только о ней думать, глаза ее видеть — и так смерть наступает: через душу пронзенную и плоть, как тряпка, заодно уволакивается.

Другой путь для Эроса — и одновременно тип русской женщины — это уход вглубь, под пресс тянучей жизни, угнетение, долготерпение, сосредоточение — и катастрофический взрыв с разметанием все и вся. Это Татьяна Ларина, Катерина в «Грозе» Островского, Анна Каренина. Эти, как правило, полагаю, черноглазы. А в русском Космосе среди рассеянного света и белизны особенно потрясающе наткнуться на блестящий черный глаз: если здесь Эрос выжил — значит, страшная в нем сила взрыва затаена. В галке на снегу увидел Суриков архетип страстной женщины в России (боярыни Морозовой). В ней и страшная сила — раз одно пятно жизни соперничает с саваном смертным, — но и начало темное, злоторное и трагическое. Недаром эти женщины одновременно, как правило, и бледны и худощавы (тогда как русская женщина первого типа, «лебедь белая» — полнотела и румяна, и глаза голубые: в ней Эрос равномерно растекся ровным теплом). А в этой эротический огонь ушел с поверхности тела, оттянулся от кожи — зато в самую душу, святую святых проник, там порохом затаился — и только в глазах умеющему видеть в себе знак подал. Никто — ни она сама — об этой своей силе не знает: рядом с откровенной красотой Ольги о Татьянинной страстности лишь по косвенным признакам можно судить. Недаром Татьяна любит русскую зиму, снега и свет — это в ней потреб-

ность остужать внутренний огонь, просветлять хаос говорит.

ЭРОС — В ПРИРОДЕ, СЕКС — В ГОРОДЕ

И вообще секс невозможен на природе: в открытом пространстве, на лоне природы живет Эрос; секс же располагается в помещении, в городе, где среди обожженной земли зданий, асфальтов, машин единственное, что осталось от живой природы, от ее лона, — это лоно женщины; и к нему приникает испитой среди огне-земли горожанин и доит его, секс, доит — чтобы проверить: жив ли я еще? — в чем засомневаешься среди дневного механизма работ и автоматизма научных установок. Поэтому город = царство женщины: здесь все для нее, тогда как в деревне легче жить мужчине, а бабе труднее. И прав Позднышев в «Крейцеровой сонате» Толстого, говоря о «властвованье женщин» в городской цивилизации: «Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжелого труда держат девять десятых рода человеческого. А все оттого, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами (имеется в виду равное право воздерживаться от полового общения, а не права юридические. — Г.Г.). И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел»¹.

Но отчего чувственность так развивается в городе? Чувственность есть тонкость и раздражимость нашей оболочки, как чувствительность есть тонкость внутренней организации. Но где тонко, там и рвется. Унеженный состав вещества в горожанине связан с тем, что с человека цивилизация в своем развитии все продолжает сдирать естественно защитные природные покровы, скальпирует его, продолжая курс на замену естественного панциря, шкуры и даже кожи — искусственным покровом белья, одежды, домов, так что в перспективе может исчезнуть оболочка, отделяющая нашу внутренность от внешней среды, чувственность мо-

¹Т о л с т о й Л.Н. Собр. соч. М.: ГИХЛ, 1953. — Т.12. — С. 25.

жет слиться с чувствительностью — и совершенно лишённые самозащиты человеческие существа будут выданы на поруки их разуму, труду и искусству, которые, сорвав оболочку, будут внедряться и дальше, стремясь заменить природные органы — сделанными. Уже и сейчас в итоге усилий медицины человек во многом состоит из протезов, и не только там, где это очевидно (зубы), но и шире: одежда наша — протезы: шапка — протез волос, обувь — протез подошвы; более того, поскольку наше здоровье контролируется врачами и мы принимаем лекарства, у нас уже полупротезные легкие, сердце, желудок, пищевод и т.д. В итоге — гомункулос как воплощение *Homo sapiens*.

Итак, развитие чувственности связано с цивилизацией. Если человек, которого обдувают ветры, обливают грозы, обретает закаленную кожу — шкуру, которую нелегко прошибить: лишь напору Эроса, страсти он поддается, то есть необходимому, — то тонкокожий горожанин есть прибор более чувствительный, на него мелкие раздражители действуют: шорох платья, улыбки, мимолетный взгляд — и он восхищается, возгорается (везде здесь чувственность: огонь в крови и зуд в коже — возжигается от чувствительности: от прельщения взглядом и слуха); но чем больше впечатлительность, тем слабее реакция, и душа горожанина раздражается в свистопляске множества раздражителей и мелких аффектов. Душа же живущего среди природы более защищена и цельной остается. При дублености кожи крестьянина — большая разграниченность внутренней и внешней жизни: жизнь души имеет в теле и ограду более крепкую, да и само тело — охранник, в силу грубости своего состава не посягает вовлекать духовную субстанцию в свою жизнь и заботы.

Горожанин же более тотален: чувствительность более сращена с чувственностью — между ними взаимопроникновение. Но потому и внутренний мир горожанина подвержен свистопляске желаний, стремлений — этим языкам «геенны огненной» (город и есть материализованная «геенна огненная», ибо он весь есть — печь, из обожженных камней составленная), и нет в нем сосредоточенности. Чувствительность в нем сильнее, зато чувства слабее.

Но и нельзя ничего сказать, что здесь хорошо, что плохо. Может, вселенная новую породу в людях выводит, утончая предварительно состав их вещества (так что цельный человек — крестьянин так и останется

прекрасной, но особой породой), чтобы мысль источалась из него как естественное отправление. Ведь у мифических ангелов тоже, видимо, нет силы чувств — незачем: нет дуализма души — тела; зато их тела эфирны, из света ума сотканы...

Таким образом, у нас явились еще основания для различий. Значит, русская природа — по характеру в ней ночи и дня, по составу стихий — склонна высветлить Эрос, огненность в нем заменить на светлость, негу — на нежность, страстность — на жалость.

Теперь взглянем на русский Эрос с точки зрения типа городской жизни в России: то есть какой панцирь цивилизации нарастает на теле русского человека и какова, соответственно, чувственность русской женщины.

Что город существенно связан с властвованием женщины, обнаруживает и русская история. Древняя Русь знает женолюбца Владимира. Русское государство — сладострастника и садиста Ивана IV. Все это восточный принцип многоженства. Но только построили Петербург и установили «российскую Европию» — империю, как замелькали женщины-императрицы с фаворитами и любовниками, пока не воссело на русский престол неистовое лоно Екатерины II — женщины заемной, привозной: принцессы Ангальт Цербстской, из неметчины, которая своей влагой европейски освятила русское государство, заменив и оттеснив слезы переносных икон крестьянских — христианских чудотворных Божьих Матерей, — Матушка Императрица!..

Но именно городская культура новоевропейских (после античности) народов Запада ставит в центр женщину: культ Прекрасной дамы — и вокруг нее одной резвятся на турнирах и поединках мужи-рыцари. Если Восток знает гарем и сюжеты, основанные на перипетиях выбора мужчиной из нескольких женщин (сюжет восточной поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» строится на треугольнике: один он и две оне), то для западноевропейской культуры, от Тристана и Изольды и далее, типичен треугольник: одна она и два мужчины в связи с ней. А Дон Жуан недаром в Испании возник — на стыке европейской и мавританской культур: только в нем, естественно, восточный принцип статического сосуществования разного в пространстве (в гареме — одновременно много женщин) заменяется на европейский фаустианский принцип: времени, последовательности и изменения: женщины Дон Жуана не одна рядом с другой, а одна — вслед за другой; и он ветрен,

В русской же литературе (Россия — стык Европы и Азии) характерны переkreщения западных и восточных треугольников:

Князь Мышкин ~~и~~ Аглая

Обломов _____ Агафья Пшеницына

Анна Каренина — Каренин

Вронский

Анна

Вронский

Анна (восхищение — возможность).

Митя — Грушенька

Катя

Иван Карамазов

-Отец Карамазов и т.д.

Цина Заречная ← Тригорин

Треплев

Нина Заречная

Характерно, что романизация древних русских преданий, сюжетов, их переработки на европейский лад связаны с введением второго мужского персонажа. Так, Бородин в либретто оперы «Князь Игорь» добавляет фигуру распутного князя Галицкого, помогающего любви Ярославны (как женихи Пенелопы), а Мей — Римский-Корсаков одаривают псковитянку Веру Шелогу греховной страстью и прелюбодеянием.

ЧЕЛОВЕК — ДЕРЕВО И ЧЕЛОВЕК — ЖИВОТНОЕ

Исходный для России тип Эроса — в Древней Руси, старозаветной. Фактов у нас почти нет, ибо и так уж мало дошло («мало слов доходит до меня», по словам Пимена-летописца) из минувшего, а про *это* — вообще ничего, ибо это — сфера табу для письменного слова, разве что косвенное просочится. Так что единственный путь нам остается: домыслы и реконструкция на основе некоторых зацепок.

Тип поселения — деревня. Дом из дерева, изба, сруб — что это для Эроса значит?

Юрта кочевья — из шкур и кошмы; пища — из животных: мясо, молоко; тепло и свет — от сала и жира их. И человек живет в шкуре животного — и в нем животная — низовая — душа, естественно, развитие — и плотская жизнь: глаза черные, страстные, тело полом сочится, ибо животные все — половы. Потому видеть женщины — даже куска тела ее — не может: возгорается! — и чтоб предохраниться от повсюминутного истечения и сгорания, женщину — с глаз долой: чадрой-паранджой снизу доверху она прикрыта, включая и лицо, и верхнее отверстие — рот.

Жилье из дерева говорит о ближайшем соседстве не с животным, а растительным царством. Изба по В. Далю: «истопка, истпка, истба, изба». Значит: и стены из дерева, панцирь, шкура человеческая — и нутро: огонь — свет и тепло — тоже деревянный, а не жирно-сальный. Значит, излучает из себя лучина — луч, свет солнечный, воздушный, горный (тогда как свет от жира-сала — свет утробный, огонь гееннский, адски-сковородочный). Дерево в сродстве с человеком — тем, что вертикально: от земли к солнцу тянется, есть срединное царство между небом и землей, и крона его = голова, а ноги = корни. И его жизнь — неподвижное

вырастание во времени, сосредоточение — податливость и самоотдача. Соответственно, и человек, в лесу, от леса, при дереве и деревом живущий (тот, что лыком шит), — более светло-воздушен, чем земен; ритм его жизни более связан со временем и циклами: ведь если животное всегда равно себе — один вид имеет, то дерево — то земно и сочится, то голо, и лишь еле-еле душа в теле теплится под корой: долготерпение ему пристало, чтоб когда-то еще стать атаманом... — ждать своего часа.

Животное само движется, а мир стоит. Для дерева наоборот: все кругом исполнено движения, а оно незыблемо — зато чутко ветры слышит, тогда как животное полно собой, себя, свое нутро в основном слышит, эгоистично.

Дерево бесполо: особь здесь не чувствуется именно как половинка — полом (как самец и самка животного), но, с одной стороны, самостоятельно, само собой прожить может «среди долины ровныя на гладкой»¹ высоте (недаром в народе похвальное слово: «самостоятельный мужчина», да и женщина тоже — «свой парень»); а с другой стороны — как член множества: рощи, леса — т.е. артели, общины, мира.

Итак, это от дерева добродетели русского человека: «стойкий характер», «терпение» (тогда как у западных народов — деятельный характер, у южных бурный, нетерпеливый) и «ясный ум» = светлоокость, глаза озерные — круглые, чистые, тогда как у кочевых — черные, раскосые: в бока мира и вниз, как у животных, глядящие — траву искать, землю высматривать. А лесным — вверх глядеть: птицу на ветвях стрелять.

И от дерева — в русском человеке и женщине верх важнее низа: лицо, глаза, «плечь широкая», «грудь высокая», белая, шелест умной речи; у русской деревенской красавицы верх разодет разнообразно, а низ — длинной, монументальной, как ствол — без всяких штук, толстой, как кора, тканью прикрыт. У женщины же южной (у народов ислама, Индии и тропиков), когда она убирает тело для танца = ритуального продвижения по космосу, — живот и бедра становятся средоточием: гибкость и змеиность их движений и пласти-

¹ «На гладкой высоте»! Даже высь — уширена, оравнинена, по-русски.

ка рук и шеи (подвижность шеи не на вращательные, а на горизонтальные движения — фигура «чурек») — как щупальца для обволакивания, притягивания и втягивания в средоточие.

В русском же танце основная фигура, что делает женщина, это — плыть: «сама-то величава, выступает словно пава». То есть под покровом лапидарного низа ногами незаметно перебирает (в южном танце — как раз движение ног и живота должно быть заметно), зато активен верх: руки в боки или скрещены — как ветви деревьев на ветру живут.

Народы умеренной полосы — не лесные, а земледельческие, степные — в танце являют трудовую гибкость: а на полевой работе юбки подоткнуты, приподняты, ноги до колен видны, и руки до плеч обнажены, все же остальное — как щитом прикрыто. В пляске все равномерно подвижно: и верх, и центр, и низ. И в одежде все эти три точки равномерно расчленены и подчеркнуты. Низ — сапожки, носочки, чулки; центр: снизу — юбки — верхняя, нижние, кружева, панталоны; центр срединный: пояса, престилки, передники. Центр верхний — корсеты, лифы... Верх: лифы, воротнички, ленты, пуфы, перчатки, короны, обода, шляпы, перья. То есть все тело по частям разбито — как земля на parcelлы, — и все формы, все множество форм, вещей выделено, подчеркнуто, отгранено, отполировано — как детали, из которых машина, механизм составляется. И все фигуры танца — для выявления то одной, то другой части — детали: показ и смотр их мастерства — что делать умеют.

Южное же и античное одеяние — единая ткань препоясанная (туника, тога, сари) — имеет целью явить единое, организм, целостную переливающуюся жизнь женского существа. Здесь является чистый Эрос с акцентом на жизненно порождающей телесной душе и откровенном, естественно-природном сладострастии.

В умеренных народах — уже является покров, стыд, а с ними грех¹ и секс. (Вспомним мысли А. Франса о первых покровах и усилении эротического влечения.) Но, значит, вносится новая поправка в наши различ-

¹ Спартанки ходили на гимнастику обнаженные вместе с юношами.

ния: села среди лесостепи, где живут земледелием, родственны городу и горожанам по типу Эроса¹. В самом деле: большие города возникают в той же полосе природы, что и земледелие. Египет, Вавилон — там и земледелие, и города...

В горах большой город — нелепость. А среди равнины ровный он — чудо искусственного горообразования.

С Эросом по мере продвижения на север происходит то же, что и при восхождении на вершину высокой горы. Внизу — тропики: жар, влага, реки, испарения, буйная растительность, крупные и мелкие животные, непрерывное истечение и порождение круглый год нескольких урожаев, — непрерывная эротическая жизнь, естественная и откровенная. Человеку и усилий применять не надо: сам плод в рот падает = сами собой смыкаются объятия.

Повыше — посуше. Воздуха — духовности больше. Влаги достаточно. Земля не вся плодоносит буйно: есть долины, леса, холмы; травы пониже. Больше света — солнце не жжет, а светит. И тепло свое, огонь свой — в труде мысли и изобретательности приходится в природу вкладывать, помочь ей, чтобы прокормила — и она дает, при умеренных усилиях. То же и секс: страстное соитие достигается по умеренном духовном разогреве через любовь — они гармоничны. Появляется цикличность, ритм в Эросе = как урожаи раз в год.

Выше — леса пошли. Жизнь и Эрос крупнее и труднее. Если внизу частые мелкие травинки — рябь сексуальных слияний, то здесь: как ствол — не то, что себель, так и страсть редка, как грозы, но зато могуча.

Травы часты в пространстве и времени: живут быстро и недолго — сезон, времени неблагоприятного не знают, однолетние когда: зимой их просто нет (= как по Эпикуру, человек не сталкивается со смертью, ибо когда я есть — ее нет, когда она есть — меня нет). Дереву в этом смысле приходится знать и бытие, и небытие: ибо зимой, видно, оно живет лишь ровно настолько, чтобы память сохранять — то есть чистую душу и форму, а больше никакого плотски-телесного наполнения в нем нет. Значит, проблема личной смерти

¹ Недаром по-французски: ville, village — одного корня, тогда как в России: город и деревня (село) — от разных.

и личного бессмертия вырастает — для германски-славянского бытия и духа. Южнее, на Средиземноморье и Среднем Востоке, где возникали мистические учения о телесных метаморфозах и переселении душ, не настаивалось так на личном бессмертии, ибо при буйно-разнообразной природе превращение травы в бабочку, кипариса в дерево — радость разнообразия существованию и существу доставляло, во-первых; а во втором варианте, в Индии, — разнообразие настолько пышное, что даже утомляло, и мечтали прекратить цепь рождений, накопление кармы, переселения души.

В германско-славянском же мире нет такого изобилия природы, кишения телесных метаморфоз, так что конец тела и существа налицо — и, значит, не в круговороте природы может быть умиротворение. (И пантеизм недаром в германизме лишь южным умом Спинозы мог быть произведен, а у Гёте и Шелли он — скорее эллинская утопия, эстетический идеал, чем практическое самочувствие в мире, хотя здесь и это еще есть...)

Выстраивается твердь бессмертных форм, идей, «град Божий», дух = ум, труд, и оттолкнута жизнь, плоть, Эрос — в природу. Возникает дуализм (общества и природы, труда и жизни и т.д.). На одной его стороне — бессмертие (в духе), на другой — жизнь-смерть. (Но недаром именно так, отрицательно: как бессмертие — пристало духу себя обозначать, и не прививается идея «вечной жизни», а когда ее кому хотелось отстаивать, как Августину, неизбежно приходилось говорить и о тончайших телах, эфирной плоти, которую должны иметь души по воскресении — чтобы быть существами, а не сущностями.)

Дерево и здесь — учитель, мэтр человечества. Его суть — устойчивая форма (или идея, эйдос, вид), тогда как жизнь — то приходит, то уходит. Значит, дуализм здесь уже не на уровне «жизнь или смерть», как для средиземноморских романских, умеренных, без особых усилий и в равномерно одухотворенной телесности живущих народов, — этот уровень здесь уже слишком мелок, низок, земен и эгоистично-практичен. Здесь — пребывание, «бытие», «сущность», которые не имеют отношения, закалены, безразличны к низовому дуализму и различиям «жизнь-смерть». Вместо дуализма здесь антиномия: сущности — и явления. Логос выстраивает себе замок (= город), независимый от сельского

Эроса. И это — деятельность, труд, цивилизация (чем и силен германский Запад).

Русь — еще выше по зонам горы. Лес темнее, дремучее — бор; хвоя: сосна — ель, из лиственных уживается еще беленькая, под снег, береза. Небо ближе, ниже, наклонилось к людям. Света больше, тепла еще меньше, воздух суше, не напоен влагой и зноем — но чист и прозрачен. В соседстве уже выше — «мох тощий, кустарник седой», снега — конец земли, край света и отлет в мировое пространство. Но до этого еще не доходит — лишь предчувствие и дыхание этого, что «ветер принес издалека»...

Кстати, с точки зрения ритма Эроса дерево, растительность слиты с космическим циклом Земли: оно сочится, расцветает и умирает вместе со сменой времен года, тогда как животное имеет периодичность течения, независимую от набухания земли соками. Значит, они — не совсем земные существа: недаром от земли отделены и сами движутся, — но более солнечные и вообще космические, как планеты. Недаром созвездия названы животными, и нет растений на небе.

Животные = это планеты на нашей Земле: каждое — представитель другого Космоса и времени вращения, другого состава стихий, химических элементов, электромагнитных волн и света, — и потому идея священности животных вошла издавна в ум человечества.

Зима: все замерло, все жидкости оцепенели: а в собаке — течка, весна!.. В то же время линяние шкуры животных совпадает с временами года: на лето один покров надевают, на зиму переходят на форму одежды зимнюю. Таким образом, у животного — контрапункт времен, двухголосие ритмов и циклов. Есть наложение равномерно текущих жизненных потоков друг на друга. И Эрос кочевых народов, слитых с животными, неизбежно тоже должен иметь что-то родственное с этой временной полифонией.

Дерево (в отличие от одноголосой травы, которая имеет лишь одно время, живет один сезон) имеет тоже очевидный контрапункт времен: оно расцветает вместе с весной и облетает осенью — и в этом смысле его цикл связан с землей и временами года.

Но оно стоит много лет, сотни, тысячу — и смерть его не видна человеку, так что для человека дерево —

практически бессмертное тело отсчета (Мировое Древо, Древо Жизни...). Недаром и образы вечности и бессмертия у русских поэтов древесны:

Надо мной, чтоб вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.
(Лермонтов)

Значит, у дерева — полифония вечности и времени: на фоне, по канве бессмертия жизнь-смерть ткет свои детские узоры. Дерево — и бог и человек: и идея и воплощение. Оно — богочеловек, в то время как животное имеет полифонию двух циклов времени (а не времени и вечности), двух жизней-смертей — и не дает прямых выходов, ближних подступов к ощущению вечности и бесконечности, как это дает дерево и лес. Потому круг представлений — именно круг — у кочевых народов связан с острым ощущением начала и конца, пределов; и так как высоте человеческого духа отведено пребывать внутри этих пределов, она там разворачивается как интенсивность, бурность жизни, огненность крови и страстей: чтобы успеть за жизнь сжечь бесконечность — в этих границах, спалить вечность — в отведенном времени.

Ритм жизни древесных народов — спокойный, неторопливый: спешить некуда, пределов нет, есть выходы...

Если Эрос кочевника требователен и настырен, ибо его варианты: либо в одном ритме времени, либо в другом, но совершись, уложись, послужи мне — то Эрос древлянина в контрапункте времени и вечности — в этом диапазоне располагается: значит, нет настойчивости, не колотит кровью в виски: сейчас или никогда! — но знает, что его время никогда не уйдет, так что может и вовсе не совершиться за время жизни человека... В России много дев, старых дев, девственников мужчин, не рожавших женщин, бездетных браков, и они сами не так страдают, и на них не взирают с позором, как в других народах¹.

¹ 30.VI.85 г. На полях — затеи — забросы — заказы мыслей, которые, в беге дальше, не успел тогда реализовать — выпишу их конспективно.

«Русский город — пространствен, как степь (пустыри): нет уюта.

Снегурочка — от любви гибнет: противопозказан жар страсти белоснежной, нежной русской деве.

К истолкованию «Крейцеровой сонаты»

«Это» все — нечистая сила, скотство, свинство, мерзость. И вот в семьях — злость, раздражение, злые слова, отчужденность, сцены, а примирение в постели — тем более унижительное.

И все же, если глянуть вселенским оком на нас: вон в своей норе копошатся двое людишек, звуки какие-то издают, руками машут (это когда злые слова и сцены отчуждения), но потом тушат свет и прижимаются телами, входят друг в друга, и сосут, и грызут... — какие их действия считать важными и истинными, а какие — искажающими их суть? Вопрос смешной: очевидно, и эти отталкивания входят в идею человека — как дневной порыв каждого к тому, чтобы быть особью, самостоятельным, чистым духом, — то есть день готовит дистанцию и пищу для ночного Эроса: чтобы притяжение было мощнее, пожирание и потопление различий в небытии.

В «Литературной газете», только пришедшей, от 13 декабря 1966 г., ин-тер-вью: «Как здоровье планеты», и какое-то, на взгляд Бытия, насекомое — начальник управления «сейсмологии» на вопрос о землетрясениях в Скопие, Ташкенте и т.д. предполагает, что где-то на глубине сотен километров произошел разрыв = лопнул кровеносный сосуд, и магма полилась — и вот дошел импульс до поверхности. А мы на ней, этой поверхности, газетками пробавляемся, остроумничаем: «Как здоровье планеты?» Так что же — лишь это наше духовничанье есть правда и красота? Но ведь Эрос в нас и

Нет на Руси образа Золушки — городской (замок принца); зато Аленушка — в лесу, над озером. Золушка же — у очага (зола!).

Естественный русский город — Москва: «большая деревня» — то есть тоже по образу и подобию Дерева. Если же она «белокаменна», то стихия «земли» тут под снег обрядилась.

Камень и Дерево. Дерево менее сексуально.

В городе — улица, площадь, общительность, трение: социальность = сексуальность. В России — терем, горница, «Домострой» — изоляция. Символы любви на Западе — голуби: городская птица. На Руси — лебедь, птица озерная, не городская. Ну — ласточки...

Образы южной эротики — сады, стада: газели, лани. В «Песне песней» Соломона — кедр ливанский, стада.

Во Франции дружно Эрос с Логосом, секс с совестью живут. Отчего ж в России меж ними антагонизм? Или не чувствительна русская женщина? Француженки розова плоть, а русской — белая, снежная...»

есть наше со-действие вулканическим разрывам и извержениям: в нем наша вплетенность во вселенскую жизнь (как и в духе тоже — и на вселенский глаз в нас вообще нет этого дуализма, не имеет смысла само разделение духа-плоти: это наше частное, домашнее различие).

«Крейцера соната» есть мятеж, бунт духа в человеке — чтоб вырваться на свободу. Но грандиозность усилия, отталкивания и проклятья другой стороне, сама мощь этих перунов, которые приходится обрушить духу, не о равнодушии и самости духа говорят, а о мере его любви и зависимости от противоположной стороны — от Эроса.

«Крейцера соната» — это истерические «нет!», «не надо!», которые возглашает в пространство женщина для прочистки совести и души: что я все, мол, от меня зависящее сделала, чтобы отбояриться от яри — Эроса, в то время как ее увлекают на ложе и все ее естество страстно этого хочет и отдается.

Только в России иллюзии и самообольщение у людей: мужчин, женщин — и их духов, а именно: поскольку свет и холод заполонили русский Космос, изгнали Эрос на утлую, малую территорию, стало казаться, что вообще его нет, и легко с ним справиться, и не имеет он уж такого значения, и без него прожить можно, — и манит надежда и соблазн на чистую жизнь в духе и свете, которая-де у нас здесь легко достижима — рукой подать до неба! и к этому мы призваны.

Но тем катастрофичнее наплывы и взрывы Эроса: ибо как равноправная сила он остается — только сжат по месту и времени, — и он берет свое полностью. Но для человека, который арена этих боений, это — надламывающие бросания из жара в холод; а может, как раз закаляющие? — как из русской бани разгоряченные — в снег бросаются, так что, может, в таком типе русский Эрос и осуществляться может, и ему так и пристало? Ибо ровное, теплое сексуальное общение, наслаждение (как в романских странах) здесь невозможно: не тот разогрев в вечной мерзлоте — такой теплоты хватило бы лишь на то, чтоб ее подтаять, но не воспламенить почву и соки, что нужно для Эроса...

ЛЮБОВЬ СЛОВОМ

2.I.1967 г. Видно, мне иного излечения нет, как играть с чертами и резами¹ — бумаготерапию принимать: мусолить ее. Вчера о спицетерапии прочел — вяжут и успокаиваются: оттоки токов происходят в ритме мерном спицевращения. И к тому ж — глядь! — а что-то полезное или замысловатое выйдет. Но так и на бумаге случается — словики вывожу ручечкой, вязь плету какую-нибудь — и укрощаюсь и вот чуть не язык высуну, как Акакий Акакиевич, который весь пыхтел, когда к сладчайшим своим буквам приближался: он так выводил их округлости, завитки, как иной женщину обхаживает словом, взглядом или тело гладит — рукой по линиям проводит. Точно — в этом было сладострастье Акакия Акакиевича — женские фигурки в буквах выписывать, как сладострастье Гоголя — сливаясь с бумагой, что-то позамысловатее ей бросить, выкинуть, отковырнуть: на бумаге он словами и образами просто отплясывал: Эк! Вона! — и просто-о-ору что! Это тебе не город, Питербурх — а Русь!: белизна бумаги как чистота Божьего света, «ровнем-гладнем разметнулась на пол-света». Вот откуда графоманство российское: распоясываясь на белизне и ровне-гладне бумаги, житель русский всю ее, матушку, обнимает, гладит — с нею соединяется: помечтовывает, как бы эдак исхитриться, чтобы «объять необъятное» тело — той женщины, что, по чувству еще Ломоносова, разлеглась, плечьями Великой Китайской стены касаясь, а пятки — Каспийские степи.

На белизне бумаги всю ее, родимую Русь, по стебельку — по буквочке, по словечку — по лесочку перебрать и перещупать можно, а больше никак, ни-ни! — не подступишься. И пословица: «Гладко писано в бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить» — как раз и идеальную любовь выражает: в матовой белизне бумаги Русь такая ласковая, откормленная, гладкая, белотелая, податливая! — и романтическую горечь от столкновения с грубой девкой действительности. Графоманство в России — не только

¹Так обозначал буквы болгарский первокнижник Черноризец Храбр. 16.I.86 г.

личное упражнение неприкаянных одиночек, но и хоровая любовь государственного аппарата к России на нивах и холмах писанины разворачивается: отчеты, запросы, реляции, установки. Когда Алексей Александрович (а кстати, недаром созвучие: А-А: Акакий Акакиевич = Алексей Александрович) Каренин, отринутый в любви и утвердившийся в своем величии государственного человека, мысленно сочиняет докладную записку об инородцах, упущенных противным министерством, он же испытывает подлинное сладострастие от ловкого орудованья с номерами параграфов и статей: крючкотворец — тоже ой как непрост! Это — гладили, гладиатор: бессильный уже старец или ребячливый муж воображает тело женщины «в завиточках-волосках» (Маяковский) и новые ей крючочки застегивает и расстегивает — вот эротическая подоплека крючкотворства: искусство затруднять соитие человека с делом, дела с истиной и смыслом. Посредник здесь — как сводник или сваха — сидит в канцелярии, а ко всему прикоснуться хочет через щупальца анкет, справок и необходимых заявлений. И то, что ничто без бумажек совершиться не может, — это право первой ночи феодального сеньора: аппарат блюдет его в превращенной форме словесных-письменных касаний, обнажений таинства, нарушения целомудренной немоты, и все-то должно быть названо «своими именами», а не окольными, обиняками, как имя Бога в табу. Бумага, писанина — это бесстыжие зенки, что аппарат на Русь уставил, и та время от времени плюет в них языками пожаров: одна из главных народных радостей в восстаниях — это жечь архивы и списки.

Однако освобождаться от бумаг и крючкотворства России нужно лишь время от времени — чтоб одна дыхнуть, дух перевести, разгуляться: хоть ночь, а моя! — а там хоть трава не расти! Но это безразличие к тому, что не «в минуты роковые», а в буднях она подлежит и отдается волокитству и обхаживаньям бумажных ее любовников, — бесчувственность кажущаяся. Щелкоперство приятно и лестно Руси: ровень-гладень бумаги адекватен ровню-гладню ее бесконечного простора. Это в буднях — ей как дополнительная кожа, нарост в мороз: приятно зудит, почесывает во сне, разогревает, словно УВЧ Русь под аппаратом принимает — а там потихоньку ее

разберет: разогреет, раззадорит, раскалит, доведет до белого каления, и тогда она, разгоряченная, скинет с себя этот покров и голая побежит париться в баньку, а потом в снег: отдаваться, «бросать по любви» станет Русь не со старичишками — слуховыми аппаратчиками, а со Стенькой Разиным, с вольницей, с силой молодецкою. Государство в любви России играет роль предтечи, наводчика: оно — сват, но жених, но вор — другой. Так и творится Эрос русской истории: возлегает Русь с двупостасным супругом — аппаратом и народом — и так лишь полноту соединения испытать может: когда страстную ярость к аппарату обрушит страстной горячностью к непутевому, беспутному своему сорвиголове; иначе, без ненависти то есть, любовь ее просто тепла, но недостаточно еще горяча, чтоб стало возможно белое каление страстного слияния, которое в русской женщине всегда однократно и — катастрофа.

Итак, **въедливость** — это в слове сексуальное свойство. Чуем мы, что Гоголь — насквозь эросный писатель, но уловить никак не можем: и близко не подходит, просто бежит от любви и любовных сцен. Но вот по въедливости его слова, стиля, всего почерка обнаруживаем сладострастье всех его касаний, до чего б ни дотронулся. И недаром чиновничество, канцелярии, всякого рода советники — эти сладострастенские клещи-щелкоперышки, — их ловкость и, даже без пользы себе, чисто эстетическое озорство в ограблении России, — все это так влечет малороссиянина Гоголя, словно исподтишка подсматривает и тем соучаствует в эротических действиях — хоровых облапошеньях чиновниками России.

И хоть рассудочные западноевропейские умы, читая «Ревизора» и «Мертвые души» Гоголя, ужасаются и мрачнют: Боже, как страшна Россия! — из них прет какое-то непостижимое веселие и сладострастье духа: Гоголем буквально упиваешься, смакуешь, читаешь взасос — будто веселые похождения плутов-озорников: экие, право, того... как ловко и вкусно делишки обделывают! Чиновнички Гоголя — это умильные детки, карапузы-проказники, что наивно и бесстыдно сосут матушку Русь — а ей и сладко! У одного вдруг отвалился нос-фалл, у другого, напротив, «кувшинное рыло» — то есть женский орган на лице проступил. Русь полуспит — как Татьяна, а во

сне над ней шабаш чудищ разыгрывается: «Вот рак верхом на пауке, //Вот череп на гусиной шее //Вертится в красном колпаке» — все это гоголевская чертовщина, что в «Вечерах» и «Миргороде» откровенна: ведьмы, Вий, чудища в ночь у гроба, красная свитка; а в «реалистических повестях» — уже одеты в мундиры, но все равно они же! Эти сладостные уродцы — извращенцы, — так же как в детских сказках Чуковского Крокодил и «...Ехали комарики на воздушном шарике, //А за ними кот, задом наперед». Все чудища Чуковского, как и персонажи Гоголя, выражают стихию детского Эроса: Вий — Мойдодыр, Собакевич — Бармалей, Чичиков — ловкий Айболит... У них у всех: веки открываются (Вий), пасть, зубы-дыры (Мой до дыр! — может быть призывом женщины, которая в страсти хочет, чтобы ее пронзили насквозь и живого места на ней не оставили). Либо чудовищное заглатывание: Собакевич, прожорливые взяточники, хапути; или Бармалей и Крокодил — это все сфера страха; а положительный Эрос связан с животом и ласковым заглатыванием и касаньем тела: Айболит — пухленький, как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, вместе взятые.

...Ну вот: поплел свою вязь бесполезную — и вроде делом был занят и весело было — и нервы в норме: безобидно и беззлобно время протекало. А ведь удумал отдыхать: мол, я уж несколько месяцев напряженно мыслю (сначала — Тютчев, теперь — Эрос), и, чтобы не портить предприятие, не дискредитировать мысль, пора на физические труды или иные телом гоняния оттянуться. Конечно, сделаем. Но пока муторь новогодняя утомительная — извела. И вот исцеленье нахожу — к бумаге приникнув — как на воды отправился. И даже не надо: для самой мысли вредно ей себя всегда миссионерством и визионерством только считать (вдруг бы натягиваться и напыщиваться — а значит, срываться и фальшивить стала, если б обязательство взяла всегда быть лишь откровением), — а так бы я на нее и себя мыслящего взирал, если б запретил, например, себе сегодняшнему, испитому, извяленному, — к бумаге касаться. Да, не могу сегодня прозрения дать — не вижу — ну и пускай: что я, нанялся писать для дяди, для кого-то? «Я песню для себя пою»; а сегодня мне надо маленькое словечко, тихое пощекатывание, поежиться зябко — отойти. Ну и где же, как мне это сделать?

Вот — слово под рукой, и пусть сделает мне целебный массаж; и даже ему, слову, веселое ревнованье: **на слабо!** исхитриться. Ну что ж: оно на все руки мастер? так пусть сегодня интимно-оздоровительный жанр помышления явит.

А впрочем, и здесь, от зябкого помышленья зайдя, тоже что-то усмотрели и уведали: тихое сладострастье писанины.

Вот и Стефан Цвейг подобное заметил в Эразме Роттердамском: «Он любит книги не только ради их содержания. Один из первых библиофилов, он боготворит их чисто **плотски, их бытие и их возникновение, их великолепные, удобные и в то же время эстетичные формы.** У Альдуса в Венеции или у Фробена в Базеле стоять среди наборщиков **под низкими сводами типографии, вытаскивать из-под пресса еще влажные печатные листы, набирать вместе с мастерами этого искусства виньетки и изящные заглавные буквы,** подобно зоркому охотнику, **гоняться с ловким острым пером за опечатками или отшлифовывать на сырых листах латинскую фразу, чтобы она стала чище, выразительнее,** — для него сладчайшие мгновения бытия, трудиться среди книг, ради книг — естественнейшая форма существования»¹.

Великолепный Эразм Роттердамский испытывает от возникновения слова и охорашивания буквы то же сладострастье, что и наш милый Акакий Акакиевич — каллиграф: «Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были **фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами** (все это сплошь слова для передачи разных фаз эротического действия: восхищенное состояние в присутствии любимого существа, признание, домоганье. — Г.Г.), так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его». Прямо как у Пушкина: «А любовников счастливых узнаю по их глазам» — в них отпечатлевается образ любимого существа. Это

¹ Подчеркнутые слова создают атмосферу эротического акта: свод, пресс, влага лона, образ охотника, что гоняется с острым пером и т.д. Цит. по: Наука и жизнь. — 1966. — № 8. — С. 138.

буквальное сладострастье — как водка — полный и засасывающий заменитель сладострастия реального, так что и Эразм и Акакий Акакиевич, и Гоголь нашли способ обходиться в жизни без женщины, не вступая в связь и зависимость от нее.

Эразм испытывает плотскую радость от рождения слова среди влаги и сырости типографий — так же и Акакий Акакиевич выписывает букву как писаную красавицу, охорашивает ее, словно участвует в утреннем туалете красавицы — и, при острой детской чувствительности, уже самими ароматами сыт и пьян: от прикосновений он бы просто умер — как и случилось с прямым объятием и отнятием шинели (шинель, по Фрейду, — предмет из круга мужских символов: видимо, объятие, как туча, покров — как Зевс на Данаю...). Недаром, как только святой Акакий Акакиевич допустил себя оскоромиться — сорвал яблочко: шинель новую приобрел и узнал сладострастье ее объятий, — тут же с ним и игривые мысли стали случаться: уже дальнейшего захотелось — на витрине на женщину заглядываться стал, потом выпил и нектару: любовный напиток, «Шампанское», — и, возвращаясь, «шел в веселом расположении духа, даже побежал было вдруг, неизвестно почему (как с детьми случается — Г.Г.), за какую-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения». Станный образ женщины у Гоголя — они все стремительны, проносятся (и в «Невском проспекте», и панночка в «Тарасе Бульбе», и в «Мертвых душах»), не дают остановиться и успокоиться взору, духу, телу. Напротив, мужчины у него скорее неуклюжи, байбаки, тьюфяки. Подвижность, молния, острота — это вообще-то атрибуты мужского начала: голевский же герой эту активность ощущает за женщиной и панически ее бежит, как красная девица. Точно, как пушкинский Белкин, что «к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая». Недаром и Белкин, и Башмакин (и фамилии созвучны) — из серии «маленьких людей». Они и в Эросе — люди маленькие, т.е. мальчишки, дети, у которых еще не произошло расчленения синкретического Эроса на половины — полы, сексы — секторы и не выражено еще пристрастие к какой-либо определенной половине: или

мужской, или женской. У героя Гоголя как раз Эрос видится как чуждая сфера, нерасчлененное марево.

Вот Акакий Акакиевич в новой шинели, идя «на чай», «остановился с любопытством перед освещенным окошком (просто как дети глазают, яркое увидев. — Г.Г.) магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши таким образом всю ногу, очень недурную (значит, эротическое чувство концентрируется на женской половине рода людского — т.е. вроде бы глаз мужчины смотрит. Но тут же, с тем же накалом дан мужчина-любовник — Г.Г.), а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой над губой». Это уже явно женским чувством обостренное восприятие. Но сама витринная отстраненность картины и буффонно-комический колорит выносит ситуацию вне досягаемости практического Эроса. Но так же у детей, которые что-то предчувствуют и весьма любопытствуют к миру папы-мамы (не папы или мамы), но он для них именно такой, симбиозный, бисексуальный, неопределенный, не половой.

«Акакий Акакиевич покачнул головой, и усмехнулся, и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье (предчувствие или воспоминание — это оттого, что каждый носит память тела, а оно когда-то было семенем, младенцем в матке — и вот вышло на свет Божий, в мир: ум ничего еще такого из опыта не знает, а тело памятью своей чувствует, что это есть и было с ним — как Платонова идея — воспоминание души о прежней или вечной жизни. Такое «априорное» непрактическое знание о поле как о вещи незнакомой, но чуемой — как раз являет уровень детского Эроса — Г.Г.), или, подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: «Ну, уж эти французы! Что и говорить, уж ежели захотят чего-нибудь того, так уж точно того»...»

Здесь Эрос русского волокиты-чиновника = бумажного червя-фаллоса, который червячка Руси все время и замаривает, а не сам голод Эроса, — взирает на открытый телесный секс — что так можно! — как на другую планету, — и слов на своем языке

и букв не находит, чтобы выразить, ибо чужеродно и непонятно.

«А может быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человеку и узнать все, что он ни думает».

Вот гоголевская вьедливость: ничего прямо не сказал, а обслюнявил, вокруг да около потрогал — много слов наговорил по поводу — и как сухая земля во рту осваивается через воду, так и этот чужеродный лубок (нога и усы) впущен в наш желудок и переварен, благодаря предварительному заключению в медоточивых устах чиновника-букваря и выходу через его мину, усмешку и хмыкающие слова.

Но закончим анализ гоголевского Эроса. Если шинель — мужское начало, то, когда Гоголь пишет, что «на стенах висели всё шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами», — это как выставка, витрина породистых кобелей с холеной растительностью — на зависть нашей дворняжке Акакию Акакиевичу.

Ограбление шинели — это или акт изнасилования: недаром «увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом» (т.е. контакт вплотную, тела к телу, а это ужасно, голо — не то, что через одежду, через стекло и на расстоянии витрины — словно сорвана девственная фата) «какие-то люди с усами» (как француз с усами на витрине — мужское начало) — и недаром воткнули в него: «приставил ему к самому рту (щесть. — Г.Г.) кулак, величиною в чиновничью голову»; либо как акт оскотления, кастрации, обрезания, — ибо срывают кровное, к телу приросшее — шинель (здесь шинель — женское). А может: это и акт и страх рожденья — память о нем, когда человек наг и гол выходит из утробы матери, лишается тыла, защищенной спины. Срыванье шинели поэтому многоглагольно для нашего человеческого восприятия.

Еще к Эразму, Плюшкину, Скупому рыцарю и Петрушке — кучеру Чичикова. Здесь сладострастие от разного рода (при)совокупления: книги к книге, тряпья к хламу, монеты к монете, буквы к букве (удовольствие от самого процесса чтения у Петрушки).

КУЛЬТ ТАТЬЯНЫ

1.III.67 г. Вот мне подкинуло вовремя Цветаеву «Мой Пушкин» — для возгорания: влюбления, озлобления...

А озлобление началось на культ Татьяны... У других народов, в крови и плоти французов, у их колыбели, как мифы — модели для всякой возможной любви стоят кроваво-семенные Абельяр и Элоиза, смертельно упившиеся/упоенные любовью Тристан и Изольда, а потом Манон и де Грие — везде осуществленная любовь, кровь и могила; у итальянцев — Франческа и Паоло; у англичан — Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона — все осуществленные и плотяно-кровные; у немцев Фауст и Гретхен — оплодотворенная; у нас же — словно касты разные: мужчина и женщина — неприкасаемость проповедуется: Татьяна и Онегин, Настасья Филипповна и т.д. Задан образец любви как оттолкновения, разрежения = создания пространства пустоты, вакуума, — и чтобы тяготеть на расстоянии Руси — в разлуке. Но тут как бы воля русского пространства: отклонить вертикальное всемирное тяготение (у нас — к центру Земли) и превратить его в плоско-горизонтальное: чтоб все стремились друг к другу, и этим океаном душевности была бы спаяна Русь в единство — покрепче всех застав богатырских... Так что пушкинская Татьяна воистину выступила как «устроительница», «мироупорядочивающая» (что и значит по-гречески ее имя): она дала модель для устройства русской Психеи.

МУЖИ РОССИИ

2.III.67 г. Глядя, как сына обряжали в школу, как мать пуговицы ему на пальто застегивала, что сам может, — понял, какой Эрос балованного ребенка творит: мать теребит его, это тельце, непрерывно задевает: заботой, замечаниями, мелкие обкусывающие волны любви рябью все заливают. Большие волны — как редкие — дают просвет и вздохнуть — паузу и очухаться. Непрерывно ласкаемый и заботимый, ребенок — словно голый в мир выходит: человек-то вообще гол по сравнению с животным — так этот еще голее: обрзанный, чуткий и пугливый, ибо и покров сам свой не

может содержать: нуждается, чтобы ему пуговицу застегнули и досадливую заботу устранили. В аристократии создавалась действительно особая новая порода рода людского — дальнейшая ступень беззащитности и утонченности ткани и состава. Недаром они породой, породистостью, голубой кровью гордились. А голубая кровь — это голубизна прожилок сквозь тонкую белую кожу — тонкокожесть, — значит, еще один защитный естественный покров содран, скальпирован с человека — и ему его надо восстанавливать искусственным путем: через власть, ум, обаяние, святость, любовь, обожание — сделать себе слой — воздушную подушку от резких касаний мира — руками и заботами грубошерстных.

Но ведь та окруженность заботой, ни на секунду не оставленность на себя, что у балованного ребенка и аристократии, — сегодня вершится над каждым горожанином. Он весь в услугах — «удобствах» — лифт, газ, вода, электричество, телефон, отопление, автобус, магазин, парикмахерская, телевизор, транзистор, газета... — т.е. не предоставлен себе наедине с миром, нет меж ними прямой связи, а вклинился посредник — это кожа, через которую и не продохнешь до чистого воздуха, не вырвешься в вольный Космос. Потребности и отправления самого распролетария сегодня разветвленное, чем у короля Артура: ему больше надо, а обслуживает его фактически, в силу разделения труда и обмена, весь мир: от Ямайки до Исландии; ничего-то сам не может, как Илья Обломов. А через рекламу эта матерински-избаловывающая забота и щекотание цивилизации — уже просто нагло навязывается и прет на человека: насаживается на его зуб (зубная паста), улыбку (массаж), глаз, слух — все завербовано, отобраны и перекрыты каналы сообщения с бытием, — и главное, человек начинает теряться, что важно и что неважно. Он скорбит, что нечем уплатить за телевизор, и не замечает, что скорбеть-то ему нужно, что естественные ему дары: зрение, слух, воздух и свет — благодаря приманке телевизора у него отобраны и что попался-то он не на живца, а на мертвеца — на механического соловья.

И в этом отличие кожи забот цивилизации, этой механической матки, о современном человеке от кожи, что создавалась вокруг аристократа из живого труда: людей и дворовых. Его касались живые руки:

брил цирюльник, а не электробритва, возили лошади — пахнувшие, парные, ржущие, машущие хвостом, а не бензинная, пластиковая, скрежещущая железяка поезда; готовил повар — гастроном, а не закусочная-автомат.

Да что там аристократ! Еще более простой крестьянин окружен живым лоном вселенной, и в ней прорастал, и жизнь проводил в живом соитии: с землей, огнем, воздухом, рекой.

Единственно еще детям через матерей достается в живой ткани вселенского вместилища пожить, но тонка и все тонкостеннее становится и эта кожа. И сама женщина в наш железный век, стиснув челюсти, лезет, торопится ожелезнить, стать механической. Беременная мать, начитавшись ученых книжек, мнит, что у нее лопнул пузырь и потекли воды, — и торопится на анализ, кресло и кесарево сечение: чтоб железом до времени — семимесячного из ласковой тепло-влажной утробной рубашки — извергнуть на холодный свет (не дай бог живые муки родов перенести!) — и вот еще два самых святых и неприкосновенных месяца жизни Молохом отвоеваны — благодаря развращению = цивилизации матерей. А затем тут что? Торопится сбегать его со своего молока — на донорское, среднеарифметическое, механическое; чуть что — к врачу и на анализ. И не от злой воли, а от глубоко привитого неверия в себя: я ничего не могу, а цивилизация — все.

А постыдный самоубийственный торг женщин за освобождение от «рабства» кухни, пеленок¹ — чтоб уж ничего живого дитя, войдя в мир, не получало, а все — механическое!..

Где ж быть и родиться потом в юноше и девушке любви — единственной на всю жизнь, когда с детства он ко взаимозаменимости приучен: материнской грудью — и соски (соска — первое знакомство с ложью мира), слов воспитателя на зарплате — и игры с отцом, котлеты домашней — и столовской. Ведь в плоть и кровь этим вводится — как шприцами противозидемических сывороток — неразличение настоящего и поддельного, живого соловья и механического. Вот и

¹ Потом перенял я часть этого на себя — и только спасибо жене сказал: вошел и пожил в шкуре матери — и целый мир открылся мне. 18.1.86 г.

предпосылка для мены жен, разводов: не та — так другая, все — одинаковы!..

2.III.67 г. — В сравнении с другими народами очень это была российская драма: когда девушка, пряча грех или не в силах прокормить, — душит, губит, топит, засыпает рот песком, живьем хоронит родившегося ребенка. Детородная сфера жизни загнана в подполье, и когда покажется наверх — косой позора ее срежут. Но, с другой стороны, характерно, что в убиении ребенка своего русская женщина чуяла меньший грех — могла себе это позволить и не воспринимала как личный грех (ибо убивает ребенка не она, а стыд, и позор, и бедность, и люди злые ее руками), и совесть ее здесь не так мучала, — тогда как измена мужу мучит Катерину и Анну, как тяжкий грех на ее совести. Недаром и Анна Каренина так ничтожно мало любит девочку — дитя любви: она, девочка, этим уже виновата — и пусть расплачивается; она есть ее наслаждение во плоти, а наслаждение стыдно, и когда тайно — еще терпимо, но когда бьет в глаза детородной плотью — нестерпимо, глаза бы мои не глядели. ...Зато любовь к Сереже от нелюбимого государственного мужа — есть плоть ее совести (а девочка — плоть ее стыда) — равновесие ее греху и любимой вине.

Итак, погубив чадо свое, русская женщина не страдает так, как когда отдается греховному наслаждению. Недаром Анна позволила себе, при двух детях, покончить с собой — это могло совершиться лишь при том, что она забыла, что она мать, и помнила лишь, что она жена-нежена, неверная и нелюбимая — т.е. отвергнутая государством (светом, законом о браке) и народом (тем, с кем «бросала по любви»).

Отсюда, естественно, выводится формула: в сюжетах литературы для русской женщины, как правило, необходимы два и больше мужчин; для мужчины — две и меньше женщин. В самом деле: для женщины (=России) органично было иметь минимум две мужские ипостаси: Государство и Народ (законный добропорядочный супруг и хмельной возлюбленный). В чистом виде это: Татьяна, Тамара в «Демоне», женщины Гончарова: Ольга Ильинская, Вера в «Обрыве», тургеневские женщины, Аглая в «Идиоте», в «Братьях Карамазовых» Катерина Ивановна, Анна Каренина, Китти, даже Катюша Маслова (Нехлюдов и Симонсон), Маша из «Трех сестер». В развернутом: Земфира, Елена из

«Накануне», вокруг которой хоровод: Инсаров, Шубин, Берсенеv; Настасья Филипповна, Грушенька, Наташа Ростова, Аксинья в «Тихом Доне», Лушка в «Поднятой целине» — все с хороводами.

Для русского же мужчины естественны две, не более, а то и менее — одна — или ни одной. Две — это варианты небесной (чистой, истинной) и земной женщины; или у Достоевского — inferнальной и рационалистической. Мария и Зарема для хана Гирея; Татьяна — Ольга (для мужского дубля Ленский — Онегин, ибо и в сне Татьяны недаром ей Ленский и Онегин рядом сняты вместе с эротическим символом кинжала-фалла; так что вокруг Татьяны практически 3 мужчины, да плюс автор — Слово русское, что признается: «Я так люблю Татьяну милую мою»); старуха Пиковая дама и Лиза — для Германа; Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына — для Обломова; Марфинька и Вера — для Райского; жена и Лиза — для Лаврецкого; Элен и Наташа — для Пьера Безухова; жена и Наташа — для князя Андрея; Аглая и Настасья Филипповна — для князя Мышкина — Гани Иволгина (пара: ангел — бес); Грушенька и Катерина Ивановна — для Мити Карамазова; Аксинья и Наталья — для Григория Мелехова. Такие же, как Онегин и Печорин, казалось бы, светские волокиты, — имеют по сути одну — и прочих, остальных (для Печорина) это Вера — княгиня Лиговская, а Бэла, княжна Мери, и та, что в Тамани, — это ипостаси одной, с которой играют). Так же, как известно, говорил о себе и жене Блок: для меня есть одна — жена и — остальная, которой (как рыбы) может быть множество (по-французски использовали бы здесь партитивный артикль: *de la femme*, а по-английски: *a piece of woman*).

Но меж Народом и Государством: в этой дистанции огромного размера, в этом грандиозном вакууме — для их сообщения между собой — этих мужчин-соперников (а не для России—женщины, которая их и так всех мужиков внимала и понимала), для взаимного изъяснения и торгов — и возникло Слово: литература, интеллигенция, как «прослойка». И недаром она также носит женское имя — почему-то пристало оно этому вообще-то мужскому духу Слова. По своему положению — всевнимания: и голоса власти и голоса народа — она сродни их всех общей подоснове — России. Поэтому естественна аберрация: интеллигенция = сама Рос-

сия, ее соль, ломовая лошадь, жертвенница и т.д. Но, во всяком случае, для русской интеллигенции характерны эти женские черты: мягкости, жертвы и самопожертвования, неустойчивости. Потому так легко в нее входили женщины и работали в ней. В то же время русский мужчина-интеллигент — женственен и никак не может удовлетворить русскую женщину, хотя оба попадают вначале на удочку взаимного понимания и сродства (см. паническое бегство Инны Ростовцевой от Алпатова — в «Кащеевой цепи» М. Пришвина: хоть оба революционеры, нигилисты-курсисты, но чувствует она его женскую душу и бежит от мужской русалки).

СТОЛЬ КАТЕРИНЫ

16.III.67 г. Женщина ощущает в ходе соития (не после) крылатость: кажется, что птицей летит: и это основной мотив и мечта в женской лирике — «полечю зигзицею» (Ярославна к Игорю); у Катерины в «Грозе» лейтмотив: птичка. О себе в родном доме до брака рассказывает она: «Я жила, ни о чем не тужила, точно птичка на воле» (I, 7). А в последнем монологе — перед тем как броситься в омут, собирает в узел все ей отвратительное и то, что бы ей хотелось иметь как жизнь вечную. Отвратительно ей помещение: дом, стены, люди. Любо — пространство (мужчине, напротив, в соитии любо найти место, неприкаянному — точку опоры, приютиться, куда голову приклонить большую — на колени, на лоно, как Гамлет: любимая начальная предварительная поза):

«Катерина (*огна*). Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу, — все равно¹. Да, что домой, что в могилу! Что в могилу! (повторение = преобразование идеи. — Г.Г.). В могиле лучше... Под деревцом могилушка... как хорошо!.. (Видите: начинает образ искомой вечной жизни рисоваться, и распахивается могила вверх — в пространство, и рисуется греза вечной русской женщины = матери-сырой земли! — Г.Г.).

¹ Домострой, заперевший женщину в помещение, дом, утробу — под замок, ощущался русской женщиной так, как будто она полость в полости (как матрешка в матрешке), и смертельно и зверски усиливал птичьи порывы, жажду вырваться. Но недаром он подошел Руси...

Солнышко ее греет (= объятие — обогрев, тепло, мужина — окутывает как облако, пальто, шинель. — Г.Г.), дождичком ее мочит (= дождь с неба — оплодотворение семенем — Г.Г.)... весной на ней травка вырастет (травка — раскупорка пор, выход земли из себя наружу — и умножение своей поверхности. Ласкаться на ветерке, загребать его в себя — весь вобрать. — Г.Г.), мягкая такая (нежиться и гладиться, телом своим любоваться — женщине присуще. — Г.Г.)... птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие... всякие (*задумывается*), всякие... Так тихо, так хорошо! Мне как будто легче! А о жизни и думать не хочется» («Гроза», V, 4).

Конечно: жизнь отменена — не смертью, но жизнью вечной — вечным, непрекращающимся слиянием.

Да, но что это напоминает греза Катерины? Могила Базарова? Да. Но еще что-то! Ах да! Это же «Когда волнуется желтеющая нива», «Я б хотел забыться и заснуть...» Дуб, голос, в груди жизни силы, чтоб вздымалась (расширенное пространство). Вот ключ к русской литературе и к ее расширяющей грудь духовности: это греза русской женщины = Матери-сырой земли, России. Только в ней, в отличие от мечты собственно женщины — Катерины, — нет идеи плодоношения, живорождения: птички, птенцы, цветочки — этого-то нет в гресе Лермонтова. Зато, раз нет продолжения рода и есть мечта прервать цепь рождений (ср. «Дума» — насмешка сына над отцом: зачем меня сделал? — и «Крейцера соната», и Федоров: воскресение отцов — значит, нерождение детей, глаз вспять, и оттого в русской литературе изображения смертей подавляюще преобладают над зачатиями и рождениями, а страдания и муки изображать много лучше умеют, чем радости), то весь мир останавливается на мне, и моя личность расширяется до всего бытия и может становиться совершенной, т.е. завершенной — вот идея Кириллова: убить Бога через самочинное завершение бытия.

И русская интеллигенция в основном из жертвенных служителей Слову, из аскетических бессемейных людей (Ломоносов, Чаадаев, Лермонтов, Белинский, Гоголь, Гончаров, Щедрин, Чехов и т.д.) — это и есть женственный мужчина (недаром в России привилось слово «интеллигенция» — женского рода,

тогда как в Англии — множеств. число *intellectuals*, а во Франции: *hommes de lettres*, подчеркивая пол) — инок, посвященный России (одну ее любя в сердце, как рыцарь бедный) — и ее волю в Слове-Логосе творящий.

Но вернемся к женщине в соитии. На Катерине особенно явно, что эротическая страстность в женщине может символизироваться религиозной экзальтацией, что есть возвышение (*ex-halt* = вы-дыхание), просветление и одухотворение. Ведь что она видит, приходя отроковицей в церковь! «И до смерти я любила в церковь ходить (помните: «Ибо Иго Мое благо и бремя Мое легко». А Христос — всеобщий жених, и с ним соединение — во храме «се грядет жених!» — и вознесение в воздух. И недаром «до смерти» любила в церковь ходить: опять слияние как превозмогание различий жизни и смерти — как якобы жестоких — Г.Г.). Точно, бывало, я в рай войду и не вижу никого, и время не помню и не слышу, когда служба кончится (вот — исчезновение отдельных предметов, растворение в первичном мареве пред/сверх бытия. И нет сроков, ни начала, ни конца. — Г.Г.). Точно как все это в одну секунду было.

Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! (Она, как избранная, особо чувствительная натура — по влекущей страстности, и призвана и просветлена, как жрицы в храмах Астраты. Как Ифигения под ножом — жертвенная овечка. Кстати, весь мир Ифигении: нож занесенный и похищение ее из-под ножа и перенесение в Тавриду = в царство Черномора — точно женский... — Г.Г.).

А знаешь: в солнечный день, из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют»¹ («Гроза», I, 7). Это мировой луч, взгляд солнца с неба всевидящий и пронзающий. Тот сноп лучей, столп, что видит Катерина, имеет какой состав из стихий? Там — свет ослепительный, жар жгучий (огненность, огненный змий) — и от него дым: переход от огня к воздуху — и разнообразная воздуш-

¹ Отдельные на-личные вещи растаяли, все о-пределения, грани и формы; зато вместо них то, что под ними, через них; живая всерастопляющая и всепроницающая сущность бытия. И для женщины это: свет, столп огненный в воздухе.

ность: огненная (дым), сыро-тельная (облака), душами летающими — птицами населенная (ангелы — с крыльшками, летают). И нет никакой тяжести, земли, тверди. Так что это для мужчины фалл восставший набухает всей его тяжестью и массой — вся она туда сгущается; для женщины же ОН — луч: бестелесен — как раз пробивает купол, ее закупоренность в подкупольном существовании — и дает ее существу вспорхнуть и взлететь. ОН для нее не тело, а духоотвод, труба в небо.

Но еще у Катерины кое-что вычитаем: «А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса и кипарисом пахнет, и горы, и деревья будто не такие, как обыкновенные, а как на образах пишутся. А то, будто я летаю, так и летаю по воздуху» («Гроза», I, 7).

Видите, как душа — существо Катерины — все новые вариации, орнаменты основного любовного образа вышивает: золото — солнце, огненный жгучий свет, что не только светит, но и греет (в отличие от серебристости русского обычного света — и лунного, что светит, но не греет). Храмы — райские сады — висячие (недаром): сады Семирамиды, куда творится восхищение; там — все усеяно, рябит глаза от символов: горы, деревья, кипарисы — и запах жгуче-теплый, дурманивший (кипарис — запах и смерти: надгробное растение). И наконец, непрерывный полет. Еще мечта у нее: разогнаться, подбежать к высокому берегу, обрыву над Волгой, расставив руки, — и броситься, полететь, как птица. Это видение и ощущение — и что это возможно — до осязательности материально охватывает и подхватывает русских дев, женщин: вот почему многие в омуте свою у-часть находят (буквально: самоубийства русских женщин в большинстве — в омут, утопленницы, и переносно: именно страстные и чистейшие, как Катюша Маслова, — оказываются в «падших» женщинах, блудницах). Вот ведь и Катерина все время на краю обрыва себя чувствует: «Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что» («Гроза», I, 7).

И это ощущение кануна: вот-вот, на краю (ужасной бездны — помните: «Есть упоение в бою, // И бездны мрачной на краю» (Пушкин)), на пороге — характерное для русского духа мироощущение: душа России так се-

бя в бытии самочувствует и в Слове русской литературы проска(ль)зывается.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ КАК ЛЮБОВЬ

17.III.67 г. «Здесь, где так вяло свод небесный // На землю тощую глядит...» (Тютчев). Вот ведь какой здесь Эрос между Небом и Землей. В Греции, «пылая любовным жаром», Уран на Гею нисходит. Именно — издалека. А здесь — попеременно земля и небо низкое, серенькое, как и серозем, нависло; а зимой вообще в метели земля-небо сходятся, да и в частой серости частого дождичка осеннего, да и в измороси и слякоти света не взвидишь. Тоже — тотальность.

На Юге, где высоко и отчетливо небо и отдельные женская и мужская половина, не спят привычно вместе, — там разность потенциалов меж мужским и женским началами велика, там супруг посещает женщину редко, но священно, мощно, и метко, и равномерно. А тут небо-пространство = супруг и мать-сыра земля — все время рядом, словно на одной широкой кровати лежат: небо тоже — сы-ыренькое, как и земля — серенькая... Тотальность и смешение ремесел и между небом и землей.

Так что отделенность мужчины от женщины (по составу, а не по месту) как раз и есть проблема для России. Она б и обеспечила как раз более прочную семью (ибо на полярности б и влечении зиждилась), сов-мест-ную жизнь, и людей не надо было бы силой власти сверху пальцем прижимать, как булавкой гербария, — к земле и этому месту. А то ведь любовь русская не на влечении страстном именно этого к этой (это лишь от резкой разностовности мужчины и женщины возможно) основана, как правило, но на жалости: любить = жалеть. Она — жалеет его. «Пожалел бы ты меня, Вася», — просит русская женщина. «Пожелал» заменено на «пожалел». А этот даже и жалеть-то не хочет: нервно-хлестаковски вздыбливается: «Жалость унижает человека!» Горький чуял и передал эту надобность мужчине выпрямиться, стать самцом, — но все это нервно, как вспышка Достоевского Ипполита: от извращенной неполноценности.

А Эрос, что было стал поднимать голову и вставать на ноги в русской литературе начала XX века (Горький, Бунин, Куприн, Арцыбашев и т.д.), — весь такой под-

глядывающе-подросточный, а не полноценно-мужской. В «Климе Самгине», «Деле Артамоновых», в «Стороже» что-то грязно-серенькое с кровцой — так мне видятся тамошние сексуальные сцены. Это не Эрос, но высунувшая слюнявый язык похоть: словно стоит подросток за дверью и в щелку или в замочную скважину, высуня язык и облизываясь, дыша часто-часто, а с языка-то каплет, подглядывает на пышную бабу-храм, что гола и самостна в соседней комнате кустодиевски возлежит.

Как пахать(обрабатывать) русскую мать-сыру землю, как быть с ней, как жить с ней — это тот же абсолютно вопрос, что и: как мужчине русскому любить русскую женщину, как быть с ней, как жить с ней: в семье ли, еще ли как? Недаром и у Толстого в «Анне Карениной» судьбы двух муже-женских пар именно существенно связаны: у одних, Левиных, — с землей, жизнью в деревне и в Москве — патриархальной — тоже большой деревне. А у Анны с Вронским — все большая, железная дорога (в поезде встреча, потом туда-назад снуют: в Москву-Петербург да за границу, нигде долго не сидят, везде не-у-местны) да казенный дом: город, Петербург, служба административная — Каренин, военная — Вронский, потом искусству-светскости предаются на итальянской вилле; жизнь такая увесистая, таких мощно-прекрасно-телых, кровяно-плотных людей, как Анна и Вронский, — в пшик, на ветер рассеивается.

Чем бы стала русская князе-мышкинская и левиная совестливость-то и духовность жить, если б не было преступающих и берущих на себя ответственность, грех плодящих жертвенных агнцев — бяк и бук — Анн и Вронских? На Левиных и Китти ей и развернуться негде — пищи нет. И как тощи проблемы, что на них возникнуть могут, — и как пышно ветвисты те, что на согрешающих цивилизацией Аннах и Вронских — возникают! Тут и искусство, и закон-развод, и все на отрыве усилено и ярко: и любовь к сыну, и т.д. А вот на Федоре Павловиче Карамазове совестливость, ух, как завихриться, взвиться, пышным древом разветвиться смогла! Он-то, подземный, полу-в-землю-ушедший, как до-логосный Уран, или Хронос, или даже Эрос-Хаос, что всему причина. Он еще айсберг с толщей, а те уж — Алеши, Мити — это птички, голуби на вершине айсберга, на солнышке греются, летают,

чирикают. Они уж воздушные, светерные. Иван же — рассудочно-государственно-аппаратно-цивильный, и Петр — законодательный. Федор Павлович — этот угреватый, кровавопенистый фалл — кряжистый, скособоченный (недаром и на Лизавету Смердящую отвлекся и под забором пришил). Это языческий божок русский, леший, Пан — да, именно Пан: такой же корявый и на всех распространяющийся: недаром его это думка, что в каждую женщину без памяти влюбиться можно и сладострастнейше сочетаться, ибо в каждой есть какой-то такой особенный склад, и если до него докопаться — то такую это именно ни с чем другим не сравнимую сладость составит (вон — Грушенькин изгиб, например), что дух захватывает.

Вот почему убийство Федора Павловича — это космическое (а не семейное лишь) дело: в нем оскোпляется Уран, в нем поколение мелких, но уже личных, световых богов — Зевсов — поднимает руку на Крона, на Хроноса, т.е. корень свой убили и подрезали (греки-то мудрее: Урана — лишь на время оскопили, Хроноса — в Тартар запрятали — т.е. всех в бытии: к его обилию, жизни и разнообразию — сохранили), а здесь убили, преемственность разрушили, а потом восстановить захотят (как усадьбы — «памятники старины» реставрировать) — да поздно: уж не сотворишь ныне того, что в азарте и беспамятстве крушилось в запойно-разгульное хмельное время, когда сорвиголовы и куполятами — церковными головками швырялись. И так, все заново, на пустом месте мнили строить — будто до ничего не было...

Но в том-то и дело, что Федоры Павловичи — не убиенны; да и все не убиенно, и все всегда есть и полностью: в земле ли, в воздухе, в ветре, в памяти, в слове, в раскаянии, в чувстве греха и вины, — есть, пребывает, сохраняется — и вновь воплощается, оседает, материализуется, видимо становится в новом обличьи: такова вечная жизнь и бессмертие всего — и глядят на нас и в 1967 г. олимпийские боги...

Но вернемся к загвоздкам Левина на земле, имея в виду, что земледелие — это любовь с землею, так же как соитие = возделыванье женского лона. (Так что вот и экономика и политэкономия вполне входят в орбиту Эроса и нашего рассмотрения.)

Но предварительно выясним то, что бросил выше: о жалости. Что есть жалость как вид любви, слияния?

В жалости — прижимают, гладят, глядят, утирают слезы — т.е. поверхностно, все на поверхности тела женщины; ухаживают (обрабатывают землю), утешают-утишают — без проникновения, внедрения телесного. Жалея, сохраняют в целости и неприкосновенности — как раз не трогают. А в страсти — вон как в видении св. Теодоры: распарывают, все кости зубилами пересчитывают и душу вытряхают... Видно, велика русская земля — да, как белотелая русская красавица, — тонкокожа, голубенькие венки просвечивают: недаром такие неглубокие здесь колодцы: ткни — и вода пошла. Так что любит она обращение нежное, обходительное — при всей своей большой комплекции и рыхлой массивности: погладить, приголубить — тогда тает и легко отдается — из благодарности, нежности, опять же жалости, а не обязательно из влечения: раз тебе хочется — на, мне не жалко; но сама вертикально-коренного сотрясения (оргастического землетрясения) не испытывает, или редко... А что ж: начинать — зачинает, плод дает.

Левин у Толстого и уперся в главный для России тогда и космический, и политэкономический пункт: нежеланье народа более энергично и рачительно эксплуатировать землю. «Левин начал эту зимой еще сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том, чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное данное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки и хозяйства выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, климата и известного неизменного характера рабочего» («Анна Каренина», ч. II, гл. XII).

Значит, русский ум Толстого, во-первых, восстает против западноевропейской вещно-предметной науки, которая исследует и высчитывает объективные факты: климат, почва, что могут и должны дать «при правильной агротехнике», — и тупы перед «психологическим фактором»: хотенье или нехотенье земледельца; или полагают, что можно эту волю земледельца организовать и науськать его на землю (как подпустить жеребца на кобылу), если создать ему хорошие условия: трудовые отношения. Но «отношение» = «ношение», вещь поверхностно-горизонтальная. А земледелие — любовь = вещь глубоко-вертикальная: и без охотки, без того, чтобы сучка захотела — у кобеля не встанет, вождения не будет. Нельзя возделывать землю не из любви к ней, не из са-

мозаично-вертикального в нее влечения, а ради чего-то другого: лишь бы отнести плод, как средство заработать, и продать на рынке — и купить телевизор. Отнести плод земли от земли вскормившей — это как ребенка отлучить от матери и передать в руки приходящей женщины или вообще — в ясли, на механические руки. Оттого и получается американское продовольствие: химизированный безвкусный хлеб, искусственно ускоренно наращивающееся мясо — и рекламно-механические улыбки и стандартные реакции людей среди взаимозаменяемых лично-любовных отношений.

Без трагедии — умирающего и прорастающего зерна.

Когда же плод земли на ней же поглощается, тогда — навоз (а не химическое удобрение), тогда плод и продукт жизнью питателен, поддерживает именно живую жизнь, а не просто продолжительное существование.

Так что Левин хорош тем, что вводит душу земледельца. Но к чему он ее плюсует? К «климату» и «почве», к «объективным» факторам: по ведомству науки агротехники — соглашается их там оставить. А по сути — что? Ведь под этими-то словечками, научными терминами, прикрыта сама земля, мать-сыра, женщина. Выходит: душа, охотка земледельца во внимание Левиным принимается, а женщина-Земля оставляется обездушенной: будто может так быть, чтобы желание или нежелание земледельца пахать землю на нем лишь и замыкалось, а не было обоюдным влечением: будто приступ земледельца к работе, его настроенность на работу не оттого, что весной, например, пары и дымы, волнующие зовы поднимаются с груди земли, — как ароматы женского тела бьют нам в ноздри и наливают нас вожделением, или густые пряные травы в пору сенокоса зовут взять себя... (Шолохов-казак умел это сказывать).

Собственно, Толстой-художник и душу, и Эрос земли живописует (ср. Левин на сенокосе), но рассудок его более холостой и скопческий: хочет соединить целостную душу (которая вся состоит из любви и влечений) с механическими лоскутами, понарезанными наукой из земли и обозначенными ярлыками: «климат», «почва». Он не понимает, что русский Эрос — между русским человеком и его землей — не выдумка, и не мистика, и не «грех» тем более, а живет и определяет и время, и сроки, и характер вспашки даже: на сколько сантиметров (обычно неглубоко, как и колодец, — по-

тому мог Терентий Мальцев предлагать вместо плугов какие-то лушильные диски-колеса).

Оттого и решить ничего не может (ибо соединить человека-работника можно не с «климатом», а с душой же, с порбй; не с «почвой», а с кожей и телом) Левин, упирается в то, что мужик не хочет работать, — и надрываться, и ищет выхода в изменении условий и хочет стимулировать, мастурбировать не работающий инструмент; но тот после всякого искусственного взбадривания снова опадает: отлынивает работник — чувствует обман в барине и его замыслах. И это не просто предубеждение от веков эксплуатации помещиками крестьян, но из твердого убеждения и верного знания, что барин, живущий на втором этаже, в каменных палатах, да уже наполовину в городе и выдумывающий из книжек, не может так чутко запроса земли, что ей надо, как крестьянин, сидящий в дереве избы на земле — прямо голый; тело мужика ее нюхом чувствует: как собака — дичь. Обман в предложениях Левина лишь на поверхности можно толковать так, будто крестьянин чувствует своекорыстие барина. Нет, подвох здесь глубже: крестьянин чувствует, что барин ошибается против земли, обмануть хочет не работников, и сам обманывается, по не-до-раз витию/умению.

17.1.86. Это все — не утверждения. Это — поиски, вопрошающее движение мысли среди бездн сверхидей и национальных сверхценностей. Тут непрерывно подстерегающие опасности: не совсем то сказать, не совсем так, впросак попасть — на хохот и осуду... Что ж, можно и не делать этих усилий мысли или оставить при себе, не выносить на люд и на суд. Однако История требует все более сознания от своих участников, и надо уяснить естественную склонность Природы и Космоса данной страны (к чему их само собой клонит?), чтобы, во-первых, Обществу в работе истории не искалечить свою супругу = Природину данной страны, т.е. согласное с нею тут творить; а во-вторых, человечеству здесь такое преобразование и превозможение, переделку затевать, которые б в дополнительности находились к естественному устройению: создавать то, чего Природе недостает и чего она сама алчет, но не может.

На эту мысль я напал, обдумывая грузинский Космо-Психо-Логос. У поэта XIX в. Акакия Церетели прочел: он, княжич, был отдан в детстве не просто крестьянской

кормилице на грудь (это и русские баре делали), но прямо в семью крестьянки и до шести лет рос там. Князь воспитывался в крестьянской семье! И этот обычай издавна повелся в Грузии. Также и царские дети — в семьях эриставов, дети этих — в семьях дворян и т.д. Тут мне видится некий закон обратной связи. Гора (= князь) добровольно идет вниз на поклон в долину, склоняется на смирение-отождествление-породнение с ней, с низами общества, с народом простым тем, что самое свое дорогое, наследника, доверяет долине, народу, матери-земле, на наполнение соками и смыслами вещими. А потом, когда воздымется вверх княжич и станет властителем, он уже не может быть жесток к народу, ибо там его молочные братья и сестры, побратимы, и узы эти сильнее даже родственных в Грузии.

Значит, в естественном Космосе гор вектор Социума — к поравнению. А на равнине как на ровне-гладне балто-славянского щита? Очевидно, что призвание истории общества, развивающегося тут, — восполнить нехватку высоты, структуры: социально-культурное горообразование! Создать такие духовные, культурные структуры, что были б аналогичны горам Кавказа. И это при том, что Космос равнины естественно тянет к нивелировке, а гуляющий беспрепятственно ветер склонен вливаться и сдувать эти образования, а топь матери-сырой земли склонна тушить огонь деятельности и факел личности — в лень и уныние их свертывать...

Итак, в национальной культурно-исторической целостности Психо-Логос Истории, Труда, Общества, Культуры находятся в диалогическом отношении с Психо-Космосом Природы и Народа. Эти различия надо иметь в виду, чтобы правильно воспринимать данное художественное рассуждение: что тут высказываются вопрошающие мысли, неизбежно частичные, и нет и не может быть законченных ответов и утверждений (хотя мысль вьется и льется в форме положений и утверждений: таковы просто кирпичики всяких логических выкладок...). Читать следует — как споры персонажей в романе: понимая неизбежную односторонность каждого слова, его спровержимость в любой точке, что постоянно и делается здесь в самокритикующем движении мысли, стремящейся постичь Целое...

ПАНОРАМА ЕВРАЗИИ

3.XI.68 г. Общее для Европы и представление об Индии — «страна чудес». Чудо — то, что сверх меры и рассудка, способности судить своим людским умом. Следовательно, там — сверхчеловеческий ум, зона божеств (все религии — с Востока и недаром). Ну да: Восток ведь — это восход солнца, а зона первопричин. Оттуда — начала народов: индоарийцев, гуннов, болгар, татаро-монголов, тюрков — сгущается там бытие, оседает масса атомов и пускает их катиться против часовой стрелки (= против ритма Времени) — вращения Земли с запада на восток.

Все переселения народов и направление кочевий — оттуда, против Времени, и их призывание — оборачивать историю вспять (что и делали переселенцы: варвары-готы — с античным миром, пословцы-печенеги — с Русью, с ней же — татаро-монголы, арабы — с Египтом, Палестиной и Испанией, тюрки — с Византией...).

История — колесо; ее необратимость — в pendant¹ тому, как на одно направление заведена, запущена вращаться планета Земля, если только цивилизация не произведет такой взрыв, в результате отдачи которого Земля обратит вращение свое (или провиснет без вращения в пространстве, нейтрализуется), а история — течение свое. Во всяком случае, первый признак Востока в глазах Запада, Европы — большая причастность к свету, солнцу, огню-теплу, большая отсюда исконная посвященность в причины и тайны всего сущего, одаренность этим знанием, тогда как человеку Запада этого приходится добиваться усилием, напряжением, трудом — тянуться кверху, противоборствуя более сильной здесь тяге земной. Ну да: житель Востока более причастен к выси мира (Восход), а Запада — к падению на Землю, к стихии земли, к низу мира; и все низости в истории — творятся с Запада, и отсюда распространялись приземляющие оковы повсюду (колонизация и империализм).

¹ Соответствие (франц.).

Отсюда следует ожидать, что из стихий надземных большую роль здесь играют: воздух, огонь, вода, тогда как на Западе земля — ось и середина, и столько же бытия видится под нею, сколь и над нею. Здесь — разработанные представления о хтонической сфере подземья: Аид, Персефона, Изиды-Озирис; зерно — умирающий и воскресающий бог; у Платона в «Федоне» анатомировано нутро земли; вспомним также дифференцированные представления об аде в Христианстве, о царстве тьмы и геенне огненной; а в германстве — культ глубины, Tiefe в душе и в мысли.

На Востоке же если и есть противостояние света и тьмы, то тьма не крепка, не есть земля и недра («твердый орешек»), но тоже полувоздушна (Ормузд и Ариман). И в индуизме подземье очень слабо намечено: трудно там локализовать в подземье и царство мертвых, и его бога Яму. И погребение-то — не в землю зарывание, но сжигание; иль труп — в воды Ганга; иль, как в Тибете, где земля камениста, — грифам, т.е. в воздух, в высь мира иль в бок (когда в воду); иль зверям = демонам, пожирающим трупы: ракшасам и якшам — опять в надземном уровне. В Индии — не внедряются в Землю, ее глубь не смотрят; и хоть есть там глины золотые и серебряные, но богатства свои предпочитают брать из воды (искатели жемчуга в волнах моря, в раковинах), а не в разработке недр, куда, напротив, направлено воззрение горняка-германца¹. И то еще верно, что стихия земли в Индии не маняща в недра свои, но отталкивающа: каменисты горы — Тибет, Гималаи, Декан. А если почва там плодородная, то ведь не земле она этим обязана, но воде: наносы ила поверх земли могучими реками произведены, а берег накатан прибоем моря.

Итак, земля там непривлекательна (нет и войн за захват земли, и противоречий вгрызающейся в низ собственности на землю); не самость она, но от себя самоотрицательна: ввысь взор обращает по линиям гор — хребтов их и рамен. Там ведь высочайшие горы мира, и наиболее земля ввысь устремлена, грудью выпячена, а не вогнута, засасывающая себя любить, как в

¹ И в медицине сопоставим: запрет на анатомирование трупа в Индии, развитие терапии травяной с внешним укалыванием на Востоке, т.е. не вскрывая нутра тела, — и развитие анатомии и хирургии на Западе.

равнинах Европы, а тем более — в низинах, у моря отвоєванных, Фландрии и Нидерландов. Оттого на Западе — частная собственность на землю (атомы-тела людей более плотные, плотнее здесь воплощение рассеянного бытия в точки-индивидуумы — «неделимые»; на Западе, где свило бытие крылья, где пало оно и где основной организующий миф — о грехопадении человека — мифа этого ведь нет в Индии, — атому-телу требуется при падении место под солнцем, в пространстве, жизненное); а на Востоке, где воплощение рассеянного бытия более кипуче и кишаше и где массовидны скопища атомов и нет пустот меж одним телом и другим, — там не разглядеть под кишением живых существ и растений земли и невозможна индивидуальная, но лишь общинная собственность на землю (ср. Маркс о восточноазиатской общине). В России — «мир». Правда, здесь просторы, и народу мало, но, хоть и полно места на земле каждому, община тоже складывается — по слабости в России вертикальных тяготений и по силе оттягивающих — горизонтальных: в сторону, в «родимую сторонку».

В Индии конфликты меж людей не из-за того, что один взял у другого землю, но из оскорбления наземного — например, коров священных и т.д.

Наука геология сообщает нам, что Мировой океан — воды — первоначально покрывал землю. А может, вообще земля была каплей расплавленной жидкости (как мы себе представляем солнце — шар раскаленных паров), в которой по мере остывания поляризовались земля и воздух (атмосфера), а связным меж тремя стихиями был огонь («Джатаведас» = «знающий существа» — эпитет Агни в Ригведе). То же сообщает Книга Бытия: что «Божий дух носился над водами»; и по Тютчеву, в Последнем катаклизме:

...покроют воды,

И Божий лик изобразится в них.

Итак, земля выступает из вод Мирового океана — проявляется во времени (как в фотографии в ходе «выдержки» — времени — проступают очертания) рельефами своими. И по мере превращения капель¹, с одной стороны, в атомы, частицы-песчинки — и в пузыри воз-

¹ Ниже предлагается некая поэтическая космогония. 30.III.89 г.

духа — с другой, на землю оседали, высаживались из просторов рассеянного бытия (= иль на земле в этих особых условиях возникали, что одно и то же, ибо эти «особенные условия» устроило само бытие в ходе своего раскола) истины-сути-существа-идеи-эйдосы-виды-семена-искры жизни, огни — словом, живые существа всех родов и видов, как залогов всеединства расколото-го бытия и имеющего быть воссоединения всего и возврата воплощения в рассеянное бытие. Это огни, и люди-огни по преимуществу (недаром они начинаются с откраденного Прометеем огня). Их суть — вгрызаться в землю (= труд, цивилизация) и стремиться ввысь — к идеалу, к духу, к свету, что есть возврат в рассеянное бытие, но уже зачерпнув из земли запрытавшееся туда «Черное солнце» (термин манихейства) = сопредельный во тьме и без воздуха, под коркой-тюрьмой, в плену земли, огонь: нефть, уголь, энергию атома. До людей то же дело делают растения (чья ткань набухает от света, воздуха и воды и которые суть труба между надземьем и недром-ядром Земли) и животные — разносчики живота — жизни, уплотнители земли удобрением.

Так что и древние предания: что духи-ангелы, грехопав, отяжелев, отвердев, породили людей (что душа посылается на воплощение в тело); и нынешние мифы: что некогда на Землю высадились разумные существа с других планет, прилетев на кораблях-эйдосах-архетипах всякого умения, знания и существования, — варианты одного подсказа бытия.

Этот подсказ дан и нам в карте земного шара. Две трети поверхности — океан. Потом Запад — землян, Восток — водян: там Великий или Тихий океан, и солнце, по идее, встает не из земли, а из воды. Земля ж расширяется и проступает к Западу: на Востоке узкий мыс Японии; потом разрозненные острова и мысы: Чукотка, Камчатка, Курилы, тысячи островов Индонезии, Австралия. Потом собирается в протяжении континента (Китай, Русь, Индия), кулак и узел гор. И далее распускается в ширь и ровнь: Европа — Африка, а между ними лишь рудимент океана — щель Средиземного моря, т.е. вода среди земель уже пленена, а не как было на Востоке: земли среди вездесущей воды. И моря здесь недаром так земельно-каменно называются: Черное море (от тьмы, а не свето-воздуха), Мраморное, Мертвое, Красное (крово-ржавое, ибо кровь = огне-

вода, как и окисление = сгорание металла), тогда как на Востоке воды — Желтое море, Тихий (самодостаточный, благой, ибо Великий, уверенный в себе) океан.

Однако признаюсь, что во всем этом рассуждении я вчувствовался и проникся эллинским воззрением, по которому в начале — вода (Фалес). И Платон многократно исходит из древних мифов о потопах¹, о гибели и циклах цивилизации: о затонувшем материке Атлантиде (в «Тимее»), о началах обществ на вершинах гор (в «Законах»). «Избежавшими тогда гибели оказались чуть ли не исключительно горные пастухи — слабые искры (люди = огни. — Г.Г.) человеческого рода, спасшиеся на вершинах» (Законы, 677 В). И Страбон развивает это эллинское толкование происхождения народов, стран и государств: «По предположению Платона после потоков возникли три формы цивилизованной жизни: первая — на вершинах гор, примитивная и дикая, так как люди испытывали страх перед водами, которые еще держались как раз на поверхности равнин; вторая развилась по склонам гор, так как люди уже постепенно стали набираться храбрости, потому что равнины начали высыхать (таким образом, храбрость — от большей сухости человека, который более воспламенен, тогда как страх — сырость, большая причастность воде: плач, слезы от страха, — нежели огню; страх гнетет, и душа по артериям, как капля, загоняется в пятки, туда стесняется. — Г.Г.); третья образовалась на равнинах. Можно, пожалуй, говорить равным образом и о четвертой, пятой формах и даже больше; последняя же форма цивилизации возникла на морском побережье и на островах, после того как люди совершенно избавились от подобного рода страха. (Ну здесь Страбон явно как высший образ человеческого бытия трактует свой родной эллинский Космос, который есть острова среди моря: самостоятельные крепкие атомы-индивиды — в пустотах бытия. — Г.Г.) Действительно, большая или меньшая решимость приблизиться к морю заставляет, по-видимому, предполагать также некоторые различия ступеней цивилизации и нравов, так же

¹ Циклы цивилизации, отсчитываемые по воде, потокам, — мировоззрение средиземноморских народов: эллины, иудеи... Германцы же рассуждают по огню — видят циклы мировых пожаров: гибель богов в «Эдде» — пожар Валгаллы; закат Европы Шпенглера — тоже сгорание огня-света.

как и доблести и дикости, которые до некоторой степени составляют уже переход к культурной жизни на второй ступени» (Страбон, География, кн. XIII, I, 25).

Историк склонен эти отличия расположить по времени и назвать словами: «лучше» — «хуже», «культура» — «варварство», помещая добро в прогресс, а зло — назад. Однако с точки зрения бытия и его измерений (истина, святость, чернота-грех, совесть) в отличие от уровня жизни и человечества (правда, добро-зло, стыд) ни один Космо-Логос не оставлен бытием, и «ниже» здесь (по склону горы) не значит «хуже», а так данному народу заповедано: здесь стоять! сей именно необходимый бытию форпост удерживать и стадию воплощения рассеянного бытия (иль уже рассеяния воплощенного) собой осуществлять. С этой поправкой на оценку — т.е. на бесценность — можно и принять вывод Страбона, по которому цивилизация распространяется сверху вниз: «Совершавшиеся тогда такие переселения в нижележащие местности, по моему мнению, указывают также на различные ступени образа жизни и цивилизации» (География, кн. XIII, I, 25).

Осаждение народов на землю (ибо как вода, оседая, наносит ил, частицы песка, так и твари оседают на земле из рассеянного бытия в ходе его воплощения: народы = наносы, пласты, слои) идет слоями сверху вниз — с Востока на Запад. Это сохранено нам в преданиях о смене веков и поколений людей (см., в частности: Гесиод, Работы и дни). Первыми осели самые вышние, горние народы, приближенные к солнцу-золоту¹: золотой век и поколений людей. Соответствует ли этому периоду осадок нынешней желтой расы иль она вторична, судить не берусь, однако священность желтого цвета (= цвета золота) в Китае и Агни-огня в Индии на связь с этим слоем указывает. Местонахождение **золота** (= представителя солнца из металлов, в зоне недр — черного солнца) — тоже преимущественно Восток: Колыма, Аляска, Лена, а также средняя, зенитная полоса, приближенная к солнцу: экватор и тропики (Атласские горы иль ЮАР); **цветные металлы** — в полосе средиземноморской и Средней Азии: медь — Балхаш и т.д.

¹ Недаром и географам бытийственная интуиция подсказала обозначать горы золотым — желто-коричневым — цветом.

Следующий век и поколение и слой — серебряный: бледнолицые, цвет Луны и Ночи; цвет света, воздуха и снега — истины — белизны. Таковы индоарийцы, расы Европы и России.

Переходные — бронзовый и медный век: инки, майя, семиты (творцы архекультур), эллины-римляне, отчасти романские народы — смуглолицые.

Белые же — выцветшие: свет их — от тьмы и ночи кругом: бледность. И их упование — низ мира (и тепло им оттуда — огонь черного солнца, добываемый огнем: трение железа о камень — искра!) и что там — железо. Недаром страны Запада славны железом (и углем): Рур-Эльзас, Англия — им оно больше всего нужно. Золотым же народам (в частности, Индии) не нужно железа, и нет там его залежей. По Платону, у первых народов, осевших после потопа на вершинах, не было надобности в железе: «Железо, медь и все руды слились вместе и стали скрытыми, так что было очень затруднительно их извлекать. Поэтому редко удавалось тогдашним людям срубить дерево. ...Значит, столько же времени не существовали тогда или даже более и те искусства, для которых нужно железо, медь и тому подобное. ...И вот, в те времена совершенно исчезли во многих местах междоусобия и войны. ...В изобилии имели они одежду, подстилку, жилища и утварь, как огнеупорную, так и простую. Ибо ни одно из искусств, касающихся лепки и плетения, не нуждается в железе» (Законы, 678Д–679А).

Однако Платон объясняет миролюбие послепотопных людей также их малочисленностью и изолированностью: «Ввиду своей малочисленности люди с удовольствием взирали друг на друга в те времена» (679С), — что есть типично эллинский взгляд, видящий в мире атомы (и социальные) и пустоту. В Индии ж миролюбие — и при кишмя кишении людском.

И то еще характерно, что для Индии тепло — с верха мира, от солнца падает лучом, а для германцев тепло и жизнь — из низа мира: вздымается огнем, пламенем очага, который питают уголь (недро, глубина, черное солнце) и дерево = застывший язык пламени снизу вверх. Так что северные народы, когда им жарко, как бы на сковородке поджариваются, в «теенне огненной» снизу кипят, — а южные народы (иудеи, арабы) испепеляются гневом Божиим сверху. Огонь на Севере передоверен Богом черту.

Свет и тепло сверху из просторов даны — в Индии; в Германии ж — снизу и из точки: из искры-свечи — в ширь и стороны, от «я» вовне, из *Innere*; и свет от «Я» сознания возжигает мир, субъект полагает объект (априоризм, трансцендентальное Канта, Идея Гегеля, Труд, производящий все, — Маркса). Свет в Индии обволакивает человека из пространств; в Германии ж от человека, его очага, *Haus'a* и *Burg'a* — «жизненного пространства» — распространяется в якобы (ими предполагаемое) «мертвое» пространство Востока; и *Drang nach Osten* предпринимается — чтобы возжить его будто и упорядочить.

Вообще, если движение с Востока на Запад — оседание слоев и переселение народов, кочевье, то движение с Запада на Восток — поход (Александра Македонского, Крестовые, Ермака в Сибирь, тевтонов в Литву). Поход — сбитый клин, «свинья»-рыло, римская «фаланга», французский строй и маневр. Все это — способ с малым занять великое, распространиться (= возжжение искры). Переселение ж народов — это как стекают ручьи в узкую линию реки и оседают: из бассейна мировых пространств — на место, на ту или иную землю стекаются и густеют там.

(О черной расе не берусь высказываться — неясно в этой схеме.)

ОБРАЗЫ ИНДИИ (эллинский, русский, французский, германский)

Восприятие одной культуры глазами другой — вот наша проблема.

Индия издревле привлекала интерес европейцев. И то, что видели путешественники, чему удивлялись в ней, есть не только результат встречи с новым миром, его обычаями и предметами, но выявляет и характер своего народа, его миропонимание. Складывались как бы национальные мифы об Индии, обладающие большой устойчивостью.

Я и решил их сопоставить; как одна реальность — вот Индия — видится из разных национальных Космосов и как они при этом обнаруживают свои особенности? Ведь характеристика другого есть всегда и САМОхарактеристика. Я рассмотрел с этой точки зрения известные памятники европейской культуры: «Географию» Страбона, «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «О духе законов» Монтескьё и «О языке и мудрости индусов» Фридриха Шлегеля. Отражения Индии позволяют проделать как бы спектральный анализ национальных мирозозерцаний.

Моя работа состоит в толкованиях удивлений: удивляются тому, что странно, чего нет у себя, — и так самохарактеризуются. Я же прикидываю умом: что бы это могло значить? Какие особенности национальных представлений о мире могут за этими удивлениями стоять?

В качестве метаязыка я беру древний натурфилософский язык четырех стихий. *Земля, вода, воздух, огонь*, понимаемые расширительно и метафорически, суть «слова» этого языка. Пропорции этих стихий во многом и характеризуют национальный Космо-Психо-Логос.

I. ЭЛЛИНСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНДИИ (по «Географии» Страбона)

Речь идет, по сути, о восприятии Индии греками в походе Александра Македонского. Это был всемирно-

исторический контакт Европы и Азии, где цивилизация Европы выступила активно-познающей, вопрошающей стороной. Хотя Страбон писал на стыке эр (годы его жизни: 64/63 до н.э. — 23/24 н.э.), но основными источниками его сведений об Индии продолжали оставаться данные спутников Александра.

Воображение эллинов поразили индийский мудрец тем, что «сжег себя в Афинах, подобно тому как это уже сделал Калан, доставив подобное зрелище Александру» (кн. XV, I, 4). То есть индуc причастен огню, тогда как эллинские купцы совершают плавание (и войско Александра держится рек), то есть причастны воде. Соответственно, стремления эллинов — в резонанс стремлению воды: течь по поверхности, вдаль и вширь растекаться; а индусам, причастным вертикальному стремлению огня, совершенно чуждо желание распространяться вширь, завоевывать земли. «Ведь никогда индийцы, по его (Мегасфена. — Г.Г.) словам, не посылали своего войска за пределы страны» (I, 6). Так это будет и в дальнейшей истории Индии, что казалось бы странным при перенаселенности страны: отказ от плоскости земли и отворот от сторон — стран ее. Энергия населения уходила в надстройку над землей многоэтажного кастового духовного здания, а в нем высший слой — брахман — был гораздо беднее низшего — вайшьи (купца, земледельца, промышленника), и последний подавал подаяние первому, кому положено было не заботиться о доме, пище и побираться нищим.

Эллин выносит суждение о фигуре страны: «Фигура этой страны становится ромбоидальной» (I, 11). То эллинский геометро-пластический подход к явлениям мира как атомам, чтущий разум внешней формы и фигуры. И ромб для эллинов много говорит. В «Тимее» Платона четыре элемента распределены по фигурам. Огонь — пирамида, и верно: язык пламени — пирамидальной формы, как кипарис, тоже к жизни-смерти причастное древо. Земля = куб, устойчивый, увесистый. А меж этими полюсами располагаются: атом воздуха = икосаэдр, его сечение образует ромб; атом воды — додекаэдр, приближается к шару — капле. Так что сама фигура Индостана на причастность к стихии воз-духа, к пране и духовным мирам — намекает. Ромб Индии — как ковер-самолет.

«В Греции все есть», — как говорил персонаж у Чехова. Благодаря расчлененности ее земли среди моря

и многовариантности полисов, типов городов-государств — здесь зародились все философские идеи и типы миропонимания: что Вода в основе всего (Фалес), и что Огонь (Гераклит), и что Воздух — всесубстанция (Анаксимен) и Идея (Платон) и т.д. Греки — горцы. И главный тип местности: острова в море. Вода — внизу и с боков. В Индии ж — континент предстал, где земля-почва намыта реками (Инд и Ганг) с гор. Этому и дивуется Страбон, что реки как руки: взяли материал с Гималаев — и перенесли укладывать в другом месте — построили равнину Бенгалию. Как человек из равнины строит гору-город. Вода тут работает сверху. И по индийским мифам: земля произведена из пахтанья богам Мирового океана с помощью гималайской горы Сумеру — как мутовки, волшебной палочки. А в Ригведе бог Варуна (Уран греков), в котором наиболее просвечивают черты Творца и зиждителя мира, сопряжен с космическими водами.

Но не только Пространство, но и Время организовано Водой сверху. Времена года в Европе и на Руси распределяются по теплу солнышка и воздуха: зима — лето. Здесь же, в тропиках, — солнце всегда дано, тепло — константа, Единое. А вот влага дается единожды — в период муссонных дождей, от ветров с юго-запада: от мая-июня до октября-ноября. Сезон дождливый, а за ним — сухой. Так что стихия Воды — начало расчленения, Двоицы. Тепло же, Огонь — всеприсущ всегда и во всех. Недаром он Агни «Джатаведас» — «знаток существ» — таков его эпитет в «Гимнах Ригведы».

Влажный жар, стоящий в надземном пространстве, — породитель избыточной Жизни: кишение существ в Индии, клубление растений и животных и избыток плодов — не от трудов, а от природы, тогда как в менее плодородящих космосах стран Европы Жизнь надо подкреплять Трудом: Труд человека, а не Эрос Природы, «-ургия», а не «-гония» — податель благ. Руки, а не Слово, как в Индии, где говорение Вед брахманом — космоустроительно: по его гимну и Солнце взойдет, и коровы-облака с неба прольют молоко.

Взгляд европейца поражен диковинными ползучими деревьями. Вот как их описывает Страбон со слов Эратосфена: «В силу этого (от жара и влажности. — Г.Г.) так гибки и ветви деревьев, из которых делают ободья для колес, и по этой причине же на некоторых де-

ревьях появляется «шерсть» (так был понят хлопок — животнo мыслящими эллинами: на растение смотрят сквозь призму овцы, как на сахарный тростник — сквозь образ пчелы. — Г.Г.)... Он говорит о тростнике, который дает мед, хотя и без пчел... Там есть какие-то большие деревья, ветви которых достигают даже 12 локтей; затем они продолжают расти вниз, как бы согнувшись, пока не коснутся земли. Потом, распростершись по земле, они пускают корни, подобно отводкам; затем, снова поднимаясь, образуют ствол... и так далее, так что из одного дерева образуется огромный зонт, подобный палатке со множеством подпорок» (I, 20—21). Да это же — естественный город, дворец, многозалье, аркады! Европейцу такое знакомо — в утробе Земли: пещеры со сталагмитами-сталактитами. Но чтобы такое выросло на поверхности! Это уже творит и погибает Индийский Эрос, влаго-воздух, курчавясь и лианясь под жгучими ласками солнца-огня. Такое дерево — это кентавр по-индийски: полурастение-полуживотное, в нем застыла ходьба сороконожки, шествие змеи по земле. Недаром Змея — наиболее характерное существо (изо всех стран мира) именно для индийского Космоса: здесь и «заклинатели змей», и в мифах о происхождении мира Змея окутывает Вселенную. Змея же — самодвижный ствол ползучий.

Итак, индийский мир бросается в глаза эллинскому сознанию как космос переходов: растение движется, как животное; возле человека — обезьяна, так что он, оказывается, — не исключительное существо, и самохвальное убеждение: «человек — царь зверей» (что в Европе и в Ренессансе), сей эгоизм гуманизма не может быть присущ Индии, такое резкое самоотличение от прочих живых существ. Здесь естественнее, напротив, идея переселения душ в разные существа — но не во Времени (как на это согласилась и европейская теория эволюции, где существа выстраиваются в прогрессивный затылок друг другу), а всегда, сейчас. И Бодхисаттва вполне достойно пребывает в благочестивом слоне или зайце (в «Гирлянде джатак» Арьи Шуры), как и в царевиче.

Вот это дивно привыкшему к определенности и четкости форм средиземноморскому взгляду — текучесть и клубление.

Что *огонь-вода* — основное в Индии стечение стихий, подсказывает и Ригведа, где больше всего гимнов

к Агни (огню) и Соме (напитку). Через Агни земное (жертва, молитва) воспаряет и доносится до верхней оболочки мира, где обитают боги; через Сому боги приглашаются снизойти на землю, испить, отведать, причаститься человечеству. Огонь и вода сплелись в воздушном пространстве, образуя влажный мир, марево жизни. Потому в Индии сам воздух дышит плодородием, оттуда йоги вдыхают жизненно-порождающую силу — «прану». Среди буйного тропического преизобилия жизни, разнообразия существ главная задача для мысли — отрегулировать соотношение человека с сериями иных существ: богов, обезьян, асуров, ракшасов (индуизм, законы Ману). И как преодолеть кишение жизни, утомительный круг Сансары и цепь рождений и выйти из потока (проблема буддизма)?

При изобилии При-роды — недостаток Воз-Духа: он тут стояч, мало ветров — сих очистителей Космоса на северных пространствах. И потому человек призван восполнить недостачу Воз-Духа: творить Дух (отсюда творчество религий и философий тут), а не материю и плоды трудом — они и так возникают. «Мегасфен, отмечая плодородие Индии, указывает, что земля там приносит дважды в год двойной урожай... Плодовые деревья приносят также много плодов; в изобилии встречаются корни растений, в особенности большого тростника: они СЛАДКИ В СЫРОМ и вареном виде, так как и дождевая вода, и речная нагревается от солнца. Поэтому Эратосфен хочет... сказать, что процесс, называемый у других «созреванием плодов или соков», у индийцев носит имя «сваривания», и при «созревании» плоды получают столь же приятный вкус, как от варки на огне» (I, 20).

Но это значит: не так тут нужен и важен ОЧАГ, а следовательно, и ДОМ — основные понятия в Европе и германстве, где очаг — синоним жизни, а мироЗДАНИЕ — образ Бытия. Жизнь протекает в Индии более прямо в открытом Бытии, а не под покровом крыши и стен (где тайное содержится, не явное; где сути-ноумены — не явления-феномены; где содержание, под формой...). Нет резкого раскола бытия на субъект-объект (на германские Haus и Raum), «Я» и «Не-Я», чтобы их потом мучительно соединять в гносеологии как проблеме. Здесь плавно перетекает Бытие — в Жизнь человека, и наоборот: Смерть не так категорична, абсолютна и страшна-необратима. Оттого в Индии знают

Драму, но не Трагедию, и конфликты не столь остры (в семье и меж кастами общества), и терпимость к плюрализму. А в логике индийской противоречие не трактуется как взаимоисключающая противоположность: как «или — или, третьего не дано», — но как многоступенное различие, мягко. Вспомним логику Нагарджуны: «все есть истина», «все есть неистина», «все есть истина и неистина», «все не есть истина, не есть и неистина» — по такой схеме трактуется всякое явление и проблема.

С другой стороны, раз плод и корень свариваются уже прямо в котле Пространства, а не на очаге в Доме, — есть подаяние человеку от Бытия, манна небесная, и меньше, следовательно, сил он призван тратить на жизнь и пищу. Космос не взывает здесь к Труду так категорично, как на севере, где или будешь работник в поте лица своего (проклятие грехопадения), или помрешь от голода и холода. «У других же племен заведено возделывать поле сообща всей родней, а после уборки урожая каждый получает достаточное количество продуктов для пропитания на год; ОСТАТОК СЖИГАЮТ, чтобы у них было побуждение работать в другой раз и не проводить время в праздности» (I, 66). Ну это — европейски трудовое, из представления Бытия как -ургии и Творения исходящее объяснение. Здесь же, может: гигиена Бытия, чтобы Жизнь избыточная не перешла в гниение, но в обмене веществ-перерождений существ свежела. Ведь Индия — источник эпидемий и чум-холер...

Но СЖИГАТЬ ОСТАТОК! Прибавочный продукт! Ведь вся Европа, история производства, культуры основывается на накоплении остатков, запасов, залогов. В сем лето клянется зимою, что — придет! Беспрерывность накопленного должна как бы компенсировать прерывистое дыхание Жизни, ее пунктирность в смене времен года. И тут это, как восполнение маложизненных условий национального Космоса, — естественно. Да, именно естественен здесь этот рост искусственного существования: труда, городов, искусств, индустрии, письменности.

А в Индии священно устное бытование Слова: Вед, Упанишад, поэм — тысячелетия у пандитов и гуру брахмачарья наизусть учил шлоки, сутры и тантры. Страбон дивится: нет воровства в Индии (вор как раз отделяет от «я» вещи избытка, а их нет там, где избыток сжи-

гают), «и это у людей, где нет писанных законов! В самом деле, по его (Мегасфена. — Г.Г.) словам, индийцы не умеют читать и писать, но разбираются во всех делах по памяти» (I, 53).

Письмо, бумага — вещь, отчуждение, дело рук. В Индии ж рот почтеннее руки, дыхание — огне-земли труда и формы; культура здесь более устна. Брахман и есть живой пергамент, свиток: разверни — исполнит главу Упанишад, песнь Махабхараты — на то и заготовлен Бытием. Конечно, и в Индии есть древняя письменность — санскрит, и писаны законы Ману и шастры. Но Слово имеет тут иное, нежели в Европе, назначение в состоянии Бытия. В космосе Европы Слово более у-слов-но: есть лишь знак мира мысли, так что легко отменяется, если возникают более экономные и совершенные системы знаков: алфавит, математика, ноты... Материя воплощения вроде не сращена с содержанием мысли.

В Индии ж сам Дух — более дыхание, более неотрывно телесен, так что заменить живое истечение слова из уст, с трепетанием воздушных струй, для слуха и пространства, — значками для глаза, — совсем не адекватное преобразование, есть отмена как раз сути дела. Именно песнопением и в таком ритме раздражив воздух и пространство и послав соответствующие волны — цунами — в Бытие, брахман может так его колебнуть, что реальную помощь оказать Солнцу-Сурье в его отлипании от низа мира и преодолении силы земного притяжения (иль поверхностного натяжения вод Океана, из которого выныривает Солнце). И Слово это должно каждодневно твориться, а не откладываться, как вещь, про запас: не может Солнце здесь себе такого позволить: сейчас исчезну, а потом воздам сторицею — что оно вполне себе позволяет в космосе севера, где полярная ночь, а потом вечный день, зима и лето столь розны теплом и светом... И мышление там такое вырабатывается, что про запас откладываемо: в письмена, в литературу, библиотеку... В Европе мысль есть «Я-мысль», так же отвердевает в индивида, как и жизнь человека, отчего и индивидуальное авторство важно. В Индии ж принцип личности (аханкара) — есть авидья. И тут мысль-волна (потoki дхарм, как волн), а не мысль-атом-частица. Квантово-ВОЛНОВОЕ тут воззрение на строение вещества родно, и то, что евро-

пейцы тут находят похожее на атомизм (дхаммы), в сущности-то не частицы, а волны...

В Индии душа онтологична, а Бытие — психично: Дух и дыхание взаимоперетекаемы. Человек отверзт, а не отделен от Бытия крышей своей черепной коробки и не укутан в свое тело, как в одежду и дом, что так тверды и стеноподобны в Европе и на севере, где их функция — отделять, обособить человека от Бытия (так же как и органов чувств, которые, по скептикам-англичанам Юму и Беркли и также по германо-шотландцу Канту, — не связь наша с миром, а стена, от него отделяющая: проблема трансцензуса и гносеологии...). Нет, в Индии, вдыхая, мы засасываем в себя Прану, мировой Брахман в свой атман: они сообщимы.

А раз все есть, течет и пребывает сразу, то не нужно опосредствований (основной принцип европейского Логоса — медиация: *средний термин* силлогизма у Аристотеля, *особенное* между всеобщим и единичным у Гегеля), закладов и удостоверений (справок российско-советских): «В этой стране нет процессов о закладах и доверенных ценностях; им не нужно ни свидетелей, ни печатей, но все верят тем, кому поручают свои ценности. Домашнее имущество обычно без надзора» (I, 53). Ну да: ведь человек слово произносит, дает клятву в открытом Бытии, как на духу, где Брахмо¹ слышит его колебания воздуха, и воз-дух запоминает и отмстит за нарушение. А там, где лето уходит напрочь, а вместо него белая зима воцаряется, — тут нужны залого и заклады, так как на место Бытия становится Ничто, а потом вдруг бытие из ничто возникает. Как поверить зимой, что лето было, что лето будет?

«Это, конечно, все разумно (что нет воровства, есть доверие друг другу. — Г.Г.). Но никто, пожалуй, не одобрит другого их обычая — всегда жить только для себя и не иметь общего для всех часа обеда, завтрака, есть как кому заблагорассудится; ведь другой способ еды более подходит для общественной и гражданской жизни» (I, 53). Снова эллин в этом сказался — политик, живущий в Полисе, городе-государстве. Он общается с Бытием не прямо, каждый, но через Общество, Социум, общественные отношения (от Платона до Маркса

¹ Не Брама, а Брахмо из «Бхагавадгиты».

об этом...). В Индии ж каждое существо напрямую соотносится с Бытием, свой принцип к нему верного отношения имеет (свою дхарму), а не через солидарность со своей общиной (кастой, варной). Хотя человек — член касты, но дхарма его проверяется не «советом» касты, а прямо Бытием, на Абсолют он глядит, а не на некое «мы» и «своих» и классово-кастовый интерес, как это естественно в маложизненных космосах Севера, где «в партию сгрудились малые» (Маяковский) — в борьбе за существование.

В Индии борьба скорее — за выход из существования: на то усилие Духа, и воли, и человека требуется. Бурному клублению Бытия, чтоб оно не шло вразнос, ускоряясь, мудрец противопоставляет остановку: себя прежде всего, делая себя как бы осью, воздерживаясь — удерживаясь: ведь «дхар» — «держать», отсюда и «дхарма» — закон-принцип-путь-долг.

В жизни своей индус менее волен, чем европеец: у того «я» и свобода воли, а у этого — варна, и карма, и дхарма; однако в смерти — более волен: самоубийство здесь не грех. Страбон не устает дивоваться самоубийствам философов («гимнософистов»), восходящих на костер... Опять — огонь, Джатаведас, как и нирвана — нибхана — «угасание» (по одной интерпретации). «Чаще всего философы говорят о смерти. Они считают здешнюю жизнь как бы ребенком во чреве матери, а смерть — рождением к истинной и блаженной жизни» (I, 59). Учитывать надо, что перед нами эллинский перевод индийских воззрений, а беседа через переводчиков, как извиняется перед Онесикритом мудрец Манданий, — это «все равно что требовать, чтобы чистая вода текла через грязь» (I, 64). Элин переводит Индию на свой Космос и Логос -гонии: рождений, котловин, пещер (Платонов образ) и недр, нутр, чрев; и у Гиппократа образ: глаза и уши человеку даны вместо пуповины, когда вываливается из матки. Не помогать Жизни — призвание человека Духа тут, но приостанавливать жизнь, которая и так здесь избыточна и прет отовсюду и пошла. Потому хваленая в Европе «жизнерадостность», и идея «Бога Живаго», и «философия жизни», и «жизнь как воля», и «воля к жизни и власти» — чуждые постулаты. Поперек колесу Сансары, майи-жизни и авидьи — «дхармачакраправартана»: проворот колеса Дхармы — творит буддист и йогин. Интересно, что самоубийства мудрецов распре-

делены по стихиям, суть как бы их заклатья, приостановка собою, толчок вспять их течению: «Люди твердого характера... бросаются на меч или в пропасть (земляной, твердый — земле наносит удар, толчок. — Г.Г.); избегающий страданий — в морскую пучину (мягкие — «прячут звон свой в мягкое, в женское», по стиху Маяковского, — во влажное; концы — в воду. — Г.Г.); люди, привыкшие переносить страдания, кончают жизнь повешением (отдают себя стихии воздуха. — Г.Г.), а люди пылкого нрава бросаются в огонь (огню — огнево. — Г.Г.)» (I, 68).

Что касается представлений о мире, «во многом они держатся одинакового мнения с греками. Так, например, они полагают, что мир сотворен и обречен на гибель, так же как это утверждают и греки (в передаче Мегасфена — событие мира однократно, тогда как по индуизму мир и миры творятся и сокрушаются бесконечно в ритме калпы, юг и критаяуг. — Г.Г.); мир они считают шарообразным» (I, 59). Это типично эллинское воззрение, по которому шар — совершенная фигура, и мир — Сферос.

Любопытно удивление эллинов асанам индийских мудрецов: так эллин Онесикрит, посланный Александром, чтобы поучиться индусской мудрости, был необычайно шокирован, когда «софист велел ему... если он хочет слушать, снять одежды, голым лечь на те же камни и выслушивать его поучения» (I, 64). Чушь какая-то, маскарад! — мог реагировать на это предложение эллинский Логос. Ну какая разница, говорится ли слово Истины стоя, сидя или лежа? А между тем и в Элладе недаром «перипатетики» — «прогуливающиеся», Аристотелевой школы умники. А платоники возлежат на Симпосионе. Поза — асана не безразлична, но есть постулат — предикат главный учения: как бы крюк, на который ловится Истина; приспособленный сразу аспект в плюрализме возможных миров и Истин: его на себя навестать-наярить. Асана — прямо мысль, идея, принцип миропонимания — поймания, как рыбы на живца.

И эта сращенность мышления с позой (лотоса, змеи, свечи и т.д.) свидетельствует о неотделенности Духа от Бытия: Мысль открыта в Бытие, есть ток самого Бытия. Она не отвлеченная, но и плотная, не чужда материи. Мысль в индийском космосе трактуется в Упанишадах как особая стихия, материя, первоэлемент:

наряду с землей, водой, воздухом и огнем — и «манас», и иные варианты духовного: «атман», «рич», «вач», «уд-гитха». А позой-асаной мы делаем как бы узел для связывания всех элементов и сотворяем ипостась-вариант системы мира.

Удивляются греки, что виноградной лозы соком не услаждаются индийцы. Но в Космосе марева, где человек и так пьян, нет нужды в разгорячении: скорее в остужении он нуждается для возбуждения жизненной активности. И эту роль играет богатейшая культура Духа в Индии, которая снизу старается восполнить недостаток сухого воз-духа в пространстве: отодвинуть, осушить влажный жар — за счет активности атман-Брахмана. И в Индии так же необходимо, по Космосу ее, дышит очаг Духа (в религиях, философиях), как в Европе, при недостатке солнца, горит очаг Труда материального.

II. РУССКИЙ ОБРАЗ ИНДИИ

А что увидела в Индии Россия, которая впервые словесно воззрилась на нее тверским купцом Афанасием Никитиным в XV веке?

Некоторые поправки на возможные искажения или особенности в предмете и во взоре надо сперва сделать. Никитин воспринимает не классическую арийскую Пенджабскую Индию, Индию Ригведы и Упанишад (как элины в походе Александра Македонского и со слов их — Страбон), но южную Индию Декана, с дравидским, полунегроидным населением, менее духовную, более частно-идолопоклонническую, убогую, Индию вишнуитов и особенно шиваитов — основные течения, на которые распался ведийский индуизм в вульгарной вере. К тому же Индия здесь не сама по себе, а в ярме Ислама: совершилось тогда изнасилование женщины Индии парным ей мужским миром Ислама.

Зачем пишет Никитин? Скитаясь много лет вдали от родины, он время от времени ведет записки, где исповедуется, как на духу, перед русским, христианским Богом — в минуты опаматованья, когда ужасается, что он один, и книги растерял божественные, и правильно ли он веру соблюдает? — то есть есть ли он еще или нет его уже, а другой стал на его место?

Практическое назначение этих записок: быть справочником для купцов — позднейший слой их текста, по возвращении на родину. Первейший же — исповеднический: советуется с бумагой: а что мне теперь делать? Не с кем родным словом перемолвиться — и вот нашел выход: прибегнуть к грамоте, как пуповине, колобку, клубку нитей, что ему с родины в детстве на пути-дороги Хождения — придан, чтобы обратный путь найти и возвратиться.

Так что совсем иной голос и функция слова и его контекст у Афанасия Никитина, нежели у Страбона: этот, в наслаждении любознания и науки, уютно расположась, описывает эпически покойно для сведения римлян и эллинов разные страны. Нет у него ни отношения к себе, ни вопрошений, ни гнева. Никитин же словом заклиняет, отталкивает от себя чужой мир, а кое-что и прибирает. Во всяком случае, родное слово для него — чур меня! — круг, изнутри которого можно и безопасно разглядывать по сторонам. Родное слово оборону его жизни держит, так же как и Тургеневу: «...во дни сомнений и тягостных раздумий о судьбах моей родины... ты один мне опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» Не сходна ль с этим интонация: «Уже проидоша и Великия дни в бесерменьской земли, а христианства не оставих; дале Бог ведаеть, что будеть»¹? Воистину Слово на правах Бога в России существует, а литература — на правах религии. Слово пишут в никуда, как Аввакум, без отклика — в бесконечный Космос русской дали, как поэт в «Эхе» Пушкина, безотзывно, без обратной связи. Но само Слово — крепь среди зияний. Так что экзистенциально прибегание к писанию в России.

То, что с ним произошло, Никитин осмысляет как ХОЖДЕНИЕ. В этом русский мотив *путей-дорог* и человека-странника. Но еще и обертон «хаджа» тут добавляется, поскольку Никитин четыре года как в исламском мире обитал: «ходжа» — кто ходил в святые места. Недаром и священное число «три» прибавляется, и «море». Море-Окиян для России — край света, небытие — значит, словно путешествие на тот свет со-

¹ Хождение за три моря Афанасия Никитина. М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — С. 23. При ссылаках далее указывается лишь страница.

вершил, в тридевятое царство, в тридесятое государство. Сказочный обертон добавляется.

Хождение за три моря — да ко огню — вот путь Никитина, ибо все ближе подступает к пеклу. Сначала в «Баке, где огонь горить неугасимы» (с. 13) — снизу, из нутра земли черное солнце выбивает огненным гейзером нефти. А потом «в Гурмызе есть варное (от варить. — Г.Г.) солнце, человека съжжетъ» (с. 13). «И тут есть Индейскаа страна, и люди ходять нагы все» (с. 13).

Се — Космос открытого бытия как открытого моря. В России ТЕЛО не имеет отношения к бытию, упрятано от него в незначительность, зато возрастает значение ЛИЦА — как единственного перешейка между человеком и бытием. Южанин же обласкан и привечен солнцем как он есть: и с голеньями, с бедрами, с ягодницами и грудями — это тоже как истинное чтить и развивать должен. И тут развита культура членов тела: гимнастика и атлетика в Элладе, танец в Индии, асаны созерцания в хатха-йоге и позы соития в каме. Потому и искусство там — не портрет и плоскостная живопись, но скульптура, а «я» человека должно именоваться не по лицу («ЛИЧность»), но скорее — по фигуре: тело — Целое.

«А ества же их плоха, и один съ-дним ни пиеть, ни яст, ни с женою... а у всякого по горныцу... А ядять иные, покрываются платом, чтобы никто не видел его» (с. 19). Это чудно русаку, но для индусов общая трапеза — это свальный грех. Рот — влагалище, еда — животная операция. Лицо не отделено от тела и есть продолжение живота, зада и чресел. Есть надо поодиночке — как и справлять естественные надобности... И хлебать из одной миски или из сковороды (как это за столом в русской крестьянской семье) — то же, что всем сразу в один горшок отливать или испражняться.

А в европейской общей трапезе еще и застольную беседу ведут («Пир» Платона, Симпозион!) умную — о Боге, душе, идеях все теми же срамными губами, загрязняют звук, дыхание-дух, слово, нечистыми устами его произнося. Содом какой-то — в этой тотальности и смешении всего и вся!

Итак, при открытости тела Бытию в Индии — удивительна замкнутость людей, их отвернутость друг от друга, что проявляется в одиночной еде, одиночных же плясках (нет хоровых, парных и массовых, где все,

обнявшись за плечи или пояса, пляшут), в одиночном йогическом созерцании, а не в общей литургии в церкви. В этих актах человек соединяется не с человеком — и так, лишь через посредство общества, с Бытием; но прямо, сразу, каждый принадлежит Бытию и непосредственно с ним совокупляется. Значит, открытость Бытию именно требует закрытости человеку, людям, отделенности мужа от жены, касты от касты. Любовь к дальним (понимание других существ: обезьян, коров и т.д.) требует равнодушия к ближним — брату моему по человечеству. И не так тут страдают от смертей родных, как в христианских странах, где жизнь понимается однократной. Младенец умер? Ну что ж: значит, от прежнего рождения ему столько осталось дожить до совершенства. Припомним тут Достоевскую слезинку младенца, из-за которой вся будущая гармония в тартарары летит.

Напротив, в северном Космосе России Бытие холодом отталкивает людей от себя, заставляет их теплее прижаться друг к другу под крышу дома и возле очага («теплота любовей, дружб и семей» — Маяковский), сплотиться в общину, в мир — и к Бытию относиться через людскую солидарность.

«А ножа не держать, а лъжицы не знать» (с. 19). Инструменты — посредники и презервативы — вторгаются в интимное дело соединения тела с Целым. Они — как священники-пресвитеры или как представители в парламенте, заместители — оттеснители меня от Единого, самозванные передатчики-перехватчики. Это все — установления Социума и Труда, его априорные модели (как и в логике структуры силлогизма) влезают в каждый контакт с Бытием и берут свою в нем десятину, обрезание крайней плоти творят. Так что сначала от Бытия поест априори Общество и Труд — в лице своих инструментов: стандартных челюстей = ножей, готовых зубов = вилок, искусственных губ = ложек, а потом уже живой человек — в чувственном опыте... Отчуждение...

Обратил внимание Афанасий и на четкое идеологическое различие *правой* и *левой* рук и сторон в Индии: «ядят все рукою правою, а левою не примется ни за что» (с. 19). Странно это русаку показалось, ибо в России — какая разница: «правая, левая где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна!» И Черноногая у Гоголя не знает, «где право, где лево». И много в России

левой — работяг-мастеров. При братстве-соборности и «мы» в круге церкви стороны не имеют значения.

Но ведь правое и левое, по пифагорейским парам, соответствуют мужскому и женскому началам Бытия. Их неразличение в России соответствует мешанине мужского и женского тут, где мужик часто — баба, а баба — «коня на скаку остановит». И вообще отсутствие четких форм и различий: «человек — ни рыба ни мясо», «Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». Неопределенность функций — и в коллективизме производства при советской власти: «Все сообща» — значит, никто в отдельности не знает своего дела и ответственности не несет. Все — спутано, и заплетаются ноги и руки: «руко-водители» лезут между моими руками и делом всяким...

В Индии ж поразительно четкое разделение функций и образов жизни людей разных каст: не путаются и не вмешиваются со своими принципами в чужие. Даже такой, казалось бы, по европейским и русским понятиям, безусловно, положительный подвиг: когда брахман вступает в битву и сражается, как витязь, поражая противников, — осуждается в «Махабхарате»: «Как лесной пожар пожирает кучи сухой травы и соломы, так истребляли стрелы Ашваттхамана» вражеских воинов. В ярости вскричал тогда Юдхиштхира (царь Пандавов), обращаясь к сыну Дроны: «О тигр среди витязей (казалось бы, комплимент воину! Но в том-то и дело, что брахману не пристало быть воином, хотя и разлучшим, и для него этот эпитет — оскорбление. — Г.Г.)... Покаяние и чтение Священного писания — таковы обязанности брахмана. Только кшатрию приличествует сгибать лук в битве. Ты — брахман только по названию. О недостойнейший из брахманов, ты увидишь, как я сломя твою мощь и нанесу поражение Кауравам»¹. А в нашей системе ценностей, когда политрук-комиссар рубит шашкою отменно — это слава ему.

И обратный случай в «Бхагавадгите» — философской части «Махабхараты», когда полководец Арджуна вдруг задумался перед битвою, увидев в противоположном стане своих родных, и друзей детства, и свой-

¹ Махабхарата. Литературное изложение... — М., 1968. — С. 136.

ственников, и наставников, кого он вот должен убивать, — тогда бог Кришна во облике возничего разъяснил ему дхарму кшатрия: ты воин — и должен сражаться храбро и убивать; и не твое дело конечные цели и причины — это в руках Абсолюта: может, Дроне пора и лестно будет от рук ученика своего взойти на Небо?

В европейской же традиции кшатрий-брахман — просвещенный царь, философ на троне — идеал Государя, начиная с Платона до идеолога-президента. И вся история здесь тяготеет к слиянию духовной и светской власти: католицизм, папство вмешивается в политику государей, а в России вообще царь с Петра объявлен главою синода. Еще более сращенность духовной идеологии партии и государственной власти проявилась в разных видах социализма в XX веке. Во всяком случае, тут непрерывно вмешиваются в прерогативы одна другой и нетерпимы к обособленному существованию Божьего и Кесарева, хотя Христос, возросший на Востоке (хоть и Ближнем, но чутком к идеям дальней Индии), это разделение предписал...

А в России — постоянно «смешение ремесел», о чем еще Чацкий... У нас пироги печет сапожник, а сапоги тачает пирожник, по басне Крылова. И сейчас никак не могут разделить в аппарате власти партийные и хозяйственные¹ функции у руководителей. Неразбериха от этого. Но вся беда — от простора и богатства: «Страна наша богата, порядку только нет» — такими словами, в передаче поэта (Алексея Толстого), призвали русские варягов княжить.

В Индии ж, где на пропорционально малой территории страшно избыточная Жизнь и изобилие разнообразных существ обитает, — только жесткое разделение уровней, и варн, и каст, и сфер, и объектов, и правил питания и позволяет всем существовать, не мешая друг другу. Это дано в законах дхарм и карм. И «лучше дурно исполненная своя дхарма, нежели хорошо выполненная чужая», — набатно повторяется в «Бхагавадгите». Также и «ашрамы» — полосы жизни человека распределены четко: «брахмачарья», «домохозяин» и его «артха», затем «санньясин» — отшельник; исполнив житейский долг: народив детей и создав дом

¹ Писано в 1968 г. 23.III.93 г.

и хозяйство и поучаствовав в жизни общества, — человек может все оставить и удалиться в леса на духовную жизнь, и теперь вся память отрезана, и он — иное существо. Нет, не нужно тождество личности, единство «я»: на одном своем веку человек — разнотелен.

И потому так важен ритуал: соблюдение внешних, казалось бы, предписаний, не задумываясь даже о его идейном смысле. «Смысл обряда — в его исполнении», — как заявил у нас один священник интеллигенту-богоискателю, полюбившему идеи христианства, но не понимающему, зачем церковь и обряды...

Итак, в Индии правая рука совершает одни операции, обслуживает свет и верх тела, а левая — низ, нечистоты, грязь. И смешать их — все одно что кал в рот внести... Потому и идея «неприкасаемости» там так важна.

Взгляд Никитина чутко реагирует на особенности одежды и пищи у «индейцев». И это понятно: обычай *одежды* есть отношение национального Космоса и человека тут извне друг друга; обычай же *пищи* — проникновение Космоса вовнутрь человека и их там химическое соединение. Потому и то и другое: как одеваться и что есть — подлежит религиозным установлениям, ибо регулирует взаимные отношения меж человеком и Бытием, их «ре-лигио» = «вос-соединение».

«А ядят брынец (рис. — Г.Г.), да кичири с маслом, да травы розныя ядят» (с. 19). Значит — травоядные существа. Мясо можно есть лишь «неприкасаемым», и то не забитое животное, но падаль, так что эти касты играют роль грифов, шакалов = чрев-очистителей, могильщиков, трупы пожирающих. Тело неприкасаемого есть готовый гроб, подстерегающий себе труп животного.

«А ясти же садятся, ини омывають руки да и ноги, да и рот пополаскывают» (с. 19). В России ж это необязательно, ибо сам Космос — преимущественно неорганический, Бытие, а не Жизнь и Природа: снег, мороз губит жизнь, живую смертоносную гниль, микробов, дезинфицирует пространство в течение полугода. В Индии ж, где все Бытие — Жизнь, Природа, кишит микро- и макроорганизмами и где благосклонная природа кругом предлагает готовую пищу и тепло, так что не уходит много сил на жилье и добычу пищи в труде, — зато столько же сил, сколько у северянина

уходит на возжизние себя (дом, тепло, дрова, огонь, очаг — еда: охота, рыбная ловля, земледелие...), т.е. на загрязнение Бытия Жизнью, — уходит в Индии на ОЧИЩЕНИЕ себя, на оборону от избыточно наваливающейся Жизни, которая и себя предлагает мне в пожирание, но одновременно и меня пожирает (червячки остатков пищи съедают зубы, микробы — кожу, внутренности). В Азии ведь — очаги всех мировых эпидемий: оспы, гриппа, чумы, холеры, как там — очаги переселения народов (избыточной людской жизненности) и мировых религий.

Да, это важнейший для Индии принцип — очищение, т.е. труд отвержения от себя избытков, прибавочного продукта... Потому индус столько же времени тратит на религию и духоочистительные операции, сколько европеец — на Труд. И если в Европе Время — измеритель стоимости товара труда, то в Индии работают над отталкиванием времени, над выработкой анти-Времени, константы Бытия. И созерцание есть Не-время; медитация и транс = вечность, в нее себя погружение.

Итак, воздержание от труда есть Труд Индии, заповеданный ей ее Бытием через склад национального Космоса. Потому высшая каста — брахманы — бедные, питающиеся подачками и сбором колосьев с убранных полей: они бедные, но чистейшие, в отличие от вайшьев и тем более — неприкасаемых, которым можно даже мясо жрать и кто могут быть богаты, толсты и жирны, как навозные мухи...

Едят руками, а у инструментальных народов рука хватает ложку, вилку и нож; и рука тут жмет и моет руку, тогда как в Индии приветствие — не рукопожатие, которое слишком интимно, как соитие, — но дистанционное: прижатие рук ко груди и поклон — опять отсоединение человека от человека; в Европе же — социальность, общение, а в России — соборность, мирсход. Оттого лозунг: «свобода, равенство и братство» — в Индии не созвучен Космосу, где среди кишения существ прожить можно, если четко соблюдать герметические перегородки, свой особый уровень и не зариться на чужой: тогда мне хватит пищи, ибо ее и даром не ест существо другого уровня и касты-породы, варны-цвета. Если же все набросимся делить одно — в равенстве — и обнимутся тут миллионы в братстве (о чем мечтают Шиллер — Бетховен: «Ода к Радости» — т.е. образовать круг людей и взаимопомощь в обороне

от недостаточно жизненного Космоса), — тогда все передуют и передают друг друга в отвратительно-неразличенном месиве тел и глоток — как змеи в яме.

Но это касается и индийского Логоса: в логике тончайше разработана **КЛАССИФИКАЦИЯ** понятий, терминов, уровней; так же и в буддизме — ступени совершенствования: и что запрещено начинающему, разрешается на следующей ступени; а архату и бодхисаттве вообще снимаются все запреты, ибо настолько просветлено у такого естество-существо, что все, что бы он ни сделал, — превосходно, свято (даже преступление, с точки зрения низших уровней), — но не претендует быть общей нормой и образцом, есть не тип, а частный случай. А на высшей ступени снимаются все различения, столь существенные на предыдущих уровнях существ, и в логике Нагарджуны Сансара — одно и то же, что Нирвана.

Вот Никитин удивляется, что в Индии «жонки» «ходят брюхаты, дети родят на всякий год, а детей у них много» (с. 13). В женско-брачном отношении в Индии опять же парадокс: с одной стороны, дхармы девушки, невесты, жены тончайше разработаны (см. «Законы Ману»), и ритуал сложнейший выбора невесты, и требование чистоты строжайшее и до, и в браке. А с другой стороны, брахман (!) Ватсьяна пишет «Камасутру», Книгу наслаждения, где систематически изложены способы прелюбодения, приемы отбивания мужей и жен и как жить гетере: отделяваться от обедневшего любовника, завоевывать богатого; и какие 64 искусства любви должны знать наслаждающиеся. Очевидно, здесь общий индийский принцип **ТЕРПИМОСТИ К РАЗНОМУ** действует. Существо должно строжайше блюсти присущую его уровню дхарму; но если оно каким-либо нарушением соскочило со своей стези — ну что ж, трагедии из этого не строится: значит, попал ты теперь на уровень других существ, которые ведь живут же, значит, тоже угодны Бытию, только у них уже другая дхарма. И брахманка, согрешив замужеством с человеком низшей касты или став вдовой, уже может стать изысканной гетерой, которую за честь принять считают в домах молодых брахманов или во дворце, и она уже должна не дхарму брахманки, но законы камы, изыски наслаждения совершенно знать и осуществлять.

В Европе же и в России, где существование и законы маловариантны («закон исключенного третьего»!), если что не так: девица обесчещена, жена во блуде пашенка прижила — то позор, стыд, ярость, месть и трагедия для дома и детей незаконных. В Индии ж не только «третье» не исключается, но «девятнадцатое» и «шестьдесят седьмое» — и нет тоталитаризма двоичности в рассуждениях. Недаром и количества там признаков — свободные: 4, 8, 5, 16 и т.д.

На индийские религии и храмы Никитин смотрит через призму ислама: этот ближе к христианству, ибо — единобожие, а индийцы для него — язычники, веруют в идола Бута (от «Будда»), помещая его в «бутхане» (буквально «дом идола», по-персидски). Имеется в виду не Будда и буддизм, которые ко времени Никитина вытеснены из Индии индуизмом, а, вероятнее всего, Шива и другие боги. Русский купец полюбопытствовал совершить паломничество в Парват. «А съезжаются все наги, только на гузне плат; а жонки все наги, толко на гузне фота... да на шиях жемчуг, много яхонтов, да на руках обручи да перстни златы» (с. 19). Вот дивно: голы, а в драгоценных камнях; бедные индусы и ныне нищенствуют, а украшения носят. Что бы это значило: груди и «сором» не считают нужным прикрывать, а шею, руки покрывают камнем, золотом? Это все — красота, блестит, огнится, огонь притягивает и изрыгает; и это в индийском Космосе огне-воды (а жемчуг, бусинка, бисер, изумруд — то все «огне-вода»: металл плавится от огня в каплю) есть не роскошь, а необходимость — сии амулеты-огнеотводы на себя навешивать — так же, как в русском Космосе холодного «белого света» и «матери-сырой земли», средь «родимых сторон», человек одеждой имитирует пласты, слои, стороны пространства: перед, зад, верх, низ — щиты-плоскости на себе развешивает от ветров, дождей, снегов: кафтан, юбка, сарафан, передник; драгоценности же, подвески — излишества. Тут то же соотношение, что и в пище: пряности в Индии — хлеб насущный, необходимость, тогда как на Руси они — приправа, факультативны.

Россия — ровень-гладень, где ветер гуляет и Покров плоский наметнут. А в распирающем жизненной капельностью и животной формностью Космосе Индии плоскость словно не имеет права на существование: она или пузырится выпуклостями, или источается. Так,

в храмах Индии нет плоских стен (которые как раз производят могуче-монументальное впечатление, лапидарные, в церквах Северной Руси — Покрова на Нерли, например), а все изрезаны, источены муравьиной резьбой по камню, в чем индусы действовали как бы по природно-насекомому инстинкту, который червям не велит допустить существование ровной поверхности где бы то ни было, а велит источить ее, сделать вогнуто-бугристой.

Соответственны типу пространства и животные. Никитин, торговец конями, недовольно замечает: «Во Индейской же земли кони ся у них не родят, в их земли родятся волы да буйволы, на тех же ездить и товарное возять, все делают» (с. 14). Ну да: конь — вихрь-ветер. Он — равнина, поверхность, даль, путь и скорость, быстрота, выигрыш времени — т.е. идеи, чуждые индийскому мировоззрению. Зато здесь органичны медлительные волы и коровы — объемы и формы, в которых земля пучится вверх и в бока, что и присуще космосу Индии.

Вывод Никитина: «А на Руськую землю товара нет» (с. 16) — взаимонепересекаемы космосы, и непреходимы, и непереводимы. А Монтескье это объяснит: «При чрезмерной разнице в климате потребность в обмене продуктами совсем уничтожается» (О духе законов, кн. 21, гл. IV).

Русский — житель степи и леса — плоскости и растительных вертикалей. Крестьянство (христианство) растительной символикой думает. В Индии же преобладает животная символика. Люди там бреются: «У бутханы бреются старья жонки и девки, а бреют на себе все волосы и бороды, и головы» (с. 18). Бреясь, человек снимает растительность свою и подчеркивает свою животность: отрекается от веры растительного царства (к которому он причастен стволом своей вертикали) и поступает на поклон к Жизни (= Животу, по-славянски), упражняя изгиб, хищно-кошачью гибкость, изворотливость и угодливость. Ясно, что бритый — лучший царедворец и слуга «чего изволите?», чем бородатый-растительный, который прям и кряжист, как дуб. Потому столь катастрофально было то заголение, что проделал с русскими людьми Петр Первый, одев их в чулки с подвязками, камзолы и обрив. Проделав такое, ясно, что цивилизацию и города тут же городить потребно стало: такого ж на мороз непустишь, а надо

ему Питербурх построить и в приемную на ожидание милостей посадить; а на ветру и морозе в лесу да степи такому делать нечего. Там как раз волосы нужны, чтоб мороз да ветер запутать, обвести вокруг носа да пальца. Так что Петр, заголив и обрив нацию, сжег попятные корабли и обрек ее на «только вперед!» — в цивилизацию как теплый дом-город каменный (Петр — камень, по-гречески); и с Петра каменные дома в России стали строить, отрекаясь от дерева и леса.

Так что борода воистину «предорогая и презолотая» — ценность во Космосе лесов да морозов. И напротив, верные служаки бюрократо-государевы — по фамилии: Безбородов, Безбородько (Пугачева Безбородов брал, а с ним Белобородов-старообрядец, верно, был). Потому в клетках государственного аппарата способнее бритым и лысым по ступеням гибко вверх прыгать. И революцию делали волосатые, а управляют и плоды едят — бритые.

Итак, в России человек ощущает более интимное сродство, родню по Космосу видит в растении: лесе, дереве, траве — и с этим сравнения в русской литературе о жизни и смерти человека: «И дни мои, как злак сечет» (Державин), «Мгновенной жатвой поколенья» (Пушкин), «Человек живет, что трава растет» (Горький, «На дне»). Здесь без зазрения совести едят мясо животных, ибо они — более дальняя родня, и существование здесь протекает не как жизнь (живот), но как растение, прозябание. В Индии же, где человек видит ближайшую родню в животных, — употребляют травы (чему Никитин дивится) и народ — вегетарианец. Я долго домогался выяснить: ну а аскет, отшельник, санньясин, который уже близок к озарению, — ему нельзя даже воды неосторожно испить, ибо червячка проглотить может, нельзя шевельнуться, ибо паучка раздавить может, — так уж он-то не чувствует ли ответственности перед деревом, травой, цветком — как тоже ведь жизнью? Нет: индийский круговорот существования и путь кармы не распространяется на растения, и нет запрета их поедать, и в лозу иль розу никто в ином рождении не воплощается, тогда как в змею, птицу, муху — пожалуйста. Жизнь здесь не есть растение, тогда как русский мыслитель это соединит и напишет «Жизнь Растения» (Тимирязев). В России и в Европе множество преданий, как по смерти влюб-

ленных из их могилы растут два деревца и сплетаются ветвями. А в Индии как — есть ли, часто ли такое?

Потому и боги здесь не растительны — по облику и идее, как Христос = зерно, умирающий и воскресающий бог земледелия-крестьянства: и весь он — ветвь и ствол заросший, и притчи его растительно-земледельческие: о зерне, виноградаре, таланте; и распят на древе, и увековечен как схема дерева: крест — ствол и руки — ветви. А если в Индии и родился Будда, кто получил озарение под мировым древом Бодхи, так не укоренился здесь, а оттеснен в иные космоса: Тибет, Китай, Япония — менее животные. В Индии ж его вытеснили животные боги индуизма, зооморфные по своим обликам и ипостасям: «Другое человек, а нос слонов; третье человек, а виденье обезьянино; в четвертые человек, а образом лютого зверя, являлся им все с хвостом» (с. 18).

III. ФРАНЦУЗСКИЙ ОБРАЗ ИНДИИ

Его элементы находим в трактате Монтескье «О духе законов». Хотя он получал сведения об Индии из вторых-третьих рук, да ведь и сам географ Страбон — так же. А то, что нам важно: чему и как удивляются одни народы в других, — так даже в более прочищенном виде выступает: освобожденным от эмпирии частных восприятий (как вон у Никитина — что попало на глаза, фиксирует; а не попало — может, более важное...).

Так вот, Монтескье в «О духе законов», труде неспешном (плод двадцати лет чтения и размышления), сравнивая обычаи и установления разных народов, много раз обращается к Индии. Французу из Бытия что видно? Где размещается его наблюдательный пункт?

Франция — это прежде всего общественная жизнь, социальное рондо и в нем вращение людей, как частиц в Декартовых вихрях. Кульť быстрого и новенького: новости, новеллы, моды, «свет», политика, перемены, история, эволюция, революция, погоня за счастьем, любовь-тщеславие. *Par-aitre* пуще *être*: «казаться» — важнее, чем «быть». В то же время ум-остроумие, блеск на людях, при дамах — «шерше ля фамм» и «се ля ви»...

Я дал набор плоских общих мест, но для начала и они сработают: помогают понять, что Индия для Франции не просто противоположное, но запредельное нечто: асоциальность ее, «общительность» людей не с себе подобными, но с Бытием, недвижность уклада, отсутствие «я», ненастаивание на нем, нет битвы за жизнь и погони за счастьем, но независтливое приятие своей дхармы-участи — все это трудно понятно Жюльену Сорелю, для коего вся ценность — признание обществом: что-то значить в Социуме и в глазах женщины.

И у Монтескьё — слегка высокомерная и ироническая подача Индии ее законов — в его трактате. Ну да: понятных ему ценностей он там не находит, а собственные ценности Индии: метафизика, самоудовлетворенность, духовное растворение, несжигаемость огнем социальности и истории — ему невдомек. В законы Духа (Вед и шастр) он не вникает, а общественных договоров не находит: законодательство в Индии не юридично, а религиозно.

Какая-то несовместимость тканей — меж Францией и Индией. Зато роден Китай — с его конфуцианским восценением общественного человека, регулировкой его поведения, с развитым законодательством и исторической наукой. Здесь Общество — посредник отношений человека с Небом («Император» = «сын Неба»), как и во Франции («король-солнце»); даже руссоизм (аналог даосизму китайскому), культ «естественного человека» — это вполне социальная утопия и плод развитости городской жизни. Очень почтительно Монтескьё о китайских обычаях пишет и их продумывает.

«Избирательное сродство» существует между Индией и Германией: духовное заглубление, философские ценности, индогерманское языкознание и культурология... Но об этом — позже.

В Книге Четырнадцатой Монтескьё рассуждает «О законах в их отношении к свойствам климата» — как природной СРЕДЫ (важная категория французского Логоса — *milieu*) общественного устройства. Меж ними — прямое перетекание, влияние, *lien, liaison* — связи разного рода (в том числе и «опасные»...), но не стена и пропасть, как для германца, кому тут проблема трансцензуса и гносеологии предстоит. Природное читается французом Монтескьё как прямо духовное

(«климат республиканский»), а общественное проникается как функция естества. Но идеологичность природы и материальность идеи взяты в особом повороте: природа — как климат, духовное — как политика (в социуме) и характер (в человеке-гражданине). «Если справедливо, что характер ума и страсти сердца чрезвычайно различны в различных климатах (то есть строй природы сказывается в психическом складе индивида, Космос — в Психее. — Г.Г.), то законы должны соответствовать и различию этих страстей, и различию этих характеров» (кн. XIV, гл. 1). Эта общая идея — обратна индийской шкале ценностей. Там психика как раз рассматривается как зона случайности, майи и авидьи, как поток дхамм; с нею не считаются, и религиозные законы помогают ей растаять, чтобы атман (джива) индивидуального существа без помех ощущений слился с Брахманом Целого. Здесь же индивидуальная душа и приятность ее жизнечувствия берется как первопостулат (то же и Декартово «я» в *cogito ergo sum*), и законы и мир призваны сообразоваться с ней, ее самочувствием. А оно — чувствительность тела в мире, кожи, сенсуализм, импрессионизм, в симметрии и балансе с чем — рационализм, как взгляд на индивида из социального целого.

Далее Монтескьё выясняет типы чувствительности: она — входной и выходной каналы, шлюз между психикой и природой. «Холодный воздух производит сжатие окончаний внешних волокон нашего тела, отчего напряжение их увеличивается и усиливается приток крови от конечностей к сердцу... Наоборот, теплый воздух ослабляет... Поэтому в холодных климатах люди крепче. ...Чтобы пробудить в москвителе чувствительность, надо с него содрать кожу» (XIV, 2). В этой связи он обдумывает «Противоречия в характере некоторых южных народов»: «Индийцы от природы лишены мужества (страна господства женского начала — теплой влаги. — Г.Г.). Даже европейцы, рожденные в Индии, утрачивают мужество, свойственное европейскому климату» (XIV, 3). Монтескьё полагает: чем более к северу, тем уменьшается (из-за погрубления волокон кожи) страх боли и тяга к чувственным наслаждениям, а отсюда — зависимость от женщины (свой сюжет тут француз разыгрывает: *cherchez la femme*, у кого что болит...), и нарастает мужество. Потому он советует правителям располагать столицы на севере

своих стран: «Тот, кто поместит ее на юге, рискует утратить север; а тот, кто поместит ее на севере, легко сохранит за собою и юг» (XVII, 8). И действительно, так получилось, что столицы многих стран умеренного климата — на севере своих территорий: Москва — Петербург, Берлин, Париж, Рим, Мадрид, Варшава, Каир, Тегеран, Дели, Пекин...

Но что может значить призма КЛИМАТА, избранная французом как основная из многих возможных от природы точек зрения на жизнь людей и законы общества? Важнейшим аспектом здесь выходит ЖАР (тепло) — ХОЛОД как шкала классификации. Не свет (как на Руси) и ма-тьма, не цвет (как «варны» — краски — в Индии), не форма земли (горы, равнины, острова среди воды — как атомы, что у эллинов), не «внутреннее» («Я», Haus), и внешнее («Не-Я», Raum), и Труд как разрешитель противоречия, как у немцев. Климат — это прежде всего надземность: воз-дух, влага, тепло — холод, полнота пространства («страх пустоты» — в космогонии Декарта важнейший импульс).

Стихия огня берется в комплекте климата безглазо: не как свет, но как жар. В самом деле, чтобы полностью ощутить климат, все, что в него входит (воздух, вода, огонь-жар), глаз не нужно, зато нужна кожа, ОСЯЗАНИЕ — первочувство во Франции, и его производные: Вкус (это и эстетическая категория) и Запах (parfums éxotiques Бодлера) — т.е. те чувства и органы, которые нажны: пупырышки и волосочки. А Декарт даже Свет истолковал осязательно: луч — как палка от Солнца до глаза.

Стихия земли тут в отпаде ценностном, что и в живописи их. Если у эллинов — скульптура и архитектура, т.е. рельеф, фигура, форма — принцип земли среди воды, дух пластического Средиземноморья; если у немцев — рисунок, графика, офорт (Дюрер), жесткая грань изделия трудового в помещении мастерской, то французы работают цветовыми пятнами («ташизм» — аква-рель = «водо-пись») и ввели «плен-эр» — письмо на открытом воздухе. Формы расплывчато поданы или змеятся переходами: как в волнах-штрихах Ван Гога. Везде отменена самость земли как формы — и она дается как функция Надземья и через эту призму существует. Но также и Природа берется через призму Общества во французском миропонимании: Космос — вихрь, наподобие социального

рондо, круга и «двора». Если в германстве Город — это стены и Дом (где «Я»), то во Франции город — это площадь, и тут и социальная жизнь, и карнавалы, и казни (в Германии главная площадь — для рынка: Марктплац).

Даже Логос, Слово, которое везде ассоциируется с прозрачным воз-духом, белым светом истины, — французская литература жует на вкус: здесь культура устного, произнесенного в салоне при дамах слова (*mot*, остроумное — как откус мысли на раз, легко усваиваемый), декламация, блеск стиля... (и блеск = расплывчатость луча-света, а не «точность»-пунктуальность, как в германстве).

И вообще понятие «климата», которое мы сейчас имеем: как тепла иль холода, влаги иль суши, поведение атмосферы в связи с ветрами и солнцем, — есть французская трактовка этого понятия, которое было введено эллинами прежде всего в геометрическом плане: *klima* — это УГОЛ склонения солнца в данной местности, т.е. имелись в виду отношения формы земли и ясного солнца-света... Французы же акцент сделали на стихиях-посредниках: воздух и вода, вторичных, по Платону, передатчиках. Они же стали здесь — демиургами, так что, по Декарту: пер-воматерия — это жидкость и свет — жидкость.

И вот, с точки зрения Климата, подходя к Индии, — противоречие, над которым задумывается Монте-скьё в индийцах: «Но как совместить с этим (мягко-стью. — Г.Г.) их жестокость (откуда взял? — Г.Г.), их обычаи и варварские наказания? Мужчины там подвергают себя невероятным мукам, а женщины сами себя сжигают: вот сколько силы при такой слабости». Констатация сформулирована классически по французской логике баланса и по фигуре симметрии; и по ней же выстраивается предлагаемое объяснение: «Природа, которая дала этим людям слабость, делающую их робкими, наделила их вместе с тем столь живым воображением, что все поражает их сверх меры. Та же самая чувствительность органов, которая заставляет их бояться смерти, заставляет их страшиться много более смерти... И та же самая чувствительность, которая заставляет их избегать опасностей, дает им силу презирать эти опасности» (XIV, 3). Та же самая причина, что уводит — и возвращает, как центробежная и центростремительная силы во

вращательном движении социального «рондо» или Декартова «вихря». Автоматическое реле (обратная связь, француз Винер и кибернетика) — парадигма французского Логоса: пружина, весы, равновесие, *équilibre* («равно-свободие»)...

Итак, сюжет Индии Монтескье усматривает в соотношении между чувствительностью (сенсуализм и сексуальность, от кожи танцует: щекотка — наслаждение и боль разнятся лишь силой нажатия, по Декарту) и воображением (а оно уже активное мужское начало: изнутри человека огонь-факел духа: минувшая нательность, связь — *re-ligio* и *liaison* с Бытием; атман-Брахман).

Воображение избавляет от самочувствия. Так йог в сильной медитации вообще исходит из «себя» и летает и весь в Едином. И чем сильнее в человеке представление Высшей Реальности, тем нечувствительнее его нервы к коже, отвязаны, отрезаны как бы от атомов тела, исчезла психика и нервная система, сия ветвистая привязка к множественности раздражений и дурной бесконечности элементов Бытия. И так человек «выходит из потока» — формула «мокши» и буддийского освобождения.

Однако в логике французского миропредставления воображение именно питает самочувствие. Знаменитая Декартова выкладка: «Мыслю — следовательно, существую» — как раз начинается с акта сознания, а это — и ощущение, и воображение, и даже и именно сомнение в своем существовании дает ему окончательное доказательство, что «я существую, раз сомневаюсь в своем существовании». Так из Мышления выводится Бытие; вариант той же формулы: «воображаю — значит, *аз есмь* воображающий»: чувство личности и ее ядро — «я» питается актом воображения, осознает себя как его источник. Потому творчество в европействе — расширение «я» и чувства своей жизненности; и самозабвение — но и нарциссизм.

Иное мне представляется в Индии. Открытость существ индийцев в Бытие, их незакупоренность в себе с помощью жесткой или сжимающейся гусиной кожи (войдем в логику откожно-климатического рассуждения а-ля Франс), которая образует из тела северянина ему дом для души, его «я», — эта открытость не развивает там «я», не конденсирует личность, так что там — при сосредоточении понятия (типа Декартовой

медитации) — вроде нечему внутри страдать, воспринимать боль: наружная накожная боль или наслаждение касаний не собираются в пук-узел «я», центр-Париж государства своего существования, — но так и остаются ощущениями дисперсными, рассеянными, пунктирными.

Потому, с другой стороны, когда буддизм выступает здесь с нравственной проповедью, он не апеллирует к ДУШЕ, ее СПАСТИ, — как это привычно у проповедников в Европе, где душа, как центр и государь тела, собирая в себя центростремительно все телесные ощущения — наслаждения и страсти, за них несет ответственность (грех, совесть; в Индии, полагаю, их нет, этих категорий! Ибо и СОВесть есть со-знание с Бытием — из «я», значит! Тут же — просто ВЕДЫ, но не СО-Веды...) — и душа сгорит с домом тела. Потому усилие нужно тут, чтобы их разъединить, — и стремиться в Европе добиться личного бессмертия, спасения своей души, вызволения своего истинного «Я». Соответственно, предметно мыслится и Высшее — как Существо, Бог.

Буддизм же исходит не из существа, а существования — как потока, в котором факт — боль, страдание («первая благородная истина»). В этой чувствительности к боли — сходство с французским мироощущением, что — откожно. Ну да: их космосы сходны по стихийному составу: тепло и влага, оба — космосы «огне-воды», клубление теплого влаго-воздуха в обоих. Весь буддизм пронизывает боязнь и отталкивание от страдания именно телесного, от него бежит он, — тогда как в христианстве и Европе культ страдания тела: муку принять плотскую, чтобы душу оторвать от тела — и спасти. В Индии — иной путь. В буддизме вообще нет ни души, ни идеи ее личного бессмертия, ни Бога — всех этих домов, особей, закрытостей средь Бытия. Нет, человек пребывает в потоке открытого Бытия средь превращений существ, идущих и сквозь человека... Эту грандиозность мира чувствует не воображением субъективной души изнутри, не развитой способностью РЕпродуктивного воображения — т.е. вторичного, активностью «я» порожденного вхождения в образ мира (этот пучок «я» — «аханкара», ложный принцип единства личности, элемент из майи и авидьи), но как прямое наличие истинной реальности, чей поток и сквозь ме-

ня течет. Это европеец, по себе судя, приписывает индусу «во-ображение»: вхождение из «я» в образ, перенос из «я» вовне — МЕТА-ФОРУ. Нет, для индуса, кому не надо, подобно Сенеке, вены свои открывать, но которые — сосуды и нервы — всегда доверчиво Бытию отверзты, — льется единая мировая жизнь; и идеи «атман» и «Брахман», образы многорукого Шивы или слона Ганеши — это не продукты вольного воображения талантливой личной души, но реальные клубящиеся пары и облака Бытия, пребывающие в нас постоянно и проносящиеся через нас ошеломлениями. И это, конечно, весомее накожной боли вот этого моего существования в форме «меня», одного из бесчисленного множества образований некоей всепроницающей и образовавшей вот сейчас и «меня» — КАРМЫ — как нити судьбы, на которой так называемое «я» — лишь бусинка.

Да, боли панически бежит и француз и буддист. Но француз: от боли — к наслаждению («погоня за счастьем» Гельвеция — Стендаля), а буддист, смотря в корень, в желании наслаждений и находит причину страданий: «дукха» — страсть всяческая и томление. Буддизм — космостроителен и космоборен. Его ДХАРМА-ЧАКРА-ПРАВARTАНА — «проворот колеса д х а р м ы» мироздания. Если тут космос *огне-воды*, то буддист, настраиваясь на нирвану — нибхану — «утасание», гасит в себе и в мире жар — и тем, раз-имая сие двуединство, оказывается, способен одолеть и *воду*: «перейти поток». И на это — колоссальное усилие духа требуется: на воздержание от деяния, на Недеяние. Как же трактует сие французский Логос?

«Индийцы полагают, что покой и небытие составляют основу и конец всего существующего. Таким образом, полное бездействие является для них самым совершенным состоянием и главным предметом их желаний. Они дают верховному существу название неподвижного...

В этих странах, где чрезмерная жара обессиливает и подавляет людей, покой доставляет такое наслаждение, а движение так тягостно, что эта метафизическая система кажется вполне естественной. Будда, законодатель Индии, следовал внушению собственных чувств, рекомендуя людям состояние полной пассивности; но его учение, порожденное созданной климатом ленью

и в свою очередь поощряющее эту лень, причинило неисчислимо зло» (XIV, 5).

Вот французская логика по типу: «все жанры хороши, кроме скучного» (Вольтер). Сначала идет такое отрадное широкое понимание другого народа: как органично для его космоса возникает философский принцип недеяния — и вдруг это же именуется «пороком», и Шарль Луй начинает поучать Гаутаму Будду: что есть добро, а что зло для индуса! И невдомек ему, что для непротивления злу насилием изыскивается высокая энергия духа, а «пассивность» буддийского иль йогического созерцания — плод такой активности воли, которая, остановив поток дхамм¹ в себе, тем самым оказывается способной удерживать преизобильно клубящуюся природу: и так человек вбивает оси и сваи в Бытие, не давая ему самоубийственно закружиться, разгуляться и обрушиться; так что именно трудовая пассивность человека в этом космо-логосе есть добродетель, ибо образует противовес преизобильно-порождающей Жизни.

В самом деле, что было бы, если б в Индии человек принялся активно действовать? Он бы стал вторгаться в природу, раздвигать ее для себя: вырубать-жечь леса-джунгли, уничтожать слонов, обезьян и попугаев, — а с тем вместе и свой корм, и даровые плоды и естественную культуру преизобильной природы. Она кормит индуса многоэтажно: и снизу, с земли, и с воздуха — плодами нависающими, и не только пищей, но и цветами, звуками, красотами. А так, начав действовать по-европейски трудово, человек в лучшем случае смог бы усовершенствовать низовой источник пищи — земледелие, а корм и дары от остальных стихий-фей бы пресек. То есть нашебутил бы, слепо-эгоистически разорил национальный космо-логос, поубивал бы существа и сам бы подрезал источники, смысл и пользу своего существования.

Природа в Индии, дав человеку с материальной стороны почти все необходимое, тем подсказала ему устремить свою энергию и деятельность в сферу духовную: раздвигать воз-дух, а не землю (чем занят европеец в пахоте и в горной индустрии), помогать стихии воз-духа, недостаточной в Индии, — своими мыс-

¹ То же, что и «дхарма»; здесь — в смысле атомов.

лями чистыми, гимнами, словами; подсушивать и слегка охлаждать воздух, прозрачить его, ибо как раз не пищи (земле-воды) и не тепла (огня) недостает в Индии, а именно стихии чистого воздуха (оттого миазмы, мрут...). А у европейца и русского — обратное положение: воздуху хоть отбавляй (спрессованный, преизобильный, ветрами носится), его надо остановить стенами домов и городов: а вот тепла и пищи не хватает — оттого и устремляются усилия людей в огненно-материальную сферу Труда (огне-земли) и индустрии.

Не поняв, что есть добродетель, а что порок в Индии, Монтескьё с большим удовлетворением обратился к Китаю: «Законодатели Китая проявили более здравого смысла: имея в виду не то состояние покоя, к которому некогда придут люди, а ту деятельность, которая им необходима для выполнения житейских обязанностей, они дали своей религии, своей философии и своим законам чисто практическое направление. Чем более физические причины склоняют людей к покою, тем более должны удалять их от него причины моральные» (XIV, 5).

Логика баланса (чем... — тем), симметрии, дополненности — родная французу. Впрочем, и буддизм поперек потоку Природы идет, против колеса Сансары — восставляет духовный вектор дхармы. И недаром откочевал он из Индии в цивилизации Китая и Японии, а также к интеллигентам Европы и Америки в нашем веке. Индуизм же не обособляет индивида от Бытия, и нет в Индии жестко отрешенных друг от друга миров этики и физики, разума практического и теоретического, так что моральное поведение человека чревато физическими последствиями в космосе, и бытие психично, а душа онтологична.

IV. ГЕРМАНСКИЙ ОБРАЗ ИНДИИ

Фундаментальным знакомством и проникновением в индийскую культуру Германия обязана романтической школе. Тогда были заложены основы индоевропейского (или «индогерманского», «индоарийского» — впервые эти термины были введены в научно-культурный обиход) народоведения и языкознания (Вильгельм фон Гумбольдт). Глава романтической школы Фридрих Шлегель явился и автором основополагающего для индийских

штудий в Германии труда «О языке и мудрости индусов» (1808)¹.

В отличие от француза Монтескьё, которого интересуют порядки, обычаи, нравы в быту и общении, в *социальности* людей, германец сразу откидывает чувственно-социальную, бытово-телесную сторону и сосредоточивается на духовном: *мудрость* есть то, чем люди сообщаются не друг с другом, а с Бытием, Истиной, Богом; а *язык* есть то, чем сообщаются люди как души, как духовные существа (в отличие от материально-гражданско-правовых отношений). Значит, если у француза интерес к тому, чем люди соприкасаются внешне: телесными, кожными поверхностями в касании-трении (сексуально-социальном) и вращении, — то для германца эта будто твердь истаивает, отменяется — и остается внутреннее: *Innere*, глубинное. А там — духовность есть всемирный Океан.

Состоит это «восточное своеобразие, — дает общую характеристику индийскому стилю мышления Шлегель, — в высокой смелости и расточительной полноте и великолепии образов вместе с часто с этим связанной склонностью к аллегории. Южный климат (будто полемизирует с французским подходом. — Г.Г.) может рассматриваться только как содействующая, а не как главная причина этого направления фантазии» (213). Интересен последний термин: *Hauptgrund* — буквально: «главное дно» — высший низ, *top bottom*. Он совмещает важнейшие ценностные ориентировки германства: *высь* (*Höhe*) и *глубину* (*Tiefe*).

Из обычаев лишь на один не мог не прореагировать германский земледельческо-горняцкий дух с отвращением: что трупы запрещено предавать земле или «еще более священному — пламени» (тут сведения Шлегеля ошибочны: трупы сжигают — предают Джатаведасу Агни, «знатоку существ», а пепел развеивают над Гангом — то есть причащают к огне-воде — главной субстанции Индии), но дают на растерзание диким зверям.

Показательно, какими струнами реагирует германец: отлучение от земли и от огня воспримется им как Ад. Значит, отсюда, от противного: самые это ему дорогие и внутренне присущие стихии: *огне-земля*. Неда-

¹Ueber die Sprache und Weisheit der Indier. Von Friedrich Schlegel. Heidelberg, 1808. При ссылках на это издание далее указываю лишь страницы.

ром и цвет их — коричневый: средняя из их трехцветного флага: черно-красно-золотое — есть коричневое. И тут -ургия — die Tat — Труд, который есть обжиг земли и создание формы из «Я», которое — огненный дух, Geist, das Selbst, самость, воля.

Труд Шлегеля — у самых истоков европейского научного исследования духовной культуры Индии. Начали его, как это естественно, англичане, у которых и компания — Ост-ИНДская. Но до конца XVIII века английские репортажи об Индии носили практико-этнографический характер бытописания — для торговли. Учиться у индусов уму-разуму не приходило в голову. Но вот после века Разума (Просвещения) и сие забрезжило, и пионерами индологии выступили англичане Уилкинс и Вильям Джонс, на кого первым делом в своей книге ссылается Шлегель. Русский индолог И.П. Минаев в «Очерке важнейших памятников санскритской литературы» пишет: «Одним из первых произведений, переведенных с санскрита на европейские языки, была драма Калидаса «Шакунтала». В 1789 г. вышел английский перевод В. Джонса, а в 1791 г. Г. Форстер переложил «Шакунталу» с английского на немецкий. Выбор, сделанный В. Джонсом, был весьма удачен и немало способствовал возбуждению интереса к изучению древнеиндийской литературы... Гёте отзывался известным четверостишием, в котором он очень характерно оценил красоты древнеиндийского поэтического создания. И. Гердер, Ф. Шлегель, Ф. Шеллинг еще обстоятельнее характеризовали поэтические достоинства «Шакунталы»»¹.

И какая дистанция! В Англии смиренные работяги-переводчики, а здесь духовные вожди нации. И притом не просто читают в переводах и отзываются, но вот Фр. Шлегель идет на выучку к члену Калькуттского общества Александру Гамильтону, изучает санскрит, списки древних текстов, пьет из первоисточника, сам переводит: к его книге приложены метрические переводы отрывков из «Рамаяны», «Законов Ману», «Бхагавадгиты», эпизода «Махабхараты» о Шакунтале. Индийскую мысль он из узкого круга ученых-ориенталистов вводит в самое пекло и кузню немецкой класси-

¹ Цит. по: Избранные труды русских индологов-филологов. — М., 1962. — С. 46.

ческой философии, которая тогда как раз на полпути своего становления была: к 1808 г. закончились Кант и почти Фихте, расцвел Шеллинг и только начал Гегель («Феноменология духа» — 1806). Что труд Ф. Шлегеля не остался дремать в библиотеках, а сразу был восхищен мыслью как первейшая ей пища, — свидетельство тому Шеллинг, который тут же прибрал в свою мысль рассуждения Шлегеля о пантеизме и ссылается на них в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы» — сочинения 1809 г. По этой ссылке я, собственно, и узнал о существовании книги Шлегеля. Так что индийская мысль тем самым сразу встала как слагаемое и фактор одного из высших творений европейской культуры — немецкой классической философии. И Гегель, как показывают его «Лекции по эстетике», «История философии» и «Философия истории», уже обнаруживает большую начитанность в индийских книгах. А скоро затем — Шопенгауэр...

Что касается немецкой литературы, то на ней проходившее в начале века духовное породнение с Индией сказалось меньше — то ли потому, что, в отличие от философии, которая была в разгаре, немецкая классическая литература уже заканчивала свой век, и даже романтическая школа к тому времени уже сделала свое дело и ориентировалась к тому же больше на Элладу (Гёльдерлин) или на национальное германское средневековье; то ли потому, что для влияния на литературу, на текст и слово, нужна именно буква, т.е. чтение в подлиннике или прекрасных переводах, а не дух, которого достаточно для философии.

Таков культурный контекст, в котором создавал свой труд Шлегель. Что же до исторического контекста, то было время национальной скорби: чувство униженности после наполеоновских разгромов требовало духовного подкрепления. Именно из этой потребности вспыхнуло слово: ИНДОГЕРМАНСКИЙ, которого в ином контексте, при ином накале национальной температуры, могло и не произойти, — и были бы мы об Индии без этого понятия, а с другим.

Таким образом, труд Шлегеля — это не столько наука, сколько идеологема, определенное построение индийского мирозерцания из балок и априорных форм германского духа. Тут дан узел идей, направлявших дальнейшие исследования. Предчувствуя, что он открывает новую эру, Шлегель сравнивает нынешнее

вливание индийской культуры в Европу с Ренессансом античности в XIV—XVI веках.

Первая книга труда Шлегеля — «О языке». Главы: 1. Об индийском языке вообще; 2. О родстве корней; 3. О грамматической структуре; 4. О двух главных видах языка по внутреннему строению; 5. О происхождении языков; 6. О различии родственных и некоторых особенных посредствующих языков (Mittelsprachen).

Пока интерес народов к Индии оставался на вещественном уровне: природы, быта, климата (а именно так взирают Страбон, Никитин, даже во многом Монтескьё), — Индия оставалась страной чудес — особенной, отличной, неродной, непохожей. И это естественно: материя материю, тело тело отталкивает — плоть стоит оградой и броней проницанию.

Теперь впервые заговорили о сродстве, похожести: не о диковинах, но о НАШЕМ же, родном, едином — и это поворот радикальнейший. Но произведен он мог быть лишь постольку, поскольку точка зрения перенесена из внешности и вещественности во внутреннее, в глубь (а тут специфический вектор германства, его ценности), в Дух — и тут открылось Всеединое, тогда как Материя — начало различий и множеств. Но для того, чтобы стало возможным такое воззрение на внешние предметы (в частности, на Индию) и понимание сокровенного единства, лежащего в подспуде разнообразия материального мира, — сам инструмент миропонимания, Разум, должен был быть предварительно прочищен и приведен к единству, что и было сделано к тому времени в горниле и чистилище Кантовых «Критик» и в кузне Фихтева «Наукоучения», где выковано единство субъекта-объекта.

И Ф. Шлегель, варившийся именно в этом соку, осуществляет в своей книге проекцию структуры германского Чистого Разума («Я») на индийский материал — это якобы данное извне «Не-Я», которое при ближайшем рассмотрении оказывается тут насквозь продуцированным, произведенным, положенным из «Я». То есть: в познании Индии, в том образе Целого, который здесь обрисован, — абсолютно прочитывается своя оптика: структура глаза, Логоса германского, который в нее вперен и лучами своими столько же малюет внешнюю форму, представление, предмет, — сколько и выводит наружу, опредмечивает то, чем сам жив, из

чего состоит. Таким образом и осуществляет Шлегель познание Индии — как самопознание Германии.

Это прочитывается и на поверхности: в предметах Шлегелева интереса, устремленного к Единому, общему (родство языков — индийских и европейских; близость философского понимания мира, образов Бога; пути миграций народов в истории и т.д.), и во внутренней форме Шлегелевой мысли: какими зацепами-крючьями, ухватами-понятиями (*Be-griff* — «понятие», буквально — «ухват») он индийские горшки улавливает и представляет, какими ходами мысли осуществляет истолкование.

Пожалуйста: уже по представленному выше оглавлению первой книги структура германского Логоса, его строение и категории проступают. 1. Всеобщее. 2. *Родство* (-гония, порождение: Целое мира — как семья, фамилия) корней. То есть подход от Растения как модели (не от Животного, как отчасти элины и романские народы, кочевые и южные многие). И развитие мира предстанет не как животная жизнь из страстей и политических интересов и отталкиваний (как это у француза Монтескьё), но как рост Генеалогического Древа — излюбленная германская парадигма и архетип. 3. Структура — Здание: целое — как конструкция, -ургия, продукт Труда — творения; не естество, а искусство. И именно как Дом, *Haus*: Бытие есть мирозДАНИЕ — постулат германского представления мира. 4. Вводится Двоица — раздвоение Единого, диалектика и антиномии — метод движения германской мысли. 5. Происхождение: взгляд германца устремлен назад, к причине, к началу, к основам, вглубь, в фундамент, вниз и потому маниакально повертывается к древности как к своему родному магнитному полюсу, туда склонение его Логоса (и в науках немцы очень «Истории вопроса» любят). Напротив, взгляд француза автоматически поворачивается в сторону ЦЕЛИ, прогресса и будущего (утопический социализм тут...). 6. Вводится РАЗЛИЧИЕ и ПОСРЕДСТВО: германский Логос не может удовлетвориться на числе 2 (как утолен им француз Декарт: две субстанции: мышление и протяжение; и фигура баланса и симметрии тут), но вводит Третье, Опосредствование, как связь — и вот уже ТРОИЦА, ТРИАДА Гегелева — модель Растения тоже: зерно — стебель — зерно (в колосе). И тем уже можно закон-

чить рассмотрение: Всеединое завершено как Целое, структурированное по-германски.

Однако что ж тогда у меня выходит: что никакие разнообразные «что»: предметы, опыты, мысли — не имеют значения и веса, но все они — функции от структуры, формы, от «как»? Тогда нечему и учиться, ничего знать не следует: имей «правильное мировоззрение», суй его повсюду — и всякие врата этим Сезамом отворятся, сей универсальной отмычкой. Гегель иронизировал над немцами: «Вместо того чтобы писать историю, мы всегда стараемся определить, как следовало бы писать историю»¹. То есть настолько гипнотически переживается определяющая роль метода познания, способа производства понятий по отношению к материалу, что до последнего никак и не доходят.

Но ведь перед нами книга германца об Индии, и неужто материя, жизнь, входя в нас как предмет мысли, безгласна там? Ведь еще платоники недаром полагали, что душа уподобляется предмету созерцания, и чем дольше во что, любя, в духовном Эросе вглядываешься, тем более сам ум твой и дух подлаживаются и приобретают форму и образ созерцаемого. В наблюдении и опытном познании душа и ум — «женщина»: отдается впечатлениям, тогда как в германском идеализме разум — «мужское», активно формирующее начало.

И вот во второй книге труда Ф. Шлегеля, «О философии», проступает, зачем понадобилась индийская мудрость. Задохаться уже начала германская мысль, направляясь, с Канта, сама на себя и дожав уж до последних кишок в субъективизме Фихте, в его «Я», полагаящем всякое «Не-Я». Потому и Шеллинг, и вот Шлегель потянулись туда, где не все знание извлекается из «Я» как абсолютного источника, но где есть ОТКРОВЕНИЕ Бытия, Природы, Бога — словом, чего-то реального: Шеллинг — в натурфилософию, к эллинам, а потом на Восток — к религиям откровения: а Ф. Шлегель от романтического субъективного гениальничанья — к «пантеизму» (как он это именовал) индуизма и в романский католицизм, который есть, в отличие от лично-рассудочной конфессии лютеранства, вера социально-организующая, более объективная и вещная.

¹ Гегель. Соч. — Т. 8. — М.—Л., 1935. — С. 6.

Все разбегаются от своего огненно-гееннского «Я», приотворившего в Канте и Фихте свою абстрактную, ненасытно-империалистическую пасть и утробу (как у Волка Фенрира скандинаво-германской мифологии). Ну да, эта «яйность», Ichheit, есть огонь всепожирающий — и все пустым и голодным остающийся. Потому и потянулись эмиссары и миссионеры германства за необходимой огню их духа (Geist) землей, материей, веществом — в жизненное пространство иных народов. Так что интерес немецких мыслителей рубежа XVIII–XIX веков к Востоку — это тоже своего рода Drang nach Osten за субстанцией, в тоске по реально-устойчивому и самодостоверному, не нуждающемуся для своего подтверждения в доказательствах и хитроумной диалектике.

Открытие на рубеже XVIII–XIX веков и переживание светлейших духовных ценностей античности и Востока меняют всю перспективу исторического развития человечества, и Ф. Шлегель во второй книге прямо начинает с опровержения распространенного и будто бы естественного и самоочевидного воззрения, по которому «человек начал с состояния совершенно животной глупости, но, гонимый нуждою от одного усилия к другому... наконец возвысился и доработался до некоего разума» (89). А ведь такого воззрения придерживался и английский Логос (Гоббс), и французский (Монтескьё, Руссо, Кондорсе): концепция ПРОГРЕССА. Эллинский же ум (Гесиод, Платон) исходил из золотого века позади. Ну а Индия явила такие сверхсокровища духовные, созданные в первое тысячелетие до нашей эры: Веды, Упанишады, буддизм, Махабхарата, — что все последующее жите-бытие Индии к этим сверхценностям не прибавило равного.

Германский Логос в своем воззрении на путь человечества находится в динамической антиномии. С одной стороны, врожденная его устремленность и априорное тяготение к Низу, Основе, Глубине, Корням побуждают его поместить целостность туда и усматривать золотой век позади. С другой же, принцип -Ургии, Свободы воли, Труда, деятельности из «Я», высокое чувство самости (das Selbst), гордыня не допускают быть зависимым от чего-либо, кроме себя самого, и побуждают полагать себя кузнецом своего счастья и видеть высшее впереди... Сей пессимизм-оптимизм и у Гегеля, и у Вагнера, и у Ницше...

Итак, Ф. Шлегель полагает, что человек начинает не со зверства, но с божества, и залог тому — духовные ценности Древнего Востока. Во второй главе второй книги им рассматривается система переселения душ и «эманации», которую Шлегель полагает наиболее сущностно индийским из всех восточных учений. Передает он ее по первой, космологической главе «Законов Ману», которые он считал древнейшим из тогда известных Европе памятников (Вед Шлегель еще не знал). Излагает он ее в постоянной полемике с системой «пантеизма» (под ним в Европе имели в виду философию Спинозы, с ее «фатализмом» и утоплением личности), на которую она лишь внешне похожа. «Тем, кто привык только к диалектической форме сравнительно молодой европейской философии, легко представляется пантеистической большая смелость и фантазия каждой восточной системы. Первоначальное же различие между ними очень существенно, ибо индивидуальность в древнем индийском учении никак не снимается и не отрицается. Также и возврат единичного существа в свое божество только возможен, но не необходим; упорствующее злое остается навечно отделенным и отринутым» (96—97).

Здесь явно подтягивание аморфного индийского воззрения под четкие определения и грани германского Логоса — Haus'a: ведь индивидуальность там не жестка, преходяща и есть скорее отрицательный принцип личности, на что и сам Шлегель спотыкается и толкует в примечании: «Аханкара, яйность (Ichheit) имеет в индийских текстах в большинстве случаев дурной оттенок, как противостремящееся и противостоящее божественному единству и ровности» (276). И не может быть в Индии вечности мук злых, как и блаженства добрых, ибо и пребывание в богах ограничено, и весь мир зыблется: то возникает, то исчезает со всеми своими «твердыми» различиями — в том числе «добра» и «зла». И нет необходимости, которую Шлегель ищет усмотреть, чтобы установить для человека любимую им свободу воли, а значит: нет и зависящего только от «я» выбора меж добром и злом — в вину или в заслугу. В индийском воззрении выбор, верно, есть — на этом буддизм основан (решение избрать восьмеричный путь дхармы), но сам выбор не абсолютно личный: предопределен заслугой или виной предыдущих рождений.

«Пантеизм учит, что все хорошо, ибо все есть лишь единое, и всякая видимость того, что мы называем неправым или дурным, есть лишь пустой обман. Отсюда разрушительное его влияние на жизнь, поскольку... поступки человека должны почитаться безразличными, и вечное различие между добром и злом, между правом и несправедливостью должно целиком сниматься и считаться за ничто. Совсем иное — в системе эманации, где скорее все существующее бытие (Dasein) считается за несчастье и сам мир за испорченный и злой во внутреннейшем своем, так что все есть не что иное, как печальное погружение из совершенного блаженства божественного бытия» (97–98). По этой выдержке видно, сколь односторонняя трактовка Шлегелем индийских воззрений, а главное: абсолютизация различий, по-германски, до противоположностей, антиномий, — чего там нет.

Пантеизм неприемлем германскому Логосу из-за его статичности; здесь же дорого развитие, деятельность, превращения — и за это интимно близка Шлегелю теория метемпсихоза — пуще, чем эллинское статическое многобожие (тоже род «пантеизма»): в «переселении душ» существ есть и их падение от состояния божеств до растения и камня — и поднятие душ, восхождение через собственные усилия, так что здесь есть и необходимость, и свобода.

Эманация (по элину Плотину) есть истечение божества, Света, Единого из себя — и по мере отдаления — потемнение, отяжеление, превращение в тьму, вещество, материю: свет погружается, и мир есть человек, стоящий по пояс в воде. В индийском варианте «эманации» Ф. Шлегель отмечает стадийное затемнение: в учении о четырех веках, о четырех варнах-кастах видит он ступенчатое понижение состояния мира. То же и в учении о трех мирах («лока»): небо, воздух, земля (или: небо, земля, недра), трех «гунах»-качествах («саттва» — свет; «раджас» — страсть, мир блеска и майи; «тамас» — тьма). Везде «закон постоянного ухудшения и постоянной порчи. Всякий охотно допустит, что фантазия едва ли может заполнить противоречие и промежуточное пространство (как между стенами Дома. — Г.Г.) между мыслью о совершенном существе и видом несовершенного внешнего мира более легким и естественным образом, чем через воззрение эманации» (107).

Структура этой мысли: противоречие, антиномия, двоица и необходимость заполнить пространство опосредствованием неким, третьим, которое по содержанию — деятельность, становление (Werden в философии Гегеля). На каждом шагу бессознательно проговариваются эти координаты германца: «Она, — продолжает мысль об эманации Шлегель, — не только КОРЕНЬ древнейшего и наиобщего суеверия, но и стала богатым ИСТОЧНИКОМ поэзии» (107) — «через свою моральную ГЛУБИНУ, через свою положительную ПОЛНОТУ и генетическое РАЗВИТИЕ мирового целого» (114). Как равнозначные координаты-ценности, непрерывно рядом выступают Глубина и Высь: «Все земные существа на дно того Возвышенного будут проглочены» (in den Grund jenes Erhabenen) — так передан мир как сон бесконечного существа в «Законах Ману».

Итак, мы преследуем внутренние образы, которые, безотчетно даже для такого рефлексивного писателя, как Ф. Шлегель, залегают в подспуде его мыслей и определяют их склад и направление. Они, эти слои созерцания, лежат на такой глубине, которая уже недоступна субъективному началу художественной индивидуальности, есть не особенность индивидуального стиля или манеры, но принадлежит национальному «гелю», родовым чертам сознания народа — как космолога.

Эти же черты находим и в известном четверостишии Гёте на «Сакунталу» Калидасы:

Willst du die Blüte des frühen, die Früchte des späteren
Jahres,
Willst du was reizt und entzückt, willst du was sättigt
und nährt,
Willst du den Himmel, die Erde mit einem Namen
begreifen,
Nenn ich, Sakontala, dich, und so ist alles gesagt.

Переведу дословно (хотя есть перевод Тютчева — скорее вариация); так мне важнее:

Если ты хочешь цвет ранних, плод поздних лет,
Хочешь, что прельщает и восхищает, хочешь,
что насыщает и питает,
Хочешь Небо и Землю одним именем схватить,
Назову я, Шакунтала, тебя, — и тем все сказано.

Гёте начинает обращением к Воле: «хочешь», как в «Песне Миньоны: Kennst du das Land — "Знаешь ли

ты землю?...» — т.е. воззванием к действию Воли иль Познания — к двум основным духовным способностям человека, по-германски: вспомним Практический и Теоретический Разумы Канта, «Мир как Воля и Представление» Шопенгауэра, Субъект-Объект у Фихте, Шеллинга и Гегеля, материальное и идеальное у Маркса. Эта парность антиномий, как почти врожденная априорная структура жизни и мысли, отчетлива и в четверостишии Гёте: цвет — плод, ранний — поздний, небо и земля. И задача: как одним именем (во Единое) двоицу привести — типичная проблема германской философии.

В восприятии индийского сюжета Гёте происходит перевод одного Космо-Психо-Логоса на другой. Во-первых, эпико-драматический сюжет о внешне-событийном откликается ВНУТРЕННИМ переживанием лирического стихотворения. Кстати, лирика субъективного переживания, столь распространенная в китайской и японской поэзии, в индийской словесности менее развита, ибо «я» здесь не обособленное, отсоединенное, непричастное, мир имеющее против себя как предмет, но — расплывчатое с Бытием.

Далее, Гёте переводит сюжет животного-телесной Шакунталы, которая в Индии оборачивается в лань, — на растительные координаты земледельческого германства: цвет-плод (вспомним и у Якоба Бёме садовые термины: «горькое», «кислое», «сладкое», «терпкое» — на правах четырех первоэлементов Бытия). Этим тут же еще две сверхидеи вводятся: Вертикаль и Время. Вертикаль подчеркнута, помимо ствольности растения, и парой: небо — земля. В то же время намечено и низовое горизонтальное тяготение: *reizt* — влечет и *entzückt* — восхищает — снизу ввысь. То есть структура пространства как мироЗДАНИЯ, Дома. В индийском же Космосе пространство — это скорее клубление, что (кругловидность) соответствует большей животности Космоса: ширь и горизонталь более подчеркнуты на Небе, наверху, нежели внизу, как в германстве (Дом с готическим шпилем), — и недаром у того же Калидасы поэма «Облако-вестник», где плоскость по небу плывет.

И третьей из мировых координат, после Воли и Растения-Древа, выступает у Гёте — Время: «ранние-поздние лета...». Ну да: Бытие тут в паре с Временем («Бытие и Время» — основной труд Хайдеггера). В

индийском же Космо-Логосе страшно беспечны на-
счет времени и сроков (а как трепетно их считают
во христианстве, в Европе и на Руси: не исполнились
ли сроки и не грядет ли конец света? эсхатологизм),
там же существа пребывают и переносятся на другие
уровни, а не отсекаются стенами уникального рожде-
ния-смерти.

КОСМОС ИСЛАМА

Кентавр: кочевник на земледельце

27.XI.76 г. Итак, начинаю «исламское» свое путешествие. И удачно это выходит у меня, что пускаюсь я в него после американского¹: антиподны Космоса! Абсолютно! Да и точка зрения на этот ареал у меня необычная получится: на этот мир смотрели обычно из Европы, России, с этим сравнивая. А я вдруг, сделав модуляцию-девиацию в «тот свет», «Новый», — оттуда начинаю разглядывать мир среднеазиатский и его реалии и идеалии. Ну, а европейские путешествия у меня уж в загашнике, впечатления от них: раньше уже съездил-описал. Так что набор точек зрения и возможных ракурсов на исламский мир у меня богат. Скуден лишь запас сведений-знаний об реальности этой, мне новой. Но так, впрочем, всегда с тобой бывало и в предыдущих путешествиях: сведения налипали по ходу движения. Да и не в том дело-задача твоя, чтоб их много было, но чтоб промедитировать каждое...

Да и в жизненно-человеческом моем плане, по ритму жизни моей очень к месту будет сейчас это путешествие-медитация над исламским регионом: слишком я задействовал деловито в последние месяцы = -ургийно жил, на потребу социума работал, а не неге умозрения предавался; все утверждаться-пробиваться по-американски норовил: чтоб всяко лыко обязательно в строку: в печать и на пользу, — а теперь позволю себе умозрительный кейф и транс: и расслабление (от презумпции социального самоутверждения), и приятнейший труд мой любимый — умозрения, который есть, конечно, чувственная нега в мышлении — изо всех его видов-то: не сравнить же его по жесткой трудности с чистой логикой иль наукой-научением (хотя в последнем занятии есть кейф любопытства: путешествия в диковинные предметы).

¹ В 1975 и 1976 гг. я писал «Американский образ мира». 23.II.87 г.

Да и недаром — понял сейчас! — к этому жанру прильнул я: «турок» ведь я, — «не казак»: корни-то болгарские с турецкими там небось за века ига-то поперемешались! — так что дам я в этом путешествии ход и самопознанию — тоже приятное и полезное дело: себя любить-расковыривать, что там во мне заложено. Еще Петр Гачев, мой дядя покойный, говорил: «Мюсюлмане сме, нали?»¹ — когда с многоженством² моим столкнулся, да и свое припомнил.

С другой стороны, и иудейские мои корни (моя мать — еврейка. 23.II.87 г.) неподалеку от арабов: семиты и те и те, и арабы себя от Исмаила, сына Авраама от Агари, — производят. Значит, в этом труде моем Исаак будет спознавать своего брата — Измаила; по отцу (небу, верху) одинаковы, разны лишь по утробам матерей (низ, земля разная): Исаак — от старухи Сарры (ведьмы, за древностию лет): зато столь многоумный — еврейский народ; а Исмаил — от молоденькой служанки Агари, с кем в неге страсти возлежал Авраам, — так что склонение в сторону чувственных наслаждений в этом ареале и народе понятно: сам Бог так тут велел. Да и то, что от рабыни произошел этнос этот, предопределило отношение к труду и человеку: труд здесь не больно любим, а наказание: его бы на кого взвалить, обратив уже другого в раба: рабский статус бытия здесь хорошо знают: господство и подчинение. Потому к завоеваниям склонны: чтоб не самим рабами быть, а других во ярем вогнать: это и арабы, и турки, и монголы так поочередно на -ургийные народы Египта, Персии, Европы, России (земледельческие и ремесленные) нападали-покоряли. Но внутри воинства победителей психика вполне рабья: абсолютное подчинение и — безнравственность: вдруг предательство, свержение прежнего владыки, отсутствие братски-вассальной верности (что у европейских рыцарей-баронов, которые исходно равны и свободны, а не рабы). У персов, правда: «Шах-намэ», Рустам — есть рыцарственно-возвышенные отношения, но тут особь статья: индо-арийство, влияние-близость Индии, да и сами духовную религию света — зороастрийцы! — исповедуют. Нет

¹ «Мусульмане мы, не правда ли?» (болг.)

² Последовательным, не параллельным.

там у Бога эпитета: «Господь», — а он исходный для ислама, который значит опять же «покорность».

Бог ислама носит имя: «Господь в день судный»¹. Значит, власть и суд, власть сейчас и суд потом — за то, что сейчас не доведаль господин, — вот с чем живет мусульманин в душе. Недаром халиф («заместитель Божьего посланника» — Виппер, 89) и кадий-судья — важнейшие фигуры социально-«гражданственной» (ибо какая тут гражданская жизнь, в мире рабства, возможна!) жизни ислама.

Раб нерадив. Не принудь господин повелением строгим
К делу его, за работу он сам не возьмется охотой;
Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,
Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет.

Гомер, *Одиссея*, песнь XVII

Таково эллинское и затем западноевропейское и американское воззрение на рабство: оттого его и крепостничество здесь быстро отменили и перешли к вольнонаемной -ургии: труд здесь любят и безработица — главное несчастье: не знают иначе, на что время употребить, а лишь бы все им трудиться. Это в них заквас земледельческого состояния, в котором труд сладок на поле, в лесу и окупается сторицей, где можно каждой личности себя продолжить-зарыть при жизни в землю: через собственность на нее, так что земля выступает продолжением «я», моим alter ego². И недаром, когда люди этого типа переселились на новые земли в Новый Свет, они не поработили индейцев, чтоб те на них работали, но истребили, чтоб работать самим: дорвались до -ургии безграничной и никому ее не отдадут.

Иное в странах ислама: его субъекты — народы-кочевники, а не земледельцы. Трудиться на земле не любят, не привыкли сами: за них трудится-пасется скот, и труд его — в еде, а не в производстве чего. Опора тут и модель-образец — не растение, а животное, так что не земля, а надземие, не вертикаль, но горизонталь-плоскость, по которой снуют, по нагорьям-плоскогорьям срединного пояса Азии, здесь многозначительна.

¹ В и п п е р Р. Ю. История средних веков. — М.: Изд-во МГУ, 1947. — С. 87.

² Другое «я» (лат.).

Как привыкли они верхом на животных существовать, так и оседлывают себе народы-земледельцы, завоевывая их, мирных-травоядных, — и потом существуют, точнее: сосуществуют с ними в качестве второго их этажа: составляя сословие господ-начальников, восседающее верхом на земледельцах-ремесленниках, как ранее на своих конях и овцах. Так что здесь воинские доблести чтутся (они же презираются в американском Космосе -ургии, однородном, а не двухэтажном, каков Космос среднеазиатский). Ну да: кочевники (бедуины, тюрки, монголы-татаро... и проч.) потом, завоевав земледельческий тот или иной народ, трудягу конягу, образуют над ним воинское сословие, армию, чтоб и им повелевать и вовне оборонять: чтобы никто иной не мог этот народ под ним грабить, опричь их, его «защитников» = господ-воинов.

Итак, земледельчество, при котором все люди распластаны по плоскости земли, в нее врубаясь, одноуровнево все бытуя, — приучает к идее-принципу равенства и однородности всех и самостоятельности личности, как древо и растение. Кочевник же не самостоятит, а лежит на коне, зависим, раб коня — того, кем он повелевает; так что психика господина — исходно рабская: покорность и зависимость = «ислам». А психика равнины земледельческой — равенство вертикально на ней расположившихся и трудящихся: никто никому не господин и не раб. Так это в лесу и на поле: хоть ты сосна, а я травка; но мы все одну матку сосем: мать-сыру землю, прямое отношение к ее любви и подаянию имеем; и чувство собственного достоинства оттого у каждого здесь есть: оно снизу питается.

Не то у кочевника: в нем исходно чувство зависимости — от скотины своей хотя бы, и нужно обязательно «быть на коне» = господином, верховым: отделенным от земли, но... — приближенным, значит, к небу! Оттого тут науки астрономические развились: к небосводу, а не к земле чувствует тут большую близость человек.

Но и сходство есть у Космоса ислама с американским: переселенчество, кочевье. Ведь и американцы = пришельцы на земле «своей», завоеванной. Но они себе ее завоевали для труда самим, а эти — для вечного себе кейфа, блаженства ничегонеделанья, для чувственной неги, телесной или духовной: ибо поэзия и науки там созерцательные-небесные — это нега духа, а

не мученичество искания Абсолюта, как это в науке Запада, где «для звуков» иль для стяжания истины «высокая страсть» побуждает «жизни не щадить».

Здесь разработана культура блаженства, которой не знает Запад, трудящийся вечно, где даже богат не блаженствует, но озабочен, тревожен еще более себе натрудить потенциалу на предпринимательство обширнейшее. «Жадность фраера губит» — как точно эта блатная поговорка западный принцип уличает: ведь тут недаром «Фраер», то есть «фрай» = «свободный» + «херр» = «господин» — принцип западного человека: быть сам себе господин, «фон барон» (Freiheit — барон, по-немецки). В исламе человек господин не себе, но обязательно другому, хоть одному: хотя бы жене и домочадцам; для того здесь женщина принципиально унижена: чтобы самому последнему мужчине = «человеку» еще было бы над кем восседать-величаться. В земледельческих же космосах женщина — мать как представительница Великой Матери(и)-Земли = богиня, повелительница, Богородица. Недаром нет этой религиозной идеи в исламе: «Богорождения» и Богоматери(и), как это в христианстве = крестьянстве — земледельческой религии умирающего и воскресающего Бога = зерна.

Так что и вот еще сходство с американизмом: неуважение к -гонии¹ = рождению, женщине-Матери. Но если в американстве -гония принесена в жертву -ургии, то здесь — что же? Как «что»? А как раз принцип повелевания, -кратия-властвование, по-гречески, (все)держание (откуда тут: самодержцы-цари-султаны-салтаны). Не труд, но *власть* — источник богатства, которое выпадает как бы с неба по уделу Аллаха. Тут жми — и выжметя: как сок из граната — фрукта богатой плодородящей природы земледельцев окрестных; и из граната будет драгоценный камень — рубин иль еще что... Да: они тут сочетаются: *плоды* и *камни драгоценные*, как и кочевые жители бесплодных плоскогорий — с роскошнейшими долинами рек и оазисов, где все растет избыточно. Преизобильна дарами природа тут: Индия (долины Ганга и Инда), Китай (для монголов): долины Янцзы и Хуанхэ; Месопотамия: долины меж Тигром и Евфратом, где Эдем помещали;

¹-Гония — от греч. gone — рождение; -ургия — от греч. ourgos, суффикса деятеля, означает — сотворение, труд.
23.II.87 г.

долины Дуная, куда болгары и гунны-венгры — тоже кочевники первоначально, из Средней Азии нахлынувшие; долины Нила, Египет — первая добыча арабов-бедуинов и т.д.

Так что добыли мы в этом рассуждении-пробеге важный принцип космообразования здесь: Космос ислама не есть космос только плоскогорий и бесплодных пустынь-степей Средней Азии, откуда периодическими извержениями скатывались лавы народов кочевых (арабы-бедуины, турки, монголо-татары), но в равной степени и преизобильнейших плодородием естественным и земледельческим долин-равнин по великим рекам, скатывавшимся с этих гор-плоскогорий еще до кочевых народов — как бы их предвестниками-«предтечами» — буквально: ведь реки текут... Так что будущие народы-кочевники-повелители как бы забросили поперек себя с гор своих реки великие — как бразды-вожжи для повелевания покорно осевшими там, стекшимися народами.

У земледельческих народов по этим великим рекам еще до ислама сложились великие цивилизации: Египет, Вавилон, Индия, Китай. Основообразовалищем их космосов были реки. И у кочевых племен, по горам-плоскогориям блуждавшим, были свои космосы и верования (они у тюрков и степняков: казахов, половцев — «культура Поля», как ее Олжас Сулейменов называет, прослежена быть может): они идолов своих свозили в Кааба в Мекке, например, — и их потом, числом в 300, Магомет все выселил. Но специфика Космоса ислама — в том, что только совместная встреча — симбиоз и биоценоз — кочевников с плоскогорий и земледельцев с плодороднейших долин великих рек и образует природную платформу для Космоса ислама; только при этой взаимной друг на друга ориентированности: кочевников и земледельцев — мир ислама образуем, субстанцию свою имеет. Ибо по отдельности у каждого народа-страны — свой Космос есть и описан быть может. Шутка ли: персы, зороастрийцы иль Египет — с такой культурной традицией — великие цивилизации прежние и самости культурные — вошли в ислам! Ясно, что каждая будет преобразовывать Космос ислама и гнуть в свою сторону, в своем поле изгибать; но все равно: пока есть взаимное друг друга удержание-объятие нагорий и долин (выразившееся в общей государственности из кочевников бывших и земледельцев) вок-

руг пояса плоскогорий, — до тех пор есть и описуем Космос ислама: это есть природно-культурное образование над народами-странами — тоже некая верховность и кентавризм кочевников верхом на земледельцах. «Имя арабов сделалось названием не племени, а веры и культуры»¹ — т.е. «надстроечно» на космосах народов-стран, влившихся в ислам.

О, это фундаментальное соображение: обретена субстанция Космоса ислама! Она не горна, она не долинно-земледельческа, но совместна, — так что не могу я, например, утверждать, что тут нет модели мирового древа и растения (которые типичны для народов-земледельцев), но модель животного преобладает — как я ранее собирался полагать, — но придется все время эту совместность иметь в виду. И в Коране не даром рай видится как сады, **внизу** которых реки струятся: это образ плоскогорий, окаймленных долинами рек.

ГЕНИЙ НАСЛАЖДЕНИЯ

29.XI.76 г. Итак, ислам — кентавр всячески: человек — на коне, кочевник — на земледельце, мужчина — на женщине, господин — на рабе. Нет прямого отношения к земле. Приближен к небу мусульманин. Небо же — чистая книга с письменами звезд ясными: там скрижали, Коран предвечный, несотворенный. Оттуда и Судьба спускается как удел. Астрология, гороскопы, звездочеты, фатализм — это все от ясного неба: в мутных небесах Европы Предопределения на небе не прочтешь. А где ж его тогда искать? В сердце, в «я», в личности, и характере, и воле: чего хочешь — то и есть твоя судьба.

Вообще *фатализм* — идея тропиков и субтропиков, средиземноморства: Испания, где католицизм с мавританством стакнулся; Рим-Италия, Франция с ее дуализмом Предопределения и Свободы воли; Эллада — с роком, Ананке... Это все космосы с ясным небом, где волю высшую читать можно. А севернее, в германославянских странах, Предопределения не знают с неба, но лишь снизу, из Матери-Земли, как у древа-растения; и прорастание «я» и натуры человека и есть не пред-

¹ В и п е р Р.Ю. Цит. соч.. — С. 103.

а самоопределение: всяк своего счастья кузнец: -ургийно, по-мастеровому, удел изготавливается. И именно Мать-Земля снизу наводит-направляет: как растение — расти, так и человека-сына = свое щупальце на Небо, — Эдипово свергнуть Отца. Да: воля и характер в человеке — это дар низа, близкодействия Антеева, способность противиться отцовым письмам Неба, которые к тому же и не видны, скрыты, тайны. Другое дело — в Космосе ислама, где небо вечно ясно и все про себя там прочитать можно — сумей только! Оттого и наука и мысль здесь не к низу прикованы (к технике -ургии, как в Европе: на ощупь-опытно познавать продвигаться декартово шаг за шагом в невидали бытия) — но умозренны они, возвышенно-небесны, а не прагматичны.

Итак, небо распростерто над нами как книга вечного суда, и Аллах = Господь в День Судный. Бог — прежде всего Судия: грозный иль милостивый — это вторично. В христианстве же Он еще и Отец: этого атрибута Аллах не имеет. Его атрибуты: Господь, Судия, Творец: Он все сотворил — и нам ничего не оставил добавлять к бытию. А ведь это: призванность к сотворчеству с Богом — важнейшее в самоощущении западного человека, чем и оправдывается его бурно-ургийная деятельность в мире. Бог христианства, будучи еще и Отцом, уменьшен в качестве Творца и оставляет-предоставляет творчество Сыну = человечеству, роду людскому, который свободнее в своих путях; раз сам Бог так унижен и очеловечен: отцом стал, до -гонии опустил материнской, — то в этом и Сын его в принципе превзойти может, ибо тоже отцом в свой черед ему становиться и, значит, в этом деле — отца эдипово свергать...

Бог ислама более сух и жесток: не родитель Он.

Но продолжим важную рефлекссию из ислама на западного человека. В исламе у человека нет «я» и личности, и свободы воли, и тенденции пробиваться сквозь жизнь, самому строить свою судьбу. «Ведь уделы распространены на всех, и каждому достанется то, что назначено ему. Ты не терзайся особенно из-за удела, он от стараний не умножится. Ведь сказано: живи усердием, а не усилиями»¹. А ведь усилие, Сила —

¹ Кабус-намэ. — М., 1958. — С. 62–63.

важнейшее понятие западной цивилизации: и в механике Ньютона она все к уравнениям сил приводит. Сила, стремление, деятельный индивидуализм, самореализация, зависящая от меня...

Но это все — *воля*, одна составная «Я». Вторая же — *личность*; она, по-русски-то, — светова («лик» — лицо — верхне-небесны они). Лик = раскрытость и обращенность: к переду и к небу. Воля же — темна, душа — потемки, низова, скрыта, как чрево материнское Земли недр. Личность в исламе на всех одна: Аллах и Мухаммад = пророк-Слово-речь-язык Его. Аллах = небо, Мухаммад = Коран, перевод языка неба на человеческий. Это и нельзя назвать «откровением», ибо небо тут открытая вечно книга; то туманным Космосам Европы Слово Божье представляется «откровением» («религия откровения» — термины и Шеллинга и Гегеля).

Итак, воля — материнска, личность — небесна, отцовска. Но в западноевропейских языках личность — «персона»: от *per se* (лат.) — через себя, посредством себя, т.е. нутряна-недряна она, а не раскрыто-небесна, — так что и «личность» здесь тоже материнска, как и «воля». Все это — от маловидности небес-светил и от многоглазости всяческой Земли в среднем космосе Европы, где земля рыхла и шумом лесов разговорчива с человеком, и реками-озерами, морями-океанами... В Космосе же ислама земля — твердыня камня, тупа и молчалива: ни лесов, ни вод; даже плодородие долин по великим рекам — не Земли рождение, но с гор, с Неба стекает, как и ливни зимние, что плодородят центральные плато и пустыни.

Так это видится кочевникам. Но не так — жителям речных цивилизаций (Египет, Вавилон, Хорезм): тут культ Великой Матери(и) — Кибелы, Астарты, Изиды и т.п. Арабские же завоевания молниеносно пронесли над ними всеми и соединили их = покрыли шатром одним: дали им всем одно небо (развернули его, как штандарт), усилили его значимость — за счет умаления Матери-Земли. И тут кентавр: Небо верхом на Земле. Естественно (именно!), что человек здесь себя более верховным, небесным чувствует, нежели сыном земли, праха, — и очевиднее ему его последующая загробная жизнь в горнем мире; тем более что тут и зарывать-хоронить некуда — в каменную-то землю: отвергает она от себя существа — тоже вверх. Недаром тут трупы — на расклевывание птицам оставляют (в Иране, в

Тибете): в небо его опять же прибирают тем. Или пеплом над рекой (Гангом) развеивают.

И в этом: в неземности, надземности — сходство цивилизации ислама с американской: та тоже надвинулась-опустилась на новые себе земли и растет как бы сверху, не чуя с Землей сопричастия и ее — Матерью-Природиною. Горизонтально подвижны люди и там и сям: арабы — на лошадях, американцы — на автомашинах. Вертикально не вырастают и понятию «корней» чужды. Но американцы чувствуют себя сотворцами Бога-неба на земле, исполняются сверху электрической энергией на -ургию-индустрию. Небесность же человека ислама — в том, что он так же почивает на земле, как и небо — вечно ясное и покойное, чистое, не взволнованное: кейфует, как и Аллах. Вот: если для германца и англосакса его уподобление Богу своему выражается в усилии деятельности, то здесь покой и чувственное наслаждение наличным бытием и есть форма богоповедения. Потому именно здесь обитают гении наслаждения, в котором они столь же изобретательны, как американцы — в труде и технике. Устремления — противоположны; и американцы — совершенные варвары, бездарные, с точки зрения человека ислама: ибо не знают божественного ничегонеделанья, но торопятся заполнить, занять время («бизнес» = «занятие») кишением усилий ураганно-земных, затемняющих истину-негу покоя неба, чему должен уподобляться человек.

Индустрия, промышленность, Промысел, что изнутри ведет человека чрез предприимчивость его, опекает его рядом с ним, как нянька иль родитель, — чуждо это исламу: Аллах — не нянька, и нет у него промысла о каждом, но ясный ему удел, что есть внешняя, а не внутренняя участь, и пишется письменами пространства на небе, а не письменами времени в душе-характере индивида. Да и небо для европейца читается как Время и соотносится со стуком сердца; тут же Время неважно, оно застыло в Пространстве — как Вечность. Время — пространственно тут, есть (пред)вечность.

Потому не торопятся тут и не считают, что деньги = это время: не произведут тут такого уравниения. Время совершенно не ценится: всякая скорость изготовления — разве что в сказках, когда джинн за ночь выстраивает дворец иль про ковер-самолет... А в труде тут или лень, или искусство филигранное, со временем не

считающиеся: дамасская сталь и резное оружие, персидские ковры и т.п.

Ну да: американцы опускаются на землю, которая для них *tabula rasa*¹, пуста, есть платформа и ожидание их цивилизующей деятельности. Эти же, арабы, нашествуют-опускаются на все готовое, на цветущие до и без них цивилизации — с тем чтобы их всесвязывать сверху и по горизонтали: торговля, как и война, — основное занятие араба: тоже ведь виды кочевья. Их призвание — не усиливать производительность, и так тут избыточную, природы-земли, но умерять-расхищать-опустошать-очищать, — чтоб возможность новых рождений и плодородий тут осуществляться могла все время и затем. Потому и права им, кочевникам, от бытия были даны на истребительную жестокость и разорение цветущих культур-стран.

...Так что чувственное наслаждение тут есть не низменное, а именно горнее дело, небесное; и недаром мусульманский рай исполнен чувственной неги и сладострастия: кейф, игры, развлечения, сказки-загадки — изобретательность в наслаждении бытием, вкушении бытия, в разнообразии блаженств, — а не потреблений и услуг, что сопряжено с трудом-производством. Блаженство же — с ленью и негой неба на земле.

...А пока и мы закейфуем! Что изнурять себя по-американски, осмысляя Космос неги? Вот весть неприятная настигла меня по телефону (= взломщику в доме) — но ее отвергнем и запьем омар-хайямовым вином. А потом расслабляться будем: сказки восточные читать станем...

ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ

30.XI.76 г. Ну, продолжим нашу дедукцию Космоса ислама. Правда, сам метод выведения и последовательного развития мысли из единого зерна-принципа — растителен и -ургиен, присущ германству и в этом Космосе должен быть противопоставлен. Или образ *реки* тут подходит, что из родника зачинается, а потом набухает, разворачивается, распространяется... Но река ведь есть древо, плашмя распростертое: та же структура. Но ни

¹ Чистый лист (лат.).

река, ни древо не есть модель природная для бытия и мышления в Космосе ислама: они боковинны тут, обочинны, ибо именно окаймляют его великие реки; но в сердце в нем — камень, так что Космос ислама — это камень в оправе, агат-камея, что так любили коллекционировать французские и английские эстеты. И именно французский жанр «отрывочных мыслей», когда нанизываются гирлянды афоризмов, *mots*¹ и максим, как ожерелье, — сродни тутошнему методу мышления, а не эллински-германская диалектика. Недаром и из античной философии клонули здесь на сборную солянку Аристотеля, с его набором отрывочно-диких сведений и понятий, сию кунсткамеру и «диван» философии, — а не на стройно-симфоническое развитие мысли Платона. Да и Аристотель недаром с Александром — Искендером восточных легенд связан: как тот внял-обнял Восток с его множественностью стран и чудес, так и философ Александра завален оказался множественностью идей = вещей.

Однако именно по канве неприсущего здесь способа мышления и развития мысли — и проступит лучше собственный узор-арабески здешнего Космо-Психо-Логоса.

Вот Космос ислама, природное ему задание, лицо земли, какое она приняла здесь: «Во всю ширину, от Великого океана до Атлантического, протянулась, с некоторыми только перерывами, длинная полоса песчаных и каменистых пустынь, где нет дождей, а есть только редкие ливни...»², тоже ведь притча природная: *дождь* и *ливень*. Мы, среднеевропейские, знаем поэзию дождей: от гроз — до морозящего мелкого дождика, что думу наводит, в тоску-скуку вгоняет, — все эти смутные-смурные чувствования и мысли, следа которых не заметил я доселе в исламской культуре. Ну да: то — явление Психо-Логоса в Космосе, преизобильном посредничающими стихиями: водой и воздухом, что размывают определенности четких мыслей и чувств, как и очертания предметов и силуэты их. А тут-то — Космос рельефности: все высечено и гравировано по камню: что тебе лица людей здесь, что мысли их и «бейты» (двустихия) поэзии. Из Космоса изгнаны стихии-по-

¹ Mot — изречение, слово (франц.).

² В и п п е р Р. Ю. Цит. соч. — С. 80.

средники: *вода* и *воз-дух*, — но образуем он четкостью Двоицы: Небо, с его четкостью письмен-звезд по сини ночного покрывала, и Земля-камень, с сумбуrom гор и песков, лишенных логосного смысла. И это тоже важно: если для собственно тюркской, кочевой культуры горы — многосказуемы, божества (для киргизов, казахов, памирцев и т.п.), то для арабов-бедуинов, жителей равнинных плоскогорий, пики гор — не божества, не знают они их; и вообще земля, ее виды и варианты, — малосмысленны. А весь Логос обитает на небе. А сколько себе моделей-образов-парадигм обрел европейский дух из земли, ее обоготворяя, как Мать, хля-лаская ее формы! Еще для индусов, для зороастрийцев-иранцев горы смыслообразующи...

Но вернемся к ливню и дождю. *Дождик* — свой — родимый, любимый, детский, родненький: о нем прибауточки: «Дождик, дождик, перестань...» Дождик нам подлинно — свой брат: Не то — ливень: он есть сверхчеловеческое явление, насыл-наваждение — то ли Божьей силы дар, то ли драконо-демонской. Он — из чуд¹ природы, а не из ее, по человеку, свойскостей. Да и вообще тут Космос чудес = безмерностей: то смертельное бесплодие пустынь выжженных, то сумасшедше-взбесившееся плодородие лессовых почв по великим рекам. И птицы тут диковинные (симург, феникс, попугай), и звери-животные, и деревья (и наш Пушкин на анчар здешний позарился диковинный). Вот тебе и предметы для духа и размышлений: *чудеса*, а не норма вещей и мера человека, — чем занят средневропейский дух: познание самого себя и что нужно человеку, мне. Это же не составляет Заботы в Космосе ислама, где самому человеку неча ерепениться: все уделы распределены Аллахом; и не изготавливать вещи и жизни — не на это устремлять дух-ум, а на созерцание готовенького — то ли даром Бога, то ли трудом земледельцев повоеванных. Так что исламские мыслители — либо о Едином вечном, либо о чудесах-диковинках промышляют, но не о мере человека, его личности, и не о мере вещей. Протагорова формула, съединяющая обе эти идеи в один узел: «человек есть мера всех вещей», — там невозможна. Все тут без человеческой меры. И техника здесь направлена не на

¹ Не «чудес» — неологизм образуем: как «при-чуд».

изучение устройства вещей для их изготовления, но на небо: тут техника астрономии развилась, счисление судеб-предначертаний человеку, — то, что извне определяет его жизнь; но не характер его и психика тут в предмете интереса. И в литературе — случаи разные сказываются, а даже не происшествия с человеком: случай с неба сваливается, как ливень, а происшествие все-таки исходит, из некоторой нутри **вытекает**, т.е. предполагает внутренний смысл, изнутри присущий, в событиях, а не извне распределенный, выгравированный судьбами по камням людей и вещей.

Но продолжим вникать в скрижали Земли в здешнем Космосе. Значит, каменистые и песчаные пустыни, где нет дождей, но ливни редкие. «На одном конце этой полосы Гоби, на другом Сахара, между ними пустыни Средней Азии, Ирана и Аравии, прерываемые узкими морскими заливами, речными долинами и оазисами. Среди пустынь и вдоль них **каймой** расположены травянистые степи»¹. Этот космос, выходит, так же препоясывает Евразию, как космос США препоясывает Новый Свет, Северную Америку: тоже от океана до океана. И в этом они тоже созвучны и взаимопонятливы должны быть. Но и рознь огромная. Исламцы не нюхали предельных океанов, они для них именно за-предельны, трансцендентны, их Психея — резкоконтинентальна, тогда как американцы, пересекшие Атлантику на ладье Харона, отныне носят Небогеан² англо-американский в Психее своей: они на континенте с психикой мореходов («Моби Дик»!) обитают, тогда как арабский Синдбад-мореход на море выехал с психикой драгоценного камня, дрожит за сокровища, ужасается...

Итак, ислам — это **к о с м о с д р а г о ц е н н о г о к а м н я**: он тут в Психее, им мыслят, к нему приводят все реалии: поэты — всяческую красоту, любовь; ученые — все сути: «Минералогия» Бируни не есть просто описание камней, но и стихи тут, и философемы — книга о Целом Бытия. И «не счастье алмазов в каменных пещерах» — это не Космос Индии: там не пещеры, а горы (Меру) и долины, леса-джунгли значимы, — но именно про Космос ислама. В сказках

¹ В и п е р Р. Ю. цит. соч. — С. 80.

² Небогеан — мой термин-неологизм для Космоса Англии: тут и Небо, и Океан, и Бог, и Не-Бог... 23.II.87 г.

арабских и турецких все время пещеры с драгоценными камнями, да и сами пещеры — «каменны» — точный это в опере эпитет. «Али-Баба и сорок разбойников», «Волшебная лампа Аладдина» — везде тут камнем, подчиняющимся волшебному слову: «Сезам» или «Чангачунга» в турецкой сказке (и, значит, камень тут логосен: понимает речь человеческую, как в иных космосах деревья, кони и птицы), — завалены пещеры сокровищами-смыслами...

Если Платонова пещера (в «Государстве» ее миф) имеет свет вне себя и сама по себе есть тьма, *матьма*¹, утроба женски-материнская, бессветная, — то здесь свет свой: от камней драгоценных-солнечных превращенно, ибо в них мириадами лет спрессовывания свет открытого пространства похищен, и сокровен, и обращен волшебю в камень — как и люди тут в волшебных сказках. Вот в турецкой сказке «Дильрукеш» старшая женщина-дэв так растолковывает сыну падишаха: «На этот раз, сынок, когда ты войдешь в пещеру — перед тобой пойдет ровная дорога. Ты, не глядя по сторонам, во мраке пойдешь по той дороге. Будешь идти долго-долго и выйдешь на свет к кипарисовой роще (свет в пещере свой, подземельный. — Г.Г.). За этой рощей — кладбище, там — те, что приходили туда, чтобы добыть Дильрукеш: все они от макушки до ногтя превратились в камень. Не глядя на них, иди вперед...»² И на захоронениях тут камень ставят, а не древесный крест: не по дереву-растению, но по камню моделирует себе тут человек и вечное бытие. И в языческой религии бедуинов Аравии: «Основной чертой религии в Хиджасе и Недже представляется культ бетилов (семитское: «бейт-эл» — «жилище бога». Ср. Бытие 28, 18–19; Левит 26, 1; Числа 33, 52) — стоямя поставленных камней (по-арабски «нусуб»), подобных менгирам (= продолговатые неотесанные камни, поставленные вертикально = моделирующие человека. — Г.Г.). Последователи этого культа бетилов периодически устраивали процессии — вероятно, весной и осенью, — обходили вокруг бетила, прикасаясь к нему, чтобы получить часть той силы, которая была заключена в нем. Два таких камня сохранились до сих пор в священной

¹ Тоже мой термин-неологизм; МА + Ть = Ть + МА. 23.II.87 г.

² Турецкие народные сказки. — М.: ГИХЛ, 1959. — С. 112.

ограде мекканского храма: «черный камень» и «макам Ибрагим»... Были бети́лы, стоявшие постоянно на определенных местах, и передвижные (= тоже камни-кочевники — Г.Г.). В последнем случае они сопутствовали племени и в сражении играли роль палладия; над ними воздвигали балдахин и перевозили их на верблюде, считавшемся... священным; вокруг этого балдахина прорицатели и в особенности пифии, сестры еврейских предсказательниц, били в барабаны и выкрикивали заклятья в форме «садж» — рифмованные фразы с размеренными ритмами, с резкими, стремительными ассонансами; поток сплетающихся в запутанный узор заклинаний»¹.

Тут съединились основные священства по-арабски: камень, верблюд, «садж» — стих-заклинание, каким и Коран написан, и поэзия тутошняя. Но это позднее разберем. А пока и на то обратим внимание, что в Мекке Кааба — святилище — вокруг и на основе черного камня кубической формы. И если сначала Мухаммед выступил против камней-бетилов как идолов и выкинул их 300 из Каабы, — то затем принял камень в культ; и если сначала он ориентировал молитву на север, в сторону Иерусалимского храма, то затем все мечети стали ориентировать по «кыбле»: в сторону черного камня Мекки. Таким образом, не по странам света, не открыто-пространственно, где стихия воздуха царит, — но по камню = сердцу исламского Космоса ориентируют здесь свой дух люди. И значительно, что именно **черный** камень выступает на правах «священного» тела Бога. Это опять нощность Аллаха проявляет. «Надписи, встречающиеся в Южной Аравии, показывают, что поклонение луне, мужского божеству, одержало верх над поклонением солнцу, женскому божеству»². Сие — дивно: луна обычно, как и ночь, и серебро — цвет луны, ассоциируется с женским началом (хотя немецкое: *der Mond* и *die Sonne* — промедитировать это надо в отношении германского Космоса...). А тут не круглая луна-лик, но серп-кинжал-ятаган-сабля — вот что, наверное, принимается за собственную форму ночного светила. Недаром на мечетях не

¹ М а с с э А. Ислам. — М.: Изд-во восточной литературы, 1963. — С. 19–20.

² Там же. — С. 18.

круг луны, но серп месяца обозначается; и русские свою победу над татарами и турками обозначили по-панием крестом не круга луны, но серпа-ладьи; и в песнях болгарского национально-освободительного движения против турецкого ига идут на «полумесяц оттоманский»... О, на слово «оттоманка» тут же напоролся: это же поприще неги и сладострастия — и обозначено оно в Европе ориентальским заимствованием: из быта ислама; даже французы, эти верховные чувственники Запада, — склоняются в деле божественной культуры наслаждения перед мусульманством: оттоманка послаще еще кушетки (от *coucher* — лежать) будет.

Итак, Бог здесь — не (воз)дух, но черный камень драгоценный. Поразил меня образ, каким в «Кабус-намэ» поясняется непознаваемость всевышнего Творца и познаваемость остальных предметов мира: «Познаваемое словно выгравированное, а познающий — как гравер, и, если на данном материале нельзя себе представить гравировки, никакой гравер не станет на нем гравировать. Разве ты не видишь, что, так как воск легче принимает рисунок, чем камень, из воска делают печати, а из камня не делают. Следовательно, все познанное доступно познанию, а творец недоступен»¹. Здесь прямое отождествление Бога — с камнем, по которому резьба-гравировка познания невозможна. Кстати, и в отношении дела познания характерно это сравнение: оно уподоблено ювелирно-граверному ремеслу, филигранному, с драгоценными материалами-камнями дело имеющему, — а не там *дыханию* иль *зрению*, *освещению* и т.п., с чем познание сравнивается в эллинско-европейской и индийской традиции.

Теперь мне понятнее становится, почему в недалеком отсюда иудействе небо обозначено как «твердь», — что всегда удивляло меня. Но в «Книге о верных и неверных женах» Инаятуллаха Канбу постоянен такой образ ночи: красавица черными косами своими оплетает «башню неба»...

1.XII.76 г. Декабрь: снег, сырь, оттепель — а тебе сладко про зной аравийский медитировать. Летом же, напротив, в какую-нибудь Скандинавию совершив духовное путешествие...

¹ Кабус-намэ. — С. 49.

Итак, «не счесть жемчужин в море полуденном...». Исламский поэт действительно ныряет в себя и извлекает, как ловец жемчуга раковины, — рубины сравнений и нанизывает их в гирлянды и ожерелья вокруг предметов своих. Вот свидание Лейлы с Меджнун из поэмы Низами:

Не Лейла — зари блеснули лучи.
Меджнун? Не Меджнун, а пламя свечи.
Не Лейла, а роза Голестана.
Нет, не Меджнун — раскрытая рана.
Поднявшись, Лейла стала звездой.
Поднявшись, Меджнун стал тростью прямой.
С губ Лейлы — цветы, дождь ароматный.
Как град, с губ Меджнуна жемчуг скатный...¹

Перевод А. Глобы

И в турецкой сказке «Дильрукеш», аналогичной пушкинской «Сказке о царе Салтане», младшая сестра обещает: «А вот если бы падишах взял меня за себя, я бы родила ему двоих детей: мальчика и девочку. (Тут Двоица — число основное. И священные камни «бетилы часто встречаются парами». — М а с с э, с. 19. — Г.Г.) Когда бы девочка смеялась, распускались розы, когда плакала — сыпался жемчуг». («Турецкие сказки», с. 103).

Если для европейской поэзии характерны, еще с Гомера, развернутые сравнения, где одно уподобление разрастается в целую картину, то для поэзии арабо-персидской типичны «свернутые сравнения», где потенциальная картина сворачивается до номинала своего, до зерна образа, — как в вышеприведенном отрывке из поэмы Низами. Гомеровское сравнение — как дерево из зерна, восточное — как дерево, сжимающееся в камень, в уголь: из растения — в минерал, чем и славен Космос горно-пустынный: не надземием своим, где пустошь, но подземием, куда окаменилась некогдашняя жизнь цветущая. И восточный поэт, как четки, перебирает жемчужины сравнений, сыпля их горошинами. Не на развитие образа направлена его поэтическая мысль, но на нахождение нового образа — звена в цепь.

¹Н и з а м и Г я н д ж е в и. Лейла и Меджнун. — М.: ГИХЛ, 1935. — С. 40.

Такая поэзия — счисление сравнений, математика образов. И недаром нет в исламе разделения на поэтически-художественные и математически-рассудочные натуры (что так важно для Европы), но одни и те же существа — поэты и ученые: Ибн Сина, Бируни, Омар Хайям и т.д. Арифметика, алгебра, астрономия мощно двинуты именно арабской цивилизацией. И у поэтов тут мышление переборно-счислительное: все множества тут «счетные».

Нежелание развертывать сравнение в древо картины, распространяться, но эстетика сжатости (тоже понятие из оперы камня: пресс) — есть отворот от пространства надземного, исполненного посреднических стихий воздуха и воды, где деревья распускаются и всякая неплотная жижа существ и явлений: леса, дали, любви смурные, тепло-прохладные, — как меж персонажами европейских романов, с размытостью их воля и дел неопределенных. Здесь же страсть к пределу, к каменно-гравированной форме и в слове, и в чувстве, и в стихе: нанизы двустийши-бейтов, жесткие формы рубаи, кассыд, газелей и т.п. жанров. Хотя при этом громады поэм восточных («Шах-намэ» Фирдоуси, «Пятерица» Низами и т.д.) не уступают по протяженности европейским романам, и уж повторения там сравнений, их перебор и вариации одних и тех же... начинают утомлять-наскучивать европейскому читателю: экстенсивность тут... А ведь состоит эта экстенсивность — из интенсивных элементов: каменно-сжатых сравнений!

Литература Запада и России любит изображать разноликую множественность жизни, исследовать-описывать частные-уникальные состояния и характеры людей, чувствуя и ценя неповторимость существ и явлений. И когда европейские путешественники на Восток забирались — какие описания оставили: Марко Поло и другие! Любопытство, любознательность к конкретике бытия отличает западноевропейский дух и ум. Когда татаро-монголы докатились до сношений с Римом, «обнаружилось великое отличие европейцев от азиатов: в то время как ни один китаец или монгол не поинтересовался прибыть в Европу, чтобы познакомиться с ее культурой, европейцы, напротив, со своим любопытством ко всему новому и неизвестному, жадно устремились в таинственные края Восходящего солнца к чужеземному им искусству и быту» (Виппер, с. 263).

Но в этом нелюбопытстве есть и великое: монументальность, уверенность в своем присутствии при абсолютной истине бытия, — чего никогда не было у взволнованных, водо-воздуховных людей Запада, страдающих «комплексом неполноценности», который в этой открытости новому и жадности поучиться и научиться — вполне проявляется. На Западе — наука, на Востоке — веды = ведание = знание истины, тогда как наука есть искание истины, дурная бесконечность поисков и не-присутствий: значит, не при сути главной. И Христос говорит про себя странные, на слух-ум восточный, слова: «Аз есмь путь и истина», съединяя путь и суть, которые, по понятию, противоположны: если ты при сути — нечего идти, а если ты в пути — значит, не при сути, не в истине = естине. Таких слов-речений не должен говорить Мухаммед... Суть есть камень-ядро, сжатость; а путь есть ветер, стихия воды (река, течение) и воз-духа беспокойного. Космос же ислама, хотя и на кочевые народы опирается, — но им лишь бы припасть с гор-плоскогорий своих к какой земляной цивилизации и там застыть-остановиться в неге: impeto¹ камня в них, что «с горы скатился» (см. стихотворение Тютчева про это: «Problème»). Кейф — не дрейф вечных исканий фаустовских, водо-воздуховных, — путей-дорог: агасферово пребывание!.. Неостанавливаемость — вот рок европейца, жителя водо-воздуха, и для Фауста предел стремлений — вскричать: «Остановись, мгновение! Прекрасно ты, продлись, постой!» — т.е. превратить вечное гераклитово течение реки бытия — в камень, точку, стихию земли-тверди. (Кстати, недаром к образу реки-воды прибег Гераклит, чтоб продемонстрировать фундаментальную для Запада идею вечного изменения. А для Востока — столь же фундаментальна идея предвечной статики, всерешенности бытия и судеб мира и человека каждого.)

На Западе — принцип Необходимости перекликается с исламской Судьбой. Но вслушаемся, вникнем — и разность великую в этих «синонимах» почувствуем. Необходимость недаром с движением в корне своем сопряжена: это то, чего не обойти, — но все же хождение предполагается. И в латинском слове: *necessitas* = «непереступаемость», и в немецком:

¹ Импульс (итал.).

Notwendigkeit = «неотвратимость» — силово-двигательные жесты имеются в подспуде в виду. Кстати, и тут прослушивается национальная разность: у русских «обход» по плоскости-шири вдаль, модуляция в «родимую сторонку», вбок; у латинян вертикаль перешагиванием обозначена; а у германцев — противопоставление, противоречие, превратная воля, действие-противодействие...

Необходимость — Свободе парна в европейском осмыслении, образует философски-диалектическую пару категорий: «свобода — как осознанная необходимость» (Гегелева формула) означает самонаправление пути своего и желаний, из себя развитие — по силовым линиям эпохи. Судьба же означает предначертанный удел извне, и никакой свободы моей при его осуществлении не предполагается. Тут все соответствует друг другу: атрибуты Бога как Господа, и Судии, и Творца (иудаизм, ислам) и Его же атрибуты как Отца и Любви («Бог есть Любовь» — такое определение дано в Послании Иоанна). Под Отцом и Любовью радостно именно самостоятельно-свободное шевеление дитяти: как резвится человек в мире — доставляет родителям радость созерцать. И потому-то Аллах все время с эпитетами «милостивый и милосердный», постоянными при нем, вводится в душу и мысль, ибо ориентированы они на понятие Суда и Судии грозного и страшного.

Судьба = камень. Необходимость = река по руслу, течение. И недаром ересь в Космосе драгоценного камня облекается в стихию драгоценной же влаги — вина (суфизм) — как растительной крови жизни... Но прежде чем мы пустимся в эту море-мысль, уплатим долги предыдущей. Я прозреваю аналогию меж типом исламского повествования и философствования — как раз в этом отсутствии интереса к особенностям жизней, идей, людей, что так любит описывать европейская литература и исследовать здесь наука. И когда эллинская философия проникла в страны ислама, у Авиценны и Аль-Фараби интерес ко всеобщим категориям, к Единому, к общим принципам бытия и познания, — а не к их развертыванию в многообразные частные случаи в диалектике Платона, Сократа и софистов — эти детали им безынтересны. Тут скорее по Пармениду идет мышление: есть только Единое, а многого — нет: это наша иллюзия, будто оно и есть и интересно. Бог ис-

лама — это Единое как камень-твердь Неба, а не как дух. И по Пармениду, Бытие плотно и нераздельно. И космосами они схожи: элейская-то школа — на юге Италии; через море — и потенциальная зона ислама: будущий Магриб, мавританство. Среди элеатов и Зенон, доказывавший невозможность движения-изменения, разнообразия изнутри, а не извне насеченного, как когда Аллах распределяет уделы — судьбы рассуживает.

Но и в повествовательной литературе арабо-персидской не рассказывание («= история», по-гречески) жизни и индивидуально-интересного случая, происшествия, «новеллы» = новинки, — а приведение случая к общему знаменателю притчи — на это нацелен рассказчик: т.е. в рамку каменную формулы вогнать: опять же «пышное древо жизни» (Гёте) сжать в камень притчи драгоценный. И потому и большие книги Востока — это сборники притч: «Калила и Димна», «Гулистан», «Тысяча и одна ночь» и т.п.

Хотя и приняли на Востоке четыре стихии эллинских натурфилософов, но очень их «каменно» трактуют: как элементы состава всякой вещи, а не любя их метаморфозы, — а именно к этому вкус у Эмпедокла и Гераклита. Если последний, наряду с образом реки-воды, прибегает и к огню («этот космос единый из всего... есть вечно живой огонь, мерами загорающийся и мерами потухающий...»), то и огонь здесь — клубление атмосферическое, наподобие водо-воздуха, а не статика света, небосвода. А вон как видит небо Меджнун, глядя на ворона на фоне неба: он «как агат в зеленой эмали» («Лейла и Меджнун», с. 57), т.е. небо = эмаль. Или в «Шах-намэ», когда Рустем, не узнав в Сухрабе сына, убивает его, идут медитации про небо:

Свод гневный сонмы жребиев вращает,
Глупца от мудреца не отличает.
...Все в мире — от Альбурзовых вершин
До слабенькой тростинки — сгинет в безднах,
Размолото вращеньем сфер небесных¹.

Небо = гильотина, молот и жернов, серп месяца секущий. Потому головы легко отсекают в истории и

¹ Поэты Таджикистана. — Л.: Советский писатель, 1972. — С. 132.

литературе ислама, и крови там много течет: из чаш сих, сверху нахлобученных. И опять же противодействие такому мироустроению берет символом чашу снизу — с вином = кровью жизни: рубаи Омара Хайяма — это «свое другое» (по выражению Гегеля) по отношению к Корану. И в этом веро-миро-исповедании через дионисийскую стихию вина мне видится бунт земледельческой половины в кентавре ислама против своей кочевой, небосводно-верблюдной наседки.

Вино питает мощь равно души и плоти,
К сокрытым тайнам ключ вы только в нем найдете.

Какие такие «сокрытые тайны»? Все ведь открыто написано на небосводе. Идея мистерии бытия, чья тайна сокрыта в глубине (Земли иль человека), — присуща культу Великой материи(и) у земледельческих народов.

Земной и горний мир, до вас мне дела нет!
Вы оба пред вином ничто в конечном счете.

(77)

Двойственность пространственно-каменная заменяется единством — но не неба-Аллаха, а силой Жизни, воли, изнутри «я» человеческих и всех существ бьющей. Это совсем иное помещение Первоначала...

Вино ведь — мира кровь, а мир — наш кровопийца,
Так как же нам не пить кровь кровного врага?

(78)

А какие математически точные приведения сравнений — к уравнениям! И бедуински-кочевническая идея мести кровной как родно тут играет! К небосводу (камень-твердь и скрижаль судьбы) тут прямая ненависть:

Небесный круг, ты — наш извечный супостат!
Нас обездоливать, нас истязать ты рад.
Где б ни копнуть, земля, в твоих глубинах — всюду
Лежит захваченный у нас бесценный клад.

(173)

Это тот же жернов небес, что и у Фирдоуси размалывал жизни. И прибежищем служить начинает стихия Земли-матери — рыхлая, родная, а не каменно-бесчувственная. Однако и тут из Космоса драгоценного камня позаимствована идея «бесценного клада» под землей.

Ответственность за то, что краток жизни сон,
Что ты отрадою земною обделен,
На бирюзовый свод не возлагай утрюмо:
Поистине, тебя беспомощнее.

(174)

И сразу уже принцип личности и свободы самоопределения пути своего из «я» — вместе с приниканием к земледельческой идеологии Матери(и)-Земли появляется: доказывается этим, что спарены они, друг друга взаимно предполагаючи. Богоборчество опять же сразу Эдипово: поход на небо — при Антеевой опоре на Мать-Землю лишь возможен (материализм науки и атеизм — Эдипову комплексу Запада соответственны).

Свод неба, это — горб людского бытия,

(175)

Да это же — верблюд! Одногорбая животина пустыни аравийской. О, это — важнейшее отождествление для ислама и Корана! Продумаем его...

ВЕРБЛЮД

2.XII.76 г. Итак, верблюд — как модель мира. Как мировое древо, яйцо, конь для народов иных космосов прообразует Вселенную, ее устройство и смысл, — так для арабов-бедуинов верблюд = космическое, вселенское существо, все для них. «Большую часть кочевого скотоводческого населения (Саудовской Аравии. — Г.Г.) составляют верблюдоводы, которые, в отличие от полuosедлых овцеводческих племен, называются в Аравии «бедуинами», т.е. жителями пустыни»¹. И вот уже нам подсказ и притча: овца = полuosедлость, верблюд = совершенный кочевник. Овца нуждается в воде, при ней быть, несвободна, привязана, труслива расстаться... Верблюд же — совершенная самость и максимально возможная животному существу свобода от воды, — т.е. от женски-материнской силы жизни и женски-смягчающего начала. Верблюд — абсолютный мужик, старик: нетороплив и мудр, как старцы-аксакалы (= белобородые) ислама. Как на севере Кащей — Дед Мороз закален там обитать, так и верблюд — Кащей пустынь.

¹ Народы Передней Азии. — М.: Изд-во АН СССР, 1957. — С. 386.

Как тот — гений стыни, так и этот — мастер пу-стыни. И от свободы в нем — надменность и гордыня: презрительно выражение его лица, надменно на все поплевывает свысока (именно!) и не любопытен знать нечто другое, чем он сам, — в отличие от полуоседлых овец и коз (= подобных им полуоседлых народов), что уставятся своими широко раскрытыми бараными глазами, «как в афишу коза», — и любопытствуют к научению, даже назойливы в этом. Верблюд же уверен, что он сам все истинное точно знает-постиг, предвечное, и ему лишь блюсти-высоко нести это знание в скинии-ковчеге завета тела своего закутанным, — как и Кашеева смерть севера в своих закутках хранится.

Высоко взнесен корпус на тонких сравнительно ногах над землею — и в этом к ней тоже презрение отделенности: не ползучая тварь дрожащая-шипящая змеєю, — но в нем силуэт птицы (как и у страуса), облик орла: такая голова на тулово это посажена. Приближен к небу, как и кочевник верховой, и сам корпус его горбатый выпукл, как небосвод: Аллах в нем обитает. Как купол неба на столбах, возвышается верблюд на презренной ровности земли пустынной: как ее украшение, значимость и содержание, единственно достойное...

«Одногорбый аравийский верблюд используется бедуинами самым универсальным образом (= универмаг это и податель благ всей вселенной. — Г.Г.). Молоко и мясо идут в пищу (= нутрь араба — верблюжья, с ним братска и адекватна. — Г.Г.), из шерсти изготовляют ткани для верхней одежды и мешков (= и наружа верблюжья: покров — от всех бед и зол в мире сем; и вместилища для всего: мешки-хранилища; верблюд = амбар и сусек земледельцев. — Г.Г.), из шкуры выделывают кожу и ремни (= броня и сталь кочевника: как шерсть мягка, женска, так кожа и ремни-плети-руки — мужески. — Г. Г.), навоз идет на топливо (= сырье огня, собственный каменный уголь портативный и в сжатые сроки изготавливается: Земля-то трудится над этим целые геологические эпохи, чтобы растения-леса-древеса в чернь угля окаменить, а тут — за сутки вся геология, цикл ее проходит. И еще тут слово важное мы употребили: «портативный» — и навело оно на поговорку латинскую: «Omnia mea mecum porto» — «Все мое ношу с собой», чем мудрость неприхотливости философская знаменовалась. И таков верблюд: зеркало потребности в малом и философской самоудовлетво-

ренности. Так что «кейф» турецко-арабо-персидский — это приход-прибыток-вклад в ислам от земледельческой половины его кентавра. Кочевник же прост, неприхотлив и аскетичен — как верблюд. — Г.Г.); используется даже верблюжья моча: ею моются и употребляют в качестве «лекарственного» средства (= и вода омовения, и влага исцеления — все из этого же «рога изобилия» — то бишь «горба изобилия»). Ремонт организма кочевника, «души болящей исцеленье» — и это из того же источника. — Г.Г.). Ежегодная продажа верблюжьего молодняка дает возможность бедуинам покупать финики, зерно, изделия городского ремесла (= и зацепка он ремесленно-городских им благ, крючок вперекрест и перехлест обмена-торговли: из земледельчески-городского, оседлого моря рыбку выуживать большую и маленькую, — но не быть ими, привязанными-оседлыми, а точнее — оседланными землей и трудом, рабами земли и труда своего недвижимыми. — Г.Г.), но многие бедняки питаются почти исключительно верблюжьим молоком в пресном и кислом виде (= как грудные сосунки у верблюда-мамки своей: верблюд для них — вечный Млечный Путь... — Г.Г.).

Вместе с тем верблюд... был единственным транспортным средством не только для самих бедуинов, но и для многочисленных торговых караванов и караванов хадджей (паломничеств в Мекку. — Г. Г.)»¹. Вот еще понятие-явление для осмысления: караван. Это торгово-кочевая армия-армада кораблей пустыни, как называют верблюдов. И он действительно есть ладья-ковчег, по суху, мерно покачиваясь, переносящий по волнам-барханам песков тепленькие сосуды, теплящиеся свечечки людей. Корабль — и храм в христианстве: его строят, как корабль для плавания по волнам моря житейского. Так что и с этой стороны верблюд видится как священство: горб небосвода и корабль храма. И скиния завета, носящая запеленутой в себе силу жизни, ее родник — не скажешь здесь: «очаг», как в северных Космосах, где воды избыток, тепло же дорого. Здесь же вода = жизнь, а не стихия огня тождественна ей: огонь здесь скорее = смерть. Так что верблюд, нося в себе родничок-источник, при всей надменной мужественности и старческойности своего облика, есть в то же

¹ Народы... — С. 386.

время и женщина-мать народу пустыни. Значит, андрогинное это существо, муже-женское, совмещающее их сути, — и потому может служить моделью Целого бытия, Единого, не расколотого еще на двойственность полов-половинок. А лишь Единое — истинное по гносеологии ислама; множественное и двойственное = ложь.

«О том, какое место занимает верблюд в жизни бедуина, говорит уже то обстоятельство, что классификация этих животных по возрасту, полу и качеству включает свыше ста терминов, а слова «верблюд» и «красота» происходят от одного корня»¹. У нас же выражение: «Докажи теперь, что ты не верблюд», т.е. «не виноват», «не плохой», — совсем иную ценность этого понятия выдает.

И похоронный обряд верблюж: «Приносили в жертву верблюда: подрезали ему сухожилия и оставляли погибать на могиле» (Массэ, с. 20), — так что не только жизнь, но и смерть кочевника верблюдом охвачена.

И суфизм — основная ересь ислама — от слова «суф» — шерсть, шерстяной плащ, тоже от верблюда исходит, им отмечена. Горбом верблюд — Бог, небосвод; шерстью — народен, животен-растителен, человечен-материнск. Ну да: шерсть = трава, растение на горе корпуса и воплощает принцип растения и земледелия и связанные с этим идеи; их и развивает в исламе суфизм: личность, «я» (= вертикаль-самость прораствания из лона матери), сыновство-материнство, любовь, душевный материализм и т.д. Так что верблюд весь Космос ислама объемлет: сочетание горства и земледельства: корпусом — гора, шар земной, кожей — почва, шерстью — трава. Голова ж его длинношея тоже амбивалентна: змея и птица одновременно, пресмыкание земли и парение небес, обитатель земли и неба: «мудры, как змеи, и невинны, как голуби» — верблюды наши. И в подобание божеству своему, арабу и орлино-гордым быть, и пресмыкаться допустимо.

Навстречу верблюду как универсуму и модели мира поднимается в Космосе ислама модель Мирового Древа, выдвинутая в кандидаты в первосуты от присоединенных земледельчески-растительных космосов. Дерево в пустыне (= оазис), под ним источник, в тени отдыхают и предаются неге, наслаждаются любовью, литургию бытия как божественного наслаждения осущес-

¹ Там же.

ствляют. Постоянно такой пейзаж и в сказках «Тысячи и одной ночи», и в поэзии арабо-персидской встречаем, и на живописных миниатюрах иранских. Вот лубочная модель Космоса ислама в преамбуле к сказкам «Тысячи и одной ночи»: двоица братьев-шахов: Шахрияр и Шах-земан (опять двойка царит в поднебесье ислама. Да и само число 1001 привилегировано стало не оттого ли, что в нем симметрия двоек единиц и двойки нулей, расположенных друг другу в обращении? И в этом избранничестве Двоицы сходятся исламский и французский космосы, где тоже дуализм, симметрия и баланс избранны, — как и во многом другом их мы близость и взаимопонятие отмечали) «вышли через потайную дверь и странствовали дни и ночи (кочевали. — Г.Г.), пока не подошли к дереву, росшему посреди лужайки, где протекал ручей возле соленого моря (Куча мала! Вали сюда зараз уж все, — что и присуще лубочному мышлению... — Г.Г.). Они напились из этого ручья и сели отдыхать. И когда прошел час дневного времени, море вдруг заволновалось, и из него поднялся черный столб, возвысившийся до неба, и направился к их лужайке. Увидев это, оба брата испугались и взобрались на верхушку дерева (а оно было высокое) и стали ждать, что будет дальше. И вдруг видят: перед ними джинн высокого роста... а на голове сундук». В сундуке ларец, в ларце — женщина. Джинн уснул, а она, увидев в воде ручья отражение двух мужчин на дереве, подняла голову, велела им спуститься и обладать ею. Извлекши ожерелье из 570 перстней, она сказала: «Владельцы всех этих перстней имели со мной дело на рогах этого ифрита. Дайте же мне и вы тоже по перстню». И братья дали женщине два перстня со своих рук, а она сказала: «Этот ифрит меня похитил в ночь моей свадьбы и положил меня в ларец, а ларец — в сундук. Он навесил на сундук семь блестящих замков и опустил меня на дно ревающего моря, где бьются волны, но не знал он, что если женщина чего-нибудь захочет, то ее не одолеет никто, как сказал один из поэтов:

Не будь доверчив к женщинам...¹
Не верь обетам и клятвам их...»

¹ Книга Тысячи и одной ночи. — Т. 1. — М.: ГИХЛ, 1958. — С. 15–16.

Совсем антиверблюжий нам предстал тут космос в картине этой: вместо аскетизма кочевого и мужского верховенства тут женщина на поприще наслаждения царствует. Соответственно и пейзаж иной и атрибутика: вместо пустыни — изобилие воды какой хошь: и пресной и соленой — море тут же, берег, зовущий к странствиям Синдбадовым, и волны. Но космос сокровищ и кладов, драгоценных камней и здесь дает о себе знать: ларец, сундук, замки, сокрывание на дне моря — и в ларце этом подлинно Кашеева смерть сидит: женщина — ибо ее негой погублен будет бедуинско-верблюжий космос первоарабья, с его аскетически-воинскими добродетелями. Кочевники поработят земледельческие народы огнем и мечом (= камнем) молниеносно-небесно, в темпе вращения небосвода, а эти зальют их негой влаги, растлят женским началом, умозрением воз-духовным под древом Бодхи — и все это в замедленном темпе роста растения, по его ритму и принципу. И вот уже пустыня заселяется неистовыми любовниками, и тот же пейзаж мы встречаем в поэме Низами «Лейла и Меджнун»:

Когда на рассвете лазурный свод,
Раскрывшись, просыпал розы с высот, —
Сперва те розы пурпурно рдели,
Потом позолотились, побелели.

Сколько драгоценной каменности уж рассыпано: и лазурь, и пурпур, и золото, и алхимическое даже превращение живой розы — в золото! Но роза уже низом пахнет, водою и любовью — и вот она тут как тут:

Меджнун, как в позднюю осень цветок,
Под горьким дождем очей своих мок.

Человек открылся, как родник в пустыне: и в жару, и в сушь в нем осень и слякоть может быть; перестал зависеть от верблюда и неба.

Корабль без руля, он одиноко
Блуждал в пустыне по воле рока,
Усталое тело еле влача,
От зноя тая, как снег от луча.

Верблюд же был корабль, а караван — руль. Здесь же **один**, **о**собь и **о**собь статья и судьба, им самим себе избранная: быть бхактом любви.

Как тень, сам нищий и бестелесный,
Пустынник искал тени древесной.
Тут куст он увидел и под кустом
Журчащий ключ, льющийся в водоем,
С водою прозрачной и прохладной,
Манящей глаза лазурью отрадной.

Тут понятие **тени** очень важное явилось. Тень = двойничество, душа при теле, «иль верная жена» многоамии и единственно-личностной любви средневекового Космоса. В пустыне тени нет, человек тут — как Петер Шлемиль Шамиссовый: без тени, обрезанию она подверглась вертикально-зенитным лучом солнца, а вместе с этим — и всякая личностная возможность сокрыться, и сокровенность, и душа-потемки, — что так просторно все это иметь в лесах и во градах: тени дерев, двойники-тени существ в Петербурге Достоевского и т.п. Так что недопущение «я» и свободы воли в Космосе ислама еще и отсутствию тени в пустыне под тропиками параллельно.

Лазурь воды отрадна — в отличие от безотрадной здесь лазури небосвода, огнекаменной.

Меджнун склонился лицом в водоем,
Язык потушил, пылавший огнем,
И освеженный и упоенный
Лег в тень, дыша листвою благовонной,
Чтоб отдых ногам дать и языку.

Эстетика дыхания-воз-дыхания тут же с водою явилась, и ароматы, благовония: очень чутки ноздри арабо-персидской культуры к ним, и множество нюансов тут подметили поэты.

Но вдруг он видит птицу на суку.
То ворон был статный и красивый,
Надменный, черный, гордый, спесивый.
В лазурный бассейн он взор погружал
И там самого себя созерцал.

Вот Нарцисс новоявленный, гордыни преисполненный, черный Агасфер, бессмертный Кашей, долгожитель, падаль и падла... Кстати, к вопросу о бессмертии! На юге, в космосе тропиков, изыскивают не бессмертия, но возрождения, нового рождения, воскресения, — а не бесконечного дления этой, и так уже утомительной,

жизни. Принцип однократного вечного бытия присущ замороженному северу: снова живем, братцы!

3.XII.76 г. Итак, пустыня, странник (караван), оди-
ночное дерево, источник (родник, ручей, колодец) и
малый водоем под деревом — ровно настолько, чтоб
состояться могло отражение человека или птицы в нем, —
вот набор джентльменский исламской модели мира. Ба!
Да ведь это же пейзаж «Трех пальм» Лермонтова, с
детства знакомый. Но сейчас прозреваю тут и русифи-
кацию. Во-первых, число: три — не ихнее, но русское:
Троица — основной здесь религиозный образ и праз-
дник народный. Арабское число: единица или двоица,
так что одно или два дерева должно было для притчи
в восточном стиле стоять. И в другом стихотворении:
«Спор», описывая ленивый, сладострастный Восток,
вернее сказано — в отношении числа деревьев:

Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин.

Открыл только за этим, но восхитился, какой точ-
ный набор космических реалий Востока Лермонтов да-
ет далее:

И, склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.
...Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров
И поет, считая звезды,
Про дела отцов.

Так покорен кочевник сладью повоенных земле-
дельческих космосов и их реалиями: тень дерева, фон-
тан, вино, жемчуг, пестрый ковер, табак-кальян, поэ-
зия, астрономия-счисление. Еще упомянута «Мертвая
страна» Ерусалима, что «Богом сожжена», и «вечно
чуждый тени... желтый Нил». Да, тут Космос богоопа-
ления, лишь ночь и тень жизненны: звезды человечнее
солнца. И дерево тут есть без тени...

В «Трех пальмах» не восточна еще рубка леса, что
есть вполне русская реалья («Плакала Саша, как лес
вырубали» — Некрасов): не дровами, а кизяком-углем
тут топят. Ну и, наконец, мотив бесплодно пропадаю-

щей красоты — вполне русский и чеховский, и богорочское роптание на жребий свой...

Вообще русское касание и восприятие Востока многое прояснить может и в русском, и в восточном космосах. Слово «восточный» можно здесь употреблять вполне однозначно, ибо русские не знали Востока как Индии и Китая, но лишь как арабо-персидский, тюрко-кавказский, среднеазиатский (Пушкин, Лермонтов, Толстой, Бородин, Римский-Корсаков, Рахманинов, Есенин...). И вот уже в лермонтовском «Дубовом листке» весь сюжет намечен русского прислонения к Востоку: он, одинокий и неприкаянный, жметя к знающей и уверенно живущей чинаре = одиночное Мировое древо на берегу моря (вспомним пейзаж из «Тысячи и одной ночи») с пышной листвой, где поют райские птицы, — и она не проявляет к нему никакого любопытства: он ей неинтересен, ничему научить не может. Так ведь и Хаджи Мурат толстовский, находясь в русском плену, ничем не интересуется, но совершенно самодостаточен. Ведь что такое «интерес»? Это есть выход из себя за истиной, которую подозреваешь вне себя, в другом чем-то, и выдает собственную неистинность и непрывание при Боге-сути, в тех, кто ровны и покойны, безвыходны из себя в интересе каком-либо. И то, что писал Пушкин о русских: «Мы ленивы и нелюбопытны...», есть восточная черта: полу-Азия ведь мы тоже... Русские — всепонимающи (и Жуковский, и Пушкин, и Блок об этом, и Достоевский — о способности всепонимания и перевоплощения; да и Ломоносов: что русским языком «со всеми оными говорить прилично...»), но не любопытны: нет той рьяности в любознании, что отличает эллинов иль латинян и англосаксов, которая у последних сопряжена и с практическим интересом: как употребить свое знание и понимание...

Кавказ для России — бастион и форпост Востока, и русский человек испытывал там особо острую лишнийность свою: Печорин в «Тамани», отриниваемый «честными контрабандистами» и Ундиной местной, да и в «Бэле». Пейзаж Кавказа и присутствующий рядом фон восточного твердого быта, уверенно знающего, зачем человеку жить на свете, особо щемяще усиливает тоскливую ноту русской неприкаянности, голости, открытости всем вопрошениям о последних вопросах и смыслах жизни... И именно на этом фоне русский человек — воистину герой: таков и Печорин, и Жилин из «Кав-

казского пленника» Толстого, — ибо у тех мужество хоровое, родовое, а у этих — экзистенциально-одинокое. По пословице верной: «Один в поле не воин» — и «лишний человек» на фоне равнинного российского пейзажа не героичен: Евгений Онегин, Рудин — «ироикомичны» они. Левин опять же (в период раздумий...). Но перед определенностью Кавказа, где «Казбек, как грань алмаза...» (пошли и у русских драгоценно-каменные образы в восточном стиле), и русский дух призван к самоопределенности — и находит себя и самопознается. Потому обязателен жанр тут именно «Дневника Печорина», расковыривающий суть, внешне неопределимую.

Вообще, в контакте с Востоком тюркско-кочевым, а затем и исламским совершалось самоопределение русского духа: Логоса и Психеи: как оселок он и грань-кресало нужен, где б напоролась иначе аморфная русская суть и начала б извлекать искры смысла и уразумения (как с другой стороны — о Западную Европу трется и самоотличается русский гений). «Слово о полку Игореве» — первое Слово = Логос — от степняков-половцев = обитателей Поля тюркско-кочевого — высеклось из уст Бояна русского. А потом «Задонщина», народные песни о Ермаке (с Кучумом), о Степане Разине (с персидской княжной: антитезис тут лермонтовской чинаре, что отринула любовь дубового листка: тут же самое чинару роскошно-персидскую — за борт ее бросают отмстительно и свободно от неполноценности...), да и о Бродяге — на бурят-монгольском Байкале... Южные поэмы Пушкина, да «Руслан» весь преисполнен восточных мотивов: Черномор-маг-звездочет (и сказки Пушкина — восточны: Салтан! Султан, Шемаханская царица в паре со звездочетом...), райские сады Черномора, где Людмила — что гурия в исламском раю-гареме; Ратмир-хан и т.п. В конфликте с кочевниками-цыганами определился характер одного из главных героев («хищный тип») русской литературы — Алеко — мрачный и скучный, рефлектирующий и действующий невпопад и неуместно, а лишь из себя, не сверяясь с обстоятельствами и окружающими душами. Даже «Песнь о вещем Олеге» идею восточноисламской судьбы и предопределения изъясляет: волхв-звездочет «с волей небесною дружен», и хоть щит Олега — «на вратах Цареграда», но это ничего не значит, а обернут Олег на Восток: «отмстить неразумным хазарам»; они-

то, может, и неразумны, но разум их неба-Космоса умнее «вещего» (якобы!) Олега и отмщает ему по логике Аллаха.

В «Бахчисарайском фонтане» — уже успокоенный, сладострастный ислам и быт неги, страсти определенной, знающей; красота тут, эстетика телесно-бездуховной жизни, но замирает она перед явлением Психеи Севера — Марии, бледно-духовно-немошной красоты, что небесная, побеждает земно-страстную, любовь чувственную. Опять же Достоевской героини изъятие совершается через биение о восточное кресало...

Лермонтов весь — как дубовый листок иль волна, что бьется об утес Кавказа: прими! — и откатывается на мучительно родной и свой север («Спеша на север из далека...») — и в этих ситуациях самоопределяется в нем русское поэтическое слово про Демона, про Мцыри...

Даже Толстой Лев — и тот, до обтесывания о Запад (в «Войне и мире»), отгравировался об Восток: Кавказ и Крым («Севастопольские рассказы», «Набег», «Рубка леса», «Казаки» и т.п.), и под конец душа туда же потянулась: «Хаджи Мурат».

Но оставим эти — слишком родные и заманчивые — сюжеты и вернемся постигать собственно Восток, а не русский миф о нем. Хотя само писание это мое — тоже выйдет как очередной элемент и вклад в русский миф о Востоке...

4.XII.76 г. Вышел незаметно из гавани «я» и извилин и протоков рефлексии — в открытое море умозрения объективного. Завелся-таки двигатель... Хорошая опечатка, кстати вышла, игро-словная: «гавнаи» вместо «гавани» «я»; «я» — оно, точно: и гавань, и гавно... Говно же — удобрение на растение, перегной. Но об этом нет заботы в исламском Космосе, ибо плодородие земле реки с гор лессом наносят — опять же благодар Божий оно выходит, а не дело — забота-работа-ургия промышленности человеческого, который «на Бога надейся, а сам не плошай» и «сам своего счастья кузнец» (каковы руководящие пословицы для западного человека). И самопознание и рефлексия оказываются творчески-трудовыми операциями человека = сотворца Творцу своему. И как земледелец говно и свое, и скотины в дело удобрения почвы пускает, так и из рефлексии и отходов жизни и производства — блестящие изделия

и науки-научения, и ширпотребная индустрия-промышленность Запада изготавливать умеют.

На Востоке земля передвижна-отталкиваема копытами передвигающейся скотины-стада кочевого. На Западе же скотина оземлена: «домашняя», «ручная-прирученная», — чего нельзя сказать про животных стада кочевого: не при руках, но при ногах тут скорее: «стрекоженная», а не «ручная» тут скотина: более она представляет неотрывный от человека-хозяина член тела-туловища его: обитатель тут-кентавр, человеко-конь или человеко-верблюд. Овцы же являют собой выпасные кишки, самоходные желудки, и почки, и печень, и легкие, и сердца людей и т.п. — ибо туда с гор сойдут: образовывать органы тела нашего. Потому, когда едят часть тела какую, про свою аналогичную медитируют, — и мне, близорукому, на джайляу¹ в Киргизии протянули за пиршеством — глаз бараний: чтоб лучше видел человек. Тождество тут большее меж человеком и животным чувствуют, и не предаются столь популярным на Западе рассуждениям о том, чем человек отличен от животного (Аристотель, Декарт, Маркс). И при этом француз Декарт как раз малое видел меж ними отличие, что опять говорит о близости французского космоса исламскому. И сравнения в поэзии с животными здесь, и животно-дидактический эпос (Панчатантра, Калила и Димна, и Рассказы попугая и т.п.). Да и Эзоп — фригиец, малоазиец. На Западе же басни — несколько искусственный жанр: ну где тут Мартышка или Лев?.. И опять же француз Лафонтен на этот счет мастер оказался.

Земледелец на Востоке заботится не об удобрении почвы навозом скотины (а об этом — на Западе: животное — на службе у земли, а не земля на службе у животного, как это при кочевье; на Западе движение жизни-живота остановлено, оседлано-осело-одомашнено: и животное-то тут по образу и подобию растения функционирует: вверх-вниз: съедает траву = вверх ее подымает, мочой-калом ее вниз как удобрение = добро — благо земле засекает), но об орошении водой (чего в средней полосе Европы или России не занимать). Вода же сама извлечет кормящую мощь из драгоценно-каменной земельности здесь: стоит ее только разрыхлить-

¹ Горное пастбище.

размыть-расслабить в консистенции, землю-то каменную.

Тут-то и к ал-химии выход открывается: плодородие почв средне- и переднеазиатских — не органически-животное, но минеральное, как и философия тут = минералогия (Бируни), и поэзия, ее метафорика — минеральна. Камень драгоценный всепропитывающий и всепроницающий тут: и дух он питает (уравнение: Бог = камень), и плоть: плодородие почве, как жидке и расслаблению камня, приносит снисходительно — точнее: свосходительно, ибо драгоценный камень под землей, под слоем почвы, «в пещерах каменных» обитает, — и лишь чрез роющую работу выветривания и разведения, в растворах, добывается и восходит пребывать в почве.

Значит, почва-земля в Европе более животна, органическа, и к земле у крестьянина тут вождение животное, Эрос страстный — «власть земли!», из нее живоотно-женские-материнские соки истекают, она — мать-земля. Отсюда и такая страсть в земельной собственности: земля моя чувствуется как органическое (именно!) продолжение моего существа, «я» моего, — тогда как на Востоке нет такой лютой проблематики земельной собственности.

Итак, на Западе почва оживотнена, организмирована — оттого что животное тут вращено в землю, а в исламском Космосе камень выволочен из пещер на поверхность и уравниен с человеком, животным и с Богом самим. Земля ж уплотнена и сверху, и снизу и осушена: огнем солнца и прессом камня. И живые существа много от каменности в своей субстанции носят: жестокосерды (жестоковыйны иудеи, да и арабы — самозордые семиты тоже, всех презирающие, как верблюд или арабский скакун), не разрыхлены в своей ткани рефлексией, наподобие более пористой структуры материи западного человека. И недаром по-гречески материя — «хюлэ» — лес, древесина — вот что есть прообраз понятия-идеи материи тут: мало того, что она — мать, женщина, но еще и растительный из себя принцип излучает. Эх, знать бы, от какого корня (кстати, само слово в европейской традиции мыслится растительно: его суть смысловая есть «корень» — как у древа) в арабском и персидском эти термины!

Материя же и состав англо-американского антропо-са еще невещественнее, небоганны, энергийны: неда-

ром так техника там развита и изобретательство; это значит: наиболее остранным могут там на вещество смотреть, не самоуподобляясь с ним, — и потому свободно его преобразовывать и формировать. Вон Психея американца: в романе Томаса Вулфа так передано мироощущение младенца: «...окружающий мир прокатывался через его сознание, как волны прилива, то на мгновение запечатываясь там резкой подробной картиной, то откатываясь в сонную смутную даль» (начинается развернутое, «гомеровское» сравнение, типичное для Запада, в отличие от свернутого восточного). «...В глубинах моря звонил колокол... И когда корова Свейна снова запела, он почувствовал, как в нем распахнулись створки переполненного шлюза»¹. А вот мальчик читает книги про историю: «Упоенный воем ветра, терпящего поражение у стен дома, и громом могучих сосен, он предавался темной буре, выпуская на волю таящегося во всех людях ненасытного сумасшедшего дьявола, который жаждет мрака, ветра и неизмеримой скорости» (с. 87).

Тут все — в лад, соответствует друг другу каждая деталь из набора космообразующих образов. Главная субстанция — энергийная: ветер, буря, море, оттуда приливы, бешеная скорость (= автогонки, время = деньги) — время, текучее и ускользящее, есть субстанция богатства, да и жизни всей: «Мы — сумма всех мгновений нашей жизни» (с. 26): интегральный подход — в крови у англосакса, органична тут математика матанализа, а на Востоке — другая... Так вот: субстанция богатства на Востоке = драгоценный камень, золото, а не труд-время-деньги, и потому не ускользает, а вечно хранимо сокровище-богатство.

Далее. В музыке леса, сосен (растения, деревья тут как тут — как наполнение бытия из бури, из влаговоздуха) Небогеан² Логос свой скажет. И в человеке — дьявол воли свободной, демон. Нельзя сказать, что в противовес этому в человеке Востока — Бог: скорее там никакой нутри в человеке не предполагается и самочинности и самодвижности: человек — просто изделие Аллаха, или вдвоем: благого и злого начала (зоро-

¹ В у л ф Т. Взгляни на дом свой, ангел. — М.: Художественная литература, 1971. — С. 64–65.

² Небогеан = Небо + Океан; Не Бог...

астризм, манихейство), сам же он сбит и плотен, как камень, не пористый, где бы воз-душа дышала и мнила свое, не полостной он, но полосатый — извне письмена на нем значащие наносятся, а не из кишок (кишечно-полостные...).

Вот он, динамический демон англосаксонской психеи: «ребенок любил пожары». Кстати, тоже лесно-древесное стихийное бедствие: пожаров не знает Космос ислама, где дома — из камня иль глинобитны, тогда как европеец и американец исходно живет в дереве: в «деревне», в «избе» — сбитой-сколоченной... Но там — землетрясения и наводнения от ливней с неба иль от выхода рек из берегов: камень-минерал Земли живет, содрогается страстно-эросно-яростно в чувственных судорогах в гареме Бытия, иль женская стихия воды мировой в неудержимости похотствует. В сравнении с ними оргия огня, Локи, более воз-духовна: демоны ведь, по Порфирию, порицаемому Августином, в пространстве меж небом и землей обитают, — значит, к небу-Богу приближены и тем людей смущают, как воздухи. Локи = Логос, как огнен Geist германский.

«А когда набат прорывался ночью сквозь затопляющие волны ветра (вот: и воздух океанно мыслит-чувствует — воистину Небогеан = материя-вещество, из которой состав англо-американца. — Г.Г.), демон Юджина врывался в его сердце, рвал все узы, связующие его с землей, и обещал ему одиночество и власть над морем и сушей, обиталищем мрака (мрак — как полость, сокрытость, как и «я» в теле, *Innere, Haus, home*, = внутреннее-родное, дом, уют, — роднее и интимнее света. — Г.Г.); он глядел вниз, на кружащийся диск темных полей и леса, слетал над поющими соснами к съезжившемуся городку (вот сколь ничтожен камень града средь разгула надземной стихийности волн, ветров и лесов; не то — города роскошные Востока, где тысячи мечетей, бань, караван-сараяв, дворцов! — камень тут раскрывает свою сокровищницу бытия. — Г.Г.), зажигал кровли над упрятым, зарешеченным огнем их же собственных очагов (сердце дома в Космосе ислама — не очаг-огонь, но источник-фонтан-родник = вода живая. — Г.Г.), а сам носился на обузданной буре (не на коне, не на ковре-самолете. — Г.Г.) над обреченными пылающими стенами, смеясь пронзительным смехом высоко над поникшими в ужасе головами

и дьявольским голосом призывая сокрушительный ветер» (с. 117).

Тут обреченность, пессимизм-трагизм, одиночество, необходимость, смерть, смех и грех — вот какой набор идей тянется вслед за пористостью вещества, за стихиями воды и воз-духа вкупе, за принципами растения и «Я». Нет этого набора в исламе. Его фатализм, предопределенность судеб и жребиев не мыслится трагически, ибо нет «Я», принципа личности и свободы воли, и способности в человеке не предполагается самому быть кузнецом-творцом бытия вообще и своего в частности. Печаль, конечно, есть умирать, но нет пессимизма: сладка жизнь и здесь (даже у атеистов и суфиев — вино, Омар Хайям...), да и потом в неге возможна райской. Но главное: спору нет о непреложности, — который как раз и поднимается личностью среднеевропейской, что отдать готова свой билетик и на вход в рай, коли мир не по ее нраву уложен Богом: сама обо всем судит, а не Судьбу и Судию чтит в качестве первопричины бытия. И Бога тоже надаряют Личностью, и Отцовством, и Материнством — смягчая тем жестокость уделов и граней работы Бога в ипостаси Творцовой существам как тварям.

Смеха не заметил я в исламском духе и культуре. Есть веселость, шутки, юмор ситуаций плутовских в анекдотах о Ходже Насреддине, бекташи, верных и неверных женах, одураченных мужьях и богачах и т.п. — но это все не смех как дионисийско-оргиастическая, духовно-огненная субстанция, гомерически-карнавальный хохот, стихия свободы и орудие высвобождения от всех твердокаменностей в устроении мира, общества и человека. Так что как нет трагедий, так и для комедии нет почвы в культуре ислама.

И нет тут иронии, сардонически-романтической интонации, которая есть духовное самоедство среднеевропейца в самочинии рефлексии. Вот эта интонация: «Или же, властвуя над бурей и тьмой и над всеми черными силами колдовства, заглянуть вампиром (вкус к человеку-призраку-привидению — все от стихии света-зрения. — Г.Г.) в исхлестанное бурей окно, на мгновение посеяв невыразимый ужас в укромном семейном уюте; или же всего лишь человеком, но храня в своем не просто смертном сердце демонический экстаз, припасть к стене одинокого стонущего под бурей дома, глядеть сбоку сквозь залитое дождем стекло на жен-

щину или на твоего врага и в разгар ликующего восторга твоего победоносного, темного всевидящего одиночества почувствовать на плече прикосновение и увидеть (настигнутый преследователь, затравленный гонитель)» — это скобки Томаса Вулфа, и в них самоирония какая: демон-сверхчеловек зрит свою жалкость — «зеленый разлагающийся адский лик злобной смерти» (с. 117).

Зеленый в исламе — цвет неба и Аллаха: «По мусульманским представлениям, обитатели рая облачены в зеленые одеяния; зеленый цвет считается у мусульман цветом радости и даже священным — зеленым было знамя пророка Мухаммада»¹.

И чтобы уж закончить экскурс в антиподную исламу Северную Америку, еще цитатка: мальчик «всегда чувствовал, что в нем вдруг распахнутся врата и прилив вырвется на свободу, и вот это случилось — однажды и сразу. Он все еще был мал и близок к живой шкуре земли...» (с. 113) — вот тот органически-животный характер почвы, земли в чувстве западного человека, о чем выше толковалось. И тут же опять: океан, прилив, свобода — море ведь «свободная стихия» и для Пушкина, когда на брег этой, чужеродной в Космосе Руси стихии выходит...

8.XII.76 г. Ликуй, Исая! Ты угадал: оказывается, «материя» по-арабски обозначается словом, значение которого — «драгоценный камень»: «джхр» (согласные) — «джавахер» (множ. число). Так мне вчера в институте арабисты сказали, и я пришел в самовосторг: не подвел меня Эрос угадывания, интуиция точно навела меня взвидеть Космос ислама как Космос драгоценного камня. В «яблочко» попал, в десятку. Теперь можно увереннее двигаться дальше.

¹ Инаятуллах Канбу. Книга о верных и неверных женах. — М.: Наука, 1964. — С. 371 прим.

ГРОЗДЬ И ГРАНАТ. КОНЬ И КОВЧЕГ

(ГРУЗИЯ И АРМЕНИЯ. КИРГИЗИЯ И АМЕРИКА)

Заметки о национальной символике в кино

На днях смотрел три фильма: армянский документально-музыкальный, ибо это симфония из документальных кадров, «Мы» (режиссер Артур Пелешян) и два грузинских фильма Отара Иоселиани: «Листопад» и «Жил певчий дрозд».

Пока я усаживался плотнее, забивался в келью кресла и сгущалась тишина и тьма, в душу впорхнуло предчувствие чуда: вот сейчас распахнутся створки, и ты, не сходя с места своего, перелетишь в неведомые тебе доселе небеса и земли и будешь озирать их, как Демон, витая над вершинами Кавказа, вездесущим и всепроникающим взглядом проглядывая насквозь людей, лица, и души, и вертограды, и веси, — а они и знать не будут, что ты за их бессознательно текущей жизнью надзирать будешь оком всебытия и всеознания. И священный трепет причастника всемирному всеознанию: будто я, как небожитель, буду сейчас сквозь разрезы облаков в святая святых Земли заглядывать, — священство и кощунство этой предстоящей операции неким трепетом полоснуло и содрогнуло меня — как удар по струнам души-инструмента, привод его в ситуацию музыкальной восприимчивости. Недаром кино называли вначале «волшебным фонарем» — наподобие волшебного зеркала и магического кристалла, через который можно всевидеть и через который, например, Хромой бес Лесажа открыл студенту окна и стены соседних домов и показал, что за ними происходит.

Кино — одной природы с телескопом и микроскопом. Как первый обращает *подзорную* трубу в дали и выси чистых пространств, а второй — *надзорную* трубу в низи вещества и всякой слизи, их высветляя, так кино есть взорная в мир людской труба, рентгеноскопия человеческой психеи средь тел и предметов природы и цивилизации.

И как будто чтоб подтвердить это мое себячувствие небожителем, взирающим сквозь сон пространств на страну людей чрез окно экрана, там то вспыхнет вид горной земли, то потухнет — и опять невидаль: воистину как сквозь прорези облаков возникает видение и настраивается антенна на лицезрение Земли. Но вот отстоялась взболтанная муть — и возникла и застыла голова: лик людской. Дитяти. Девочки. Но как будто седой — с такими же клочковатыми растрепанными прядями, как у старухи сивиллы в прорицании страдания, когда на себя и свой наружный вид не обращается внимания, ибо где там! Нутро надрывается, душа клубится — как же тут со стороны на свой выглад на чужой взгляд можно задуматься? (А кстати, это: свой наружный выглад, в любой, даже момент отчаянного горя, — озабочивает мирозерцание всегда артистичного грузина.) И она все смотрит, девочка, а пряди волос развеваются = соборные нити душ — линии жизней народа своего, как шлем на голове, носит — вещая девочка, парка. И внедряется в душу, как архетип, праматерь армянства, и залегает там как субстанция и вечный фон всех последующих раскатов кадров, что имеют прокатиться по очам души твоей на протяжении сеанса = транса йогического созерцания, когда, отсекая все наружное, сосредоточиваются и видят только средоточие вещей, Истину, сущности.

И кино обладает этим даром символизации: превратить каждую вещь — в вещь, бесконечно много говорящую предметную идею. Кино может быть «похоть очес», но и школой медитации, духовного созерцания, йогическим трансом. И все кадры в фильме «Мы» выдержаны на этом патетическом уровне вещей созерцаний, когда все, что ни попадает в кадр: пот на щеке, мышца, искры, камень, шурф, колесо, — заражается от него всевидением и всеведением и начинает излучать из себя сущностную энергию и видится как образ-праобраз, вещь-архетип. Так что миропостижение и философствование посредством зрелищ-видений-идей, где кадр = понятие, — вот что совершается в фильме «Мы». Но одновременно — и симфония, о чем ниже.

Итак, девочка. В Грузии — мальчик, отрок, юноша, мужчина на переднем плане осознания (и в фильмах Иоселиани так). Страны и народы по телу Земли парно располагаются в соседство: Франция и Германия, Греция и Рим и т.п., так что одна есть по преимуществу

женская ипостась Космоса, а другая — мужская. И потому меж ними возникают страстные исторические отношения супружества в историко-космическом Эросе. Причем народ, мужеский в одних отношениях, может выступать как женский в других. Германия, например, как историческое тело на кесарево-ургийном уровне, — мужеский организм, Geist, дух, но внутри, в Психее, — душа вечно женская, *schöne Seele*, откуда в ней туманность философии, симфония музыки, как из пифийских недр, испаряются. Франция ж выступает на телесно-бытовом и историческом уровне как женская ипостась, тогда как Психея ее — *animus*, более сухая, *sèche*, откуда рационализм картезианства, выделанный стиль литературы, живопись и формализм и та душевная сухость, которую чувствовал в своем народе Стендаль. Потому-то жаждут: «пить» (*boire*) Рабле и «оракул божественной бутылки» с его первой заповедью Drink! — как смысл бытия.

Грузия на Кавказе во многом аналогична Франции. Тот же культ общения, слога (тост есть всегда некое *mot*), рыцарственность в обхождении, артистизм, тщеславие и забота о впечатлении, пантагрюэлизм вечно жаждущих и осуществляющих религию святой воды — вина. И у Иоселиани, не в фильме-панораме, как о певчем дрозде, а когда ему понадобился сюжет, — сюжет недаром смог организовать именно вокруг винного дела (в фильме «Листопад» герой — технолог виноделия), ибо метафизическое это дело — пиршественные возлияния и подготовка нектара и амброзии для того, чтоб народ чувствовал себя собранием олимпийцев, легко и бессмертно живущих на высях гор. Потому так легко воспринимается смерть дрозда, ибо олимпийска птица, и смерти-то нет индивидуальной, ибо вообще нет индивидуальной души, а есть соборная хоровая мужская (что в возлияниях и хоровом пении бытийствует). И что это за смерть — случайный наезд машины! Даже, ей-Богу, стыдно за смерть, не к лицу ей так уни(что)жаться, умалаться и заискивать пред жизнью — несерьезно это. Да и кто сказал, что визг машинных тормозов и Х-образная, в разлет крыльев, поза человека на дороге есть именно то, что мы чувствуем как смерть: страх и конец? И как ни старается автор последним кадром несколько ущемить наше сердце: след от героя в крючке для шапки да завод механизма часов как бездумной жизни, что идет себе

безотносительно к лично умершему, — слезы не выжимаются.

По окончании фильма все размышлял над этим парадоксом: вот мне вроде сообщили, что умер человек, и показали воочию свидетельские материалы о катастрофе, — а в душе ни столечки горевания. Хотя вроде можно бы и такую горестную мысль извлечь: вот наша жизнь: прыгаем, скачем среди людей-друзей, и вдруг прихлопнуло — и все, столь дорожившие общением с тобой, чтоб выпить и попеть, иль девы, чтоб полюбить, — равнодушно отворачиваются и проходят. Нет, совсем не о *memento mori* этот фильм: хотя введен факт исчезновения человека, но сущностью смерти здесь и не пахнет — ну что ж, просто снялся и улетел певчий дрозд на другие горы: с Олимпа на Иду, с Тбилиси на Мцхету. Так что факт смерти введен, чтоб ее совершенно отчудить от души: ее совершенный случай, а не необходимость лишает ее всякой субстанции возможного переживания в душе.

Но не только ошибка вместо смерти здесь изображена, но и умирать-то некому. Конечно: ведь герой наш совсем не живой телесный человек, грузин, а именно певчий дрозд, легкая певучая птичья душа. Вот почему и телесных примет грузина как этнического типа в нем нет совсем (как мало, но есть, и в Нико, герое «Листопада») — то, что так контрастно подчеркнуто в тех, с кем он общается: скулы, носы, усы. А тут — просто некая грузинская бестелесность, неуверенность. Ну да, конечно, он есть просто *душа* этих людей во плоти тяжкой: они ею обременены и ограничены. А душа в них легкая, летучая, певучая — и вот она стала отдельно от возможных своих тел и воплощений разгуливать, ну как Нос у Гоголя, — прямо душа в пиджаке. Так что и когда наезд машины — ну и что из того? Просто костюм свой крестообразно скинула, а совсем не крестом распятия распластался жив-мертв человек.

Да, легкая у грузина душа (хотя жизнь может быть и тяжелой, и бедной, и трудной), — ибо так расположился их Космос: поверх земли, среди гор — и даже не среди, в горах, а на горах, на вершинах, по-птичьи, небо и высь чуя и легко ею дыша. А в долины просто небо засосано, так что и в низинах своих пребывая, они небом дышат.

В Армении тоже горы, но их соотношение с небом и воздухом иное: горы суть не проходы неба в землю (как долины и ущелья в Грузии), а, напротив, — плацдармы и форпосты завоевания неба землей, поход вздыбившейся матери(и)-земли, отелеснение воздуха и оплотнение неба. Поразило меня в фильме «Мы» именно отсутствие неба, его безыдейность, никакая несказуемость, даже когда оно над горами появляется, — тогда как у Иоселиани, где тоже нет неба, но склоны гор даны в дымке — парят, овоздушнены, летучи, — вот воспарят и взнесутся.

И что есть вино? Это ведь тоже не кровь земли, а *надземная* солнечная жидкость кустов вино-града: его крупинки — это градины = индивиды, а гроздь = селения, артели, соборные хоры градин и сообщества. И если на Руси — белый град, лдяный, крупницы бела света, то градины винограда — цветные, разложен белый свет там на спектр: разные длины волн = разные сорта, радужен там свет, и потому почва для живописи.

Итак, вино — жидкий «свет» (= «мир», как есть и *жидкий* гелий, воз-дух), эфир, и он цветной здесь. Недаром и во Франции волновые теории вещества: Декартовы вихри, свет трактуется как жидкость тонкая, эфир, флюиды разного рода, жидкие субстанции. Вино, таким образом, есть не кровь земли, ее нутра, а из промежуточного пространства меж небом и землей, из союза солнца-неба-огня-тепла, земной влаги-воды и воздуха (земли-то, т.е. тверди, всего меньше в вино-граде: кожурка да косточка, а то и без нее).

Так что виноделие = это выделка пространства меж небом и землей, его возвращение в первичные космические воды; и когда пьют, соединяют свою кровь с влагой мирового пространства, — так что это религиозное дело воссоединения с Целым бытия, и такая литургия и ритуал царит за пиршественным столом у грузина.

А пространство меж небом и землей есть обитель мужеских стихий воз-духа, огня, света. Потому и утверждается в Психее Грузии и в грузине мужеское легкое воз-духовное начало. Однако *animus* в них женствен...

Плод Армении — гранат. И недаром фильм Параджанова о Саят-Нове назван «Цвет граната». *Армения и Грузия, гранат и гроздь!* Всмотримся в гранат и в виноград. Гранат есть заключенный виноград, гроздь в

тюрьме, небо в утробе: в кожуре, в оболочке свиты градины, а не распушены вольно-крылой гроздью. Ну да: гроздь — той же формы фигура, что и крыло. В гранате именно и свершился тайный замысел сути Армении как тайно-священной матери(и)-земли: обволокнуть собой воздух, свет и небо — и погрузить все в недра, во внутреннюю жизнь души, откуда сочиться, истекать музыкой, сольным соком души индивидуальной (в Армении не принято хоровое пение так, как в Грузии), ее стоном вековой заключенности. Но рódна эта заключенность, плен стал одухотворенным (небо, и солнце, и воздух, плененные в кожуру граната, стали изнутри кожу земли высветлять, откуда и розовость армянского туфа и полотен Сарьяна), и рódна и любима стала мука и печаль родной земли, и ностальгия по ней: сцены возврата, репатриации, объятия, патетика встречи, воссоединения — раскатываются по фильму «Мы», есть кульминация там: объятия репатриантов — впи(ты)ваются друг в друга, словно приникают к матери-земле родной, в нее вгрызаются — в лица, как в гранат.

И гранат есть в отличие от винограда гораздо более кровь земли: хотя и тоже вознесен в промежуточное пространство меж небом и землей, но на мощных ногах — стволах — туловищах деревьев (а не на курьих ножках кустов винограда, которые сами не стоят на земле, приходится их подпирать, подвязывать). Гранат, как плод, взметнутый в небо, есть более результат агрессии земли на небо, присвоение ею солнечного огня, абсорбция и узурпация. Да и земли в нем больше: огромно ядро, гора кости в каждой градине, а меж ними — розовый туф мясистых прослоек.

И если в Грузии прыгает певчий дрозд, то в Армении — петух, которого ритуально режут: обезглавливают и пускают кровь (сладострастие медленного пуска крови, как и выдавливание сока печали из граната и окровавление белизны, — очень подчеркнуто в фильме Паражданова о Саят-Нове). И через петуха опять мы к парности Грузии и Франции выходим. Ведь там — галльский петух, фанфарон, на коне, самок пасет на своем *coug'e*, средь куртуазности. Ибо знает он свои права, как птица зари, утра, огне-света, предвещающая каждодневную гибель нечистой силы. И красный гребешок его — как факел пожарно-зарный, дозорный; золотой петушок и в России.

А в Армении петуха режут, как в Иудее курицу режут, — ритуально, синагогально. Ему голову вниз сворачивают, как гордыню человеку, как Бог — Иова. Ветхозаветной древностью дышит земля Армении — тоже голая, как и пустыни Палестины, а Севан на ней = Мертвое море. И Арарат, конечно, — гора библейская, армянский Синай, откуда ковчег и скрижали. Та же музыкальность и лишь, как исключения, но мощные, — таланты живописные. А их отличие можно по этому символу разобрать: что одни режут петуха, а другие — курицу. В иудействе — Бог Отец, мужской Дух царит («Бог Израиля») и приносит себе в жертву женское начало матери(и). В армянстве Великая Мать Кибела (что царит в примордиальных культах Передней Азии) приносит себе в жертву мужской гребень, фалл петушиный, огне-свет окунает в грязь лицом.

Не должно быть в армянской поэзии (предполагаю) обидчивых претензий к внешности: врагам, насилиям, угнетению — и списывания на их счет горестей и бедствий. Но должно быть мощно чувство первородности и самости печали как собственной беды и греха. И глаза девочки, налитые, черные, хоть дышат грозным страданием, но без обращенности вовне: мол, «что вы (или они) надо мной сделали?» — но стоически несет, порождает и терпит печаль, как Прометей на горах Кавказа, казнимый во печень — некрасивую (в эллинском восприятии) часть тела, внутреннюю, что здесь вдруг постыдно обнажена.

И глаза недаром у армян жутко черны, налиты или вытягивающи, прямо как черный печальный луч снаружи внутрь, к полюсу сердца. А у грузин характерны глаза светлые: голубые, зеленые, серые, желтоватые, — но воз-духовные. А из тех словно манихейское «черное солнце» светит, — идея о котором недаром где-то здесь, в Космосе Передней Азии, зародилась. Это о том, что зло — не просто недостаток добра, а есть активная первосубстанция, равномогущая Божеской; и Сатана и Дьявол — равноучастник Богу в творении мира (аналогично этому в недалекой отсюда Персии Ормузд и Ариман — их парность и дуализм). Но, по сути, в этой мужеской Двоице Бога и Шайтана, конечно, сокрыта парность мужского и женского, Бога Отца и Великой Матери(и), которая первичнее и Неба. Но это материально-матриархатное воззрение могло на уровне духовно-патриархатного проявиться как пар-

ность мужских духов, благого и злого, светлого и черного. И недаром Армения хоть и приняла христианство, но не в варианте православия (где «свет» и «воз-дух» важны), как Грузия, чем эта близка к России, но в некоторой «ереси» (монофизитство григорианской церкви) — по которой у Христа только одна природа, а именно божеская. Так что и тут мощно педалирована Великая Матерь, ее всезасасывающая власть.

И природа Армении есть некое монофизитство: монолит Армянского плоскогорья, плато, которое есть выпуклость Земли, вспучившейся из вулканических недр в небо. Равнина плоскогорья — совсем не то, что равнина низменности = кротости, смирения русской равнины. Плато есть живот Земли, утроба, вспучившаяся в небо, тело Великой Матери. И Арарат стоит — как белое диво: как несбыточная мечта о белизне и чистоте, но спарен с народом именно как мечта и ориентир, по контрасту¹. Но и он стоит, силуэт его — как белая грудь, точнее, черная грудь Великой Матери, которая вернула себе Млечный Путь, брызнувший некогда из ее сосцов, стянула его с неба и самооросилась, покрылась его пухом — саваном.

Монофизитство, монолит Армянской плиты-плато — и верно фильм наименован «Мы». Армяне, разбросанные по свету, сильнее чувствуют родину, стремятся туда, едино «Мы» народа, — тогда как в соседней Грузии сколько гор, долин, столько языков, и царствует разброс самоотличения: кахетинцы, мингрелы, аджарцы. Это птичья черта — разброс, разлет. Для армян же архетипичен именно слет, а потому треть фильма «Мы» занята сценами возвращения, репатриации.

Кстати, недаром из поэтов XX века более воз-духовный, поэт пространств и снегов, сын живописца, Пастернак тяготел к Грузии, а более чуткий к телесной мистике и музыке «ствол миндаля» (= Mandel-stamm) Мандельштам тяготел к Армении².

А в отношении к вину Армения переходна от пьющего севера, христианства, к непьющему исламу, для которого недаром запретны и живопись и вино. Чело-

¹ Недаром и в фильме «Мы» он, Арарат, не в начале, как субстанция, в роли которой девочка-старуха-сивилла, — но в конце: как цель и небо. И недаром мужеск он — имя его.

² Даже пропорцию можно такую вывести: Пастернак/Мандельштам = Грузия/Армения.

век с точки зрения ислама совсем лишен Божьей искры и самости, компаса в себе, «я», т.е. совершенно в нем монофизитство, только земно-человеческая природа, и потому должен беспрекословно повиноваться Корану и Пророку. Человек есть случай(ность) и бессмысленность, и потому в отношении его — внешняя жесткая необходимость, фатум. Ислам есть Рим Востока и недаром подобно так же воинственен. И подобно как в Риме эллинская изнеженность сказалась в одухотворении римлян, в проникновении поэзии и муз, — так же и в исламе одухотворение возникало как северная ересь и недаром связывалось с вином (суфизм и суфийская поэзия, в которой вино — символ Истины, возвышенного духа, красоты).

Зато, напротив, телесная чувственность вполне предписана человеку как только природному существу и плоти — в отличие от севера и христианства, где похоть трактуется как помрачение, утопление и уплотнение воз-духа. И это в исламе — утождение Великой Матери(и), ее исчадь.

Патетика земли, вздыбленной в небо, задается сразу как лейтмотив армянского фильма. Долго выдерживается кадр: белые руки в черных рукавах, поднятые над головами женщин. Руки воздеты вверх, но головы не открыты к небу, как если б то была молитва, но наклонены вниз и отделены от неба платками: не опростоволосены в смирении пред небом, но по-бычьему упрямо рогами в небо. А рукава, взметенные, плещутся — на каком ветру, под каким ливнем? Кажется, держат над головой черный покров от Божьего гнева. Это не обычный ливень и ветер, но *Dies irae*. И точно: вон волны из земли, океан бушует — нет, то земля в извержении на небо клубится взрывами, стреляет в небо — то шторм земли. О, это, ясно, не взрывы от падающих с неба бомб — не военные, при которых земля покойна внизу и лишь, насильственно продырявленная в воронках, провороненная, стонет и отмахивается камнями вверх и в стороны. Нет, тут земля изнутри, целеустремленно в одну сторону вкось, а не вразброс — вперед и вверх тайфуном пошла. И опять руки, взметенные ввысь, — понятно теперь: они не простерты к небу с мольбой, а отталкивают небо.

И точно: когда меняется ракурс и на это же смотрят с неба на землю, то видно, что по волнам людских колыханий плывет барка — гроб черный, красивый,

изящный, легкий, щегольской даже. Так это его поддерживают над головами белые руки в черном! Это гроб положили как рубеж и посредник меж собой и небом и небо отталкивают днищем и крышкой гроба. Но гроб есть низ, могила, лоно земли — так что, выходит, приподняли лоно (как в кадрах потом потом мышц камень земли) и покров земли над собой распростирали вместо неба и воздуха, перерезав их воздействие на себя, окутались землей, как платьем и платком, со всех сторон, и ушли в нее, как в кожуру граната, самым же быть гранатинами, косточкой — костью и красным мясом-соком — кровью своей земли.

Да, какое торжество похорон! Как одеты, все высыпали на улицу; ибо в похоронах наиболее мощно ощущают свою причастность недру земли, свою могильность, и могут заявить об этом гордо и во всеуслышанье небу и воздуху, взметнув гроб на руках над головой и осенившись им, как знамением. Гроб — как знамя, катафалк — как флаг. И то, что похороны — торжество, обнаруживается в радостном легком ритме шествий — быстрой походкой, почти танцуя, идут щегольски одетые современные и молодые люди в черном и белом. Совсем нетяжелая, ненатужная поступь траурной процессии. И когда черное море вдруг сменяется в кадре белым (прилив белых рубашек на ярком солнце — волной белой пены нахлынул на храм, откуда задумчивый ангел с крылами, тоже изувеченный — с приплюснутым носом), тогда опять ликующая патетика похорон звенит. Затем волна свертывается сверху черной сетью наискось, как ковер-рулон скатывается, и виден становится город.

В чем тут жизнь? С той же выси, что и ангел, взирают люди: из кабин кранов — храмов новых алтарей, с выси бетонных конструкций, искры-брызги сварки посылая. Но и тут плоть людская — плоть земная — крупным планом: пот по небритой щеке в морщинах растрескавшейся земли, губы, жующие виноград на высоте над городом, и пучности выпуклых черных глаз. Или берется земля снизу: и тут округлое, влажное, потное туловище во весь экран — не поймешь, что сначала; потом прорисовывается бицепс и все тело, пружинно согбась, выколупливающее камень. Потом он же ухает с выси в шурф вниз, и стая голубей взлетает над городом — нет, то брызги искр литейных — опять взлет магмы в небо. (Подобно и в фильме Параджанова

смерть Саят-Новы в храме: слетают белые птицы, думаешь, вот голуби, умиротворяющие символы Святого Духа, принимать душу слетелись, — ан нет: оказывается, то белые петухи с красными гребешками хищно набрасываются и расклеивают белые хлопья, мягко падающие с неба, как снег, — и вот их нет, и опять небо уничтожено, расклевано, распотрошено землей.)

Или что это за ноги волосатые, платья, сгибы, — обнимая и поддерживая друг друга, люди лезут вверх? На некий холм на поклонение: открытие старинного памятника (потом узнал). Но ведь и памятника не видно, да и холм лишь раз показан на фоне неба, а долго музыка телесных натуг, безобразные хороводы взбирающихся тел — не красивых граций, а корявых, узловатых, старческих тел. Да то ведь опять восшествие земли на небо — Вавилон! Столпотворение, где тела — кирпичи. Думаешь, что здесь бы, в Армении, из пластических искусств скульптуре подобало развиваться.

И храм как показывается! В грузинском фильме часовня Мцхета висит в небе, как птица над горами, среди их крыл (ибо складки гор здесь воспринимаются как сложенные крылья). А в фильме о Саят-Нове большинство кадров — в стенах монастыря, и ни разу (не помню чтоб) не показан на фоне природы, где стоит. Ну да: тут важно чрево вещи обнажить, что внутри, а не со стороны извне посмотреть да посравнить (как это для грузина интересно). И вот стены, крыши — но без неба, а на крышах искры белые — но не птицы, а книжные страницы ветром-солнцем листаются (аналог брызгам литейных искр в «Мы»). И камни, стены, люди пред могилами в стене, где они будут замуравлены, возле своих плит. Человек — чтоб срастись с плитой, окровянить и одухотворить камень — на то его призвание в жизни на земле.

Иль город дается, машины. Но и они из-под низу, под юбку им, в пузо заглядывают, где мышцы — сочленения колес, передач, тормозов, валов карданных. И они стоят — долго, а если движутся, то совсем не скоростно, а словно пританцовывая, да и то грузены живностью — баранами (низом) иль петухами (верхом). Нет, не дает земля (= вертикаль глуби, шурф) оторваться от себя и устремиться вдаль, в путь-дорогу, но магнитно тянет, парализует центробежные усилия вразброс, опять втягивает в себя — как вот репатриантов со всех стран света, что есть узел и свод фильма: как

они длительно вгрызаются зубами, и губами, и шатунами и кривошипам рук в толщу своих тел в объятиях, поцелуях. Это та же усиленная и метафизическая священная работа, что и бурение камня в земле; родственные объятия — это труд.

Нет того, что обычно в русских картинах: даль, движение вдаль — «птица-тройка»... Нет, все статуарно, и усилия уходят не вдаль-вширь, а вниз-вверх, на распорах атлантовых небосвод держа. Народ — домкрат.

Потому и время совсем не играет роли: словно одновременно и навечно установилось в этом атлантовом напряжении земли, вздыбившейся вверх. И когда являются кадры исторической кинохроники — недаром вдруг они врываются посереде хоральной замедленной звучности ритмами опереточно прыгающими, дергаными, птичьими-поверхностными, пролетными мимо. (И ритмика старого кино совершенно музыкально использована режиссером и в идейно-духовном контрасте.)

Так называемые «приметы современности»: город, асфальт, дома, одежда, машины — в фильме проходны. Важно, что из-под них в их оболочке то же древнее Сивиллино тело, как вон старуха, улыбающаяся в пролетке, долго покачивается и улыбается весной, солнечно и молодо озарена; она — как ракоходное обращение темы образа девочки вначале, как ей контрапункт и *pendant*. А из окон машин — головы петухов и баранов — в день жертвоприношения: все равно оно блюдетсЯ, а тащат ли их руками иль на колесах — это факультативно, исторический налет.

И в музыкальной коде фильма, в последних аккордах — современный дом, но на нем, как на старинных семейных фотографиях, недвижимо стоят на балконах и смотрят вперед люди — «Мы», и за нас — Арарат. Богу-небу молитсЯ. Он весь белый, но ведь под пеленой снега и он — черная грудь, вулкан (= нарыв, прыщ, бородавка земли) — остывший.

Вообще, фильм есть киносимфония из кадров-мотивов и организован музыкально. Тут темы: главная и побочная, разработка, лейтмотивы, контрапункт, превращение тем друг в друга (как голуби — в искры-брызги, т.е. небо — в камень), вплоть до зеркальной репризы: в конце обратным порядком уплывают виды-горы, как они наплывали вначале. И опять колышется голова девочки.

Ну, а как музыка в грузинских фильмах Иоселиани? В фильме «Жил певчий дрозд» сразу меня удивил ха-

ракти, с каким в ушах героя звучит лейтмотив: ведь это же мотив арии альта из «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха, выражающий отчаяние и раскаяние апостола Петра, когда он понял, что сбылось предсказанное Учителем и он трижды предал его. Какой здесь взлет-надрыв человеческого страдания и в то же время смягченность и кротость души, принимающей предопределенность человека природой своей!

И что же? В ушах героя это звучит как легкое кроткое дуновение ветерка, слегка меланхолическое, но совсем без патетики и без страдания. Просто красивая музыка, радость души — и совсем не индивидуальной души образ.

И когда она в конце, по смерти героя, звучит, опять же ее нельзя воспринять как образ именно его индивидуальной души, ее память, — но опять как неги и дуновение ветерка, как и вначале, когда певчий дрозд сидит в травке, ее напевая-навевая.

Нет, тут не хоралу быть, но хору, мужскому, где слетаются души-орлы за пиршественный стол на высях — и начинается клекот в горле и упоение — опьянение, мистическая служба воз-духу и небу. Как разносятся озорные вскрики фальцетом, как тирольские перепады над жесткой суровой линией горных очертаний, которую вырезают, чеканят другие голоса! Ну и наш певчий дрозд оттого и любим всеми и обласкан, что он — певчий, и в любой компании желан и зван, так что от этих протянутых рук, постоянно его зацепляющих, никакого дела сделать не может, да и сам он постоянно открыт на горизонтальный зацеп с соседом, с ближним, с любим, кто оказался возле, — сразу он друг, и геннацвале, и душа любезный: легко сходятся, легко и без страданий расходятся и забывают, без заядлости обиды и глубины печали, — ибо взаимозаменяемо всё в хорошем бытии, нет индивидуальных душ, а общая, птичья, воз-духовная парит над горами.

Легкость жизни — и труда. Если в армянском фильме даже радость свиданий после вековой разлуки — есть тяжкий труд мускулов и до кровавого пота, — то здесь и работа совершается пританцовывая, играючи, и технолог винодельный в «Листопаде» подпрыгивает возле винных бочек (таков ритм его телодвижений), а в конце и вовсе на бочку взлегает; певчий дрозд работает в оркестре на литаврах и прилетает туда в тот миг, когда ему нужно клекот дробы, прыгающий танец

палочек на кожах-бурдюках исполнить, улыбнется лукаво — и опять упорхнет. И кругом все любовно и снисходительно к шалостям трудовым. И в фильме «Листопад» символичен бильярд и пианино в кабинете директора — играют во время рабочего дня.

При таком хорошем бытии всех для всех в легкой дружбе и взаимных об(в)язательствах, неизбежно снисходительно приходится смотреть на такой людской порок, как готовность прилгнуть: это просто вынужденная вежливость, ибо вас много, а я — один, а угодить надо всем, никого не обидеть. И девушки таковы — а что им поделать, если они красивы и все их приглашают? Но и тут ничего серьезного: лживость не перерастает в измену — тут субстанция женская совершенно чиста в Грузии — и обманы легкие совершаются на уровне поверхностной игры, не доходя до живого тела и нутра семьи — тут свято. Просто ЛЖИЗНЬ.

И наш певчий дрозд переходит из рук в руки — как в хороводе, менуэте, когда меняются партнерами. Но без обиды и претензий расстаются.

Вот: хоровод — таков принцип плетения грузинского фильма Иоселиани, тогда как в армянском фильме «Мы» симфоническая разработка и контрапункт суть принципы, организующие весь зрительный материал, его смену и движение.

Фильм о певчем дрозде — это панорама, фильм-обозрение, где он — связующее звено, Меркурий — вестник от круга к кругу, от среды к среде — и позволяет провести взор читателя по всем кругам — не ада, не чистилища, но скорее земного рая грузинской горы, как машина спирально поднимается. В фильме «Листопад» — хоровод дней недели: опять среда, опять воскресенье; а тут — хоровод мест, где бывает дрозд: яма оркестра, улица, спальня, ресторан, библиотека консерватории, дома знакомых, химическая лаборатория, домик часовщиков и т.д.

Легко владеют грузины землей, раскрепощены, вырвались на простор. А у армян — земля ими владеет, как суть и нутро.

Совсем иного рода символику явила мне другая пара фильмов: американский фильм «Инцидент» (режиссер Ларри Пирс) и киргизский «Небо нашего детства» (режиссер Толмуш Океев). Тут я имел возможность созерцать рядом весь диапазон бытия и истории челове-

ства: от вольной первобытной природы (горы, озера, реки, небо, стада, кочевье, первобытие людей как членов и слуг царства природы, приладившихся к ней) — до цивилизации в пределе, когда ничего живого, природного не осталось, клочка неба или земли живой не видно, а всё асфальт, стены, железные конструкции, машины, электрические огни, люди смотрят не вверх, в небо, а в туннели, где метро и мосты. И люди сами в ночи и в металле блуждают, бесприютные, неприкаянные и никчемные. Ну да: в железо-каменном каземате и оковах стали жить. Сognаны в железный мешок вагона метро и там начинают душить друг друга: стихии здесь и вулканы извергаются из человека, поскольку он один остался живое тело природы в машинности города.

В киргизском фильме человек тоже крохотность и затерянность, но среди другого царства — естества. Хотя фильм назван «Небо нашего детства», но небом здесь является земля: ее лишь видно в разновидностях гор, долин, озера, рек, в нее любовно вглядывается камера-обскура оператора городского — как в воспоминание о золотом детстве человечества, когда оно жило не среди искусства и отчуждения, а среди естества и природы = родной, — ощупывает глазом мощные костяки хребтов, упругие мускулы склонов, тугие груди холмов. По ним проносятся движения — взлеты вкось-вверх, вкось-вниз: если стадо сбегает вниз по одному склону, то за ним дается другой, что взметывает вверх. Четкая векторная геометрия линий-движений. Причем весь фильм выдержан не в Декартовой квадратно-городской системе координат (как американский), а в косоугольной: не в фигуре $+$, а в \times , соответственно разлету крыл беркута — сердцевинного персонажа фильма. В этом разлете захватывается небо и всасывается воронкообразно в землю: в долины, в Джайлау — пастбища, как само небо струями света иль лучами дождя в космическом Эросе непрерывно нисходит и вдавливается в землю. И весь фильм напоен этим Эросом, производящим жизнь: сосцы кобылиц, струи молока под струями дождя и под слезы из глаз — все смешивается в мощном аккорде = согласии сердечном (лат. *ac-cord* от *cor-cordis*, сердце).

Но вот среди этой изначальной косоугольности (недаром и глаза раскосые) и округлости (и тела кочевников округлые — животные, мясистые; волнообразный перебор и колыхание этих форм даны в картине

празднества, тоя) — возникает призрак Декартовой — кубической — системы координат. Сначала он нависает кабиной вертолета, как некое пророчество, потом — прямоугольной рамкой фотографии живущей в городе семьи, где все сидят вертикально-статуарно, прямоглядящие; и городской сын Бекташ весь пиджачно-квадратный — рядом с косо-закругленными киргизскими шапками и халатами П. Затем это — кузова самосвалов. Наконец, два геодезиста на неожиданно возникшей четко горизонтальной плоскости хребта на фоне неба восставляют перпендикуляры штативов и визируют будущую горизонталь дороги. И с этого заварился сюжет и началась смерть стойбища. Оно вынуждено откочевать: дорога его сгоняет в глубь гор. Они снимаются, прошли несколько переходов в поэзии переправ, лучистых игр света с водой, среди сказочных силуэтов деревьев, что любовно вцепляются в медленно проплывающие фигуры: не уходите, мол, ибо без вас и нам конец; среди акварельных силуэтов лошадей на фоне неба, пронизанных светом и облегчившихся так, что выглядят птицами, светотенями — идеями самих себя: словно возносятся в небо, ибо на земле они не нужны, гонимы, излишни — заменены самосвалами, а кумыс от них — разве что побаловаться хохмачам — студентам-работягам: конечно, несерьез они на это в неделю разовое питание взирают. И привезший им его в бурдюке старик-киргиз чужеродный растерянно взирает, как на их прежнем стойбище разместился поселок в вагончиках, а на их народном святилище — каменной бабе — повешено ведро, и закопчена она костром; как вместо живого беркута — высеченная из камня статуя беркута, и взирает он уже, по Декарту, державно прямо, как дороги продвигаются в горы, завладевая Кавказом иль Памиром; пьют эти работяги — быстро глотая, без медитации, как пьют киргизы из лоновидных пиал (их фигура тоже U — как силуэт киргизского Космоса¹); а эти пьют из декартово-квадратичных цилиндров — кружек.

Итак, лошади стали излишни: практически они не нужны ни как тяга, ни как корм, и все более выталкиваются в чисто эстетическую реальность, возносятся

¹ Кстати, сложенная юрта лежит на верблюде, как сложенные крылья у птицы. И у юрты форма обращенной пиалы: П.

в небо. И весь сюжет фильма — это гонение на лошадей, их выталкивание с земли в небо — в Пегасов превращение. Ну да: вот их сгоняет дорога. Несколько переходов пронеслись, как им навстречу едут прямоугольники самосвалов и машут оттуда: дальше нельзя, там взрыв будет. И только доскакали до этой линии, как взметнулся барьер-занавес взрывов, облака земные. Для лошадей это — светопреставление. Они в ужасе поворачивают назад, сметывая все, и углую цивилизацию кочевников: стулья, термосы...

Поскольку не нужны для цивилизации прямых линий правды, права и справедливости — лукавые излучины гор и округлости животных форм, то одновременно выталкиваются в небытие лошади и выравниваются горы: взрывами, туннелями нивелируют, сводят на нет горделивые личности вершин и патриархальные общины хребтов. И вот в конце открывается глазу чудо и святотатство: дыра в горе = туннель — как сквозная рана-прострел. В него вскакивают на последних лошадях дети-киргизята, летящие в школу навстречу своей судьбе.

А навстречу им действительно накатываются электрические скаты, фары и буркалы машинных чудовищ смотрят в адской иронии на это допотопное несоответствие: на лошаденках по туннелю скачут, по асфальту и белым линиям, и вылетают в конце в трубу и в дым их силуэты, испаряется прежняя природная жизнь. Эти огни мы перед тем видали во сне мальчика: они накатывались лавиной по склону, как шины-факелы, и он от них в ужасе бежал. Теперь он летит им навстречу по прямой.

Побеждает прямая дорога нового бытия. А старики уходят в горы: если малец скачет вниз, то отец его в последний раз явен взбирающимся по склону вверх, а за ним старики в эллипсах тюрбанов верхом на киргизских лошаденках уходят в Лету: лошади, мотая головами, вычерчивают синусоиду-волну = идею гор, которые суть каменное море-окиян. Волнообразно вьется тропа средь прекрасных грудей и мускулов склонов: они предстают в последний раз, в трагическом освещении, навевая пиитический ужас и прочищая душу катарсисом — состраданием.

И сюжет в людях соответствует этому основному сюжету, который призван совершиться на Земле за ее историю: сюжету меж цивилизацией и природой соот-

ветствует сюжет в Троице — между Отцом, Матерью и Сыном. Отец, прозевав старших детей и не чуя еще беды старому быту, отпустил их в город, но за последнего, младшего, цепляется, ибо почуял, что конец пришел: некому будет пасти стада, некому уметь доить, ловить, лечить коней. Все покидают горы природы для города, который есть искусственные горы. Но за соломинку цепляется. Младший сын уже крепок в тяге в школу и квадраты, крепыш. И когда настала пора ехать в школу, отец плетью хлещет мать, что согласна пустить сына, а сын отца обухом — дубиной хрясть! Вот он, архетип: Эдипов комплекс выплыл трансцендентной рыбой-идеей из глубины моря-окияна гор.

Но тяжка эта брань, и души отца, сына, матери мечутся в колебаниях, как кони, — туда и сюда! Да: смятение и перегоны-всполохи коней — это откровенье того, что совершается в Психее киргизского народа. Ибо с конем у киргиза самоуподобление. Недаром и непокорному мальчику аналог и метафора — стреножение непокорного жеребенка. Но она здесь не тянет, ибо идет от эпико-патриархальной поэтики, когда батыр сравнивался с тулпаром (скакуном), а здесь и поэтике этой конец, и сын-крепыш скорее уподобляем самосвалу: как он сам сваливает отца. А тот уже в полусиле, как беркут, оставляемый им на прежнем джайлау. Тот уж сам ручной и не может летать, а лишь ковылять и тянется за хозяином. Недаром старик отец так долго в него вглядывается, как себе в душу. Уж и не орел он, и не тулпар.

Ну, а в американском «Инциденте» что национального? Не есть ли это просто картина современной машинной бес-человеческой цивилизации с ее визгом-лязгом и скрежетом шестерне-зубовным? Попробуем поковыряться...

Во-первых, вагон метро, куда иммигрируют на срок общей жизни люди разных прошлых и судеб, — это ковчег, чрево кита Моби Дика, Левиафана, куда угораздило человека Иону на трое суток космических быть проглочену, безвыходно и без продыху. Тут иная метафизика, космогония и мифология, нежели в Космо-Психо-Логосе гор и степей киргизском. Действительно: в последний вагон метро, как в Америку — Новый Свет, стекаются иммигранты: одиночки и одиночные семьи-секты-общины. Что у них между собой

общего? Только то, что на этой земле оказались, а не родились: не природна она им, нет с нею исконно растительной связи, как у других народов, что к родине-земле приросли телом и душой. Они здесь как матросы-наемники на корабле в «Моби Дике», но крепко всажены на неопределенный срок, которого хватит на жизнь и смерть каждому. Вот и пассажиры здесь переживают жизнь, и каждый глядит в лицо своей смерти, и перед этим *tememento mori* вскрывается, взывается психея каждого в некоем исповедании своего жизненного credo.

Но соборность общества с бору по сосенке, а не его вырастание лесом — роковым образом сказывается в разобщении индивидов и семей: хоть их много, но они не могут объединиться против стихийного бедствия двух мальчиков — бандитов от беспомощности, от неупругости окружающей среды, которая б им определила их место. Они алчут его, покоя. Они умоляют этих респектабельных людей: укажите нам место и путь. Они дразнят их, выводят из себя, чтоб вызвать из них им указ и определение, пробудить на некую общую заинтересованность — хотя бы им самим в отпор и смерть, — но чтоб увидеть хоть раз, хоть перед смертью, проявление истинной человеческой души, ее сияние, — они провоцируют. В издевательствах, которыми они подвергают, унижают, хлещут этих людей-рабов, — они хоть и бесы, но выступают как орудие кары Господней, казней египетских, что на человеческий вертеп, на Содом и Гоморру насылаются. И кстати, ветхозаветность, библейское, а не христианское исповедание тоже существенно для Соединенных Штатов Америки, как и для Англии. Да, общество в вагоне — это именно сборная солянка, соединенные штаты (человеческие ведомства), но не естественно выросшее единство на-рода. И это основная ламинтация американских идеологов: слабость в американском обществе чувства единой целостности, общей судьбы.

Потому это общество, не будучи семьей, беззащитно против внутренней порчи, не может дать отпор язве хулиганства и бандитизма. Это — кара за продажу души удобствам *establishment'a* и общества потребления, за бездуховность и насилие над природой.

Ну да: если киргизы в общем покидают горы и долины и переселяются вниз, в степи и равнины, оставляя природу самой по себе, а город — сам по себе, то в

Америке пришельцы — конкистадоры-иммигранты именно насели на природу чужой им, не родной и не любимой земли, стали ее покрывать, насиловать, испепелять, выветривать, заражая воды и воздух. И природа мстит: взрывом в душах человек, оставшихся единственной живой природой в машинных казематах городов. Хулиганство двух детей-младчиков — истерическое, надсадное, отчаянное, с мольбой о выходе — это именно стихийное бедствие, извержение вулкана человеческой души, изувеченной Психеи. И когда наконец выдоили из человек-рабов воскресение души, когда салага с перевязанной рукой вступился за девочку и вышел на двух хулиганов с финками и когда распластался на полу вагона первый, а второй завизжал, как бесноватый, — будто от облегчения, что у него наконец его черную душу, что мучила его, выпустили вон, — какое успокоение и разрешение у первого: крестообразно раскинувшись, он лежит, как распятый за грехи общие.

Но единичен отпор и героизм: одиночка, как Мартин Иден, выходит на поединок. Не общее это дело, а общ пока лишь стыд: всеми разделяем он пассажирами, когда они переступали через два тела, покидая ковчег вагона. И вопрос: когда перестанут чувствовать себя в американской жизни не пассажирами-иммигрантами, а ответственной общностью — семьей?.. Но общий стыд — уже есть нечто и поддела для рождения общей чистой души Психеи.

Декабрь 1971 г.

КОСМОСОФИЯ ГРУЗИИ

27.III.84 г. В е д у щ и й. Сюда уместно приложить рассказ о моем втором вхождении в грузинский Космос. Это — выступление на «круглом столе» по современной грузинской прозе в Пицунде 4 декабря 1983 г.

Космософия — это «мудрость Космоса». Что это значит? Это значит, что Природа, в которой живет Народ, есть не просто вещество, «территория» ему, а есть некий завет, некий смысл, скрижали завета, которые нужно народу рассчитать и понять. Понимает он в процессе всей своей истории. И вот три с половиной года назад я сделал свое интеллектуальное путешествие в Грузию. То есть сначала обложился книгами, читал несколько месяцев, потом, по любезности Отара Филимоновича Нодия, приехал в Грузию с дочерью как странствующий космограф, общался, спрашивал, видел, думал, писал. И вот в результате у меня образовался текст книги: «Грузинский Космо-Психо-Логос». Ее резюме и изложу тут.

Главная интуиция — это г о р ы. Грузия прищиплена горами; горы — это спасение (оборона) и казнь Грузии. Потому что горы, во-первых, отняли полнеба. Во всем мире Небо — это Отец, архетип Отца, Бог Отец, а земля — Мать. В Грузии ж горами земля вздыбилась на небо и отняла ббольшую часть его¹. И собственно, поэтому и в культуре: когда я анализировал национальный образ божества, я понял, что из христианской Троицы в Грузии Отец слабо чувствуется, верх берут другие ипостаси.

Далее: горы — это неизменность, недвижность. И это — твердь. Одно дело, допустим, русский космос: мать-сыра земля. Она мягка, сдобна, рассыпчата, как тело человека. Человек вообще — срединное существо

¹ Ай-ай-ай! Выше это же говорилось про армянство... — В е д у щ и й. 17.VIII.87 г.

между небом и землей. Поэтому он всегда себя моделирует между ними. У равнинного народа таким архетипом — братом человека по срединности — является *д е р е в о*. И модель Мирового Древа руководяща в Логосе равнинных народов, так же как животные — в космосе пустынь, кочевья (Конь, Верблюд и др.). Здесь же аналогичную роль играют *горы*. В Грузии действительно модель Мирового Древа — ее замещают Горы.

Далее: дерево мягко, растет, умирает. Над ним властна смена времен года, оно несет в себе идею изменения. Горы ж — неизменны. Идея *круговорота*, облегчающая существование и понимание (надежда, выход), здесь не так действует. В космосе Грузии все остается, пребывает, потому что некуда деваться: камениста почва. Остается и добро и зло, грехи. Космос *совести*.

Сравните равнинный народ, Россию например. Это же космос переселения: нагрешил здесь — переехал туда, никто тебя не знает — и все списано. Потому Достоевский и мог задаться метафизическим вопросом: если бы вот ты там, на Луне, нагрешил, а живешь здесь и никто об этом не знает — каково б тебе было? В России это решается просто: а ничего б не было. Ну, не для всех, конечно. Но сколько мы имеем случаев: нагрешил где-то на Дальнем Востоке, а потом живет себе в Центральной России и возделывает на пенсии свой вольтеровский садик.

В Грузии такое невозможно. Человеку некуда деться. Ему жить там же, где и грех совершил, — всему здесь и память. Значит, тут какой выход? Во-первых, в человеке неизбежно развивается сознание вины, раз ее некуда расплескать. Помните «колодец совести» царя Азта в романе Отара Чиладзе «Шел по дороге человек»? Как царь опускает туда бечеву и чувствует, что там колхи, которых он изгнал. Все отразится — и с этим надо считаться.

Равнинные народы могут быть беспамятны: рвется традиция через переселение или кочевье, напряжение греха ослабляется. Я не вижу убийцу отца — он переехал, а я переселился. И дело с концом. Ни у него нет долга совести, ни у меня нет долга отмщения. А в горах — вендетта. Никуда не девается добро и зло, действует их накопленная энергия. Но зато тут и *милость прощения* требуется. А также — *юмор*, ослаб-

ляющий напряжение на месте... Это очень хорошо видно в повестях и рассказах молодого прозаика Годердзи Чохели. В его «Гудамакарских рассказах» все проблемы Бытия — в одной деревне. Нужно провести между, чтобы по ту сторону поселить нагрешивших, а здесь чистых оставить. В общем, разворачивается своя книга Бытия и мифологема мировой истории.

Так вот: о милости и прощении. Я вспоминаю, как Алик Гегечкори показывал мне семейную фотографию 1936 г., на которой изображен и Георгий Димитров: «Вот мы, наша семья. А вот, видишь, этот старик осанистый — это убийца Ильи Чавчавадзе». Этот человек 30 лет спустя покаялся сам, и он благодаря покаянию¹ имеет права. Поразительная нравственность. Но, с другой стороны, грузин вне Грузии может утратить удерж и стать гением бессовестности...

В этом космосе камня единственно трепетное, живое — это человек. Поэтому на него особо ложится эта нагрузка чувствительности, изменения. Грузины вообще — очень хрупкие и чувствительные сосуды. Это не всегда чувствуется, понимается, ибо они забронированы ритуалами, воспитанностью своей родовой, системой общения, выработанной веками, за которой легко прятать свою суть. До нее трудно добраться. В отличие от русского, который готов душу свою распахнуть, грузин — нет.

У меня, простите, такая ассоциация: грузин как то хачапури, что подают в погребке на проспекте Руставели. Что собой представляет это блюдо? Твердь лепешки, крепость лепешки — с жизнью внутри: яйцо в сыре плавает, как озеро в берегах. И все искусство — так есть эту ватрушку, чтоб обламывать стены городские из хлеба и макать эти кирпичи в гущу жизни внутри, умудрясь не расплескать, не вылить жизнь наружу, надрезав брешь, проход, туннель. Так и Грузия: тоже не само-держига, а народом держится, как стенами, имеет стыд и уклад, ориентирована на суд и взгляд со стороны рода и села и памяти из прошлого. Грузин тоже есть хачапури: жизнь души в стенах крепости: одет, вышколен, глядит воинственно, а в душе чувствителен, даже плаксив. Моя дочь поразилась, как непрерывно плачут витязи в поэме Рус-

¹ Фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе об этом... — В е-
д у щ и й. 17.VIII.87 г.

тавели. И если вспомнить стих Лермонтова «Бежали робкие грузины», то тут, увы, даже наш любитель Кавказа, по русской, равнинной модели «поля Бородина» храбрость вообще оценивает. Но ведь они не «бежали», а скрывались в горы, которые — стены их дома-то и космос, и помогают.

В истории Грузии невольно обращаешь внимание на прозвища: Давид *Строитель*, Димитрий II *Самопожертвователь*. Потрясающая эта история: когда Димитрий во избежание вторжения монголов сам поехал к хану и был казнен. Про это есть и поэма Ильи Чавчавадзе. Внешняя, политическая история Грузии сама по себе однообразна: расширились — сузились, снова расширились — опять какие-то земли потеряли. Не в этом смысл истории здесь. А в накоплении нравственных, этических ценностей, которые создавались в этом шевелении. Собственно, расширение Грузии при царице Тамаре, быть может, и совершилось главным образом для того, чтобы была создана Библия грузинства = поэма Руставели. Ценности Грузии в другой колодез складываются: нравственно-художественной памяти. Идея величия Грузии чужда. Тут — Строитель, Самопожертвователь, Георгий *Блистательный*: «блеск» — красота, эстетическая категория. Этика и эстетика, категории невоинственные, несолдатские, — здесь в почете. А если и воинские категории чтутся, то ценна тут не победа любой ценой, а нравственное поведение в битве. Честь важнее славы и победы, достигнутой коварством. В Грузии цель не оправдывает средства.

Как видите, я все время докапываюсь до Логоса, до неких ценностных ориентиров, которые у каждого народа свои. В Грузии средства важнее цели, ибо внешней цели, собственно, и нет: некуда развиваться (по территории), стремиться. К чему? К расширению земель? К величию, славе? К мировой политике? К власти над соседями?.. Но Грузии извечно даны: ее земля, горы, Космос; ей не расширяться, а сохраняться надо, расти не в ширь геополитическую, а в глубь экзистенциальную. Такова, я чувствую, «энтелехия» народа, целевая причина, его призвание. Тут нет цели, но есть Целое. Его себе сохранять, осваивать — вот это задача. Потому тут — самоудовлетворение. Космос самодостаточности. Фаустовское стремление к эфемерному идеалу, чем так гордится «германский гений», тут чуждо. Эта стремительность опасна уничтожением народа и

природы как основных живых ценностей. Или русское стремление: все переделать, все переменить, начать сначала! Для этого здесь есть космо-психический шанс: простор дает возможность уйти отсюда («от самой от себя у-бе-гу!») и где-то начать новую жизнь. Тут же переделать все на новый лад — равносильно самоуничтожению, самовыкорчевыванию. И потому нравственный герой Дата Туташиа в итоге приходит к принципу Дао, недеяния, воздержания от всяческого действия, ибо у него все хуже получается в итоге.

И вот к такому я подхожу предуразумению. Есть три варианта Абсолюта: Истина, Высшее Благо (Добро), Красота. Так вот: для Грузии именно **К р а с о т а** есть та ипостась Абсолюта, которая наиболее реализуема. Сюда устремляется духовный потенциал нации. И именно потому, что Красота есть чувственный и конечный вариант Абсолюта, дух тут воплощен, телесен. Чистая спиритуальность, рассудочность — это не внемлется грузином. Недаром и в философии за своего приняли именно Дионисия Ареопагита, христианского неоплатоника, кто в сочинении своем «О небесной иерархии» божество представил многоярусно — как *гору*. Идея *бесконечности* чужда здешнему Космо-Психо-Логосу.

Тут — оком всего. Небо могло бы быть образом бесконечности, но ведь оно уловлено зубчатостью гор. Море могло бы быть таким образом бесконечности для приморской Грузии, Абхазии (кстати, если посмотреть по карте, Абхазия и Грузия находятся в перпендикулярном друг к другу отношении, как в электромагнитной волне, и они создают особый сюжет грузинской истории). Так вот: море могло бы стать образом бесконечности для приморской Грузии и Абхазии; но последняя чувствует себя скорее как Колхиду, место *прибытия*, берег, *конец* странствия тех же аргонавтов, *приход* к цели, осуществление, свершение.

Если для русского пространства-времени, как я чувствую, архетипы — это *берег, порог* и *канун*, причем *берег* не как *приплытие*, а, наоборот, как *отплытие*; *порог* — не как *приход*, а как *выход* из дома в путь-дорогу (ибо место Абсолюта на Руси — в Дали, и Бог — *вдали*, а не *наверху*¹); и *канун*: душа русского вечно

¹ Хотя по пословице: «до Бога — высоко, до царя — далеко», но понятие царя здесь потеснило Бога — отчасти и потому, что архетип дали здесь интимнее *выси*.

накануне, в ожидании главного события и разрешения всех мучительных проблем, она эсхатологична, а символическим изображением ее может служить геометрический «луч», однонаправленная бесконечность: $\rightarrow \infty$ то в Грузии мы имеем скорее пункт прихода Бытия к своему осуществлению, к цели, свершению. Тут пункт п р и - б ы т и я, при-сутствия. Тогда как на Руси вечный ток вдаль, от-сюда куда-то. Психо-Космос *от-бытия*. Вечная неудовлетворенность. «Не-присебейность». А в Грузии — самодостаточность.

Теперь перехожу к грузинскому Логосу поближе — и прямо упираюсь в Логос застолья. *Тамадизм* — философия застолья. То, что совершается за грузинским пиршественным столом, — это совсем не просто насыщение. Это национальная литургия, домашняя церковь. Тамада — это первосвященник. На столе распластана сама Грузия, ее плоды. Происходит таинство пресуществления материи в дух, в Логос — речами, великолепными речами. Застольный Логос Грузии продолжает, конечно, традицию Платона: «Пир» — «симпозиум», когда происходило это же пресуществление вещества в дух. В тамадизме происходит Евхаристия «Цискхари» — «Дверь в небо», как назвал свой журнал Илья Чавчавадзе. В застолье непрерывно пробивается материя к духу. Раскрывается эта дверь.

Что происходит в застолье? Речи — беспардонное ласкательство. Гиперболическое восхищение. Это тип слова безусловно восточный, не христианский: не подобают человеку такие похвалы. Человек-гость тут играет роль одновременно и агнца жертвенного, и бога. Земной бог! — и каждый поочередно в этой роли выступает. О дурных качествах умалчивают. Человеку преподносится возможный идеал, икона его самого, как бы платоновская идея тебя в наилучшем твоём виде. И, получив такое в речах, в застолье, человек и в будни как-то будет подтягиваться, стараться соответствовать этому идеалу.

Русское застолье имеет совершенно иной вектор. Когда собираемся мы, если мало, — так начинается тяга к покаянию, биению себя в грудь, к исповеданию. Если грузинское застолье — это «аллилуйя» = «хвалите Господа», то русское застолье — это «Господи помилуй!», печалование, покаяние, биение себя в грудь со слезьми. Но это еще вопрос: что лучше воспитывает человека? Говорить ли ему, что он хороший, как гово-

рит Грузия; — или говорить себе, что я плохой, а другой бы меня утешал и говорил бы: «Ну, не совсем уж ты такой плохой, Гоша, ты еще не знаешь, какой я мерзкий бываю!» — и так мы взаимно поочистимся?..

Грузинский Логос моделью своей имеет *тост*, слово застолья. Это совершенно очевидно в грузинской поэзии. Но так оно и в философском умозрении. Я с большим наслаждением хаживал на лекции Мамардашвили, грузинского философа. Это действительно философ-тамада: он держит перед очами ума некую идею, как икону, и описывает ее так витиевато, красиво, артистически, ходя кругами в слове, применяя все изощрения диалектики. В Москве двух я таких разных противифилософов слушал: Библера и Мамардашвили. И так себе я сформулировал: у одного — талмудизм, у другого — тамадизм.

В философской традиции две главные матки: Платон и Кант. Кант — это рассудочная аналитика, диалектика; Платон — это умозрение. Грузинский Логос склонен к платонизму, умозрению.

Теперь я начну заход к Логосу с другого конца — с языка. Я был поражен в грузинском языке такой категорией глагола, как «кцеба», т.е. «версия». Я немного изучал грузинский и был удивлен в языке субъектно-объектной формой глагола. Это значит, что не просто «пишу», не просто «я пишу», но «я пишу лекцию для тебя». Особая форма, которая учитывает косвенный объект: «пишу тебе», «шью платье — для тебя». Здесь воплощена идея *взаимности* и возврата. Субъект зависит от объекта. Это есть хоровой, общинный Логос. И в этом мне увиделось что-то очень философически важное. То, что резко разрубил европеизм: «Я» и «Не-Я», субъект и объект, и никак из этой оппозиции не может выйти, — здесь же гармония и имеется способ мыслить Единство Целого. Это подтверждает ту мою интуицию, что грузинство располагается как бы в Бытии, в центре Целого, в Космосе совершенства, и поэтому никуда не торопится от себя: переходить и трансцендировать...

Еще это и в такой черте грузинского глагола, как его *полиперсонализм*, т.е. многоличность, — сказывается. Не просто множественное число «мы», где снивелированы всякие «я», «ты», «он», — а встречаемость лиц и душ в одном действии, их взаимосоотнесенность, увязка. Такое многоличие глагола должно иметь глубо-

кие субстанциальные корни в национальной сути грузинства и образует важнейшую черту Логоса. Нет такой жесткой, резкой тяги у грузина обособиться в чистый субъект, стать личностью, стать абсолютно свободной личностью.

Это, между прочим, важнейший момент для прозы и мышления. Главный вопрос для Грузии — развитие личности, а отсюда — и личностного сознания и рефлексии, чем и рождается проза. Я вижу, что здесь нет европейской тяги стать абсолютно свободной личностью, потому что личность грузина связана с родом; и самый свободный из известных мне образов, Дата Туташхиа, весь — в перекрестных отношениях, считаниях, ориентировках на людей: как бы не принести зло своим, пусть и нравственным вмешательством в ситуацию, которая всегда ведь многоперсональна, неучитываемая в своих причинах и последствиях, но каждая ситуация хороша по составу и сути, так что лучше и не вмешиваться...

Хочу обратить внимание на *отсутствие рогов* в грузинском языке. Что это значит? Дело лингвиста и науки — как это появилось. Но *что бы* это могло значить? — дело мыслителя. Еще и в английском языке, мы знаем, стерты историей родовые различия: нет ведь ярого Эроса в космосе Англии — андрогинен Альбион. Например, в семитских языках, в древнееврейском, например, столь резкое расчленение всего поля языка на полы, что и глагол весь генитален, — мощен тут Эрос и противостояние полов. И у арабов, турок, персов, вообще в зоне ислама и иудаизма, — резко означены мужская и женская половина, огромная разность потенциалов, ярое влечение.

В Грузии ж, в сравнении с ними более суровой и аскетичной по природе, где горы, камень, снег, — Эрос не ярок. И не случайно *Дружба тут первее Любви*. «Витязь в тигровой шкуре» — ведь это есть не поэма войны, как «Илиада», не поэма любви-страсти, как восточная «Лейла и Меджнун»; это, конечно, эпопея Дружбы. Или, например, повесть Казбеги «Хевисбери Гоча». Там обратный случай: герой, который возлюбил невесту своего друга, оказался преступен, и грешен, и отлучен, потому что он любовь предпочел дружбе. А в «Витязе» недаром Таризлу, сыну условного Индостана, придано свойство «меджнуна» (= «исступленного», «неистового», «одержимого»). Это он безумен и юро-

див от нестерпимой любви к женщине, любви метафизической. А вот наш Автандил, сын условной Аравии, а по сути страны христианской, более северной, как Грузия, — он «меджнун» не от страсти к женщине, а от страсти к другу. Любовь же его к Тинатин — более покойная, разумная, как и ее к нему. Она скорее — сестра ему: не по внешнему положению, а по сути их отношений, не пылких.

Откуда же это? И как связано с Космосом Кавказа? Чтобы понять это, вникал в символику стихотворений Важи Пшавелы. Вот «Гора и долина». Естественно, гора выступает как мужское начало:

Но взгляни в долину, на дорожки,
На сады, что зреют впереди, —
Это ль не жемчужные застёжки
На расшитой золотом груди?

Я уж пишу карандашиком себе на полях заметку: «муж.-жен.», — имея в виду половую парность, брачную: Гора = муж, Долина = жена: тут низ, и лоно, и даже грудь под лифом застёжек жемчужных. И вдруг:

Не тебе ль *сестра* (!) она родная —
Та долина, полная плодов?

Значит — не жена, не возлюбленная, а сестра. То есть не прямо противоположное, не полярность, а некая скошенность вбок, умягченность Эроса. Не лют он тут и рьян, как где прямопротивостояние. Даже графически это можно изобразить. Допустим, если в Космосе ислама, в Аравии, где земля = равнина, прямолинейно-молнийный Эрос между Небом-Отцом и Землей-Матерью, перпендикуляр, — то в Грузии по скатам гор получается некая всемоделирующая *наклонная плоскость*. Так что здесь Эрос мягче, ослабленней. Кстати, и лицом и статью грузинка сходнее с мужчиной: горбоноса и сухощава, не разнеженно-колышущаяся ее плоть, как широкие бедра и осиная талия персиянок или индианок, жриц чувственности. Подруга она, ум мужу и воля, как Тинатин Автандилу. Энергична, как властная, мужеподобная Дареджан в одноименном рассказе Пшавелы.

Так что если в послании Иоанна «Бог есть Любовь», то для Грузии надо переформулировать: «Бог есть Дружба». В «Витязе в тигровой шкуре» что происходит? Ав-

тандил-полководец во время отечественной войны покидает войско, действует как предатель родины и едет исполнять любопытную волю своей возлюбленной Тина-тин: узнать, что это за странный витязь там? Долг побратимства и дружбы превышает для него и отношения любви, и интерес политики. Императив Дружбы и побратимства здесь абсолютный, категорический. Об этом свидетельствует и поэма Важи Пшавелы «Гость и хозяин», где Хозяин идет против всего своего села на бой и защищает врага своего народа и убийцу своего брата — только потому, что тот в ночи, неузнанный, попросил приюта у очага и принят под кров Дома его.

Если для Запада есть такая формула: «Платон мне друг, но Истина — мне более подруга», то для Грузии это не действует. Друг дороже Истины. То же самое, кстати, и Достоевский говорил: «Если бы так случилось, что истина разошлась с Христом, я предпочел бы остаться с Христом, нежели с истиной» (примерно, по памяти передаю мысль).

Горы есть также основа грузинского *Этоса*. *Горное право* — что это значит?

У Акакия Церетели прочел: он, княжич, был отдан в детстве не просто крестьянской кормилице на грудь (это и русские баре делали), но прямо в семью крестьянки и до шести лет рос там. Князь воспитывался в крестьянской семье! И он говорил, что «обычай отдавать детей на воспитание в семью крестьянки-кормилицы издавна повелся в Грузии: царские дети и дети владетельных князей воспитывались в семьях эриставов», эриставы — в семьях дворян и т.д. Возникали молочно-побратимские узы.

И вот тут мне видится закон *обратной связи*. Гора (= князь) добровольно идет вниз на поклон в долину, склоняется на смирение-отождествление-породнение с ней, с низами общества, с народом простым, — тем, что самое свое дорогое, наследника, доверяет долине, народу, женщине-кормилице, Матери-Земле: на наполнение соками и смыслами вещими. А потом, когда подымается вверх княжич и становится властителем, он уже никогда не будет жесток к народу, ибо там его молочные братья и сестры, побратимы, и узы эти сильнее даже родственных в Грузии. А в равнинной стране как? Здесь действует естественная тяга ее Космоса к поравнению всего, к нивелировке, к смешительному упрощению. И для того, чтобы возникло здесь творчество

культуры, цивилизации, — Истории необходимо искусственно создавать разность потенциалов, сословные перегородки, барьеры. Тут История воздвигает каскады, на равнине Космоса строит горы социальные, духовные: чтоб возжизнить склонную ко сну и энтропии Природу, чтоб возникла напряженность сигово-магнитного поля в духе: надо вызвать искусственно динамизм страстей, яростей, что утепляет Космос. В Грузии совсем иное: самой природой, естественными условиями хребтов все партикуляризовано в ее Космосе. Противовесное Космосу движение Истории должно быть направлено на склеивание сословий в общей жизни, Психее, преданиях, обычаях. Русские дворяне, например, даже добровольно чужеземное иго французского языка приняли — для разговора в свете, лишь бы от народа своего отъединиться-различиться. Как у физика-атомщика Ферми — это «уровни энергетических состояний».

И тут важный закон всеобщей Истории нащупывается: вектор (направленность) Социума (тип граждански-общественного устройства), его строительства и склада, не просто гармоничен и в резонансе с национальной Природой, но направлен и дополнительно к ней: противоположно к строю местной природы, складу Космоса образуется.

Еще я хотел сказать, что горы также блюдают *права меньшинств*: ведь непрерывны войны в истории Грузии, а в каждой долине — особый народ... В войнах что происходит? Умыкают стада, но не вырезают население и не переселяются на земли побежденных. Вот и в поэме «Гость и хозяин» тоже умыкают стада, но земли остаются. И в сказке «Цветок Эжвана»: муж и красавица попадают в чужое царство, выполняют там все задания, и им, собственно, царство достается. Казалось бы: жить-поживать да добра наживать. А они — пошли к себе домой. Не надо им чужого, не жизненное это им, грузинам, пространство, как бы злочно ни было оно, а у них пусть и горно, и трудно, и каменисто...

Горы доставляют и эстетическую модель. Есть такой термин: «гадавардия» у Тициана Табидзе. Это — «очертя голову». Так поэт обозначил вдохновение: как каскад.

Я вот так же, очертя голову, бросился на познание Космоса Грузии: не сломить бы! — но надеюсь на ваше великодушие.

Записал 12.III.84 г.

А теперь осмелюсь предложить резюме некоторых из своих описаний национальных культурных целостностей Западного региона. Это — «дайджесты» целых книг (но когда-то я их успею ввести в обиход культуры — при наших-то темпах издания?!), и потому стиль будет телеграфным.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ОБРАЗ МИРА

Это — духовное путешествие в Италию: припоминая все, что мне за жизнь стало ведомо об Италии и Риме, собрав все это в узел и в ходе сравнения с соседними народами — Францией, Германией, Элладой, а также с Россией, я как бы вытесываю статую итальянского Космо-Психо-Логоса. Характерные свойства итальянского образа мира добываются и из анализа итальянской природы и языка, типа жилищ и пищи, из рассмотрения «Божественной комедии» Данте и механики Галилея, типа мелодики у Верди, из искусства Возрождения, из современного итальянского кино (Феллини, Антониони), из сравнения религиозных идей Франциска Ассизского и Иоакима Флорского с официальным католицизмом и папизмом и т.д. Широко используются и путешествия по Италии: германца Гёте, французов Стендаля и Тэна, русских Гоголя и Горького. Поскольку национальный образ мира трактуется как диктат местной природы, а она малоизменна исторически, то Рим и Италия, несмотря на этническую и историческую разность, осмысляются как единый тип.

Общая схема итальянского Космо-Психо-Логоса будет выглядеть примерно так. Это космос дискретности и сияющей пустоты вокруг сбитого, неделимого атома-камня. Дискретность, отчетливость бытия выражается и в *marcato* и *staccato* в музыке, и в чеканке Челлини, и в том, что здесь четкий рисунок вместо красочного расплывающегося пятна французской акварели, и в том, что макаронаты здесь национальное блюдо: макаронаты = волна, змея, ее казнят, перекусывают, так что съедение макарон есть некая каждодневная литургия, осуществ-

ляемая итальянским народом: тут совершается жертвоприношение непрерывности, ее пресуществление в дискретность.

Атом в пустоте — это и в атомизме Лукреция, и в том, что Данте «сам себе партия», и в свободном падении Галилея, игнорируя трение, то есть бытие посредничающих стихий: воды и воздуха, — тогда как в тоже средиземноморском космосе Эллады во всем важна медиация, посредство (здесь же — непосредственность): средний термин силлогизма хотя бы припомним. Здесь же из стихий первопочтенны: огонь как свет («сияющая пустота») и плотная земля как камень; отсюда и человек тут понят как homo от humus — земля, и престол здесь Петра = «камня», по-гречески. Воды нет в итальянской живописи: не увидишь ее в застенных, заоконных пейзажах картин Возрождения: ее в камень тут прячут — замуровывают (= акведук — «водо-вод»!), как Аиду. А воздух тут стоячий (очистительных ветров — сих божеств северных пространств — здесь нет): миазмы, испарения, чума... Лишь свет и камень надежны.

Этот принцип: атом и пустота — находим и в методе «неделимых» Кавальери, который есть итальянский предтеча математического анализа, тогда как у англичанина Ньютона аналогичную роль играет метод «флюксий» = «плывущих»: стихия воды здесь прообраз. О том же говорит и идея Маскерони: геометрия лишь посредством циркуля, без линейки — то есть точки = атомы в пустоте определяет, не связуя их. И в итальянской живописи Гёте удивлялся тому, что сюжет тут — самое слабое место. Ну да: сюжет = связь, а здесь каждое тело самоцельно выпирает. И композиция произведения скорее внешне архитектурна, нежели внутренне характерна.

Отсюда — развитость именно пластических искусств: архитектура, скульптура, чеканка, живопись. Человек уподобляет себя не растению-древу (обитателю посреднических стихий воды и воздуха), но кинетическому животному и камню: волчица Ромула и Рема, звери в 1-й песни «Ада». И глаза тут не озерно-светоносны, как у северян, но непрозрачные, как драгоценные камни, бархатистые, как шерстка животных. Лес же здесь чужероден, кошмар: у Данте исходно противопоставление: «прямая дорога» (*diritta via*, ср.: *via romana* — римская дорога) и «темный лес» (*selva*

oscura). Лес в итальянском космосе есть инакомыслие германо-славянское (а как роден там лес и любимое дерево! — ср.: идиллия «Шелест леса» в «Зигфриде» Вагнера). Лес тут — ересь. И латинские буквы, в отличие от готических = германских, ветвисто-древесных, — отчетливо архитектурно-скульптурны, каменны. Гёте поразились отсутствию почек на растениях, то есть нет движения как внутреннего изменения; тут движение кинетическое, внешнее. Пространство важнее Времени. В вечнозеленом космосе идея вечности, как нигде, крепка (Рим — «вечный город»).

Тут космос статуарности и опускания. Символические фигуры — колонна (вертикаль важнее горизонтали: шири-дали) и арка: падая, она укрепляет самое себя. Статуарность — в том, что «комната» по-итальянски — stanza — то есть «стоянка» (а не logement — «лежанка», как по-французски), и стихи — «стансы», и «как живешь?» по-итальянски — come sta? — буквально «как стоишь?», тогда как в -ургийном космосе англосаксов, где человек — self-made = «самосделанный», тот же вопрос: how do you do? — то есть «как делаешь?», а по-французски: comment ça va? — то есть «как идется?» (то же и по-немецки: wie geht's). В картинах — даже у эфирного Боттичелли икры ног Венеры грузноваты сравнительно с бедрами, а в глазах не читается тяга вдаль (нет германского Sehnsucht — тяги dahin¹, dahin!), но успокоенность и завершенность.

Космос опускания (купола = тверди неба на земле) прочитывается и в открытии и совершенстве здесь архитектурной формы купола, и в арке, и в нисходящих дифтонгах, преобладающих в итальянской фонетике: io, ua, и в теории свободного падения у Галилея, и в типе мелодики итальянских песен и арий, которые, как правило, начинаются с вершины и ниспадают секвенциями («Санта Лучия», например, или тема неаполитанской тарантеллы и проч.), тогда как в немецкой мелодике тема обычно восходит, вырастает по модели древа (ср. аналогичные по содержанию: предсмертный дуэт Аиды и Радамеса у Верди и сцену смерти Изольды у Вагнера). Круги Данте = уровни Ферми — везде архитектурно-этажный подход, способ видеть. Гёте обратил внимание на то, что возносящаяся мадонна на картине Тициана смотрит не вверх, на небо, но вниз. Итальянская ма-

¹ Туда (нем.)

донна — это тебе не Великая Мать(я) Востока, не Гея, рождающая даже Урана — Небо, не Кибела, не Богомать(я), но меньше она гораздо масштабом: она — мать Сына (*filioque* = «и Сына» — католицизма), оземнена, очеловечена — как *matrma mia*.

И в психике итальянцев все отмечают кинетическое и без задержек выражение в поступке и слове — того, что в душе и на уме. Гёте не устает удивляться, что жизнь не спрятана в помещение *Haus'a* (дома), в *Innere* (внутреннее) и *Tiefe* (глубь) — то всё специфически германские параметры — каждого человека, но протекает открыто и публично, вынесена под небо и проявляется не в рефлексии переживаний и намерений, но прямо в действиях, брани и болтовне... Фамильярность здесь — с открытым пространством.

АНГЛИЙСКИЙ ОБРАЗ МИРА

— вырисовывался в ходе междисциплинарного исследования «Связь механики Ньютона с гуманитарной культурой Англии», которое я проделывал в 70-е годы в стенах Института истории естествознания и техники АН СССР. Когда на науку взглянешь не только как на сумму идей, теорий и опытов, но как на научную ЛИТЕРАТУРУ, а тексты естествознания подвергнешь филологическому и эстетическому анализу (так что такая работа вполне в профиле литературоведения) — обнаруживается, что и здесь сказывается принадлежность даже самого абстрактного мыслителя к той или иной национальной культурной целостности.

— Но ведь весь пафос науки как раз в том, чтобы создать такое знание, объективное и общезначимое, которое б не зависело ни от человека, его личности и чувств (Декарт для этого поставил вопрос о методе), ни от места и времени, а значит, очищенное от национальных особенностей.

— Верно, и эта сверхзадача науки — прекрасна. Но реализуется-то она в разнообразных контекстах: эпохи, страны, класса, личности и проч., которые сказываются и в выборе предметов и проблем; в тенденциях так или иначе их ставить, поворачивать, решать; в аргументах, наглядных иллюстрациях; в метафорической подоплеке научных терминов и т.п. И в этом надо отдавать себе отчет хотя бы затем, что тогда сможем убрать «помехи» и «шумы»...

У Энгельса в «Диалектике природы» встречаем важный нам поворот мысли: «Дарвин не подозревал, какую горькую сатиру он написал на людей, и в особенности на своих земляков, когда он доказал, что свободная конкуренция, борьба за существование, прославляемая экономистами как величайшее историческое достижение, является нормальным состоянием мира животных»¹ (подчеркнуто мной. — Г.Г.). Тут у Энгельса со-

¹Э н г е л ь с Ф. Диалектика природы. — М., 1975. — С. 19.

вершенно справедливая констатация того, что всякое научное сочинение имеет, наряду с осознаваемым как цель, научным, еще и смыслы неподозревающиеся, есть сказ, наивно-непосредственное выражение того, что за душой... Так что научное сочинение может выступить и как оболочка притчи, что выводит его в контекст гуманитарной культуры.

Ученый, как и простолюдин из этого народа, впитывает одни и те же впечатления природы, климата, языка, пищи, — и затем утонченнейшие его в науке выкладки и умозрения не могут не сочтаться этими залегшими с детства в подспуд его существа интуициями.

Космос Англии есть Небогеан, а в нем остров-корабль — self-made man. «Небогеан» — это мой термин. Он довольно емок. Тут и Небо + Океан, воз-дух + вода — как состав стихий; тут и Бог — вспомним религиозные искания в английском Логосе, в том числе и у Ньютона; и Не-Бог = богоборчество: Люцифер Мильтона, Каин Байрона и т.д. Небогеан — это тот самый Sensorium Dei = «Чувствилище Бога» (термин Ньютона о Пространстве), в котором происходят все события в шекспировской драме механики Ньютона. Небогеан — это силовое поле, электромагнетизм Гильберта — Фарадея — Максвелла, эфир, к которому так долго была привязана английская физика, что с трудом принимала Эйнштейна.

А в Небогеане — остров = корабль = самосделанный человек.

На материке Мать-Земля огромная держит человека в бытии, и ему тут — не усиливаться, а **понимать формы**, фигуры наличных тел. Когда же человек в Небогеане собой всю твердь и образует — он усиливаться должен и себя и все создать искусственно уметь: не в веществе, но в воле и энергии может он уравниваться с бытием. Отсюда сила важнее и формы, и массы, и движения. Страсть и энергия выражения, динамика отличают героев и действие драм Шекспира от, в сравнении с ним, малодвижных и резонирующих драм французского классицизма или драм для чтения Гёте и Шиллера. Если языком Бхагавадгиты выразиться, то тут, в космосе «тамаса», гуна «раджас» важнее «саттвы» — чтоб преодолеть инерцию, эту врожденную силу материи (так ее определяет Ньютон).

Человеку в космосе невидали регулировка в жизни возможна не световая — идеями = видами эллинского

Логоса, но на ощупь: опытно-инструментальная. Поэтому вместо эллинского термина «идея» тут impression Локка — Юма: «впечатыванье» силовое. Поэтому Англия — страна опыта и техники: тут опыт провозглашен Бэконом как принцип добычи знания, а техницизм и изобретательность англичанина и в русской песне прославлены:

Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь,
Изобрел за машиной машину...

В самом деле, где в двух шагах ничего не видно — какие тут идеи-виды как регуляторы возможны? И Бог тут не Свет эллинского по духу Евангелия от Иоанна — но Сила, невидимо движущая и управляющая векторно, в направлении определенном — наподобие магнита, что англичанин Гильберт в 1600 г. исследовал досконально, а за ним про то же — и электромагнетизм Фарадея — Максвелла, и тяготение всемирное Ньютона. И в этом Небогеане двигаться кораблю-человеку можно по силовым линиям поля бытия, компасно-векторно, но регулируясь самостоятельно, руками и ногами — как шатунами-кривошипам: «самосделанный» тут человек, а не «рожденный» матушкой-природою — тут космос -ургии, а не -гонии.

Кстати, в английской религиозности — явный уклон в сторону Ветхого Завета, где Бог -ургиеи: есть Творец и сила, — а не в сторону Нового Завета, где Бог -гониеи: есть Отец.

На материке материнском Евразии, где континент = континуум, — тут Логос дедуктивно-растительный: развить древо системы чрез непрерывность и ветвление логических выкладок. Логос в Евразии — Сын: Неба как тверди света и Матери(и)-Земли.

В Англии же мысль то движется шаг за шагом, цепь за цепью, то бульдожьей хваткой — как в «Началах» Ньютона (Оливер Лодж предлагал даже устройство электромагнитного поля и распространение волн в нем представить наподобие системы зубчатых шестерен), то вдруг — перескок и прыжок в фантастический домysel. Тут спиритизм, теософия (Анни Безант), и Энгельс высмеивал английское «естествознание в мире духов». Да и Ньютон наш в «Началах» архиточен и брезглив к домыслам, даже гипотезы отвергает (non fingo), — а каким еще домыслам предается в своих толкованиях

на книгу пророка Даниила и Апокалипсис!.. И кстати: как в механике предмет его — силы, так и здесь власти и царства — все из сферы мира как воли...

Если «гений — парадоксов друг», то английский Логос парадоксален по преимуществу (напомню парадоксы Рассела, Уайлда и Шоу).

Если на материке — монизм, дуализм, троичность, то тут — плюрализм и терпимость к осуществлению многообразного. Если остров Япония — пролог Евразии, то остров Англия — ее эпилог. Все, что на материке возникало, развивалось, превращалось, — тут сохраняется, рядом. Британия — «консервы» Евразии. Ибо то Небогеан все нажитое в себе хранит-содержит, и одно вполне может не противоречить другому.

И это — тоже важнейший в логике момент: в Англии не боятся противоречия, и потому английские мыслители выглядят с континента как непоследовательные, ребячливые, не умеющие до конца свои же предпосылки довести, а оставляющие свои же принципы на поддороге, недодуманными. Тут открывают, а на континенте развивают в стройную теорию. Юм — и Кант, Резерфорд — и Бор. Ньютон открыл математический анализ и пределы — но изящный аппарат предложил Лейбниц, а теорию пределов — Коши...

И напротив, материковая логика, и схоластика, и эллинская математика неперевариваемы в Англии. Рассказывают, что Ньютон, взяв «Начала» Евклида, «прочитав оглавление этой книги и пробежав до конца... не удостоил ее даже внимательного прочтения: истины, в ней изложенные, показались ему до того простыми и очевидными, что доказательства их как будто сами собою делались ясными»¹. Понятно, что тут Ньютону показалось непонятным: зачем столько усилий ума тратится греком на доказательство само собой понятных вещей? Но для эллина, воспитанного на Логосе, надо сначала ему, посреднику, угодить и лишь через него можно общаться с Космосом и Истиной. А Логос — светов, идеен; не осязаем, а очевиден. Грек угождает пространству между небом и землей, где разлит свет, и все «в его свете» предстать должно.

Англичанин же живет средь невидали: небо начинается рядом. Тут волглость на месте Логоса. Истина

¹ Б и о Ж.-Б. Биография Ньютона. — М., 1869. — С. 5.

недалеко — вот она, тут, сумей схватить и впечатать в ум и сердце. Англичанин мыслит рукой и духовным осязанием впечатлений — как слепой, ибо глаза ему здесь не нужны, обманчивы.

Страстный король Лир (этот аналог умно-логосного, разгадавшего загадку сфинкса Царя Эдипа в Британии) ослепляется не логикой («саттвой»), а страстью («раджасом»), гневом, гордыней, сверхсилим своим.

«Математические начала натуральной философии» — это космология по-английски, так же как «Начала» Евклида — эллинская. Суть последней — геометрия: землемерие. Суть первой — механика... Месчапао по-гречески — изготовлять, замышлять, изобретать, строить. Главное, что механика — это искусственное орудие освоения бытия. И вот Ньютон вводит ее в высокие права геометрии. Он не согласен считать ее низшей, неточной, прикладной, ремеслом: «Так как ремесленники довольствуются в работе лишь малой степенью точности, то образовалось мнение, что механика тем отличается от геометрии, что все вполне точное принадлежит к геометрии, менее точное относится к механике»¹.

Здесь ведется подкоп: чтоб свергнуть с трона геометрию, эту царицу естественных наук в эллинстве, и водрузить на ее место механику. Геометрия — это глаз и свет, озирающий землю: взгляд с неба — Урана на землю — Гею. Прообраз прямой тут — луч, а круга и шара — солнце и небосвод. Геометрия — это Логос по лучу. И как незначущее полагается низовое ручное дело проведения линий.

Меж тем в космосе Англии не верный глаз, но верная рука — основа и опора мысли и суждения. Свет здесь влажен и ложен, и начать можно и нужно не сверху (озирание, гео-метрия), но снизу, от человека = тела, от шага = фута и дюйма = пальца (потому, кстати, так трудно расстаются англосаксы со своей измерительной системой по конечностям тела как по естественным своим рычагам-шарнирам и переходят на материковую десятичную), — и далее воздвигаться в стороны и в небо. Так что если геометрия — наука сверху вниз, то механика — с земли в небо. Значит,

¹Цит. по: К р ы л о в А. Н. Собрание трудов. — Т. 7. — М.—Л., 1936. — С. 1.

самосознание островитянина Земли дает в своей механике Ньютон.

Возьмем далее трактовку движения. Сравним корабль Галилея, корабль Декарта и ведро Ньютона. Как всем помнится, Галилей брал систему: корабль, отдаленный берег и падение тел на палубе иль в трюме; если он движется прямолинейно и равномерно, то ничто нам в опыте не покажет: корабль ли движется иль он стоит, а движется берег? По Декарту, движение есть перемена соседства: соседствует борт корабля с этими вот каплями иль сменил на другие? То есть если Галилей в итальянском дискретном космосе атома и пустоты (вспомним Лукреция) не обращает внимания на среду, посредство, но исключает ее (как и в своих опытах со свободным падением тел в пустоте исключил трение) и рассматривает дистанционно: корабль и берег, минуя море, — то Декарт, в континуально-волновом французском космосе непрерывности и близкодействия, исследует движение как сенсуальное касание поверхностей. Так что в рассмотрении движения нереальна для него система: корабль и берег, ибо от борта до берега — мириады движущихся частиц надо принять в расчет. Идея молекулярной механики Лапласа — из той же французской оперы сплошности и близкодействия.

Ньютон же вообще отводит взгляд от всякой внешности: будь то галилеевых относительно друг друга передвижений на расстоянии (которое — реальность и видно и необманно в средиземноморском лазурном космосе) иль галльских чувственных касаний-трений тела об тело, — и ставит вопрос о внутреннем усилии: если мышца иль динамометр испытывают усилие, то именно я, данное тело, пребываю в абсолютном движении: когда в раскрученном ведре частицы воды в центробежном стремлении наползают на борта (в противоречии с относительным движением ведра и всей массы воды в нем), по силам и их векторам можно заключить о том, что движется в абсолютном смысле, а что — нет.

Если Декарт сводит массу и объем к поверхностям, на их язык переводит, то аскетический Ньютон редуцирует материк массы до математической точки (= самосделанного острова), при которой зато прозрачнее проступают силы, их векторы, сложения и разложения, параллелограммы и равнодействующие...

Основное понятие механики Ньютона — сила.

А у Декарта — отказ от применения силы в физике: во французском континууме полноты всякое малое действие отзываемо повсюду, и не шевельнуться ни человеку, ни вещи, чтоб через облегающую среду социального рондо не произвести переворота во вселенной (ср. и фатальный детерминизм Гольбаха, и мировой Интеграл Лапласа). Если мы припомним также, что для английских социальных теорий характерно постулирование войны и борьбы в естественном состоянии (Гоббс — «Левиафан»: «человек человеку — волк» = почти «долг»; иль Адам Смит — теория свободной конкуренции-соперничества; иль Дарвин и Спенсер: борьба за существование), а для французских социальных теорий характерно постулирование, что человек рождается добрым и свободным (Руссо — Дидро) от благой Матери-природы, — то тут тоже нельзя не подметить некоего национального априоризма в миропониманиях. И в том, что аскетический Ньютон так императивно вводит понятие силы в физику, а француз-эпикурец Декарт расслабляет ее, растворяет, сращивая и сводя к разного рода движениям, — есть некое пристрастие и склонность Психеи местного Космоса: французу желанно представлять-чувствовать себя в покое и гарантии на материнском лоне — ложе природы «Дус Франс» — «Сладкой Франции» (тоже не случайный эпитет, так же как Англии постоянен эпитет: «старая веселая» — *old merry*), — здесь можно довериться, расслабиться в неге, забыться от кесарева мира социально-наполеоновских насилий, где ты должен быть постоянно начеку. А островно-туманного, вялокровного англосакса именно необходимо тонизирует в бытии и в его работе по самосделыванию себя (*self-made man*) проекция на природу динамической ситуации войны всех против всех, борьбы, спорта (тоже, кстати, английское изобретение) и усилия.

Противостоя кинематической физике романского гения (Галилей, Декарт), Ньютонова волево-динамическая физика силы противостоит, с другой стороны, эллинской физике геометрической формы и фигуры. «Вся трудность физики, — провозглашает Ньютон в начале «Начал», — состоит в том, чтобы по явлениям движения распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные явления»¹.

¹ Цит. по: К р ы л о в А.Н. Собрание трудов. — Т. 7. — С. 3.

Это совсем другая пара понятий, нежели эллино-германские: сущность и явление, идея и видимость, субстанция-подстанция и форма... В них — фигуры и формы статические: вглядывайся в них, остановленные, и себя остановя, в созерцании, — они и растают, «феномены» (= «кажимости», по-гречески) и проникнешь в статические идеи, склад Космоса. Эллины по фигурам представляют бытийственные сущности: шар — Сфайрос, квадрат — Тетрада, треугольник, крест... Платон в «Тимее» четыре стихии к фигурам приурочил: земля — куб, огонь — тетраэдр, воздух — икосаэдр, вода — октаэдр. Но зримость мало говорит уму и сердцу англосакса, напротив, уводит от интимного прикосновения к ему присущей ипостаси Истины: в силах и движениях. И Ньютон, истинно английский теолог и евангелист, создает способ постигать Бога в силах (а не в формах и видах) — через исследование движений. Кстати, не случайно к математическому анализу на материке подходили — от фигуры (проблема нахождения касательной в точке кривой), а в Англии — от нахождения мгновенной скорости и силы...

Показательно последующее восприятие ньютоновских «Начал» на континенте. Операциональную, -ургийную истинность Ньютоновой системы мира тут попытались трактовать как субстанциальную, -гонийную истинность. Сам Ньютон в письме к нему Бентлея учуял эту возможную приписку ему субстанциальности тяготения и так ответил ему в письме от 25 февраля 1692 г.: «Я хотел бы, чтобы Вы мне не приписывали врожденную гравитацию (*innate gravity*)... Тяготение должно быть причиняемо агентом, действующим постоянно согласно определенным законам, но судить, является ли этот агент материальным или имматериальным, я оставил разумению моих читателей».

То есть законы Ньютона положены им так, что они инвариантны относительно материалистических и идеалистических преобразований, — то, что невозможно для континентальцев-материкатов, для которых или — или: служба сыновняя или Матери(и)-Земле, или Отцу — Небу, Духу.

Ньютон так же решительно отвергает врожденность гравитации в материи, как Локк — врожденность в нас идей, духовный априоризм. А именно априоризм принципиален для континенталов: верующее наделение Материи иль Духа силами и качествами. Тут никуда не деться от дихотомии. А островитянин в Небогеане —

андрогинен, мыслит Целым, есть к нему в той же пропорции фаворит и приближенный, в какой тело острова его менее материка Евразии. И в тенденции Ньютоновой и пределе — вообще массу свести к математической точке, а континуум Декартова протяжения — выпотрошить и создать вакуум, где бы силам играть беспомешно с математическими точками — как с шарами в крокет (тоже, кстати, издевательские над эллинским божественным Сферосом в Англии придумали игрища: шар мяча в параллелограмм ворот загоняют, и бьют орудиями разными, пинают: футбол, волейбол, баскетбол, регби...).

И — несколько слов о языке Ньютона. Академик А.Н. Крылов, переводчик «Начал», так пишет: «Вообще, латынь Ньютона отличается силою выражений: так, тут (в формулировке закона инерции. — Г.Г.) сказано «perseverare» — «упорно пребывать», а не «manere» — «пребывать» или «оставаться»; когда говорится, что какое-либо тело действием силы отклоняется от прямолинейного пути, то употребляется не просто слово «deviatur» — «отклоняется», а «retrahitur» — «оттягивается»; про силу не говорится просто, что она прикладывается, «applicatur» к телу, а «imprimatur», т.е. «вдавливается» или «втискивается» в тело и т.п.».

Imprimatur — совсем аналогично основному философскому понятию у Локка и Юма — impression — от «пресс», «вдавливать», «впечатывать», отсюда «пэтерн», что есть «идея» по-английски: не от вида она, а от нажима руки.

«В переводе, — заключает А.Н. Крылов, — принята менее выразительная, но общеупотребительная теперь терминология»¹.

А жаль: ибо перевод с языка на язык — это с Космоса на Космос. И не только на другой, словесный, — русский язык, что уже есть целое иное мирозерцание, но и на иное отношение ума к миру, что отличает современного частного специалиста, ученого-физика, от тотального мыслителя, теолога Творения, состязающегося умом с Целым бытия, с Богом самим. В языке Ньютона — тот же «раджас» кипит, воля и страсть, что и у Шекспира.

¹ К р ы л о в А.Н. Собрание трудов. — Т. 7. — С. 25.

АМЕРИКАНСКИЙ ОБРАЗ МИРА, ИЛИ АМЕРИКА ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ЕЕ НЕ ВИДЕЛ¹

(СТАРОСВЕТСКИЕ ГАДАНИЯ — О НОВОМ СВЕТЕ)

Мое интеллектуальное путешествие в США затеялось следующим образом. Товарищ мой поехал в Штаты и написал оттуда, что «ничего-то вы тут об ней не понимаете...». Это раздражило и подзадорило, и заработал во мне Эрос угадывания, азарт: а ну-ка, я попробую на спор и на «слабо!» — не выезжая из деревеньки своей Новоселки — перенестись воображением в заокеанские Новоселки (Нью-Йорк ведь тоже есть Новоселки старосветского Йорка!), проникнуться Америкой и описать предстоящий мне ее образ, очередное «Мое открытие Америки». И обложился я книгами и материалами: и по географии, и по истории, путевые заметки читаю, газеты-журналы, литературу-поэзию, на выставку американской живописи пошел, кино засмотрел и т.п. И читанное давно стало Платоново припоминаться из пещер памяти — и из всего из этого начала выкристаллизовываться некая целостная картина. Причем главная трудность состояла не в недостатке данных и впечатлений, но как раз в их kaleidoscopic множественности, отчего так трудно было продираться к простому единому принципу, одушевляющему все, — а именно такова задача, что ставится в описании каждого образа мира: синтез многого из единого.

Общая концепция Космо-Психо-Логоса США такова. Это — мир -ургии без -гонии, то есть искусственно сотворенный переселенцами, а не естественно выросший из Матери(и)-Природины, как все культуры народов Евразии, где -ургия (труд, история) продолжает -го-

¹ Имеется в виду сократово-кузанское «ученое незнание», что бывает просвещеннее иного «знания» и видения... Надеемся, что здесь — так...

нию в своих формах и где культура натуральна, а население = народ. Здесь же население не на-род (на-рожденность), а съезд, **собирательность** иммигрантов *ex pluribus unum* (девиз США: «из многих — одно»); но вначале именно не единое, а самостоятельность индивидов (ср. **соборность** России, где формула «один за всех, и все за одного», — с собирательностью соединенных штатов и особей, где формула: «каждый и все» — *each and all*, — стихотворение Эмерсона). И поэма Уитмена «Листья травы» — это обозрение-соединение штатов-состояний человека, это собирательность USA в Myself (Я). Но тут нет «мы» и «наше». Отсюда вечные жалобы американцев на недостаток чувства общности, единства в стране.

Переселение через Атлантику — это для человека как пересечение Леты в ладье Харона: смерть и новое рождение. Потому такую роль в американской символике играют Левиафан, Иона во чреве кита, кит Моби Дик, «Корабль дураков» — фильм Стэнли Крамера, где тоже «всякой твари по паре», да и плот Гека Финна — ковчег...

Америка растет как бы сверху и сбоку, а не из земли, без пуповинной связи с нею, которую здесь имели индейцы, кого пришельцы истребили, а не смешались, в отличие от Космоса Латинской Америки, более в этом смысле натурального. Если бы они хотя б подчинили туземцев и превратили в рабов и потом потихоньку смешались в ходе истории — как это было в Евразии: многие ведь там, почти все народы сложились из смешения завоевателей с аборигенами (итальянцы, болгары, англичане — и не счесть всех...), — то совершился бы привой-подвой к Матери(и)-Природине и к народу — породе местной — и культура последующая проросла бы натуральною. Но демократические переселенцы из низов Старого Света хотели работать сами и вырубили индейцев, как деревья. Даже национально-расовый сюжет и конфликт тут не натуральный, а ввезенный: негры ведь тоже переселенцы, а не туземцы...

США — это Ноев ковчег микронародов, первая составная внеземная цивилизация — из высадившихся на чужую планету сильных, хищных и взыскующих свободы индивидов, порвавших со своими Матерями-Природинами (в Старом Свете) и начавших тотально новую жизнь. Если для Европы характерен архетип Эдипова комплекса (сын убивает отца и женится на матери), а

для Востока, так сказать, «**Рустамов комплекс**» (отец убивает сына: Рустам — Сохраба, Илья Муромец — Сокольника, Иван Грозный, и Петр Первый, и Тарас Бульба — сынов своих...) — то для бытия США типичен «**комплекс Ореста**»¹ (так назовем его): матереубийство, причем ее убивают дважды: покидая старую Матерь-родину и обращаясь с новой землей без пиетета, не как с матерью, но как с девкой. Потому ее испортили сначала, загрязнили окружающую среду — и первые взвыли: открыли проблему экологии, в чем объявилась мстительность -гонии чересчур уж прыткой трудово-индустриальной -ургии. Нынешний живой патриотизм американцев — это их покаяние за грех первопоселенцев.

Если европейский дух мучительно прорывался из Природы к Свободе, выискивая себе самоопору и собственную субстанцию — в труде, идее, мышлении, «Я» (Декарт, Кант, Гегель, Маркс), то в Америке первична субстанция Свободы (= переселенцы, со всем порвавшие), а инстанция Природы вначале в них ничтожно по смыслу мала перед Свободой: она (Природа) тут чужая, в ней видится нуль смысла, есть чисто неорганический, бездуховный объект завоевания и труда — не Мать и не материя даже, но материал = сырье труду в переработку; и лишь с течением времени тут выходят к открытию понятия Природины как Матери(и) и ценности женского начала. Американцы были герои и мученики Свободы, не умеряемой Природой. Теперь алчут сотворить себе Мать: -ургией -гонию добыть... Слабость женского и материнского начала характерна для американской цивилизации: отсутствуют тут и куртуазность-галантность, и *ars amandi*, которые так уж выпестовали и утончили евразийского индивида, от Китая до Франции; нет и любовно-психологического романа европейского типа, вместо которого брутальный секс. Еще Генри Адамс горько сетовал на это, восхищаясь ролью Матери-Девы и культа Прекрасной Дамы в европейской цивилизации. Лишь ныне первооткрывают себе все это (женское движение, «сексуальная революция»). Но, в общем, Америка — не Мать-Родина чадам-сынам своим, но **фактория** своим жителям-тру-

¹ Оба комплекса — мои термины, и потому подаю их в кавычках.

дыгам. И философскую категорию «материи» здесь бы присуще назвать «патерией» (мужской архетип Отца тут важнее) и даже «факторией»: вещественность бытия здесь вся изготовительна, а не вырастающая, — и так, сверху, как конфекция из кошелки рога -ургии, засыпается манной этой весь мир... Не отцово, а творцово тут житье-бытье, а страна — и не родина-мать, и не отчизна, но «творчизна».

Американец чужд вертикали растения как принципа бытия (а вместе с этим и идее корней, и долго-терпению: дай срок! — не дают здесь срока, но все ускоряют) и уподобляет себя животному хищному («Белый клык»), и в почете здесь челюсть и оскал зубов (на рекламных улыбках). Растение — дело долгое, а тут все некогда: нет времени выращивать своих гениев в науке и искусстве — давайте-ка переселим их, переманим-пригласим из Старого Света — и будет у нас все «самое лучшее»: Эйнштейн, Чаплин, Стравинский, Тосканини и т.п.

Тут все молодо-зелено: не успевает естественным путем набухания своей субстанции дорасти до зрелости, но форсируется, — как свиньи на чикагскую бойню, так и урожай удобреньями химическими. Тут из травы (а не из дерева) — листья: в американском евангелии, «Листьях травы» Уитмена, не модель Мирового Древа, характерная для всех культур Евразии (под деревом Бодхи пришло Будде озарение, и Христос распят на кресте — схеме дерева): некогда тут дереву вырасти — ни одно уважающее себя дерево и достойное уважения не выросло за 360 лет со времени первых пуританских переселений (до модели Мирового Древа не дослужились еще!), — но зато характерно самоуподобление с травой (у Уитмена так; и у Сэндберга стихотворение от лица травы: «Let me work», — говорит она. «Дайте мне **работать**» — не расти!), у которой корни неглубоки, и расти она может не из Матери(и)-Природы, а из платформы = плиты: Форд писал, что в Америке взрыхлен лишь верхний покров...

Так что отрочески опрометчивый дух царит в американской цивилизации: тут национальный герой — Том Сойер и Гек Финн и никто не достиг возраста возмужалости, тем более — статуса мудрого старца. И добродетели их — потасовочные, как у отроков-щенков, что все цапаются (супермены вестернов, ковбои). Потому и греха на них первородного будто нет: невин-

ны, хоть и жестоки порой... И хотя и подхватывают в нынешней Америке новомодные европейские теории (экзистенциализм, «новые левые» и проч.), и до *plus ultra* доводят рассуждения о «закате западной цивилизации» — в их устах несерьезно все это (так мне представляется), лепет с чужих слов, чужие это все им маски-проблемы. Свои же, и трудные, у них вот: экология, робот-компьютер против человека, первооткрытие женского начала и *dolce far niente*, созерцание вместо -ургии (хиппи, дзэн), ибо в Космосе прагмы созерцательное отношение к бытию есть трудность и ересь. Но все равно Космо-Психо-Логос здесь подростковый — оттого и впросак так часто впадают в политике и на посмешище. Наивность и сентиментальность американцев сказались хотя бы в недавнем Уотергейтском деле; подумаешь, не могли примириться с тем, что президент матерился: вся Америка ахала, слушая магнитофонные записи. В Евразии давно понято и принято, что и царь на троне — человек, снисходительнее к такому...

Невоспитанные дети, непринужденные, фамильярные. Если в Евразии преобладает в людях торможение (рефлексия германцев, сдержанность англичанина, застенчивость русского, французский страх быть смешным; американец этого не боится: выглядеть дураком рядом с ученым — это не смущает Форда, и в этом сходство с русским архетипом Ивана-дурака), то здесь — возбуждение, внутренняя свобода, раскованность, быстрота моментальной реакции шофера (как в дзен-буддизме). Недаром и вид музыки «джаз» тут привился (от негритянского слова, означающего «будоражить», «торопить»), тогда как в музыке Европы, еще с пифагорейцев, цель — гармонизировать, укрощать животное начало в человеке. Здесь же, при преизбыточной -ургии, и -гонии надо стимулировать соответственно.

И -ургия-то тут какая-то хулиганская, веселая, карнавальная: не мрак работы, но вечный праздник деяния, без чего не мыслит себе здесь человек существования, так что безработица — казнь американцу (евразиец заполнит время ленью, умозрением, любовной игрой, пересудами и проч.). В этой беспыльной одержимости трудом, изобретением потребностей, изготовлением все новых вещей, все лучших, открывается тождество современного американца, работающего уже в гигантских корпорациях винтиком, — с индивидуалистом-фриголь-

дером XIX века в стране «открытых возможностей», чей образ и душа романтически воспеты в капитане Ахаве и Геке Финне. В этой безудержной скачке — и в том американце, и в нынешнем — ощущается гонка за идеалом, за чудом, преследуется какая-то несбыточная идея, — так что капитан Ахав, на искусственной ноге убегающий от уюта в даль труда, — это, так сказать, Психей и современной Америки. В этом была главная трудность работы: как сопрячь современного рекламно-улыбчатого среднего американца — с Эмерсоном и Торо, с героем Уитмена и Мелвилла?

Перехлест -ургии над -гонией — и в том, что тут искусственно производятся потребности (а они ведь обычно были прерогативой природы человека): рекламой навязываются изделия; а жизнь в кредит и пользование вещами в рассрочку есть явное житие в настоящем из будущего (а не из прошлого, как это привычно в Евразии, где отчизна и отчий дом, и наследственный сундук). Да, из ипостасей Времени (прошрое, настоящее, будущее) в Америке, порвавшей традиции, не важно прошлое, а важно настоящее, растущее спсреди — из будущего, в него растворенное и оттуда подтягиваемое. Уолт Уитмен: «Я проектирую историю будущего!» — писал.

Из координат же Пространства в США почтенна не вертикаль (с идеями глубины и выси), но плоскость (английское *ag* — звук вертикально-глубинный, имеет тенденцию в здешнем произношении уплощиться и расшириться в *æ*) как ширь (не даль), по которой кочевать туда-сюда неумным, не пускающим корней, не прирастающим к месту людям на автомобилях (ср. рассуждения Стейнбека в «Путешествии с Чарли...» об отсутствии «корней» в психике американца и о жилищах-автомобилях). Часы как символ европейской цивилизации, самодвижное время и *perpetuum mobile* нам — сравниваются с автомобилем как самодвижным пространством, изобретением американского кинетико-динамичного духа (использованы книги Форда и история автомобилестроения в США). Часы — движение по кругу, определенность, динамика на службе у статики. Автомобиль — коробка скоростей — на службе у безудержности. Если Время, шар, статика часов сопряжены с женским началом -гонии (не ускоряема беременность), то прямолинейное движение и ускорение в пространстве адекватны мужскому началу -ургии. Че-

ловеческий тип здесь энергично-заряженный: электричество в душе у него, — не даром в США оно в науке и изобретении развито (Франклин, Эдисон). И В. Джемс сравнивает устройство психики и религиозное чувство с электрическим полем («Разнообразие религиозного опыта»).

Иерархия четырех стихий в американстве может выглядеть примерно так (выведена она из системы цветов-красок в «Песне о себе» Уитмена и из важности цвета кожи в американском быту): огонь как жар (энергия, динамика «я», электричество); воздух (Небо, Бог — Творец, не Отец); вода (кровь, жизненная сила, Океан вовне и в груди); огонь как свет (теория, созерцание, идея-вид); земля. Как видим, все надземно, небоскребно бытие в Космосе США на плоской плите Земли. Да и небоскребы тут не как Вавилонский столп вырастают — из похоти черного солнца недр блудницы вавилонской, как посягательство «матъмы»¹ земли на небо, — но как бы сверху надставляются на плиту Земли.

И в духе, в мышлении сюжет -ургии без -гонии вполне сказывается. Не способен американец к женски-пассивному созерцанию платоновского типа, проращивать мысль в гегелевской филиации (= почковании) идей, что есть тоже -гонийная процедура: триада-Троица, Святое семейство, и модель зерна-растения = становления у него. Философское открытие американства — это прагматизм (В. Джемс), семиотика (Пирс), операционализм (Бриджмен): умение вещь схватить-понять сразу в ее работе, без того чтобы в генеалогическое древо ее происхождения из причин и начал вникать, да так до сути и не добраться (как это делает европейская научная традиция, замешенная на -гонии и природовитости сословно-аристократической). Если в Евразии правило: «смотри в корень», то здесь акцент: «по плодам узнаете их» (на этом у В. Джемса упор). Вещь берется сразу, сверху и технически. Понять, как работает вещь здесь и теперь, — вот что есть ее суть и критерий истины (вся гносеология операциональна), а не относить ее к предпосылкам вовне ее самости. И тут демократия, самоначатие от «я», а не от рода: тут

¹ В перестановке слогов: МА — ТЬ = ТЬ — МА, откуда и ассоциации к философским категориям: материя — мать, тьма; дух — отец, свет.

не спрашивают у вещи: «А ваши кто родители?» Вон и у Линкольна операционально-ургийное определение правительства: government of the people, by the people and for the people — «правительство народа, народом, для народа». Через предлоги of, by, for указаны основные отношения в процессе производства и потребления данной вещи (правительства): субъект труда, чья собственность (of), орудие труда, исполнитель работы (by) и кто потребитель (for).

И Франклином человек определен как животное, изготавливающее орудия труда, то есть как субъект -ургии, а не как «животное политическое» (Аристотель): политика, и история, и воинские добродетели в человеке здесь презренны, в отличие от Евразии, где они чересчур почтенны. Мальчишки тут мечтают стать не полководцами, а дельцами, и не славными, а мощно работающими. Слава и реклама — большая разница. И то и другое — виды известности. Но слава центробежна, а реклама центростремительна: есть стяжение потребительских ожиданий к моему текущему делу, кредит ему, прикорм из будущего, чтобы оно в настоящем шире развивалось.

Принцип истории — «новое», мода, новелла = новость; принцип -ургии — «лучшее» (см. об этом у Форда рассуждение). И если у Гомера боги хохочут над трудягой Гефестом (хромым, как капитан Ахав) и одобряют адюльтер Афродиты с Ареем-полководцем, то американский эстетический вкус такого не потерпит: скорее воин тут осмеян будет (у Уитмена неоднократно, и Эмерсон по Наполеону прохаживается); да и Афродите такую волю распоясаться не дадут. Архетип Колумба — открывателя-изобретателя — в каждом американце, а не европейская модель солдата, носящего в ранце маршальский жезл: умеют тут в литературе и философии весело поиздеваться над тщеславными героями европейской истории и их кесаревыми добродетелями¹. Сравнение лиц Наполеона и Вашингтона на портретах являет разительную разность императора, «двуногих тварей миллионы», кому «орудие одно», и человека справедливости — первого среди самостоятельных и свободных тружеников. Не холен, но жи-

¹ Видимо, в некоем «комплексе неполноценности» перед Евразией нынешние «ястребы» в США нагнетают воинственный азарт.

лист и груб конечностями и Линкольн. Вообще, в Америке развиты-усилены конечности: и для труда, и для ходьбы — словом, для зацепок с миром по его преобразованию в -ургии. И в драках тело как пятиногого действует (включая и голову). Распущены конечности — и ноги на чопорный стол = площадь политики и общения социального, а Франклин вытянул конечность руки аж в громоотвод, и Уитмен любит-перебирает свои конечности и прочие органы-работяги в «Песне о себе». Если в Англии *self-made man* = самодельный человек, сдержанный, приноровивший себя к готовой социально-культурной среде, то тут *self-made world* = самодельный мир человеком несдержанным, раскованным.

Поэтому и в поэтике здесь **свободный стих** органичен, причем у Уитмена есть единоначатие-аллитерация: *passion, pulse, power* — и нет завершающих слов-оков рифмы, то есть принцип «открытых возможностей» и в стихе, — тогда как в европейской и русской поэзии рифма нужна как социальный порядок и строй, космос над хаосом природно-бездребной, активно-расползающейся -гонии. Единоначатие мира с каждым новым человеком подчеркнуто и у Томаса Пейна: он корректирует Руссо, выступая с теорией перманентно возобновляющегося общественного договора с каждым новым поколением, для которого не должны быть обязательны установления предков.

Рифма = рефлексия, предел в конце, закрытие возможностей, круг и возврат внутрь себя, в *Innere*, оборот к Сократову познанию самого себя. Нет культуры этого в американце, но он весь экстравертен, бешено устремлен вовне себя, одержимый деятельностью, как капитан Ахав. Но индивидуализм тут не значит эгоизм (себялюбие, замкнутость, центробежность), но включает самоотвержение (центробежность от себя к делу).

Однако современная Америка — это уже трагедия -ургии. Об этом вся их научная фантастика (Брэдли, Воннегут), это даже в юридических казусах в связи с искусственным продлением жизни. Нами разбирается известный случай, когда приемные (= тоже искусственные, не -гонийные) родители Карэн Энн Куинлан, 21 года, подали в суд Нью-Джерси, чтобы отключить дорогостоящий респиратор, которым искусственно (-ургийно) поддерживалась жизнь девушки. Похоже, что «американский бог» повелевает тут занять сторону -ур-

гии, изъять ее существование из уже неправомерной -гонии семьи и принять на собственный счет штата как символическое существо(вание) = дело американского социума в целом. В этом же сюжете между -гонией и -ургией понятен и недавно принятый в Сан-Франциско закон о праве на достойную смерть: волей свободного «я» своего отказаться от медицинской помощи.

В качестве с и м в о л и ч е с к о й ф и г у р ы в США недаром привился знак: \$. Он составлен из тех же элементов: полукружье: П и прямая: — , из которых составляемы символические фигуры иных культурных целостностей.

В эмблеме \$ полукруги глядят в средиземноморско-латинский мир (Ж — двуликий Янус латинства и знак неизвестного): штаты ведь были в XVIII веке полуфранцузскими-полуанглийскими, что еще осталось в Канаде. Значит, если в связь с романским миром — волна, кривая, то в связь с германским (англосаксы ведь) — прямая, усиленная: две (в соответствие двум полукружиям) и поставлены по вертикали — так, чтобы знаменовать глубину и высь — и в то же время зачерпывать и право и лево. И стоит — как парус на мачте, знаменуя Океан, и судно-ковчег переселенцев, и Новый Свет (открыто и на Ост-, и на Вест-Индию). Но если эмблема французская ~ знаменует идеальную естественную устойчивость волны (самость жидкости, стихии воды, в себе ее равенство и покой), то эмблема S знаменует величайшую естественную неустойчивость, так что устойчивость должна быть придана чрез -ургию, прямую труда, воткнутую, протыкающую насквозь, припиливающую хлябь удвоенной волей и целеустремленностью. Тут — антивесы, антибаланс. И это — успех: таков его состав; S — это как бы знамение «открытых возможностей», шансов; протыкающая же, как мачта, прямая, есть принцип -ургии, самоделания и самовозрастания, успех и бизнес. И в то же время \$ — это как библейский символ Змия, обвиняющего древо познания добра (и зла). И сатанизм американской цивилизации, строящей Вавилонский столп, ее Молох индустрии, Ваал успеха, поклонение золотому тельцу — тут диавольские потенции человечества развились предельно. И сама диаболия («расщепление» по-гречески): (Север — Юг) исполнена по вертикали света — тьмы, Неба — Земли, тогда как во французском образе ~ — это скорее море-берег, вогнутость = чаша

моря, выпуклость = гора; равновесие здесь — горизонтальное.

Предложенное толкование эмблем разных народов, естественно, не претендует на научную достоверность (как и результаты всякого образного мышления), однако некоторые смыслы добывает и дает почувствовать.

КОСМОСОФИЯ РОССИИ, ПОЛЬШИ И БОЛГАРИИ

9.IV.90 г. В нижеследующей публикации я даю некие тезисы по России, схему Польского образа мира и сопоставление России и Болгарии. Так проступят три образа мира: особенности каждого рельефнее прочертятся, когда их больше соположено будет даже просто рядом.

КОСМОСОФИЯ РОССИИ

8.II.90 г. Удивительно, как гадавшим о судьбах России не приходило на ум спросить ее природу: чего она хочет, какой бы истории она могла желать от народившегося на ней человечества? Все русские мыслители, чертавшие ей модели развития, — от Чаадаева до Шафаревича — думали в рамках ИСТОРИОсофии. То есть брали некие схемы развития и устройства обществ, которые сказались на поверхности земли за тысячелетия цивилизаций, и прилагали эти карты к России, раскладывали ей пасьянсы. «Западники», «славянофилы», «соборность», «православие и католицизм», «Византизм и Славянство», «Россия и Европа», «народ-богоносец», «Развитие капитализма в России», «Русская идея», «Евразийство», «Социализм», «Русофобия» — все берут некие надземные готовности вокруг России и принимаются ими соображать насчет нее. Так это и в нынешних страстных публицистико-политических спорах: «Что нам менять и брать?..» Будто страна и ее природа есть некая пассивная безгласность, и безмысленность, и просто материал-сырье истории в переработку. Но ведь уже устройство природы здесь есть некий текст и сказ: горы или море, лес или степь, тропики или времена года — это же все некие мысли бытия, сказанные словами природы!

Историософия есть «мудрость Истории»: какие строи и общества она разыгрывает на территории данной страны, как на экране, исходя из своих ценностей.

Космософия, что я развиваю, — есть «мудрость Космоса». Природа страны понимается как Природина Народу, который ей и Сын, и Супруг. Культура, что возникает в ходе их сожителства за историю, есть чадорodie их семейной жизни. Природа есть текст, скрижаль завета, что Народ должен прочесть, понять и реализовать в ходе Труда, в творчестве культуры на сей земле. Причем Труд и культура восполняют то, чего не дано стране от природы. Каждая национальная целостность есть Космо-Психо-Логос, то есть тип местной природы, национальный характер народа и склад мышления находятся во взаимном соответствии и дополнительности друг к другу.

«Русь! Куда же несешься ты?» «Что пророчит сей необъятный простор?» Писатели-художники, поэты чуяли излучения воли и смысла от русского Космоса и пытались угадывать их значения. Пушкин, Гоголь, Тютчев, Блок, Есенин, Пастернак... Но чистые умники: философы, политики, даже историки (чуть есть о русской природе в начале «Историй» Соловьева и Ключевско-го...) как-то решали за Россию без хозяйки. Не говорю уж о МРАКсизме, который будто уж «материализм», а совсем не любит «матушки-природы», который попросту налагает схемы своих пяти всеобщих формаций и не ждет милостей от природы, а насилует ее...

Ныне ахнули: что сделали с природой! — и возникло слово «экология». Но оно, научненькое, — тоже гуманистично-эгоистично: будем жалеть природу, как рачительный хозяин жалеет кобылу, не загоняет конягу вусмерть. Нет — вернуться к благоговению перед Природой как сокровищницей сверхидей тайного разума! Это умели и первобытные народы, и древние философы. Вот и я, строя Космософию, прибег к натурфилософскому языку четырех стихий. «Земля», «вода», «воздух», «огонь», понимаемые расширительно и символически, суть слова этого языка, его «морфология», а его «синтаксис» (вос-связь всего — «религия») — Эрос (любовь). На этом языке и принялся я читать национальные миры, в том числе и Россию, ее природу, историю, культуру, литературу и мысль.

Но для начала дам некую схему русского Космоса. Россия — мать-сыра земля, то есть «водо-земля» по составу стихий. И она — «бесконечный простор»: Пространство тут важнее Времени. Беспредельность — аморфность. (Для сравнения — Космос германства: тут

первоидеи — «огне-земля», форма, труд, и Время важнее Пространства, которого, «жизненного», не хватает...) Россия — огромная белоснежная баба, расползающаяся вширь: распростерлась от Балтики до Китайской стены, «а пятки — Каспийские степи» (по образу Ломоносова). Она, выражаясь термином Гегеля, — «субстанция-субъект» разыгрывающейся на ней истории. Очевидно, что по составу стихий ее должны восполнить «воз-дух» и «огонь», аморфность должна быть восполнена формой (предел, границы), по Пространству должно врубиться-работать Время (ритм Истории) и т.д.

Это и призвано осуществлять Мужское начало здесь. Природина-Россия-Мать рождает себе Сына — русский Народ, что ей и Мужем становится (как Гея-Земля в греческой мифологии рождает себе Уран-Небо, что ей тоже и сын, и супруг). Его душа — нараппашку, широкая — значит, стихия «воз-дух» в нем избыточна. Он легок на сьем в «путь-дорогу» (сверхценность это в русском Космосе); Даль и Ширь здесь привилегированнее Выси и Глуби (что, напротив, во германстве сверхценнее), горизонталь мира важнее вертикали (опять же обратное — во германстве, где горняки-рудокопы и шпили готических кирх пронзать небо устремлены; русские ж церкви приземисты, и округлы грибки-боровички куполов). Русский народ = СВЕТЕР (Свет + Ветер — мой неологизм): гуляет, «где ветер да я», летучий, странник и солдат, плохо укорененный. Неважно он, такой беглый, пашет свою землю, как мужик бабу, — по вертикали, так что его даже пришпиливать приходилось крепостным правом, а то все в бега норовил... И потому второго Мужа России понадобилось (уже не как Матери-Родине, а именно Женщине-жене) в дополнение, который бы ее продраил по вертикали да крепко обнял-охватил обручем с боков, чтобы она не расползалась: заставой богатырскою, пограничником Карацупой, железным занавесом — бабу в охряпку... И этот мужик — чужеземец. Охоча холодноватая Мать-сыра земля до огненного чужеземца в дополнение к своему реденькому, как иная бороденка, Народу: он свой, родной, любимый, да больно малый да шалый. Воз-Дух и Свет (недаром и мир тут — «белый свет», как снег) он ей подает, но ведь у стихии Огня вторая важнейшая ипостась: Жар, а сего недодает. Вот и вынуждена Россия приглашать варяга на порядок — форму и закон, из грек правосостояние право-

славия (тоже прямая, вертикаль и закон — Божий), половца и турка с Юга притягивает, татаро-монгола — с Востока. Потом немцы с Петра правили, немецко-еврейский социализм с Ленина, грузин Джугашвили, в ком соединились Петр с Тамерланом (догматический марксизм и талмуд идеологии с Запада — и султан «секим-башка» с Востока). Уж он-то так продраил Русь-бабу, что бездыханная лежит... Потом чуть полегче: хохлы-малороссы с Хрущева пошли, с выговором на фрикативное «гх» — и у Брежнева, и у Горбачева. Как бы в отместку за присоединение к России, Украина в пору «застоя» своими людьми стала Россиею править: куда ни глянешь в аппарат власти, армии, культуры — везде от всяческих «енко» рябит...

Даже стратегия русских войн — от охоты России-бабы на чужеземца. Она его приманивает (поляка, француза, немца), затягивает в глубь себя: никогда не на границах ему отбой, а взасос его вовлекает — и уж тут, во глубине России, самый оргазм битв: летят головушки и тех, и других, орошают ее топкое лоно огненной кровушкой, как спермою: им смерть, а ей — страсть да сласть. Так ведь еще в «Слове» битва как свадьба видится, как смертельное соитие. Если германская тактика — «свинья», «клин» = стержень, то русская — «котел», «мешок» — как вагина, влагалище.

Да, в каждом национальном Космосе обитает и особый национальный Эрос. Он определен прежде всего вертикалью: Небо (мужское) — Земля (женское). «Здесь, где так вяло свод небесный / На землю тощую глядит», — такой, не страстный Эрос отмечал Тютчев в России, где вектор Выси переходит в тягу Дали — горизонтали: путь-дорога, разлука, поэзия несостоявшейся любви, тоска... Родима тут сторонка, край, косвенное, «косые лучи заходящего солнца» любил Достоевский...

Итак, в русском Космосе три главных агента Истории: Россия — мать-сыра земля, а на ней работают два мужика: Народ и Государство-Кесарь. И оба начала ей необходимы. Народ — это тот малый, что протягивается по горизонтали: из Руси — всю Россию собою покрыть напрягается, хотя и убогий числом-населением: мал да удал! Но — и бегл, не сидит-стоит на месте. Потому и понадобилось жесткое начало власти, формы, порядка — и оно, естественно, с Запада натекло. Оттуда же — индустрия (огне-земля промышленности) и

город. Народ — воля, а Государь-(ство) = закон. Между ними и распялена Психея России, душа русской женщины. Недаром в русском романе при ней два героя, что реализуют эти ипостаси: Онегин — и генерал при Татьяне, Вронский и Каренин-министр при Анне, непутевый, бесСТАНный Григорий и есаул Листницкий при Аксинье, поэт-доктор Живаго и комиссар Стрельников при Ларе и т.д.

Раз уж я Психею затронул, что обитает в русском Космосе, то и о присутствии сему месту Логосе итог своих исследований доложу. Тут ум тоже двоякий, как и два его субъекта — мужских начала, и он все время мыкается-трепыхается в этом поле, усиливаясь сводить начала с концами. Поскольку кесарево начало власти, закона и формы у нас не первовырабатывалось, а уж пришлось готовым, как итог и результат, с Запада (и мы не посвящены в те поиски и мучения тысячеletне-вековые, в которых эти итоги, и законы, и формулы так же мучительно рождались), закон, аппарат и ихний Логос — рассудок обретает невольно догматическую недвижимую форму: тезисов, положений веских и жестких: «Так надо!» — и послушания науке, и логике, и идеологии, и правой вере: «Молчать! Не рассуждать!» — за тебя уже рассудили люди знающие, что ТАМ — наверху...

В противовес этому — Логос воли-свободы, поиска пути и смысла жизни, что в поэзии, песне, в фольклоре русском. Литература же великая, русская классическая XVIII–XX веков, Слово России, — два эти полюса соприкасаются, и потому в ней такая пружинность и энергетика, что вечно питать будет. Также и мысль философская во России отмечена напряженной поисковостью, тут не ответы, а вопросы... Принципиальная незавершенность и несказуемость «последнего слова» — это и Бахтин отмечал в строении русского романа и в мысли.

Если формула логики Запада, Европы (еще с Аристотеля): ЭТО ЕСТЬ ТО-ТО («Сократ есть человек», «некоторые лебеди белы»), то русский ум мыслил по логике НЕ ТО, А... (ЧТО)?..

Нет, я не Байрон, я другой...

Не то, что мните вы, природа...

Русский ум начинает с некоего отрицания, отвержения, и в качестве «тезиса-жертвы» берется-кладется некая готовая данность (из Запада, как правило, пришедшая). Оттолкнувшись в критике и так разогревшись на мысль, начинает уже шуровать наш ум в поиске положительного ответа. Но это дело оказывается труднее — и долго ищется и... не находится чего-то четкого, а повисает в воздухе вопросом. Но сам поиск и путь — уже становится ценностью и как бы ответом.

По этой же логике и «Война и мир»: не Наполеон, а Кутузов; и Достоевский: не Рим и Запад, а мы... И т.д.

Даже ракета недаром у нас изобретена. Ее принцип движения — самоотталкивание: тоже «не то, а...». «От самой от себя у-бегу!..»

Мир удивляется: как это у нас критика и полемика такая жестокая и страстная между собой! А я это понимаю как необходимый разогрев: в промозглом Космосе матери-сырой земли, чтобы не свалиться на обломовский диван, на успение в медвежью берлогу, — все средства хороши, в том числе и разогрев злости. Да и работяга русский когда хорошо работает? Когда разозлится, раззадорится.

ЧТО ЖЕ МЫ НАЙДЕМ ДЛЯ ПОЛЬСТВА?

То, что будет предложено ниже, не претендует быть научно точной моделью польского Космо-Психо-Логоса. Это мой образ польского образа мира. Мой миф о Польше. Однако это дело имеет такое же право на существование, как художественный портрет человека — рядом с его фотографией, подробными анкетными данными, отлагающимися в досье исследователя... Выводы здесь добываются посредством имажинативной дедукции (воображением).

Во-первых, надо перевести реалии Польши на мой метаязык четырех стихий: ЗЕМЛЯ, ВОДА, ВОЗДУХ, ОГОНЬ — в какой пропорции они распределены в Польскости, что здесь акцентировано?

Вслушиваюсь в польский язык. Язык — ведь это портативный Космос: в нем материя утончилась в дух, но дух все еще веществен: звучит. И вот поражают —

ШИПЯЩИЕ. А шипение — огонь в воде. Польский гений путем палатализации тут разработал неслыханное в прочих языках разнообразие: взрывные — огнеземельные, сухие сделал мокрыми; перевел и смычный «т» в «ч» (теплый — чёплый, ciepły), а фрикативный, из стихии воз-духа, «з» — в «ж» (земля — жьмя, ziemia), и даже рокошующее «р», звук огня, личности, труда-ургии и истории — в «ж» (из лат. res — тут «жеч», rzecz). Палатализация — смягчение-увлажнение, то есть к стихии ВОДЫ пригонка.

Итак, шипящие — диалог Огня и Воды, мужского и женского, их спор и Эрос. Но в воде огонь сразу гаснет, а тут — долго живет, звучит звонко; чеканно, кузнечно звучат шипящие. (Тут кузнец польских сказок бьет о наковальню германства.) Значит: Влаго-Воздух есть суверен польского Космоса, и в нем — факельный человек, поляк: вспыльчивый, в ком гордость = кресало-огниво, и порывистость, и свобода (ибо при постепенности обволокнет, загасит все Влаго-Воздух), и, по прогорании, остаются Пепел и Алмаз.

Проверяю Шопеном. Сухой форшлаг и мелизм четко ударной («огне-земельной») германской музыки им превращен в божественное мелодическое поприще; все эти фигурации, овевания, клубление пространства, волнующегося вокруг опорных звуков темы; дух, дышащий в «аккомпанементе», — се активность посреднических стихий: Воды и Воздуха между полярными (по Платону, в «Тимее»); Землей и Огнем. Пассажи Шопена, фактура трепещущая его, рокотанье и дрожь — это аналог шипящим в фонетике.

Но что есть Влаго-Воздух? Это — ПЕНА, состав Афродиты, Пена = ПАНИ, активная роль женского начала в Польше. Среди христианских божеств Матка Бозка оттеснила здесь и Бога Отца, и Сына, и Дух Свят и стала еще и Королева Польши, — то есть и Богово, и Кесарево в себе сопрягла. И Мать и Супруга поляку: вспомним средневековые и ренессансные статуи в жанре «Пенькна мадонна»; а Матка Ченстоховска не только корону имеет, но и кораллы-бусы, что есть уже атрибут Жены возлюбленной.

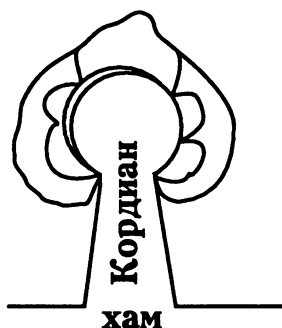
Итак, женское начало тут — не Мать-Земля, как в других космосах, но — надземно, воздушное пространство занимает. Женское облегает сверху, а Мужское — снизу в Польстве: столбом огня из земли. Теперь и символическую фигуру, образ устройства мира по-поль-

ски попытаться вывести можно. Это — ЛИПА Кохановского. Она — Мировое Древо в польском варианте. Тут — и роскошная листва, ее шелест, птицы райские, ветры с полей сюда доклады доносят, пчелы жужжат на польские шипящие: ЖЖ, ЖЬЖЬ, ДЖДЖ, ДЖЬДЖЬ, да и на ЗЗЗ, мед-пиво дают. Вот Древо Жизни! И его я вижу как польскую модель мира:

Вот рисунок:

Листва = воплощенный Влаго-Воздух: в преизбытке даже над куполом шара Небо зачерпнуто. И она как локоны Пани.

Сравним с моделью Мирового Древа по-германски: это — Stamm-Baum. Мы переводим как «родословное древо», но тут СТВОЛ — Stamm задает смысл: сила осевой опоры, голая вертикаль и ее этажи, откуда сучья: Кантовы уровни, балки, перекрытия. Само Древо читается по модели ДОМА. Stamm-Baum — это Haus. Да и слово Baum — от bauen = «строить»; так что крестьянин (Bauer) в германском сознании — это не мужик-земледелец-копатель, а именно строитель: труд-ургия подчеркнута даже среди -гонии матери-природы.



А в Польскости ЛИСТВА важнее Ствола: она в образах поэзии превоспета. Липа — округла, романска, как и галльский ДУБ друидов. А между ними — готическое древо Fichtenbaum — ель. И философ в Германии — Фихте: Логос от Ели, тогда как во Франции поэт ШЕНЬЕ — от ДУБА (le chêne). В Польше же Липе такое почтение, что даже месяц целый в году ею поименован: ЛИПЕЦ.

В России же не одиночное Древо, но ЛЕС будет моделирующим: артель и собор деревьев. Если Липа Кохановского — это Древо как Лес: в Древе, в самости поляка — богатство Польши, Леса («Еще Польша не згинела, доконд мы живы»: человек — условие бытия Польши), то в русском сознании одиночное дерево — это сиротство, а личность отдельная — это малозначимость; и потому Кольцов, когда ему надо аналог Пушкину взвидеть, рисует ЛЕС (так названо его стихотворение на смерть поэта).

Промедитируем еще фигуру ЛИПЫ: Листва — Благо-Воздух; Ствол — Огонь, Корни — Земля, Женское — сверху, Мужское — снизу: Кордиан-шляхтич-факел — и Хам, Слимак — улитка. Романтизм — Позитивизм. Польский флаг — Белое над Красным.

Итак, польский Космос есть некое марево Бытия, надземное в основном, со стихией ЗЕМЛИ не натвердо связанное, так что земли может быть тут больше (как в Речи Посполитой) или меньше (как после разделов), но Польскость — не в квадратных километрах, а в воз-духе и в сердце, как в «Польском Пилигриме» Мицкевича и у ссыльных в Сибирь поляков (надоумила Дина Прокофьева). В «Свадьбе» Выспянского Невеста видит сон: бесы везут: «Куда? — В Польшу. — А где же Польша? — Нигде, — отвечает поэт. — Она в сердце». И показательно, что именно бесы мыслят пространственно-земельно.

Польша геополитически — как гармошка между Западом и Востоком Европы: то расширяется, то сжимается — и тогда перебегает в Дух, в Листву, во Благо-Воздух, в романтизм прыснет — есть куда! Так что Польскость не боится, а даже навлекает на себя трагедию (с точки зрения земли и тела). Она и изощрена на трагедию — как на шипящие. Трагедия ведь — дар! Крестьянин Слимак в «Форпосте» кучу малу своих бедствий пересчитывает — и все мало! Но поляк вынесет и будет пировать и плясать. Недаром «Кулик» Словацкого восстание как свадебный поезд представляет.

Посредничество Польскости между Германством и Российством в том даже проявляется, что в тутошнем бутерброде колбаса (немецкий Wurst) вместе с сыром (русская мать-сыра земля)... То есть в польском Космо-Психо-Логосе элементы и того и другого обнаруживаются и синтезируются. Но чтобы не растопиться именно из-за этой близости, Польскость через голову соседей союзнится и питается романской субстанцией.

Удивился я далее, что предатель земли польской может не терять героического ореола. Вот Яцек Соплица в «Пане Тадеуше» — убивает из-за угла столыника Горешку в момент его битвы с «москалями». А Ян Белецкий в поэме Словацкого орду татар приводит на родину — в отмищение магнату. И — покаяться — и славны. А все потому, что Польскость — не в земле, а в ЧЕСТИ. Даже парадоксально скажу: чем меньше

Польши, тем больше поляка (и наоборот): вон — Конрад Валленрод!.. Да и сам Адам Мицкевич. И Шопен...

Но за последний кус земли, чтобы было хоть где похоронить! — будут стоять насмерть: вгрызутся, как мужик Слимак в «Форпосте», кто один в абсурдном упорстве одолел нашествие немцев-колонистов. И в повести видно (как и в «Гражине» Мицкевича), что национальная воля и ум — в женщинах Польши. Это Слимакова чувствует, что земля — не в моргах и деньгах, а в — «Дзядях»: чтобы было где душам умерших кружку поставить.

И вот еще великий в Польше сюжет: взаимоперетекание живых и умерших: чуждые умерших как живых духов, действующих и в нашей жизни. Про то — «Дзяды» Мицкевича. А в «Свадьбе» Выспянского персонажи истории — они же действующие лица в настоящем: Вернигора, Браницкий, Станьчик и т.д. Смазаны Прошлое и Будущее в поляке — плывут в мареве Настоящего; но оно в «Свадьбе» не твердь, а полусон и иллюзия, пир полупьяного существования...

И в «Солярисе» Ст. Лема реализуются думы и мечтания, навязчивые идеи людей, их внутренняя жизнь и подсознание: Солярис их читает, знает — и воплощает... Да это же как и в «Дзядях»: воскрешение образов умерших, живущих в моей памяти. Кстати, Солярис — это же дышащий и волящий воздушный океан! Владо-Воз-Дух! Король Владо-Воздух — как «Король дух» Словацкого! Океан — как живое всесущество, демиург. Если по иудаизму, Бог — это «Огонь посядающий», ветер, гром и столп огня, то польский образ Бога имеет в стихиях себе соответствием — водо-воздух...

Живость умерших, умение с ними жить в соседстве и ориентировке на них — и в балладах Мицкевича («Свитезянка» и упыри), и в «Тренах» Кохановского, и у Броневского «Ясеньевый гроб», и Мацей Боруна весь 2-й том «Мужиков» Реймонта лежит умирающий, как органический пункт на Смерти; и в «Березняке» Ивашкевича могилы жены и брата — при усадьбе; и современный прозаик Мысливский пишет «Камень на камень», где строится — СКЛЕП.

Но отсюда и польский Эрос: у Марыси в «Свадьбе» два возлюбленных: живой муж Войтек и умерший жених Призрак.

Эрос русской женщины — иной: ей, Матери-сырой земле, тоже нужно два мужика: хмельной, разгульный Народ-Светер и Государство-кесарь, закон-аппарат. Онегин и Гремин, Обломов и Штольц, Вронский и Каренин и т.д. И еще — поэзия разлук, коей препоясана русская земля: происходит перекося вертикали Эроса — на ширь-даль-горизонталь... чтобы любовь и песня прокатывались по всему необъятному пространству и его единили...

В польском Эросе о н а — наверху (а не внизу, как Мать-сыра земля). И у Гоголя — Яновского, кто, на мой взгляд, есть Конрад Валленрод Польства в русской литературе (разъел пушкинскую цельность критическим и сатирическим направлением), Ведьма наяривается сверху на Хому Брута.

Глубинная амбиция поляка — соперничество с Христом: заменить его собой, польским народом, на коленях у Пьеты (= Пенькны Мадонны). Жертвенность, мессианизм Товянского и Мицкевича.

Разберемся меж персонажами Эроса: Отец, Мать, Сын, Жена... В одних странах разворачивается Эдипов комплекс: Сын убивает Отца и женится на Матери (Элада, Европа Западная так). На Востоке и в России — то, что я назвал «Рустамов комплекс»: Отец убивает Сына (Рустам — Сына своего Сохраба, Илья Муромец — Сокольника, Иван Грозный, Петр Первый и Тарас Бульба — сыновей своих) и, в варианте, женится на Снохе (у Максима Горького Эрос Артамоновых — снохаческий). В Америке — «Орестов комплекс»: матерубийство; переселенцы покидают Мать-родину Старого Света, а новую землю не как Мать, не как Природину, а как пассивный материал-сырье для труда ощущают, без священного отношения...

А в Польше как с этими ипостасями?..

Отец оттеснен — в ничтожность: и король безгласен при «либерум вето»; и в литературе Отец — слабый персонаж (в «Границе» Налковской — разоблачение отцов). В «Дзядях» (не Отец, а Отец Отца тут сакрален — Дед) мятеж Сына на Отца-Бога: его поливает. А почему? Потому что сам так страдал, как другой сын Бога — Христос; и чуть ли не превзошел... Потому-то папа тогдашний как еретические воспринял книги Мицкевича «Польский Пилигрим» и «Книги народа польского»: как покушение заменить Христа польским народом — в любви Матери Божией... Так что в Польше ревность

Сына-Брата — к Брату (и в «Березняке» Ивашкевича): кто кого пережертвит, Р о м у л о в к о м п л е к с (не скажу: Каинов...). Горизонтальное соперничество (однопоколенники: Соплица и Горешка), а не вертикальное...

Еще посравним с другими моделями. Шар и Крут, столь совершенные в эллинстве, отвергаются Мицкевичем: лимоны Италии — мертвенные шары из золота (в «Тадеуше»); и «прусский король начертал КРУГ и сказал: "вот Бог новый"» (в «Польском Пилигриме»). Также и квадрат и куб германства — отвратная для польской эстетики фигура; и орнаменты преобладают тут лиственные, а не геометрические.

Чужд и итальянский Космос атома-камня-индивида в сияющей пустоте. Ближе французская *milieu*, среда, значащая полнота: тут тоже из четырех стихий не крайние — земля и огонь, а посреднические — вода и воздух — значащи; также и носовые звуки, и роль женщины. Но нет в Польше симметрии и баланса, а вспыльчивость: прорвать облегание рывком — таков ритм тут: всполох!

Также и русские символы здесь оспариваются: если у нас Свет («белый свет»), то тут Цвет почтеннее, радуга-Ядвига! А Путь-Дорога тоже в минусе: в Польше вертикаль важнее горизонтали и этим ближе к германству. «Дорога в Россию» Мицкевича — ужас, кошмар бесконечности и белизны. И у Марины Павликовской-Ясножевской «Придорожная верба» (*Wierzba przydrozna*) — при дороге = при чуждом себе месте, отвернута от нее руками — вверх! У нас Гоголь — Яновский, кто чуток к тому, чего в Польше нет, по контрасту и восславил и Бесконечный простор, и Дорогу (Русь-тройка). И внес идею «мертвых душ» — как живых...

Чуждо и германское древо готическое, ель, кипарис: как он, чопорный, в сравнении с березой, в «Пане Тадеуше» отвергнут!

Теперь начнем пробираться к польскому Логосу, т.е. складу мышления и важным в нем категориям.

В польских образах Пространства и Времени вот что замечаем. «Для выражения места в русском языке употребляются наречия «где», «там», «здесь», «нигде», «везде» и др., а для выражения направления в сторону предмета (с глаголами движения) — «куда», «туда», «сюда», «никуда» и др. В польском языке такого раз-

личия нет. В обоих случаях употребляются одни и те же наречия»¹. Но это значит, что не так важны и проработаны тут в понятии пространственные векторы и страны света, что, напротив, так важно в ориентированном на горизонталь (даль-ширь) мира русском Космосе. Большая аморфность внешнего пространства — ибо оно стянуто внутрь, ко мне, при-сут-ствует здесь и теперь, как и во Времени: Прошлое и Будущее стянуто ко мне, в сие существование. И потому оно так пышно и насыщенно цветуще — как Липа! Так ощущается текущая жизнь человека.

А Время?.. Акценты в нем выдает язык: «почему» здесь — *dla czego* (= *для чего*) и «потому» — *dlatego* (= *для того*), то есть взгляд не назад, в причину, происхождения вещи, в прошлое (как в германстве), но ближе к французскому подходу спереди, из цели («почему» — *pour-quoi* — то же самое! *для чего*), к чему вещь?.. Финализм и предопределение, характерные для многих французских мыслителей, перекликаются с польским мессианизмом...

Но еще точнее: любит поляк рассуждать так: «ах, если бы тогда все произошло иначе?!» — под Рацлавицами в 1794-м, или в Варшаве в 1831-м... То есть, по модусу, так сказать, *future in the past* — возможного иного будущего в прошедшем...

Из трех точек: причина (прошлое), центр (настоящее), цель (будущее) здесь привилегированнее центр, где сердце(вина) бытия. Об этом говорит и фиксированное ударение на предпоследнем слоге, в центре слова обычно; и Амфибрахий — польская стопа в шаге на «три» (мазурка, полонез...).

Поляку важно: как себя вести в миг настоящего времени и как выглядеть (а не победа): умирать *красиво* (и Броневский «Смерть революционера», и Пушкин в письме Вяземскому 1 июня 1831 г. о декоративно-рыцарской смерти польского командующего Скрженецкого и всей свиты с ним, с гимном «Еще Польша не згинела» на устах).

Мицкевич в своих лекциях о славянских литературах, сравнивая Горация и Кохановского, отмечает у первого горловой голос и вдохновение, идущее от го-

¹В а с и л е в с к а Д., К а р о л а к С т. Учебник польского языка. — Варшава, 1964. — С. 70.

ловы, а у второго — голос грудной, и из глубины сердца. Тут топография важна: Рим = Голова, и головное, капитолийское вдохновение у Горация: рассудок и мера. Польша — грудь, сердце... Значит, идея «головного» и «начальства» здесь отступает в ценности перед принципом Центра, где сердце. (То же и в фонетике: «о» носовое съедает «а» = высь и «у» = глубь). А грудь — полость влаго-воздуха, обитель легких. Так соответствие устанавливается между Космосом (вода-воздух), и Антропосом (грудь), и Психеей (сердце), и Логосом (центр, настоящее). Также и в Социуме польском: важна срединная фигура шляхтича, который психикой — дворянин, магнат, а бытом — мужик, однодворец. Во времена Мицкевича 18% населения — шляхта... Значит, чувство личного достоинства: Я сам! Я пан! — демократично в Польше, массово. Об этом же вежливая форма тут — на 3-е лицо (как и в атомарно-дискретном италианстве — Lei): pan, panstwo, pani есть акт объективизации, создание дистанции между индивидами — против их фамиллярного соприкасания в «ты» и утопления во множественности «Вы» и «Мы». Учивость, уважение к отдельности и самости другого. Неслиянность «Я» и «Не-Я», индивида и целого. Если рок России — Единое, нечленораздельность, то рок Польши — множественность, неслиянность... Отсюда — отсутствие эпоса; вместо него лиро-эпический жанр баллады, а также емкость здесь малой формы: фразы Кохановского, мазурки Шопена: каждая — микрокосмос...

В поэме Словацкого «Ян Белецкий» пан Бжезани так рассуждает: «Наш польский край — готическая башня: / В ней тысяча колонн — подпора в храме; / Пусть выпадет одна — какою силой / Ты сдержишь храм? Все ляжет грудой праха! / Я выпаду!..» (перев. А. Коваленского). Тут уравнение $1 = 1000$: значимость Одного! Все от его свободной воли зависит. Отсюда — «либерум вето»: один имеет право преградить путь всем! (Ср. русское: «Один за всех, все — за одного».)

Кохановский: «Верно, что деды (не отцы — авторитет, а деды! — Г.Г.) богатств не имели, больше иметь они не хотели»¹. То есть не по нужде бедны, а по неохоте убиваться в труде, понимая, что качество жиз-

¹ Цит. по: М и ц к е в и ч А. Собр. соч. В 5 тт. — Т. 4. — М., 1955. — С. 277.

ни — не в количестве материй, а в ценностях души: свобода, честь, радость жизни. В германстве и американстве, напротив: -ургийная, трудовая добродетель ценится. И бытом становится человек барин (нувориш), а душою — «холоп», тогда как в Польше обратная картина: шляхтич бытом — «холоп», а душою — аристократ, рыцарь, артистичен, беспечен. Такое создается впечатление, что тут постоянно пируют и танцуют и весело жизнь препровождают. Немногозаботливость. Бесшабашность. Радость бытия вкушается сразу, а не откладывается на потом, про запас... Недаром и гимн Польши — это мазурка Добровского — плясовой ритм, а не марш. И кто-то там заметил: «Проплясали поляки свободу Польши...»

Самодостаточность в Психее (отсутствие застенчивости, «комплекса неполноценности», польский «гонор») — координируется и с отсутствием опосредования в Логосе, которое — от неуверенности: перелагает на иное, отсылает от себя подальше, не берет на себя ответственность. Здесь же — решительность как в отрицании, так и в утверждении. Если формула эллинской и западноевропейской логики: «Это есть то-то» («Сократ есть человек»), а формула русской логики: «Не то, а... что?» («Нет, я не Байрон, я другой...»; «Не то, что мните вы, природа...»), то формула польской логики: «Не это, а в о т ч т о!» Она близка к русской тем, что начинается с негации, отталкивательно, реактивно, но близка к западноевропейской — своей утвердительностью в итоге, тогда как русская — разомкнута в бесконечность вопрошения и исследования, есть отсыл в даль...

Вот схема логического построения у Мицкевича:

На каких людей отчизна наша возлагала... надежды?..

Не на людей, одевавших всех красивее...

И не на людей, воевавших где-то...

Но на людей, которых вы назвали добрыми поляками...

(«Книги Польского пилигримства», VI)

Польский Логос выявляется и из особенностей вклада поляков в мировую Науку. Он — в отрыве и одолении тяги Земли (Коперник и наш Циолковский, открывший реактивный принцип: ракета летит самоотталкивательно, как и мысль разгоняется по логике «не

то, а...»); в развеществлении тверди: открытие Марией Склодовской-Кюри (опять французское склонение, как и у Шопена...) радиоактивности — ведь тем она гранит атома-камня (стихия земли) раскрыла как марево-истечение, радугу, влаго-воздух, поле, континуум...

Подобно и у Юлиана Пшибося в стихотворении «Материк» — тут весь польский Космо-Психо-Логос! И одухотворение вещества, и взмах-порыв; и Листва, и Тень; и волновая теория строения всего в мире; и кривая-лукавая, женская линия...

* * *

В общем, получилась у меня, так сказать, «романтическая» модель Польскости. Но недаром в дополнении к ней возникла и «позитивистская» модель. Ее *raison d'être* столь же бесспорен. Ведь История, Культура находятся в диалектическом отношении к национальному Космосу, и Этносу, и антропосу: то, что не дано последним от Природы, естественно, первые призваны восполнить, произвести искусственно: через Труд и воспитание в Обществе. Национальная целостность поэтому есть нечто принципиально открытое, незавершенное.

Но подобно и в оркестре человечества каждый народ, как инструмент, ценен незаменимостью своего ума-умения: гобой дорог скрипке тем, что он умеет то, чего она не умеет. Так что не унификация, а уникальность — вот верный курс. За что мужчина любит женщину? За то ли, что она похожа на него? Напротив — за диво совершенной непохожести. Так и соседнюю или дальнюю нам национальную целостность: **е е в о з л ю б л е н н у ю н е п о х о ж е с т ь** — вот что да восценим и чем будем дорожить!

Изложенное здесь тезисно — есть некий «дайджест» предпринятого мною и частично осуществленного большого исследования Польского образа мира, которое я надеюсь развить дальше, навлекши сим выступлением на себя корректирующий огонь полемики.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ В МОСКВЕ В ЭПОХУ БОЛГАРСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Это — середина XIX века. Тогда в лице болгар, приехавших в Москву учиться, встретились два космо-исторических тела: Россия и Болгария. Продумаем эту

встречу и НЕ-встречу. То есть чем жила тогда Россия и чем Болгария, и что они могли понять и не понять друг в друге?

В России, особенно в Москве, тогда шло тоже бурное Возрождение, поиск национально-самобытных начал. Век Петра и его вектор абсолютно западной ориентации окончился с изгнанием Наполеона. Оно осуществлено не Питером-батюшкой, окном в Европу, а Москвой-матушкой: Русью и народом — ее Сыном, и естественно, в исторической гордости воспрянули теперь Мать и Сын против Отца, а именно Мать-земля (исконная родина Русь) и ее природный Сын-Народ и его дух — против деспотизма Отца-Государства-Варяга-Запада (Эдипов комплекс в истории). В Москве в противовес Государству возникает Общество; вдали от министерств и коллегий, проспектов и чиновничьего духа Петербурга — тут, в кривых переулочках, в женских кривых, а не мужских прямых линиях, на лоне Матушки-земли Сын-Антей русского духа воспрянул к мысли и Логосу, и вот его голос — в тогдашней интенсивной интеллектуальной жизни и спорах.

«Москва, спаленная пожаром» — это допетровская Русь, обожженная западным люциферовым огнем. Словно Россия (в этом такте своей истории), после того как избыточно-недопереваренно впустила в себя западные начала, вытошнила ими, выплюнула. Ориентировка на «варяг» сменилась ориентировкой на «грек» — на Юг: на свою веру, язык, историю. Этот вектор через Киевскую Русь естественно привел и далее, на Юг и Запад, — и в орбиту интереса попали и славяне: с чехами (Ганка, Коллар) наш М. Погодин вступил в контакт; он же с Венелином и т.д.

И подобно тому, как русские воины, казаки, выплевывая француза, зашли в Пространстве далее естественных пределов русского Космоса, раскатились через Германию аж в Париж, так и московский Логос в самопоиске своей сути зашел за пределы России во Времени: перепрыгнув через век XVIII и царски-боярские XVII—XV, заглянул в свою доисторию: в фольклор, народный быт, общину, песни, летописи, и откуда есть пошло Слово России; так язык древнеболгарский приблизился, и этот народ славянский и православный.

С Петром — Наполеоном вторглась в Русь жгучая модерность и злоба дня экономики, политики и социальности. Воскресение ж Москвы привело и к возне-

сению Руси и ее начал. А это — иной шаг и темпоритм Времени, близкий к Вечности. Это — Духовная культура, в отличие от той рассудочно-интеллектуально-научной, что шла с Запада. Это дух братства-соборности-общины и любви — в отличие от классовой ненависти и борьбы как движущей силы истории, что в это время предложили Дарвин и Маркс.

Но совершалось это уразумение, национальное самопознание — как вторичное: людьми как раз высочайше образованными именно в западной культуре, истории и философии: Карамзиным, Грибоедовым, Чаадаевым, Пушкиным, Тютчевым, Хомяковым, Аксаковыми, Иваном Киреевским, который журнал именно «Европеец» основал и статью-манифест «Девятнадцатый век» написал, а уж потом — «Москвитянин» явился. Разверзся их мыслями и трудами диапазон исторических координат: стали мыслить основными ценностями, их искать и к ним пробиваться из нынешних политико-дипломатических игр, интересов и злобо-дневностей. Вместо нее — ДОБРО — ГОД-ность: вместо дня — год (век, вечность) и то, что годно на добро и благо — и высшее, и земное, жизненное, материнское.

И в этой устремленности — тоже совпадение тогдашних москвичей с болгарами: они тоже через голову чужеземной им современности турецкого ига обернулись к тому, что было за полтысячелетия до того: к своему царству-государству, языку и культуре, фольклору и вере, — и тем подкрепляли самочувствие, как и славянофилы поднимали самосознание русских. Шло взаимопитание. Славянство расширялось и в пространстве, и во времени как общая субстанция, почва и пища, что окормляла и ныне питает и русских, и чехов, и болгар и крепит их взаимно друг другом. В этом смысле Юрий Венелин, которого поддерживал Погодин, открыл болгар не только самим себе, но и субстанцию русскую подкрепил. А собрание русских песен Петра Киреевского было толчком-сигналом для болгар собирать свои песни и древности.

Замечательно в этих духовно-культурных сотрудничествах отсутствие имперских и геополитических амбиций. Последнее — забота Питера из-за Петербурга: там всякие дипломатии, козни-«хитрости». В Москве же духовно-культурная бескорыстная взаимопомощь и сострадание. В работе нашей коллеги Е.А. Дудзинской «Славянофилы и болгарское Возрождение» приводятся

слова из обращения к читателям по поводу издания «Паруса»: «Не внешнее политическое, но внутреннее духовное единство нам дорого... Пусть развивается каждая из народностей вполне самостоятельно, пусть каждое племя внесет свою долю труда в общее дело славянского просвещения»¹. А когда М.П. Погодин написал о возможности образования славянского государства от Тихого Океана до Адриатики во главе с Россией (потом Данилевский и Сталин мыслили о том же), А.И. Кошелев напечатал следующее примечание: «Мечта, к счастью, несбыточная: подобное государственное единство подавило бы духовную независимость каждого племени в отдельности. Нет! Знаменем России должен быть, по нашему мнению, не панславизм, в смысле политическом, не централизация, но признание прав каждой народности на самобытное, своеобразное существование, иначе: свободный союз независимых отдельных славянских племен, которого защита и охранение естественно принадлежали бы России»². Тут точная формулировка и для нынешних межнациональных отношений — поучиться можно.

Контакт в Москве происходил не на государственных, а именно на общественных началах. Дело в том, что в России вечная проблема: слабость Общества — как буфера между Народом непросвещенным и сверхмощным Государством вампирическим. Порабощенные же славянские народы: и чехи, и сербы, и болгары, не имея крыши своего государства, зато породили более энергичное и приближенное к народу Общество (и церковь). Там общества торговые, просветительные, училищные настоятельства: школы и культуру самочинно, не спросясь властей, собирали средства — и основывали. Не то, что государственная система просвещения в России, от Уварова до Ягодина. И в этом отношении Москва имела чему поучиться у меньших братьев. А Общество сподручнее было развивать во России именно в Москве — подальше от центрального огня власти и пекла. Тут все — самочиннее: и купцы островские, и фрондерские издания славянофилов, что Петербург на корню прикрывал: и «Европеец» Киреевского, и «Те-

¹ Русская беседа. — 1859. — Кн. 4 (объявление об издании газеты «Парус»).

² Русская беседа. — 1859. — Кн. 1. Смесь. — С. 61.

лескоп» Надеждина, и «Парус» Ив. Аксакова и др. Тут и Славянский благотворительный комитет и проч. Именно Иван Аксаков в своей публицистике развивал идею о необходимости того, чтобы самонародное Общество переняло на себя многие функции, которые пока осуществляются приказно, сверху; что и стало совершаться после Реформы: земства, суды, пресса и т.д. Даже некое распределение географическое можно отметить: Петербург = Государство, Россия = Народ, Москва = Общество. Так, собственно, и далее было: здесь и Третьяковская галерея — искусство, поддержанное купечеством, здесь и Мамонтовская опера, и Московский художественный театр, Саввой Морозовым поддержанный, и т.д.

Но в середине XIX века на московские инициативы славянофилов из Петербурга смотрели косее даже, нежели на революционно-атеистические идеи «западников»...

Также и общинные основы быта и народной социально-трудовой организации, что сохранились у южных славян («задрута» и т.п.), были родственны русской общине, «миру», и «сходу».

Это объясняет ту психологическую «совместимость тканей», благодаря чему болгары уживались в Москве и не просачивались севернее — в Питер, где сыро-промоглый климат (чахотка), студеные души и чиновно-отчужденный стиль проспектов. В Москве же неторопливый ритм, уютные усадьбы, печи, кривые переулки — своя махалла! Патриархально-домашний дух общения, гостеприимство, застолья, радушие — все это располагало к тому, что души раскрывались навстречу друг другу и шел взаимообогащающий обмен мыслями, идеями... Как приемные дети матушки-Москвы могли себя здесь чувствовать болгары.

До сих пор мы рассматривали наш сюжет: встреча двух космо-исторических тел России и Болгарии в середине XIX века по сходству: что похоже и роднит. Теперь вникнем в различия. Главное — государственная независимость России и порабощенность болгар. Для них Россия — славянский Эдем: тут славянская речь, культура, своя вера — все на приволье, и в этом смысле Россия — будущее Болгарии. Но болгарин даже под турецким игом был хозяином — собственником земли и самоактивен в экономике, и в этом отношении

болгарин — это будущее для русского крепостного и колхозника: в смысле хозяйственной хватки, пока — недосыгаемость нам.

Далее. Сама эта громадная независимая славянская держава Россия пребывала в середине XIX века в раздоре и поиске путей и в неуверенности, куда идти. Да и Москва стала противоречива даже по архитектуре: «Пожар способствовал ей много к украшению», но на Скалозубов, питерский, фрунтовой лад; проложены проспекты, и петербургски-имперски-классицистически-ампирная стилистика проникла в усадебную Москву. Ну и споры западников и славянофилов тут ярейшие шли. В разную даль каждый заглядывал. Меланхолический Агасфер — Чаадаев, как Кассандра, предвидел Россию — как беспутную жертву мировой истории: быть может, «мы рождены, чтоб сказку сделать былью», но страшную сказку: чтобы дать всем ужасный урок: как не надо жить и строить общество... И кажется, мы поработали хорошо в нашем веке; чтобы сбылось его апокалиптическое пророчество... Но Чаадаев — безбытен, бессемен, слабокоренен. В этом смысле антиподны ему Аксаковы — Востоковы, с крепкими корнями в народно-русском и семейном быту, и их мироощущение — радостно в настоящем. Нельзя сказать про них даже, что они «оптимисты» — таковы скорее «западники»: Белинский, что завидовал внукам и правнукам (это нам, значит!..), и Герцен, и прочие, нечуткие к настоящему, а с процессным сознанием (Прогресс! Эволюция! «Светлое будущее»! — все потом!).

Кстати, исторические стадии середины XIX века напоминают наши в XX веке; сходны и проблемы для общественного сознания. Победа над Наполеоном = победа над Гитлером. Потом страна — рабыня своей победы: усиление деспотизма. Затем смерть самодержца, «оттепель» короткая, восстание декабристов (и поляков и венгров); повело на реакцию, и вот — «застой» ихних 30–40-х, наших 70-х. Но разбуженный дух уходит вглубь и под спуд, и 40-е годы XIX века — золотая эпоха русской литературы и философии; а у нас — культурология, да и литература... Потом Крымская война — поражение = наш Афганистан. Смерть Кесаря, новая метла — и реформы 60-х = у нас перестройка 80–90-х. И ныне клочкотание общественной мысли у нас сходно с российским бурлением в начале эпохи

реформ. На что ориентироваться? На Запад, индивидуализм, парламент — или искать «самобытные начала» и формы хозяйства: на колхоз-общину делать ставку? Иль на купца-«кооператора»? И такой хаос, разброд возможных форм, укладов и путей!..

Тут-то обнаруживается еще одно сходство истории России и Болгарии: в обеих странах своевременно не проходили фазы и стадии общеевропейского процесса — и вот вынуждены восполнять их запоздало и стяженно. Ускоренное развитие — общий рок и России и Болгарии. Но легко осуществлять в маленькой, компактной Болгарии с чуткой обратной связью эти шаги, а в России, что дистанция огромного размера, да еще и историческая сороконожка (по вовлеченному в ее путь многообразию регионов и народов, находящихся на разных стадиях) — как ей наладиться в путь-дорогу? Одна нога делает шаг к парламентарной демократии (Прибалтика, допустим), а другой бы вернуться к бортничеству в тайгу и тундру (как эвенку), чтоб спастись народом. Да и инерция огромного колосса, у кого «размаха шаги саженьи», — попробуй смени направление, засемени, медведь, шажками по темпоритмам Европы! Потому катастрофами и разрывами, не плавно, а рвать пятки — таков тип доселе русского развития. Однако классы истории проходить все равно надо — с азов, а не блефовать «ускорением» и «большими скачками».

Однако до сих пор я делал выкладки в исторической сетке координат, согласно которой принимается некая единая шкала и последовательность (Гегель — шествие мирового Духа через страны и народы исторические; Маркс — смена пяти общественно-экономических формаций и др.), и все частные истории народов будто должны-обязаны в нее вписываться и клетки заполнять. Но почему? А где национально-историческая самобытность и автохтонность саморазвития каждой национальной целостности? И здесь я предлагаю метод, который называю: *Космософия*. Ему согласно, каждая национальная целостность есть Космо-Психо-Логос, т.е. единство местной природы, национального характера и ментальности народа тут. Природина есть субстанция-субъект совершаемой над нею Истории. Природа страны (равнина или горы, море или степь, лес и т.п.) есть не пассивный материал в переработку, а скрижаль завета: некий подсказ Народу, как тут жить-быть и что делать с нею в лад, но и в восполнение трудом того,

что не дано от природы. Наука История работает причинами. Историософия — это телеология: ищет особые цели — призвание и целесообразность. Обе — линейны, по горизонтали мировой истории единой, наземной. Космософия видит каждую страну — как шар на вертикали: земля — небо. Истории тут выходят разные.

И вот по Космософии Россия — мать-сыра земля, т.е. «водо-земля». И она — равнина, балто-славянский щит, бесконечный простор, по которому реденький народ-СВЕТЕР (свет + ветер), странник Русь, несется тройкой расшириться и своею немощью покрыть Россию («покрыть» в обоих смыслах) — колонизовать, причем истекает на этом силою. Русь — жертва России, что и видим сейчас в итоге истории: почти погибла Русь, потратя все силы на создание России-Союза. Теперь же снова Руси вбираться в себя из России, на самоспасение.

А Болгария — это чаша в Балканах, вниз и вверх дном. Чаша вниз дном — это котловины ее земель между гор: Фракийская, между Средна гора и Стара планина, Розова долина; Котел, Клисурa (= ущелье)... А чаша вверх дном — «там, на Балкана», где гайдук и ветер свободы. В котловине же — земля и труд, культура и «къща» (дом), семейство, быт. Там «старая майка», «чорбаджи» и «чорбаджийска дъщеря» и «тежки сватби». Жена ж юнаку — «самодива». «Там, на Балкана» — люди воз-духа, и таковые и неслись в Россию: бессемейные, недомашние потянулись на север, ветер и снег, к свободе и культуре, прочь от любви — дома, семьи. «Хайдутин къща не реди, майка не храни» («Гайдук дома не строит, мать не кормит»).

И вот призвание Болгарии — гармония между этими чашами: свой шар блюсти в своем геополитическом средостении между Турцией и Европой, между Россией и Средиземноморьем — Элладой. Сюда все стекает и переваривается, но миссия болгарства — сидеть на месте, «самозадоволяване» (= самоудовлетворение). Болгария — это приход (как и дружины Аспаруха), а Русь-Россия — это вечный уход-расход: «от самой от себя у-бе-гу». И чтобы не слететь совсем с космодрома бесконечного простора в Космос ракетой, самосохранительно себе Россия-баба второго мужика запросила: чужеземца, варяга, Запад, закон, Государство, что ее, аморфную, опояшет формой-пределом. Так что в русской истории три агента: Россия — мать-сыра земля,

Народ-Светер и Государство-Кесарь. И все сюжеты русской истории в этом трилоге прочитываются: Русь-Россия, Народ, Государство. В том числе и сейчас. И происходит это в поле тяготений между Востоком и Западом — занимая Север Евразии.

Ну а Болгария в середине XIX века, в той волне-такте ее истории — какая в ней ситуация? Избыточно натекло тюркского элемента: в быт, язык, нравы, в музыку, жест и танец. Слишком налита оказалась телесность и приземленность. Греческий элемент помогал держать веру и самоотличаться от турок. Но придавлен славянский элемент: Слово, Дух, Небо. Вертикаль сверху — ее надо подпитать. И вот Балкан и Север — зов в Россию.

А горизонталь геополитическая требует ориентировки на Запад: оттуда торговля, рынок, политика, демократия. Потому болгары в Москве — это не политики, а культуртрегеры: слово славянское, литературу развивали. А кто политикой горит — те поближе вокруг Болгарии: из Румынии (Ботев), из Сербии (Каравелов: в России политикой не занимался, а был писатель), Царьград (Раковский). И если Освобождение пришло из России, то это уж воля Империи, а не зазыв болгар московских.

Теперь мы схематично описали эти два космо-исторических тела, что вступили в контакт с болгарами и славянофилами в Москве. Ясно, что в этой сущности они мало могли понимать друг друга — в сущности национально-исторических проблем и призваний.

И недаром, как только Россия освободила Болгарию, та самосохранительно переориентировалась на Запад и германство: иначе бы залила та малую Болгарию своим равнинным добром: что хорошо ей — то горной Болгарии плохо.

Также и русские: когда столкнулись с реальными болгарами у них дома — оттолкнулись в лице Леонтьева от этих корыстных животных и низменных торгашей: третьесословны они, все болгары, и дурно пахнут на вкус русского аристократа, как и «Бай Ганю» для Горького и Короленко, что отказались его печатать. Это он мог, русский барин, себе на потребу из Инсарова парсуну малевать — как человека, что нам, байбакам, скажет всемогущее слово «Вперед»; но Инсаров — маска и кукла, а не живой болгарин, так же как ку-

кольны те «братушки», которых малевали Вазов и прочие болгарские писатели из русских...

Так и в милых отношениях болгар в Москве и славянофилов был предел непереходимый: при всем доброжелательстве не могли понять друг друга изнутри, из «я», а разве что из «ты» — друг-брат, а все более «онно» — как объект интереса, симпатии, сострадания, братской помощи, даже и жертвы, — но все равно без интимного трансцензуса.

Тут — как дружили Журавль и Лисица; и особенно между Государствами в политических отношениях важно это понимать: что предлагаемое мое хорошее для друга и брата может быть плохо. Увы, этого не понимали после второго Освобождения Болгарии Россией в 1944 г. — и стали унифицироваться. А ведь в Болгарии был развит «широкими социалистами» кооперативный социализм, на 25% экономика им была охвачена; СССР же залил это все государственно-бюрократическим социализмом: русскую меру, где все БОЛЬШОЕ навязали Болгарии, которая «мъничка» и «шепа земя» («горсть земли»). Это когда моя болгарская тетя, «леля» Руска, приехала в Москву, говорила: «У вас, в России, все «большое», а Болгария — мънинка (маленькая)».

Какой же урок той встречи-невстречи болгар и русских в середине XIX века? Любовь к брату да сочетается с *презумпцией непонимания*: что я могу не понимать ближнего, кого люблю, и должен осаживать себя в демьяновых дарах и ноздревских поцелуях и амикошонстве... Хотя нет, это урок — от нынешней ситуации. А тогда-то как раз, можно сказать, идеальны были отношения...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди нескончаемых вопросов, что пробуждает проблема национальных образов мира, почти постоянны следующие три:

1) Изменяется ли национальный образ мира с историей? Разве испанец XX века — тот же, что был испанец XVI века?

— А вы вот, вопрошающий, — один ли и тот же человек, что был младенцем в яслях, сейчас — сотрудник в научном институте и окажетесь стариком в доме престарелых? Я ищу в каждой национальной целостности это самотождество личности. Но, разумеется, срез делается в пути: ни один Космо-Психо-Логос еще не завершен (а даже вроде бы и завершенные, как Эллада и древнеегипетская цивилизация, продолжают жить в человечестве, в его культуре и судьбах участвуют и переуясняются и; значит, — тоже не завершенные, по Бахтину: последнее слово о них не может быть произнесено...) и, может быть, повернет в другую сторону и обнаружит иные качества, как волна-синусоида... Я же вмедитируюсь в тот срез и объем, что мне обозрим.

2) А как быть с метисами: с тем, кто и по крови смешан, да еще родился в одной стране и ее язык ему родной, но переехал жить в страну другую в юном возрасте, женился на туземке, и дети уже тутошние (тамошние?), прижился и работает в новой культуре, — как, например, писатель Владимир Набоков, кто писал равно мощно на русском и английском языках, — какой в таковых Космо-Психо-Логос?

— Тут, как в теории множеств: происходит наложение и пересечение национальных полей разного типа, мощности и уровня, широты и глубины, их интерференция; совершается и не диа-лог даже, а поли-лог национальных элементов — и так должен описываться подобный случай.

3) А не подкармливает ли такое исследование национализм?

— Отвечу аналогией. Когда человек только начинает вступать в мир знания и культуры, ему сперва пред-

Список трудов Г.Д. Гачева о национальных образах мира

Книги

1. Ускоренное развитие литературы (на материале болгарской литературы первой половины XIX в.). — М.: Наука, 1964.
2-е изд.: Неминуемое. — М.: Художественная литература, 1989.
2. Любовь, человек, эпоха. Рассуждение о повести «Джамиля» Чингиза Айтматова. — М.: Советский писатель, 1965.
3. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. — М.: Просвещение, 1968. (На материале древнегреческой литературы.)
4. Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа. Часть I. — М.: Искусство, 1972. (На материале западноевропейской литературы.)
5. Образ в русской художественной культуре. — М.: Искусство, 1981.
6. Чингиз Айтматов (в свете мировой культуры). — Фрунзе: Адабият, 1989.
7. Национальные образы мира. — М.: Советский писатель, 1988.
8. Русская Дума. Портреты русских мыслителей. — М.: Новости, 1991.
9. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к естествознанию). — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1992.
10. Образы Индии (опыт экзистенциальной культурологии). — М.: Наука, 1993.
11. Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке. — М.: Педагогика, 1991.
12. Русский Эрос. «Роман» Мысли с Жизнью. — М. Интерпринт, 1994.

Статьи и эссе

1. О национальных картинах мира. — «Народы Азии и Африки», 1967, № 1. Ethnic Pictures of the World — in Soviet Sociology. Fall 1969, vol. VIII, № 2. IASP, New York.
2. О русском и болгарском образах пространства и движения. — В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. — Л.: Наука, 1971.
3. Космос Достоевского. — В кн.: Проблемы поэтики и истории литературы (Сб. к 75-летию М.М.Бахтина). — Саранск, 1973.

4. Гуманитарный комментарий к естествознанию. — «Вопросы философии», 1976, № 12.

5. Как и почему так воспринималась русская литература в Болгарии в середине XIX века? (К теории понимания). — «Вопросы литературы», 1978, № 6.

6. Гроздь и Гранат. Заметки о национальной символике в кино. — «Литературная Грузия», 1979, № 7.

7. Четыре стихии в городе — «Декоративное искусство», 1986, № 4.

8. Европейские образы Пространства и Времени. — В кн.: Культура, человек и картина мира. — М.: Наука, 1987.

9. Национальные образы мира. Итальянский, Английский и Американский образы мира. — «Вопросы литературы», 1987, № 10.

10. Английский образ мира и механика Ньютона. — «Вопросы истории естествознания и техники», 1987, № 4.

11. Музыка и световая цивилизация. — «Музыкальная жизнь», 1988, № 10, и 1989, № 8.

12. Человечество — многогранность Земли. — «Литературная газета», 22.XII.1988.

13. Барокко в славянских странах. — «Курьер ЮНЕСКО», 1987, октябрь.

14. Вперед — к традиции! (Балканский мыслитель Тончо Жечев). — «Иностранная литература», 1989, № 2.

15. В погоне за жар-птицей мысли. — «Книжное обозрение», 1989, № 15.

16. Смысл Растения. — «Человек и природа», 1989, № 5.

17. Частная честная жизнь. (Альтернатива русской литературе). — «Литературная учеба», 1989, № 3.

18. Повесть эвенкини. — «Литературная учеба», 1989, № 4.

19. Балканы как Космос гайдутства. — «Советское славяноведение», 1989, № 4.

20. Национальный идеал женщины в болгарской литературе. — Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы. Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР, 1989.

21. Удивление Театру. Опыт философии зрелища и театрального быта. — Рига: «Вестник театра», 1989, № 3, 4. А также — «Современная драматургия», 1991, № 3.

22. Задумавшийся скиф. — Послесловие к кн.: Ч и н г и з А й т м а т о в. Буранный полустанок. Плаха. — М.: Профиздат, 1989.

23. Образы Индии (Эллинский и германский). — «Иностранная литература», 1990, № 2.

24. Русский Эрос. — В кн.: Опыты. — М.: Советский писатель, 1990, а также: «Советская литература», 1990, № 5.

25. Америка в восприятии славянских писателей. — В кн.: Славянские и балканские культуры XVIII–XIX вв. Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР, 1990.

26. Космософия России, Болгарии, Италии — В кн.: Италия и славянский мир. Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР, 1990.

27. Национальные умозрения в естествознании (по гипотезе Канта — Лапласа) — В кн.: Междисциплинарный подход к исследованию научного творчества. — М.: Наука, 1990.

28. Национальный Космос. Беседы по фибософии быта разных народов — «Современная драматургия», 1990, № 2, 5.

29. Художник и власть. — «Иностранная литература», 1990, № 5.

30. Вот — итальянец. — «Трибуна», 1991, № 2.

31. Русь — жертва России. — «Независимая газета», 30.V.1991.

32. Космософия России. — «День», 1991, № 4.

33. Зависеть от народа... (Парадокс о национальном). — «Столица», 1991, № 16.

34. Америка глазами человека, который ее НЕ видел. (Интеллектуальный детектив). — «Европа + Америка», 1991, № 1,2,3.

35. Американский Космо-Психо-Логос. — В кн.: Американский характер. — М.: Наука, 1991.

36. Связи между литературами, находящимися на разных стадиях развития (Пушкин и Петке Славейков). — В кн.: Функции литературных связей. Ин-т славяноведения и балканистики. — М., 1992.

37. Русь, куда ж несет тебя?.. (Не-до-умение из крепости заднего ума). — «Независимая газета», 26.III.1992.

38. Удивляюсь Америке. — «Свободная мысль», 1992, № 16.

39. «Все разные, и все музыка». — «Театральная жизнь», 1992, № 17–18.

40. Авангард. Взгляд сомневающегося. — «Независимая газета», 11.II.1993.

41. Типология национальных образных систем и польский образ мира. — «Slavia Orientalis». 1991, том XL, № 1–2.

42. Американский образ мира. — «Золотой век», 1993, № 3.

43. Балканский Космо-Психо-Логос. — В кн.: История. Культура. Этнология. Доклады российских ученых к VII Международному конгрессу по изучению Юго-Восточной Европы (Салоники, сентябрь 1994). — М., 1994.

44. Национальный мир и национальный ум. — «Путь», 1994, № 6.

45. Национальный Космо-Психо-Логос. — «Вопросы философии», 1994, № 12.

46. От «Книги слов» Абая — до «Отчаяния» Сейсенбаева. — «Простор», Алматы, 1994, № 3.

